Алесь Адамович

ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ

Литературная критика, публицистика

Минск
«Мастацкая літаратура»
1986

ББК 83.3
Бел7 А 28

Рецензенты
доктор филологических наук
В. А. Коваленко,
Н. Е. Пашкевич

ВОЙНА И ДЕРЕВНЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

УРОКИ ТОЛСТОГО И ПУТИ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Белорусская литература — новая, заново возродившаяся в XIX веке — была одной из самых «крестьянских» в среде славянских литератур. Она уже существовала, эта литература на «мужичьем» языке,— в творчестве Дунина-Марцинкевича, Богушевича, а в начале XX века — в стихах, поэмах, драмах Купалы, Коласа, Богдановича, существовала, заявила о себе ярко, мощно и тем не менее снова и снова отыскивала аргументы в защиту своего права быть, такие вот щемяще-простенькие и горькие: «А беларусы нікога ж не маюць, няхай жа хоць будзе Янка Купала». Свое право быть, право на развитие литературы на белорусском («мужичьем», как тогда понималось очень многими!) языке было и темой, большой, постоянной, и пафосом многих и многих произведений и выступлений белорусских художников слова. Богушевичу приходилось разъяснять самое, изначальное: что язык белорусский ничем не хуже всех других, что белорус — это белорус, как поляк — это поляк, а англичанин — англичанин…

И в XX веке белорусские писатели все еще вынуждены были убеждать в этом — других да и самих белорусов… Но главный путь и способ самоутверждения литературы на «мужичьем» языке — ее эстетическое развитие, эстетическое оснащение, в ходе этого развития. Декларации мало значили бы, если бы сама практика художественная не показывала, не убеждала: да, на этом языке можно выразить всё богатство мыслей, чувств, могут быть созданы, создаются шедевры, нужные всем.

Утверждение своего права и правоты своего дела — создание литературы на белорусском языке — включало, таким образом, предполагало оба качества: Изначальную народность белорусского художественного слова (литература народная и для народа) и в то же время — неотступное и жадное стремление овладеть, обладать всем, чем располагают другие, развитые литературы.

Такая двуединость внутреннего чувства, состояния белорусской литературы определили и характер воздействия на нее Льва Толстого, его идей и творчества.

Воздействие это было особенно сильным, неотступным, плодотворным и желаемым не только благодаря мощи художественного слова великого писателя земли русской, но и потому, что в Толстом, в самих исканиях, противоречиях его

присутствовало в наивысшем проявлении то, что было так близко, и понятно, и необходимо литературе на «мужичьем» языке. Великий защитник стомиллионного крестьянства России был защитником и крестьянства белорусского. Таким он виделся из Белоруссии. Своим виделся, родным. Когда Лев Толстой умер, сидевший «за революцию» в тюрьме белорусский поэт Якуб Колас так излил скорбь — свою и угнетенного, борющегося народа белорусского:

…Ты сышоў з жыцця дарогі,—
І ноч больш цямнее,
Тое царства цьмы, няпраўды,
Што над намі вее,
Тая ночка зла, з каторым
Ваяваў ты, родны!
Ты сышоў з жыцця дарогі,
Слаўны і свабодны.
Ты сышоў з жыцця дарогі,
Але ўсё ж душою
З намі будзеш, вечна будзеш
Зваць на бой нас з цьмою.[1]

«Исход» Толстого, завершившийся смертью на станции Астапово на виду у потрясенного мира, человечества, белорус, белорусский поэт воспринял как уход сказочного богатыря и защитника, который хотя и «сошел с дороги жизни», удалился, но не оставит «свой народ», народ крестьянский, простой рабочий народ, навеки останется его защитником и «вечно будет звать на бой с черным злом».

А это пронзительное «родны» (родной), из души народной, крестьянской вырвавшееся!..

Признанный защитник простого рабочего человека, Лев Толстой из Белоруссии виделся также защитником права белоруса на народный свой язык, свою культуру, какой бы «простецкой» и «мужичьей» она ни казалась «просвещенному читателю». Более того, высший авторитет в литературном деле — автор «Войны и мира», «Анны Карениной», «Воскресения» в годы, когда писали белорусы Купала, Колас, Богданович, самую непритязательную литературу, близкую, понятную крестьянину, как раз и считал единственно «настоящей», считал, что только ее и «не стыдно» писать, что только она и останется. Если у самого Толстого и было противопоставление одного другому: слова «художественного» (включая его главные романы) и «народного» (его «народные рассказы»), то белорусская литература, конечно же, такого

[1] Колас Я. Памяці Л. М. Талстога,— Зб. тв. У 14-ці т. Мн., 1972. Т. 1, с. 227.

противопоставления себе позволить не могла. Такого разделения. Для нее, утверждавшей себя на путях всестороннего развития, необходимы были в одинаковой степени и «народные» и «художественные» шедевры Толстого, драгоценен был в одинаковой мере и опыт его романов и его авторитетное слово в поддержку «крестьянской» литературы, народной простоты и бесхитростности в литературе.

Когда Купала скромно писал: «А белорусы никого не имеют», он (так же как и многие другие авторы произведений на белорусском языке) так или иначе, но ощущал, помнил, что ходит по русской земле величайший писатель мира, благоелавляя и яростно, всем своим авторитетом, защищая крестьянскую правду, крестьянскую речь, литературу для простого работника. В унисон толстовскому «Собственность — это кража!» звучала и «мужичья» речь Купалы, Коласа, как бы самого народа подтверждающее и грозное слово:

А не грошы ж твае
Там у банку ляжаць?
Не за грошы ж твае
Цар ідзе ваяваць?

Не за грошы ж твае
Цар палац свой зрабіў?
Не за грошы ж твае
Ён чыноў насадзіў?

Дык прасніся хутчэй,
Беларускі мужык!..[1]

Не потерять простоту, жизненную связь с языком и душой народа и приобрести то, чего не имеешь, что хранят сокровищницы мировой культуры,— этим чувством, стремлением определялась художественная практика классиков белорусской литературы. «Непростительно было бы ничего не взять из того, что сотни народов через тысячи лет собирали в сокровищницу мировой культуры,— писал Максим Богданович в те же первые годы XX столетия.— Но копить только чужое, не развивая своего,— это еще хуже: это значит уродовать народную душу»[2].

---

[1] Купала Я. Зб. тв. У 7-мі т.—Мн., 1972. Т. 1, с. 82—83.

[2] Багдановіч М. Зб. тв. У 2-х т.—Мн., 1968. Т. 2, с. 171. Интересно вот что: когда белорусская литература, культура белорусского народа в условиях панской Польши снова оказалась в положении пренебрегаемой и теснимой — а это были уже 20-е и 30-е годы,— она, имея за спиной Купалу, Коласа, Богдановича, а также пример новой, советской литературы на востоке белорусских земель, тем не менее испытывала такую же, как и в самом начале XX века, потребность опереться на авторитет, на пример и слово Толстого, отстаивая свой язык, свое право быть, развиваться. И снова— та же опора в равной степени на «художественное» и на «народное», «крестьянское» в наследии Толстого. «Льва Николаевича какое-то время воспринимал без оговорок, всего — с непротивлением и вегетарианством»,— вспоминает Янка Брыль, который начинал свой творческий путь в Западной Белоруссии. То, «толстовское», светится в его «Марыле», «Злодеях», в прекрасных зарисовках, сценах

Так что же из толстовского «художественного» стремилась усвоить молодая белорусская проза — и прежде всего «военная»? В чем испытывала недостаток, к чему стремилась, шла?

* * *

Толстовский инструмент исследования человеческой души, ее «диалектики» унёс с собой в окопы первой мировой войны замечательный белорусский прозаик Максим Горецкий. Уйдя на войну, в окопы не с «жезлом маршала в солдатском ранце», а с «Толстым» (в душе, в памяти), молодой писатель вернулся домой с величайшим трофеем — он принес с войны правду. Беспощадную правду о войне, о человеке...

Повесть, которая стоит в ряду самых жестоких и ярких европейских книг о первой мировой войне,— «На империалистической войне» Горецкого — родилась не «под пером» литератора, а «под карандашом» батарейного телефониста: он под огнем выкрикивал, передавал команды: «Тротиловой гранатой! беглый огонь...», записывал расходы боеприпасов, а затем тут же набрасывал: «Немного утихло. Когда это пишу, выпущено уже 807 шрапнелей и 408 гранат...»

«7 часов. Начался страшный бой. Выйдем ли живыми?»

«Ведут и несут раненых немцев и наших.

...Что было вчера? Я жив, но прежнего меня нет навсегда».

«Записываю команду и в перерывах (во втором орудии задержка: гильза не выбрасывается) поспеваю записывать в свою записную книжку...»

Тем же карандашом, тут же или через день-два — пронзительные строчки о состоянии человека, который убивает и которого убивают: «Ко мне подполз бледный до синевы, с мукой в очах, наш старшин телефонист и попросил, чтобы я его завел на перевязочный пункт. Я оставил свою писанину («Зачем теперь писать?» — подумал я) и с большим трудом повел его вдоль речки, не находя переправы... В другой стороне мы увидели, что едет госпитальный фургон, и напрямик направились туда, по полю. К нашему счастью, фургон остановился. На нем колыхалось на палке полотнище с красным крестом, и я, наслышанный о международных законах войны, с облегчением подумал, что тут уже нас не обстреляют. Мы не дошли сажень с полсотню до фургона, как рядом с ним бухнул и оглушительно разорвался «чемодан», подняв гору земли высотой с добрую хату, и обволок все черным вонючим дымом. Зазвенели, загудели осколки. Один конь

народной жизни, которые у раннего Янки Брыля пронизаны особым чувством уверенности, что правда, чистота, свет, нравственность там, где народ. Это, преобразившись, перешло и в его рассказы, повести, романы более поздние.

завалился и задергал ногами, другой взвился на дыбы. Нам нужно было бы тут же залечь, а мы перлись изо всех сил к фургону, словно спасение было в нем... Тут же выскочили из фургона санитары, без всякой жалости схватили сомлевшего старшего и швырнули его в фургон... Возница отрезал ремни на убитой лошади, сел верхом на другую, задергал руками и ногами — и огромный фургон с одной лошадью умчался от меня по полю. А я взглянул вслед и побежал назад — сколько сил было...» (Здесь и дальше перевод наш.— А. А.).

Когда читаешь эту дневниковую повесть, «записанную» прямо на фронте и доработанную, напечатанную Максимом Горецким уже в советское время (в 20-е годы), вспоминаешь Василя Быкова и все то, что появилось в советской, в белорусской литературе намного позже (в 60-70-е годы) и появилось как бы заново — из того же истока, но заново.

Из какого это «истока»?

Ну, прежде всего — это литература пережитого, своими глазами увиденного, услышанного, своей солдатской шкурой испытанного.

Это так.

Но здесь не весь ответ и не все объяснение. Не весь «исток».

Можно ощутить правду еще как остро, пережить что-то ошеломившее, а рассказать потом так, как Николай Ростов про свою первую атаку, гусарскую, «геройскую», разумеется. Не мог же молодой гусар так вот просто и признаться, что было совсем-совсем не так, как обычно рассказывают. Ему недостало в тот момент другого, самого, оказывается, нелегкого мужества — морального.

Но для солдата в конечном счете главное, как он воюет, а не как рассказывает.

Хуже, когда такое случается с литературой, с писателем. Скольким, даже тем, кому хватало фронтовой, партизанской храбрости под огнем, потом недоставало смелости, правдивости литературной.

Но и здесь есть рубеж, до которого и после которого — разная степень «нравственной вины». Рубеж этот — Лев Толстой, его военная правда, человеческая правда.

Действительно, партизанские, военные записки Дениса Давыдова — героя 1812 года мы читаем, воспринимаем как «дотолстовские», и поэтому наша мера требовательности к правдивости, искренности, «психологизму» совсем иная, чем к произведениям о первой и второй мировых войнах.

Максим Горецкий, вся литература о первой мировой войне, что обозначена именами Барбюса, Арнольда Цвейга, Олдингтона,

Ремарка, Хемингуэя, Лебеденко («Тяжелый дивизион») и других, литература, создатели которой до того, как попали в окопы и на боевые позиции, уже пережили Аустерлиц, Бородино, Севастопольскую оборону...

Ибо уже был Лев Толстой.

Левон Задума (герой повести Максима Горецкого), когда попал в армию, при встрене с командиром вежливо поприветствовал: «Здравствуйте!» Пришлось перед специальным столбом, врытым посреди двора, учиться «отдавать честь».

Классический «новичок» — в армии, на войне!

«Пули засыпают наш домик. Веток на деревьях почти не осталось. Командир только крестится после каждой команды. Батарея бьет и бьет беспрестанно. Я боюсь... Перебегают пехотинцы. «На вышки!» — грозно рявкнул на меня командир, и всё он крестится. Снова всползаю на верхотуру, как загипнотизированный: смерть так смерть, только бы так не мучиться! О нет! нет! Жить хочу! Господи, помилуй мя, грешного! — и хочется креститься, как командир, но остатки разума остуживают. А пехотинцам ведь в сто раз хуже...»

Да, Задума-Горецкий («На империалистической войне» — вещь дневниково-автобиографическая) не очень подготовлен был к военной службе, когда попал на фронт. Действительно, классический новичок. При всем том новичок этот удивительно много знает про войну, про самого себя на войне — словно он когда-то уже побывал и под обстрелом, и так вот боялся, пугался, и так вот стыдился своего страха...

Не знает, не испытал еще ничего — все впервые. И одновременно как бы вспоминает, что такое, вот это уже было когда-то с ним, происходило, как раз так и было, так и должны вести себя люди перед лицом смерти...

«Я направился работать в канцелярию, за километр отсюда, и по дороге, осенней, пустынной, думал: если бы вот сейчас летел снаряд и оторвал бы мне палец на левой руке — чертил бы правой и показал бы рану, только закончив порученную мне командиром работу. Пусть бы знали, какой я... Разумеется, я тут же ругал себя за подобные мысли и дивился, отчего такая глупость лезет в голову: или под влиянием читанной мной раньше русской литературы, или еще почему-то...»

Нет, не потому в голове у молодого солдата геройские юношеские мечтания, что русских баталистов начитался. А потому, что молодой. А вот то, что сразу же ловит себя на «глупостях», что смотрит на себя как бы со стороны, как на старого знакомого,— это как раз от чтения книг и прежде всего Толстого.

И наивный, как толстовский Володя Козельцев или Петя Ростов, и одновременно способен эту свою наивность осознавать — такой он, герой-повествователь Максима Горецкого.

А уж чужую наивность заметит сразу! Будто давнего своего знакомого встречает автор-повествователь молодого, новенького, всего с иголочки подпоручика Сизова.

И снова то же характерное «узнавание» впервые увиденного...

«Дитя Сизов... Рассказывает солдатам о своей домашней жизни (он — единственный сын старенького отставного пехотного капитана), говорит, откуда родом, как учился, как любит Россию и народ и что готов за них умереть... .Солдаты любят его, но некоторые втихоря посмеиваются. «Пенсию буду посылать домой,— признается он,— а то вдруг убьют, так санитары с мертвого возьмут». У него выползла беленькая (т. е. вошь) из-под перчатки — покраснел, как мак».

А затем — почти неизбежное, потому что именно таких война забирает первыми:

«Широко раскрытые мертвые глаза, искривленный рот, посиневшие щеки, на которых у мертвого уже выросла щетина, пробитый череп — все это под платочком. А дальше — стройный, как девушка, как живой, только ноги торчат одубевшие».

Не только в спокойные минуты, когда мысли, чувства легко могут забрести в литературу, в чужое произведение, но и во время боя, когда они оглушительно вырываются из самой глубины и падают на самое дно, многие ощущения батарейного телефониста Задумы-Горецкого неожиданно окрашены литературой, Толстым. Не в том смысле, что из книг, «из Толстого» — те или иные сцены, детали, переживания. А что психологические самонаблюдения Толстого помогают именно на этом задержать внимание, это подметить в людях, в себе, отметить, не пропустить, как мелочь, как что-то ненастоящее...

«Артиллеристы расторопно подкапывают хоботы (задние концы орудий), чтобы стволы еще выше смотрели вверх. Работа срочная, но находят время шутить, спорят, смеются и виртуозно матерятся, я уже свыкся с их матерщиной: Беленький уломал-таки меня «наплевать...» Стало тихо перед очередным залпом, и я приподнялся, чтобы ползти, а затем пошел, волоча ногу и опираясь, помогая с одной стороны шашкой, а с другой карабином. Был рад, что не убило и что ра'нен, поеду с фронта, но мучился и корчился, неизвестно почему, больше, чем нужно,— боялся, чтобы все-таки не убило, не подпортило счастье, поэтому нарочно демонстрировал свое ранение неизвестно кому, что вот, смотри, не трогай больше меня».

Толстой, толстовская правда о войне и о человеке на войне сделали то, что на мировую бойню 1914-1918 гг. литература «попала» уже подготовленной, с опытом, умением смотреть на все без романтических очков, открытыми глазами. Остальное сделали сама война, ее кровь, жестокость, грязь, глобальное озверение и ужас перед бессмыслицей происходящего.

«Значок, которым отмечают настоящих героев»,—сказано было, когда раздавали георгиевские кресты. А тем временем...

Мы, телефонисты, получили их за тот бой, когда совсем не по-геройски препирались: «Ты иди соединять провод!» — «А сам?» — «А ты?» — «А очередь чья?» — «А я старший: должен подчиняться».

Так в чем же истинное геройство и много ли под этими крестами героев? Или я, может быть, неверно понимаю слово «геройство?» На нынешней войне — все герои или, лучше сказать, нет героев, а есть более или менее дисциплинированный скот».

Так видится автору записок эта война — чуждая, непонятная солдату, а Горецкому-Задуме, белорусу, еще и потому особенно, «дважды» чужая и чуждая, что он представитель угнетенной нации.

«Все это теперь погибнет, когда погибну, возможно, и я сам... во славу... чего? Освобождение «малых» народов? А освободится ли мой народ, что даст ему эта война?»

Уйдя на войну, в окопы с Толстым в душе, в памяти, с опытом, «жезлом» большой литературы в «солдатском ранце», с серьезными мыслями и заботами о «возрождении» родной земли и литературы, совсем молодой еще писатель и человек сумел увидеть войну, записать ее рукою неожиданно зрелого и серьезного художника.

Свидетельствуют об этом и «военные» рассказы Максима Горецкого 20-х годов — «Литовский хуторок», «Генерал», «На этапе», «Русский»...

В каждом из них, за каждым — трезвый, «наивно» народный, проникающий в самую суть явлений, слов, понятий взгляд на войну, срывающий «все и всяческие маски», беспощадный...

До Толстого такой «войны» в литературе не было.

* * *

Уже говорилось, что наше время все больше ставит вопрос о совмещенном воздействии Толстого — Достоевского на литературу вообще, а на «военную» — в особенности. «Параллельные» пути сверхгениев если не сошлись, то значительно сблизились во времени. И главное, что их сближает в нашем восприятии,— сопряжение человека и человечества в единой тревожной, огромной мысли: как человеку жить с людьми, по каким законам

добра и зла, что обещает гибель, а что — спасение? Слишком многое обострилось (и многое прояснилось) из того, что и Толстой, и Достоевский — каждый своим путем — обнаружили в мире и в человеке. Обнаружилось и сошлось в нашем времени столько и такое, что нам уже мало одного Толстого или одного Достоевского.

Это если о сегодняшнем их воздействии на литературу. Но, конечно же, современные военные писатели не одинаково «расположены» по отношению к «двуглавому Эльбрусу»: одни «со стороны» Толстого, другие «со стороны» Достоевского. Разумеется, и те и другие способны перемещаться, как, например, Василь Быков, который, начиная с «Сотникова», все ближе к опыту и проблемам именно Достоевского.

В произведениях Толстого и Достоевского — на вершине мировой литературы — совершился гениальный «взрыв», с которого началось то ускорение в самопознании человека, которое сравнить можно разве что с ускорением естественно-научного познания в XX веке.

Процессы, которые в белорусской литературе 20-30-х годов имели место, соответствовали многому из того, что характерно было и для всей советской литературы. Но было и свое, отличительное, поскольку в молодой белорусской литературе происходил процесс изначального накопления качеств зрелой литературы. Например, вырабатывались качества, чертил современной прозы, начало которой положили в XIX веке рассказы Ф. Богушевича, а затем в XX — Я. Коласа, М. Горецкого, Зм. Бядулю. Лишь в XX веке проза становится равноценным поэзии видом и жанром новой белорусской литературы. И вот тут сразу же встала задача — выйти к современным формам, качествам зрелой, развитой прозы. Задача психологического ее обогащения. А это в 20-е годы напрямую ассоциировалось с учебой у классиков — Толстого, Достоевского, Чехова, Горького, Бальзака.

После Горецкого, Коласа (и вместе с ними) задачу эту наиболее полно, осознанно, последовательно реализовал в своем творчестве выдающийся белорусский прозаик, романист Кузьма Чорный.

Произведения М. Горецкого о войне, как мы уже показывали, выводили белорусскую прозу к очень зрелой психологической традиции, восходящей к Толстому. Нужно было закрепиться на этой традиции, на «толстовском шаге», рубеже широким фронтом — создать собственную романную форму. Кузьма Чорный сделал особенно много в этом направлении. И особенно много дал ему опыт русской классики — Толстой, Достоевский, Чехов, Горький.

Этот писатель весь вырастал из самой жизни белорусского крестьянства, народа, он необычайно органичен, может быть,

самый «белорусский» и самый «крестьянский» в белорусской прозе. И вместе с тем как никто другой он сознавал: чем выше поднимается литература к мировой традиции, тем увереннее она проникает в глубины национальной, народной жизни. От импрессионистски-поэтической прозы к прозе аналитической, эпической — таков путь становления, развития К. Чорного-романиста, автора «бальзаковского» по замыслу цикла романов и повестей. Он ставил своей целью создать философско-историческую картину жизни белорусского народа со времен крепостничества «до наших дней» («Сестра», «Земля», «Левон Бушмар», «Отчизна», «Третье поколение», «Люба Лукьянская», «Поиски будущего», «Млечный Путь» и др.).

Особенность психологической манеры К. Чорного, которую он вырабатывал, не в ее похожести на кого-то и на что-то. И Достоевский, и Толстой учили, научили его одному: ценить выше всего правду и точность психологического рисунка. Какой бы сложной, непривычной, и даже шокирующей, правда эта ни показалась...

Для К. Чорного главное — любой ценой передать не только мысли человека, его переживания, чувства, но и сам процесс их рождения, движения, их незавершенность, «текучесть», переходность, неуловимость. Мы подчеркиваем — любой ценой, ибо прозрачность стиля (столь характерная для М. Горецкого и Я. Коласа) для К. Чорного (особенно раннего) все же не то, ради чего можно поступиться хотя бы одним, пусть самым незначительным, оттенком человеческого переживания.

Но ведь даже и такой великий стилист, как Лев Толстой, мог сколько угодно «злоупотреблять» своими «что... что», «который... который», чтобы только передать каждый оттенок, «изгиб» своей мысли. Не говоря о Достоевском, стиль которого такой же порывистый, как и сами герои его романов.

Рассказать о жизни, о человеке для Чорного — обязательно понять больше, чем понимал до начала повествования. Не просто: «Я вот знаю и расскажу», а скорее: «Рассказываю потому, что хочу сам больше узнать об этом человеке, об этом явлении, увидеть, что за таким фактом, за таким ощущением...»

При этом писатель открывает для себя и для читателя не только глубины человеческой психологии, но и глубины жизни вообще. Что такое жизнь, если есть смерть? Об этом чудесный рассказ «Буланый», который хочется назвать «белорусским «Холстомером»,— откровенное творческое «соперничество» молодого прозаика с «самим» Толстым. Что такое человек, какой он рядом со смертью? Об этом — в рассказе «Ночь у дороги».

Все, что есть, бывает, что открывается беспощадному взгляду психолога-реалиста, окрашено у К. Чорного народной, у народа почерпнутой, «природной» верой в человека и его будущее на этой трудной планете.

Даже увидев практическую возможность фашистского «потемнения» целых континентов, К. Чорный по-прежнему ищет в человеке человека. И находит. С особенной жадностью, страстью ищет, находит, утверждает. В одном из последних романов, написанном в годы войны, незадолго до смерти своей, уже познав, увидев, что такое человек, когда он делается фашистом, Кузьма Чорный тем не менее горячо убеждал — устами белорусского крестьянина:

«Веришь ли ты, что человек не выдержит, чтобы вечно быть зверем? Вырви ты из человека сердце и вставь на его место звериное, так в человеческой груди и звериное станет человеческим».

В произведениях белорусского прозаика К. Чорного война (уже вторая мировая, Великая Отечественная) психологически окрашена не в столь «толстовские» тона, как это мы наблюдали у М. Горецкого. Краски эти, тона скорее «Достоевские» — в интересном сочетании с традиционно «толстовскими».

Мы тут сознательно огрубляем проблему традиций, называя их слишком уж определенно — «толстовские», «достоевские», хотя, конечно же, ни о каком школярстве, ученичестве речь не идет.

К этому времени К. Чорный вырос уже в большого художника с сильным талантом, великого первооткрывателя мощного пласта народной жизни, который если и обращался к литературным истокам, а тем более «реминисценциям», то по принципу, когда-то сформулированному Достоевским: «Вот он (кто он, осталось неизвестным.— Н. В.) ставит мне в вину, что я эксплуатирую великие идеи мировых гениев. Чем это плохо? Чем плохо сочувствие к великому прошлому человечества? Нет, государи мои, настоящий писатель — не корова, которая пережевывает травяную жвачку повседневности, а тигр, пожирающий и корову и то, что она поглотила»[1].

Романы К, Чорного «Млечный Путь», «Поиски будущего», «Великий день» писались в годы, когда фашизм создавал реальную угрозу, что силы мракобесия и жестокости надолго воцарятся в мире и в душе человеческой. Писатель-гуманист сознательно обращался к голосу, слову великой гуманистической традиции: ведь наступила пора защищать основы основ человеческой культуры.

---

[1] Вильмонт Н. Великие спутники,—М., 1966, с. 9.

«Ибо пришла пора самого важного, действительно теперь единственного, от чего зависит все остальное»,— писал в годы войны К. Чорный.

* * *

Заметьте: никого столь охотно не называют своим наставником писатели любых масштабов (даже те, кто болезненно утверждает свою полную от всех «независимость»), как Толстого.

Потому что великий, что «Лев», и лестно? Пожалуй, не только поэтому. А и потому еще, что воздействие, влияние Толстого особенное, даже самые явные следы его не обидны и для очень самолюбивого таланта.

Толстой (как и Пушкин) вошел в наше сознание памятью о нашем собственном детстве, отрочестве, юности и о том состоянии, когда мы начали видеть себя со стороны, т. е. как часть нас самих.

Не станем говорить за всех. Но для тех, для кого русский был языком раннего чтения, произведения Толстого (для очень и очень многих) связаны с новым узнаванием самого себя. Связаны с чудом из чудес, которое каждый обнаруживает, открывает на каком-то году жизни, которое нас радует и мучит, которое от нас не отстает и которое мы не оставляем в покое, как полученную в подарок новенькую трубку калейдоскопа или чудесную машинку, которую не устаем снова и снова запускать,— я имею в виду рефлексию. Да, ту самую, не раз нами и не нами атакованную, существующую и в положительном, и в отрицательном значениях, проявлениях, но для человека обязательную. С нее ведь и начинается современный человек, т. е. осознавшая себя, свое существование природа, материя. Отнимите от нас способность видеть себя со стороны, мысль свою «видеть», и мы уже не мы. Разбуженная рукой (трудом) и речью (общение с себе подобными) способность эта переливается в новые и новые поколения человека разумного и все дальше и дальше влечет, увлекает человека, человечество, увлекаемая собственным непрерывным, лишь смертью прерываемым действием. Куда влечет? Да туда, куда мы уже вышли, и дальше.

Говорят, что особь взрослением своим повторяет весь путь рода или вида. А для рода человеческого и для индивида это важнейший этап: обнаружившаяся способность видеть себя, свои мысли, чувства как бы со стороны. О чем я сейчас думаю? О том, что мы — осознавшая свое бытие материя. А сейчас? Думаю о мысли: мы — осознавшая и т. д. А сейчас: думаю о мысли, в которой заключена мысль о той мысли, что... Помните, как поражался, играл этой вдруг обнаружившейся в нем многослойной «матрешкой» мальчик в «Отрочестве» Толстого? А не помните, как

подобные места из его произведений заставляли нас мысленно ахать: как это верно — я тоже! И во мне и со мной такое происходит! И мне тоже кажется, что вот это уже было в моей жизни, хотя и не могу сказать, когда: я уже стоял вот здесь, и видел это, и говорил. Вроде бы я уже когда-то был, жил!..

Что, без Толстого «машинка» эта сама не запустилась бы, не заработала бы? Конечно, запустилась бы, но, может быть, чуть позже и не на таких оборотах. А главное,, нам-то кажется, помнится, что именно в его произведениях мы вычитали себя вот таких, осознали эту свою способность, что все и началось с того внутреннего аханья: так и во мне же это есть, бывает! Как в Николеньке Иртеньеве, в Володе Козельцеве, в Пете Ростове, в Николае Ростове, в Безухове, в Наташе!.. Да, и с Наташи «это» начиналось, с удивления перед тем, как чудесно Толстой подсмотрел за ними, за людьми. Переполненная собой, любовью, тревогой, тоской, всем, что в ней происходит, Наташа взад и вперед расхаживает по залу в своем старом платье, «которое ей было особенно известно за доставляемую им по утрам веселость», прислушивается к своим шагам по звучному паркету и посматривает на себя в зеркало: «Вот она я!... Хороша, молода, и никому она не мешает, оставьте только ее в покое...» Видит и слышит себя в гулком пространстве комнаты, а в ней самой такое же гулкое, эхом отзывающееся пространство, уводящее в радостную и тревожную даль и глубь...

Память уходит в юность, в отрочество и отыскивает там Толстого, и кажется, что даже в детстве — там, где Толстой не был еще прочитан, даже там он присутствует: его детство, отрочество, юность накладываются на наши... А затем мы были на войне, но и ее воспринимали так, а не иначе потому, что уже побывали на его войне (и Крымской, и 1812 года), уже врезалось в наше сознание (и глубже) так много. Вот это, такое, им впервые подмеченное, названное, проясненное — о человеке на войне:

«Между эскадроном и неприятелями уже никого не было, кроме мелких разъездов... Один шаг за эту черту, напоминающую черту, отделяющую живых от мертвых, и — неизвестность, страдания и смерть... и страшно перейти эту черту, и хочется перейти ее; и знаешь, что рано или поздно придется перейти ее и узнать, что там, по ту сторону смерти... И на всех лицах узнавал он то чувство оживления, которое было в его сердце. «Началось! Вот оно! Страшно и весело!» — говорило лицо каждого солдата и офицера».

«Как бы со всего размаха крепкою палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову.

Немного это больно было, а главное, неприятно, потому что боль эта развлекала его и мешала ему видеть то, на что он смотрел.

«Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются»,— подумал он и упал на спину».

«Едва он вбежал в окоп, как худощавый, желтый, с потным лицом человек в синем мундире, со шпагой в руке, набежал на него, крича что-то. Пьер инстинктивно, обороняясь от толчка, так как они, не видав, разбежались друг против друга, выставил руки и схватил этого человека (это был французский офицер) одной рукой за плечо, другой за горло...

Несколько секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. «Я ли взят в плен или он взят в плен мною?» — думал каждый из них.

«Наташу, Наташу!.. — кричала графиня.— Неправда, неправда... Он лжет... Наташу! — кричала она, отталкивая от себя окружающих. — Подите прочь все, неправда! Убили!., ха-ха-ха-ха!.. неправда!

Наташа стала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее, с неожиданной силой подняла, повернула к себе ее лицо и прижалась к ней..

— Маменька!., голубчик!.. Я тут, друг мой. Маменька,— шептала она ей, не замолкая ни на секунду...— Друг мой, маменька,— повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как-нибудь снять с нее на себя излишек давившего ее горя.

И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущий жизнью ее любимый мальчик, спасалась от действительности в мире безумия».

Многое из того, что мы встретили на нашей войне, и еще больше — что обнаружили там в себе, мы с удивлением не просто познавали, а как бы узнавали. Впервые испытываемое мы воспринимали как что-то нам уже известное. Казалось бы, хватало собственных переживаний, впечатлений, мук и радостей на этой, на самой тяжелой из всех войн — и без Толстого хватало. Но ведь и тем, кто в Европе, в Америке до наполеоновских войн и после них воевал, тем тоже своего опыта хватало. Но хлынул он освобожденно в литературу, открываясь всем, лишь после романов и повестей Толстого. Не будь и у нас за спиной Толстого и всего, что потом и вслед за ним наработано было литературой, не один пожаловался бы (только кому?), как в свое время американский майор Джон У. де Форест в письме к автору «Войны и мира»:

«Если у вас найдется время и желание прочесть его (роман Джона У. де Фореста «Мисс Равенел»,— А. А.), вы заметите один

большой недостаток: мне не хватило вашей смелости и честности в разоблачении всего ужаса войны.

Я не посмел сказать миру, каковы истинные чувства человека, даже и храброго, на поле битвы. Я боялся, что люди скажут: «О, в глубине души вы трус. Герой любит сражение».

Теперь, прочитав «Войну и мир», я горько сожалею, что был так ничтожен и не смог достичь той правды, которая возможна лишь при полной искренности. Правда — величественна и прекрасна, но трудно достижима, и иногда ей страшно смотреть в глаза»[1].

К нам толстовская правда войны пришла, в нас проникла задолго до наших собственных военных переживаний. Мы уже знали, понимали, что хотя трусить и в первом бою стыдно, но это и с другими, не только с нами случается, а потому не надо спешить забывать неприятное, что с тобой случалось, а тем более 10-20 лет спустя, за письменным столом. Мы уже знали, что к мысли о смерти и о страдании привыкнуть нельзя, а можно лишь научиться управлять собой, несмотря на страх и вопреки ему... Находили этому и еще многому подтверждение (а иногда и опровержение), но мы уже о многом знали. А главное, мы знали, что не следует бояться всей правды, какая бы она жестокая или обидная ни была, ни казалась: не с нами одними такое происходит! Не будь в нас этого знания, сколько бы мы постарались забыть начисто! (Человек это умеет.) А сколько всего наше сознание не зафиксировало бы, не побывай мы до того «на войне» Толстого: не казалось бы таким значительным, стоящим внимания, а, наоборот, чем-то случайным и даже невозможным. Помните «Путешествие на «Кон-Тики» Тура Хейердала: поймал пассажир небывалую рыбу и быстренько плюхнул ее в воду: «Нет, такие не бывают!..»

Интересная была бы арифметика: «подсчитать», от скольких фальшивых военных сцен, воспоминаний, книг избавило мировую литературу одно лишь то место в «Войне и мире», где обнажена Толстым молодая, гусарская ложь Николая Ростова о первой атаке — для него простительная, а для литературы смертельно опасная.

«Они ждали рассказа о том, как горел он весь в огне, сам себя не помня, как бурею налетел на каре; как врубился в него, рубил направо и налево; как сабля отведала мяса и как он падал в изнеможении и тому подобное. И он рассказал им все это...»

Если бы Толстой лишь доказывал, что лгать стыдно, нехорошо, вряд ли это так воздействовало бы на всю литературу. Но дело в том, что своими романами, повестями он доказал и убедил, насколько интереснее «не-ложь» о войне, насколько она

---

[1] Литературное наследство: Толстой и зарубежный мир,—М., 1965. Т. 75, кн. 1, с. 344.

богаче, даже занимательнее всей этой гусарской чепухи о «сабле, отведавшей мяса». Он показал, сколько в правде неожиданностей и поворотов. Особенно в психологии человеческой. А тут уж литература устоять не могла, как женщина перед возможностью сразу, одним усилием стать интереснее.

Вот она, не рассказанная Николаем Ростовым, первая атака, врезавшаяся в его (и в наше сознание) на всю жизнь:

«Ур-р-а-а-а!! — загудели голоса.

«Ну, попадись теперь кто бы ни был»,— думал Ростов, вдавливая шпоры Грачику и, перегоняя других, выпустил его во весь карьер...»

А затем что-то, «как широким веником», стегнуло по эскадрону,

«Что же это? я не подвигаюсь? — Я упал, я убит...» — в одно мгновение спросил и ответил Ростов. Он был уже один посреди поля».

А затем почувствовал, что что-то лишнее висит на его левой онемевшей руке... «Ну, вот и люди,— подумал он радостно, увидав несколько человек, бежавших к нему.— Они мне помогут!.. Что это за люди? — все думал Ростов, не веря своим глазам.— Неужели французы?.. Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? Меня, кого так любят все?» Ему вспомнилась любовь к нему матери, семьи, друзей, и намерение неприятелей убить его показалось невозможно. «А может — и убить!» Он более десяти секунд стоял, не двигаясь с места и не понимая своего положения... Он схватил пистолет и, вместо того чтобы стрелять из него, бросил им в француза и побежал к кустам что было силы».

Но, конечно же, не одна лишь волнующая, занимательная неожиданность психологической правды — толстовской правды — решила все. Но еще и новая, толстовская нравственная сила, мера в показе войны и человека на войне. И то и другое общим движением, давлением развернули, по-новому направили всю литературу — как сильное течение огромный айсберг разворачивает...

Утверждать, что до Толстого вся литература лгала, когда писала о войне, будет несправедливо. И дело не в исключениях, таких, как «Валерик» Лермонтова. Просто не доросла литература до такого уровня правды, реализма. До толстовской меры. Но после Толстого оставаться на том уровне, будто и не было его,— вот тут, вот это уж действительно лгать. То, что простительно молодому и бескорыстному Ростову, что в нем трогательно, то отвратительно в Берге, холодном, расчетливом, который из красивой лжи старается извлечь для себя пользу...

Особенное, сдвоенное чувство, когда перечитываешь «Войну и мир» после, когда уже побывал на «своей» войне: вот это было с Николаем Ростовым, а это со мной, но когда со мной это происходило, во мне происходило, я уже знал, как это бывает, и все равно пережил все заново, во всю силу, потому что впервые безжалостно рванули из рук моих жизнь — не его, мою жизнь...

Сейчас вот подумал: почему, когда нас после тяжелого боя с фронтовыми частями вытеснили танками из догорающей деревни Ковчицы и, бегущих, уверенно, мстительно низали на длинные, до самого леса, огненные трассы пуль, почему я острее всего запомнил внезапные черные пятнышки на лбу Лазарева Андрея — моего командира взвода? Он командовал: «Ложись!», когда крупнокалиберные танковые пулеметы начинали прицельно бить по нашей они е, поднимал снова по какому-то своему чутью — только собрался это сделать, как все замерло, остановилось (для меня так оно в памяти). Я смотрел на внезапно побелевший лоб, видел остановившийся, прислушивающийся взгляд и эти черные пятнышки на лбу сбоку... Не сразу и он и я, лежащий рядом, не сразу поняли, что произошло,— что он нажал поднятый кверху автомат и очередь его же гильз ударила ему в лоб. Полгода я знал его, смелее не видел и не воображал партизана, влюблен был по-мальчишески в его ироническое, порой злое хладнокровие, и вот внезапное открытие, что и он «не привык» окончательно к мысли о смерти, остановило для меня на секунды и бой, и пальбу, и мысль о собственной гибели.

Не знаю, поразило бы это меня так, не знай я через Толстого о человеке на войне больше, чем говорил мне мой собственный опыт? Я не то что обрадовался (не до того было), что на шажок могу приблизиться к своему кумиру: и в нем бывает то, что и во мне! Но помню, как вцепился в него глазами, когда понял, что произошло на самом деле: не уверен, что была бы эта жадность, цепкость взгляда, памяти без той довоенной внутренней работы, которую так подтолкнул Толстой. Уже знал цену таким «деталям».

Теперь, издалека, готов и не относящееся отнести к Толстому, его «урокам», хотя был, конечно, и Пушкин, в которого был влюблен, как в живого, были Лермонтов, Байрон, Горький, Чехов, Достоевский, Колас... Кроме того, была жизнь, 16 лет жизни, да еще вздыбленной под конец годами войны.

Когда для этой работы выписывал из «Войны и мира» про то, как Болконскому почудилось, что его «со всего размаха крепкою палкой» кто-то ударил по голове, я вспомнил, что и меня в 1943-м вот так же ударило «палкой» (очень удивился: «Палкой, кто мог ударить меня палкой?») и что я отдал эту нелепую мысль своему персонажу. Совершенно ясно, что в тот миг удара я не об аналогии

с Толстым подумал, а само так подумалось, почудилось: ошеломивший удар — и высек эту нелепую (и как оказалось — художественную) мысль из головы. Начинает казаться, что не только литература, но и сама жизнь берет, заимствует у Толстого! Не случайно вырвалось у одного голландца, что если бы сам господь бог решил написать роман, он не смог бы обойти опыт «Войны и мира».

Вот еще и, будем считать, последний здесь пример из этого ряда.

Отделением идем через открытое поле, из-за горки появляются и нам навстречу идут тоже человек десять — некоторые в полунемецком, как и мы. Оружие «со всей Европы», как и у нас. Партизаны? Полицаи? Ни красных ленточек, ни белых повязок. Послать вперед двоих в дозор, как делали обычно,— поздно и, главное, смешно, не хочется на глазах, может быть (скорее всего), у партизан демонстрировать такую осторожность, испуг. Сойдемся, и будут издеваться. Тем более что они идут и ничего. Конечно же, партизаны, а кто еще! Разве шли бы так и они и мы, разве так спокойно было бы, так светило бы с голубого неба солнце и звенели жаворонки? Человек умеет не поверить в происходящее, когда ему чего-то смертельно не хочется. То, что мы сближались, не сделав того, что должны были бы,— не послали вперед дозорных — странно успокаивало, хотя, казалось бы, почему?! Уже лица видим, и как у переднего руки лежат на автомате, и как идущий по другой стороне дороги дернул плечом —спустил ниже ствол висящего поперек груди автомата (теперь ему только повернуться боком и можно лупить!). Всё замечаем. А они, наверное, тоже. Что мы сломали строй, чтобы не стрелять в спину другому, что и наш Вася Герчиков невинно передернул ремень пулемета. А отделенный Миша Коваленко, тот незаметно и для нас (но щелчок услышали) осторожным пальцем взвел автомат. Боится и нас спугнуть: он тоже «точно знает», что это наши там, а проделывает свои штучки потому, что уже «искра» проскакивать начала. И в нас этот его щелчок отдался электричеством…

Помните: «Какой-то свет глаз с быстротою электрической искры перебежал из глаз Теленина в глаза Ростова и обратно, обратно и обратно, все в одно мгновение».

Искра страшной догадки, узнавание страшной истины и тоскливое желание оттянуть неизбежное, и боязнь опоздать, и ошибиться боязнь!..

Поскольку Толстой действительно вошел в нас вместе с проясняющейся нашей способностью, склонностью к рефлексии, взгляду со стороны, самоанализу, есть тут опасность свою

внутреннюю жизнь не очень скромно «поднимать к Толстому». Но что поделаешь, если он так врос в нас (или мы в него)!

* * *

Когда мы пишем о толстовском влиянии на советских «военных» писателей, необходимо иметь в виду то, что говорилось выше,— Толстой приходил к ним, не когда они сели за письменный стол, а когда они сидели в окопах или участвовали в партизанских операциях, когда отбивали атаки, двигались в огне и пыли отступающих колонн 1941 года или участвовали в решающих битвах под Москвой, Сталинградом, Курском, Ленинградом, в Белоруссии, под Берлином... Мы уже пытались передать, как это бывает (в связи с фронтовыми записками М. Горецкого), когда психологическая правда войны, почерпнутая из книг Толстого, начинает жить в твоем сознании как твой собственный опыт: «Вот это чувство, эту гримасу смерти, боли, ужаса, восторга, эту сцену я уже где-то наблюдал, переживал, помню...» И ты замечаешь, запечетлевается в тебе на всю жизнь то, что могло и «проскочить» как несущественное и малоинтересное, отскочить от твоего сознания как вроде бы невозможное.

Но если сравнить первую мировую с Отечественной: «На империалистической войне» Горецкого, а также «войну» Барбюса, Ремарка, Олдингтона, Хемингуэя — с «войной», с поэзией, прозой Твардовского, Симонова, Бека, Мележа, Бакланова, Богомолова, Бондарева, Брыля, Быкова, Гранина, Науменко, Ананьева, мы увидим и различие огромное, которое свидетельствует, что сознание войны как дела справедливого или несправедливого преобразуется в чувство эстетическое.

И тем не менее все было намного сложнее, чем представлялось тем исследователям и критикам, которые увидели, подчеркивали лишь различие между той и другой литературой и не хотели замечать общего истока. Например, того толстовского «истока», о котором говорилось выше.

Первая мировая война для советской литературы 20-х и 30-х годов была «перекрыта» — как бы отодвинута и заслонена — событиями революции и гражданской войны. И произведения о той мировой войне, которые появились («Тяжелый дивизион» Александра Лебеденко, «На империалистической войне» Максима Горецкого и некоторые другие), при всех высоких достоинствах затерялись среди огромного количества тоже великолепных, а зачастую новаторских для всей мировой литературы произведений, посвященных событиям революции и гражданской войны.

За малым исключением (правда, среди этого «малого» и «Тихий Дон») литература наша, наэлектризованная пафосом революции, ушла от тем и проблем, которыми западноевропейская литература жила еще целые десятилетия — Ремарк, Олдингтон, Хемингуэй, Арнольд Цвейг и др. Мы тут имеем в виду не специфическую тему «потерянного поколения» — душевный кризис героев известных книг в послевоенное время. Нас в данном случае интересует другая сторона этой литературы: беспощадный показ мировой бойни и всей правды поведения человека в обстановке такой бойни. Да, были и у нас произведения об этом, и тоже великолепные. Достаточно назвать «Тихий Дон». Менее известна читателю, конечно же, дневниковая повесть белорусского писателя Максима Горецкого «На империалистической войне».

Но господствовали в литературе нашей в 20-е и 30-е годы другая тема и другие проблемы, которые, как уже отмечалось, рождены были пафосом революции и расцвеченной небывалыми страстями гражданской войны. (Это — и в «Тихом Доне», и в рассказах Бабеля, и в «Чапаеве», и в «Хождении по мукам», и в других известных произведениях).

Потом пришло время — десятилетия анализа Вот когда художественный опыт Барбюса, Ремарка, Хемингуэя, Олдингтона, Арнольда Цвейга и других европейских писателей-антимилитаристов стал для нашей литературы творчески интересен. (Нет, их много переводили, их читали, о них много писали, спорили и в прежние времена, но все это волновало больше критику, «теорию», нежели самоё художественную практику.)

В наше время (в 50-60-е годы) большой художественный опыт западноевропейской литературы в показе первой мировой войны оказался по-настоящему созвучен — беспощадной, безжалостной правдой изображения войны, человека на войне — и Бакланову («Пядь земли»), и Бондареву («Батальоны просят огня», «Последние залпы»), и Быкову, и Симонову, и Брылю («Птицы и гнезда») и др.

Критика сразу заметила определенную «переориентировку» военных прозаиков конца 50-х и 60-х годов в смысле «традиций». Зазвучали громкие упреки в «ремаркизме». Разгорелись споры об «окопной правде».

На первый взгляд, действительно — всего лишь «запоздалый ремаркизм». Но все было гораздо сложнее. И в отношении переориентировки на традиции — тоже.

Это был скорее новый, на новом витке, выход к общему источнику (общему и для Ремарка, и для Хемингуэя, и для Симонова, Бакланова, Богомолова, Гранина, Бондарева, Брыля, Быкова) — к Толстому. Еще раз мощно проявилась вечно обновляющая сила толстовской традиции — его «Севастопольских

рассказов» и «Войны и мира». Толстовская художественная мера, при которой правдивость и нравственность взаимообусловлены и неразделимы, уже не раз и не два за последнее столетие служила для многих литератур и писателей спасительной метой — для тех, кто отрывался от реальности или, наоборот, погружался в ее грязь «ниже человеческого уровня».

Само время, кажется, примирило: почти затихли спорящие голоса в критике вокруг «окопной» и «неокопной» правды, вокруг «карты-четырехверстки» и «глобуса». Примирение «окопа» и «ставки» произошло и в самой литературе — в произведениях более талантливых и в менее талантливых произведениях. Помирились, поладили на «синтезе» — слово найдено! Мы об этом уже говорили. И еще раз вернемся к этому в заключение разговора.

* * *

Толстой, толстовская литература открывали нам не только нас самих на войне (точнее, помогали открывать). «Война и мир» помогал увидеть также масштабы трагедии нашествия и творимого народом героизма — особенно в трудную годину битвы под Москвой.

Когда сводки с фронта были неутешительные, пугающие, не только мы, а и люди в других странах «прислушивались к обнадеживающему голосу автора «Войны и мира»... Двунадесять языков — было, отступление русских армий в глубь страны — было, Смоленск — было и даже Москва — тоже было, но потом был пожар Москвы, кружащая где-то в морозных просторах армия Кутузова, партизаны, устланная трупами голодная Смоленская дорога, страшная переправа через Березину, а там — разгром в собственной стране...

На карту первоначальных успехов, побед Гитлера в нашем сознании накладывалась карта тоже успехов, но и неизбежного поражения Наполеона — и ту и другую карты держал перед нашим взором, перед взором порабощенной Европы и мира Лев Толстой[1].

Когда Гитлер продвигался в глубь России со своею армией, «ей желали той же участи, какая постигла армию Наполеона»[2] вспоминает французский публицист Клод Руа. А немецкая писательница Анна Зегерс говорит: «В тяжелое, часто лично для меня опасное время, когда гитлеровская армия оккупировала Францию, во всем этом хаосе и смятенье, в заброшенности и

[1] А вот буквальное соответствие этому: новое издание романа Толстого, выпущенное в США в 1942 г., было снабжено картами военных действий и подсказывало аналогию между неудачей наполеоновского похода на Москву и разгромом немецкой фашистской армии (об этом см.: Григорьев А. Л. Русская литература в зарубежном литературоведении —Л., 1977, с. 35).

[2] Литературное наследство: Толстой и зарубежный мир, т. 75, кн. 1, с. 13.

беспомощности я испытывала глубокую потребность в классической, невыразимо целительной прозе Толстого»[1].

На оккупированных фашистами территориях Советского Союза, в частности в Белоруссии, война продолжалась с нарастающим ожесточением — партизанская война. Полумиллионная армия белорусских партизан и подпольщиков сражалась против стратегических тылов гитлеровских армий «Центр». На фронте и в советском тылу с восхищением следили за действиями партизанского «второго фронта». Но наш, из Белоруссии, взор, наши надежда, тревога, ожидание направлены были на восток — к Москве, Ленинграду, Сталинграду, Курску, где решались судьбы войны, судьба и белорусского народа, И чем больше свирепствовал враг, стремившийся разгромить русских (русских, белорусов, украинцев и др.) не только как государство, но и как народ — истребить целые народы, тем страшнее пылали сотни белорусских Хатыней (вместе с людьми сжигаемые деревни!), тем нужнее и целительнее для нас были уверенно-торжественные слова великого Толстого про «дубину народной войны», которая сокрушила нашествие Наполеона. Которая сокрушит и Гитлера — мы это прямо вычитывали у Толстого.

Если позволительно в качестве примера еще раз сослаться на собственную память и работу, то я скажу, что публицистические отступления «под Толстого» в романе «Война под крышами», хотя и писались, написаны, конечно, после войны, но как чувство возникли и жили в душе в первые недели, месяцы войны...

За стенами дома день и ночь гудит от немецких машин «варшавка» на 679-м километре от Москвы. В 100 метрах от дома — немецкая комендатура... Что-то непонятное произошло, ошеломившее, перевернувшее все представления и самоё жизнь. Фашисты уже под Москвой!.. Первое время они еще сообщали о своих продвижениях, и люди имели представление, где и что происходит. А к концу лета, к осени как бы и это заленились делать: так уверены, что победа их неизбежна?.. Именно в эти дни, недели с особенной жадностью и надеждой заново читал Толстого и вычитывал: двунадесять языков — было, враг под Москвой — было... И все как бы снова на место становилось.

«Война и мир» входил в сознание авторов будущих книг о Великой Отечественной 1941-1945-го по-разному.

Но так или иначе она присутствует и в «Минском направлении» белоруса Ивана Мележа, и в трилогии Константина Симонова, в «Горячем снеге» Юрия Бондарева, «Блокаде»

---

[1] Там же, с. 228.

Александра Чаковского, в романе Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом», в украинском романе «Человек и оружие» Олеся Гончара…

Любопытно и поучительно вычитывать в книгах этих и других писателей, как чувства, переживания военной поры обязательно вбирали и толстовский литературный опыт — даже если человек еще и не думал, и не мечтал о литературном призвании.

И все-таки особенно закономерным представляется нам то, что именно К. Симонов в своих романах с самого начала и особенно был сориентирован на опыт, на приемы, на интонацию толстовской эпопеи. В отличие от многих он прошел войну уже сложившимся писателем, а потому его романы о войне «помечены» Толстым не только заметно, но подчеркнуто, откровенно.

И все-таки эпопею об Отечественной войне первым взялся писать человек менее опытный в литературных делах (по-юношески смелый, видимо, оттого, что не сознавал всей сложности задачи). Им был Иван Мележ, автор «Минского направления».

Этому артиллеристу «не досталась» победная битва под Москвой, под Сталинградом, под Курском, а лишь горечь, и гнев, и отчаяние первых недель и месяцев отступления. Раненый, он на всю войну выбыл из строя задолго до всех победных событий и дел. Не пережил лично «Бородино», но «Аустерлица» хлебнул сполна. Писать же взялся именно о «Бородине» — о победном марше наших войск по Белоруссии в 1944 году (операция «Багратион», которая потом стала и темой завершающей книги симоновской трилогии). Иван Мележ осуществлял в 40-50-е годы смелый творческий замысел: показать в эпическом развороте фронт и тыл (партизанский) на центральном, на белорусском направлении, которое вначале было кинжально приставлено к нашему сердцу — Москве, а в конце войны — к Берлину.

«Минское направление» Ивана Мележа (наряду с романом Василия Гроссмана «За правое дело») было довольно успешным началом эпопейного изображения событий Великой Отечественной в послевоенное время. Но, конечно же, то, что писатель обошел в романе горький опыт начального периода войны (который был его собственным опытом), не могло не обеднить людские судьбы и картины завершающих побед — в столь панорамном произведении. (Лев Толстой когда-то напрямик писал об этом: без Аустерлица невозможно и Бородино понять и оценить!) Недостает «Минскому направлению» и того личностного, ничем другим не восполнимого начала, которого современный читатель ищет прежде всего — и в эпопеях также. И которое выработано было

именно «исповедальной» («окопной») литературой, а от нее перешло и в эпопею — уже в 60-е и 70-е годы[1].

Впрочем, сказанное здесь не одного лишь раннего романа И. Мележа касается. И последующее развитие романа-эпопеи об Отечественной войне совершалось и совершается не без потерь такого же рода, хотя они и появились уже после «исповедального» этапа. Достаточно сравнить роман «Берег» Ю. Бондарева с его же повестями «Батальоны...» и «Последние залпы», чтобы убедиться, что, обогащаясь в чем-то (широта захвата, выход к «общим» проблемам), военная проза этого рода все-таки теряет тот обжигающе точный нравственный «фокус», который был свойствен лучшим произведениям второй половины 50-х и 60-х годов.

Искусство (по Толстому) — это всегда и обязательно воспоминание. Человек плачет или смеется — это еще сама жизнь. Вспоминая, как мы плакали или смеялись, воспроизводя состояние горя или радости, мы вступаем уже в сферу искусства. Если литература — это обязательно воспоминание (о состояниях, мыслях, чувствах), то законы человеческой памяти будут как-то влиять и на эстетическом уровне.

Военную память, ее эволюцию Ремарк, например, рисовал так: выбравшийся, выползший из четырехлетних окопов солдат питает почти физическое отвращение к своей окопной памяти — он реалист беспощаднейший, тот солдат. Но проходят годы, и под мирным небом (да к тому же новые тяготы, заботы, пусть даже «мирные»!) солдатская память бледнеет, кровавое выцветает до розового. Солдат уже созрел для «военной романтики», готов морочить ею головы будущим жертвам будущей бойни.

Но ведь что-то похожее происходит и со многими авторами — с их памятью военной. Ненавидя войну, провозглашая по-прежнему свое к ней отвращение, начинают любить и лелеять... свою память о войне. Ласкать ее, свою память, «лейтенантскую», «партизанскую» — и вот уже розовое сочинительство сочится из-под пера вчерашних жестоких реалистов.

Это особенно заметно в произведениях эпопейного типа. Впрочем, и в повестях также — Бориса Васильева, например.

Но в эпопеях эта тенденция получает даже принципиальное объяснение, оправдание. Обнаружилась полемическая тенденция (наиболее последовательно реализуется она в романе И, Стаднюка «Война») рассматривать жанр эпопеи как своего рода «охлаждающее устройство» в нашей военной литературе.

[1] Кстати сказать, «Минское направление» было «разведкой» и для последующего творчества самого Мележа. Потом была «Полесскаи хроника» — выдающееся произведение белорусской и всей советской литературы, в котором «мысль народная» о судьбах крестьянства пронизана чувством сыновней, с каждой книгой все более щемящей любви к людям, краю, откуда выходил в жизнь, на войну, в творчество Иван Мележ.

Кратко суть этой тенденции (мысли, теории) сводится к тому, что эпопея изначально заключает в себе некое «гармонизирующее», утешительное начало.

То, что для индивидуума — конец всего, трагедия, то в более широком контексте, для целого народа — лишь страничка его бессмертной истории… И, дескать, одно дело повести о локальных событиях, ситуациях (Бакланова, Быкова, Гранина и др.) — в них нет настоящей высоты обзора, а потому столько трагизма, боли, жестокой остроты. Спасение от этих крайностей — в эпопее, которая, мол, сама все выравнивает, обязывает соблюдать «пропорции» и т. д.

И здесь тоже многое помогают нам уяснить Толстой и его великая эпопея.

Когда Лев Толстой писал «Войну и мир» — спустя полвека после войны 1812 года,—он мог (и «имел право») еще довольно «эпически» смотреть и рассуждать по поводу этого странного занятия людей — войн. Не висели они еще над человечеством — после каждой только что схлынувшей — ожиданием, кошмаром новой, еще большей, самоистребительной бойни. У Толстого уже все было: и бескомпромиссный антимилитаризм, и ожидание мировой войны с невиданными техническими усовершенствованиями человекоистребления (в начале XX века он об этом прямо предупреждал). С Толстого и началась истинная правда о человеке на войне. Все было у Толстого. Кроме этого, кроме одного: реально го знания, что следующая мировая будет и последней — если люди ей позволят быть. Что оборвется, прекратится сама история человечества — после еще одной. Нетрудно представить, с какой остротой и беспощадным, безжалостным обнажением причин и следствий всего, что есть война, убийство, смерть, пролитие крови, писал бы Лев Толстой в подобной, в нашей ситуации.

Возможно, и было это свойственно традиционной эпопее — стирать остроту и боль данного момента, растворять во временной перспективе. Мол, то, что конечно для индивидуума, то для народа, человечества — всего лишь страничка книги исторического бессмертия! Если это было характерно для «военной» эпопеи прежде, то сегодня — одно из двух: или она действительно анахронизм, потому что нравственно не обеспечена, или должна от чего-то отказаться и что-то новое приобрести.

От эпопейного, от широкого повествования о войне в современной ситуации можно и должно ждать пропорционально большей остроты и чувств, и мыслей, и трагизма. Как раз благодаря более широкому захвату фактов и глобальных проблем… Трагедия всегда питалась необратимостью гибели героя, человека.

Атомный век, возможность глобальной войны на место одного человека подставляют уже человечество. Так какое может быть «приглушение» трагизма в современной военной эпопее? Наоборот! Современная эпопея о войне тогда только и родится, очевидно, когда появятся произведения, в которых острота, боль, вся правда и-трагизм индивидуальной военной судьбы будут возведены к острейшим проблемам современного человечества, т. е. беспощадная правда войны в современной эпопее должна быть как раз углублена, помножена, возведена в степень, а отнюдь не ослаблена.

Никто, как Толстой,— с каждым годом жизни все более непримиримо и целеустремленно— не обнажал всю правду о войне, войнах.

Современное «прочтение» толстовской эпопеи нашей литературой, конечно же, еще впереди…

* * *

Из анкетных ответов белорусских прозаиков на вопрос: «Кто из писателей сопровождал, сопровождает Вас на творческом пути?»:

Иван Мележ: «В разные периоды жизни меня сопровождали разные писатели. Неизменно — Лев Толстой…»

Василь Быков: «У Толстого меня привлекает всеобъемлемость и глубина жизни, а также человечность…»

Янка Брыль: «Толстой и Чехов. Глубина общечеловеческого содержания и художественное совершенство. А также — это очень важно — их человеческий облик».

Такие признания, примеры можно множить и множить… И ничего нет удивительного, что величайший романист мира был и остается образцом для писателей Воистину, сам господь бог — реши он писать роман — делал бы это с оглядкой на Толстого. Да, писатели не только легко, но и с удовольствием признают толстовское влияние. Наивно было бы Думать, что всегда и в отношении любого «образца» так бывает у писателей.

Потому что Толстой — недосягаемый ни для кого образец. Вечный, как небо? И никому не обидно? Да, и потому.

Но и потому еще, что характер воздействия Толстого на больших писателей несколько иной, чем многих других художников слова — Достоевского, например.

Да, если бы любой писатель настолько приблизился в самом стиле к любому другому, как Фадеев в «Разгроме» к Толстому,— это было бы не больше, чем «чистописание по классическому образцу». В случае с «Разгромом» этого не произошло. Хотя помним, как в свое время критики, которые воевали за «литературу факта» и

против жанра романа, старательно выписывали колонки «схожих» цитат из «Разгрома» и рядом из Толстого. И все равно Фадеев оставался Фадеевым.

Иное случилось со многими даже значительными писателями в 20-е годы, кто неосторожно близко «прошел» возле столь же великой звезды — Достоевского. Притянула намертво. Это произошло (на какое-то время) и с нашим белорусским прозаиком М. Зарецким (повесть «Голый зверь», роман «Стежки-дорожки»).

Достоевский если забирает в плен другого художника, который попал в «поле притяжения», то забирает всего. В отличие от Толстого, который обогащает, но не стремится подчинить чужой талант. Приближение к стилю, к приемам Толстого обычно не лишает художника своего лица. В чем тут загадка? И разгадка в чем? Думается, что в характере мироощущения и самого стиля Толстого.

Достоевский гениально деформирует жизнь человека, чтобы показать изнанку вещей, обнаружить то, что спрятано от привычного глаза. Толстой и пылинки не стронет с места, он только принудит все изнутри засветиться — неожиданным светом беспощадной правды, рождения, любви…

Толстой учит так стать, так повернуться к жизни, что все выглядит только что созданным, возникшим из небытия. Человек остается один на один с природой, с людьми, с миром. Толстой покажет, а сам отступит назад. Достоевский уже не отступит, не «отстанет», ибо только в его присутствии Вселенную, человека мы видим так непривычно, так остро, самое нереальное выглядит правдой, а реальность — фантастически.

Один из оригинальнейших, крупнейших современных прозаиков Белоруссии Янка Брыль всю свою жизнь шел, идет, «краем глаза» захватывая, влюбленно, восхищенно, своего великого учителя — Толстого.

«…Родниково чистый океан бездонного творчества русского гения, тот родной океан, к которому и я припал — сыновнее спасибо тебе, не слишком ласковая доля! — еще на пороге юности, тот вечно свежий и неисчерпаемый океан, на берег которого часто прихожу и, наклонившись, черпаю сегодня»[1].

Прошел через войну, партизанщину, любовь и ненависть, сама жизнь, судьба родного народа дали Брылю великие уроки. Но осознать и сформулировать их — как главный итог! — помог все тот же Лев Николаевич Толстой, близкий и в юности, и в зрелые годы. В миниатюрах Янки Брыля «Горсть солнечных лучей» читаем:

[1] Брыль Я. Двойчы пра тое самае.— Зб. тв. У 4-х т. Мн 1968 Т. 4, с. 216

«Я могу ошибаться во многом, в жизни моей было немало меньших и больших ошибок, но одно я знаю твердо, выше всего и прежде всего — человечность.

Я верю в это всю свою жизнь, и только это осталось бы во мне, если бы пришло самое большое или последнее горе».

Широко известен переведенный на многие языки роман я. Брыля «Птицы и гнезда»[1] — правдивое лирическое повествование о «западнобелорусском» солдате разгромленной Гитлером польской армии, а затем советском партизане Алесе Руневиче, который, побывав в долгом плену в фашистской Германии, близко рассмотрел, познал отвратительную и зловещую комедию превращения «обыкновенных немцев» в тупиц-«сверхчеловеков».

Алесь Руневич — поэт в душе, он духовно активен, развит чтением (и особенно чтением Толстого, Чехова, Гоголя, белорусской и польской классики). Как и многие в условиях Западной Белоруссии, он избрал своим «учителем жизни» Льва Толстого. Всего Толстого, как писал в автобиографии Янка Брыль про самого себя,— «с непротивлением и вегетарианством». Алесь Руневич (тоже авторское) не из тех, однако, «толстовцев», которые не видели, не воспринимали Толстого-художника и Толстого-борца (действительно «всего Толстого»), а только узко понятую «проповедь» его. Для Брыля (и для его героя) в условиях Западной Белоруссии Лев Толстой был знаменем истинной культуры — человечной, гуманной, народной, культуры для простого рабочего человека. От которой белоруса, народные массы «кресов» (окраин панской Польши) всячески отгораживали пилсудчики, считая, что народная культура — прямой путь к «большевизму». «Через» Толстого к этой культуре прорывался Алесь Руневич. С его, великого художника, мощной поддержкой так когда-то белорусские поэты в условиях царской России) — к слову, к культуре на народном, на белорусском языке.

Перед глазами у героев Брыля фашистская Германия — то «одурение» и «озверение», та «культурная дикость», о чем когда-то писал, предупреждал Толстой. Он говорил о ницшеанстве и о милитаризме как о мракобесии, новых «средних веках» на основе бездушной техники, науки, на которую человек, каков он есть, «не имеет права» (статья «Одумайтесь!», работа «Царство божие внутри нас» и др.).

На глазах у Алеся Руневича немцы — вчера еще, казалось, люди — как оборотни, становятся нелюдьми. Неожиданно быстро.

«Старенькая, кажется, еще больше, чем всегда, забитая фрау Хаземан, стоя на пороге,— будто уже не хозяйка в доме — плакала.

[1] Начал работу над ним Я. Брыль еще в 1942-1943 гг.

И в плаче ее, и в словах звучала надежда, что они, пока всего лишь пленные, которых она — не правда ли? — и уважала, и о которых заботилась, как о своих, не дадут ее потом в обиду. И это потом — вот-вот оно, не через день, так через неделю. Ведь — Руслянд, таинственная и колоссальная, красная и грозная Руслянд!..

Она была не единственная, старуха Хаземан, она была для наших хлопцев лишь первой из немцев, которых — им казалось, всех! — охватили в те дни тревога и страх.

Несколько первых дней немецкое радио о событиях на востоке молчало.

Звучали призывы, марши.

И ни слова об успехах...

Рабочие на «Детаге», клиенты заводской кантины, прохожие на улице, покупатели и продавцы в магазинах, куда заходили Алесь с Андреем, жильцы дома Грубера — все немцы, с которыми пленные встречались,— либо угрюмо молчали, придавленные грозной неизвестностью, либо даже заискивали перед ними, невольниками, представителями той силы, которая там, на востоке, так невероятно небывало страшно решает и решит их судьбу...

Молчал даже плюгавый Вольф, широкоротый уродец, слепо влюбленный в фюрера. Молчал, оторопело тараща слезливые глазки, и работать стал потише...

Пыталась подольститься к «энтляссенам» сама богиня пива и снеди — могучая усатая фрау Ирмгард. Однажды она, неспособная согнуться от жира, без особой опаски, молча, лишь с улыбкой, подняла навстречу Руневичу и Мозольку маленький боевой кулак: «Рот Фронт!..»

В те дни они, невольники, ходили исполненные огромной затаенной радости, именинниками.

— Хлопцы, нам пока надо молчать,— говорил Крушина,—Мы покуда в их руках, на нас у них силы хватит. Гляди в оба и будь начеку!..

Ужас обрушился на души пленных нежданно.

После нескольких дней молчания, как выяснилось — чтоб накалить атмосферу, радио грохнуло ошеломляющим триумфом:

«Все атаки русских отбиты! Немецкие войска перешли в наступление!..»

В доказательство — названия захваченных городов. Невероятно! Брест, Белосток, Минск, Львов, Каунас...

В доказательство — черные стрелки на картах, что бьют в глаза с каждой сводкой глубже и глубже...

В доказательство — кадры кинохроники». (Перевод здесь и дальше А. Островского.— А. А.).

«А дальше поперло уже и что-то совсем животное, наглое, прусское, похоже, что вскормленное давно:

...В кинозале — молодой животный хохот зрителей, простодушное почмокивание разочарованных, тех, что недавно мысленно сжимали кулак в ротфронтовском приветствии.

А в душах невольников — боль и растерянность...

И приходилось молчать, когда, выходя из кино или прослушав очередную сводку, к тебе обращались немцы:

— Ну как? Нравится?..

Те самые немцы, что недавно радовались смерти поляков, французов, англичан, югославов, арабов, негров, что радуются теперь — еще больше! — смерти твоих соотечественников, и рады были бы, конечно, и твоей погибели, знай они, что у тебя в мыслях.

Да и так уж обращались к тебе не по-прежнему — сдержанно из-за договора,— а почти как к врагу, такому же, как те, что бегут там на восток, бегут, разутые, по нивам — «к Москве, которая будет — хайль Гитлер! — взята буквально на днях...»

«А потом — совсем уж новость!..

Здоровенький фельдфебель, мордастый, усатый,— именно тот, на котором, по Бисмарку, держался еще «первый рейх»,— с неполной кружкой в руке, взгромоздился в сапогах на стол, зашагал... Остановившись, разинув усатую, хищнозубую пасть, захохотал почти так же, как пан Рогальский. Насчет той же папахи, разумеется, что уже отлетела за Днепр, от той же, только покрепче, радости! Апофеоз этой радости был и вовсе неожиданный. Верзила расстегнул штаны... и, пригнувшись, стал кропить вокруг себя — на кружки с пивом, на людей,— уже не смеясь, сосредоточенно, грозно, воинственно. А пьяный сброд визжал от радости, ревел, хохотал. О, либер Дойчлянд — юбер аллее!..»

Что за механизм такой в людях срабатывает? И такой безотказный! На какие же «клавиши» он давит в человеческой душе? И что нужно человеку, чтобы этому противостоять?

Мы помним, что об этом мучительно раздумывал другой пленный — Пьер Безухов (например, в известной сцене расстрела французами «поджигателей»).

И снова, как в случае с Максимом Горецким, с другими «военными» писателями, которые «свою» войну открывали, уже побывав с Толстым на «его» войне,— снова Толстой помогает писателю, уже Янке Брылю, задуматься над тем, что он видел, пережил. Не за писательским столом, а и гораздо раньше — в дни плена, штрафных лагерей, побегов из плена... Там, тогда думалось, чувствовалось, переживалось все это под влиянием самой реальности, беспощадной, страшной, сложной. Но и Толстой при

этом «присутствовал», и его присутствие многое определяло: и дополнительную зоркость будущего автора романа об этих событиях, и его способность задуматься над многим, над чем другие не раздумывали («вся земля — один дом» и т. п.). Благодаря тому, что сам Брыль прошел жизненный, духовный путь, схожий с путем его героя, и Толстой был с ним «там», а не только после, за письменным столом, благодаря этому, думается, Янка Брыль избежал в романе чисто литературного, всегда рискованного параллелизма. Был, подстерегал писателя соблазн (кое-где в публицистике романа есть тому свидетельство): сделать из Руневича Пьера Безухова наоборот. Ведь начинал Руневич свой крестный путь в плену если не с «каратаевщины», то все же с больших иллюзий относительно того, что и невольник свободен, если он человек духа. Это, конечно, не жутковато-веселое безуховское: «В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!..», но где-то рядом, близко. Пьер Безухов к этому пришел потом, а начинал с героических мечтаний (убить «тирана», освободить мир от Наполеона).

Алесь же Руневич от прекраснодушных мечтаний о «братстве людей» перешел в стан активных борцов против фашистской тирании.

«Такого не проймеш духовным превосходством — думает теперь Руневич,— Здесь, среди нас, он был бы смешон и жалок, твой юношеский пацифизм».

«Крушина посмотрел на Руневича долгим взглядом.

— Милый мой хлопче,— заговорил он без всякой иронии,— кто из них, великих, сказал, не Словацкий ли: «Не час жаловаць руж, гды плонон лясы»?[1]

Твою гуманность придется на время отставить. Если хочешь, как раз во имя ее, за Человека, мы и будем драться насмерть!.. Это ж не просто война, а такая, каких еще не было. Война света и тьмы, смерти и жизни. Мы будем воевать с фашизмом, а не с немцами... Да что мне тебя — агитировать?..»

Как эти мысли, выводы ни важны в романе, они все-таки не главная глубина, возникающая из творческого взаимодействия с толстовской традицией.

На глубине — не публицистический, а истинно художественный результат, и определяется он не внешними параллелями (Безухов — Руневич), а той огромной работой духа, нравственного чувства, к которой нас подключают автор и его роман.

---

[1] Не время жалеть розы, когда пылают леса (польск.).

Фашизм — слишком большое и откровенное зло, чтобы долго мог задержаться на проблеме «бороться — не бороться» такой человек, как Руневич. И не «отговаривает» его Толстой от этого. Совсем наоборот. Именно нравственная чистота Алеся Руневича, его неприятие жестокости, бесчеловечности, бездуховной тупости — все, что так сродни Толстому,— делает героя романа Брыля врагом фашизма не только по идеалам, но и по изначальному чувству, здоровому человеческому чутью.

Роман «Птицы и гнезда» — это, может быть, первое пока произведение в советской литературе, где «обыкновенный фашизм» изображен столь широко и во временном развитии. Жизнь пленного солдата-белоруса в условиях 1939-1942 годов предоставила Я. Брылю возможность видеть Германию Гитлера по обе стороны колючей проволоки. (У тех, кто попал в плен после нападения Германии на Советский Союз, такой возможности уже не было.) «Привилегию» многое видеть, запоминать, оценивать будущий автор романа «Птицы и гнезда» использовал в полную силу.

Возле, вокруг был «целый интернационал» из немцев (людей и нелюдей) и тех, кого они «полонили»: от французов, англичан, голландцев до марокканцев, негров. Ну и, конечно, белорусы, поляки, русские... Не только человеки, но и как бы человечество проходило перед глазами, в которых с юношеских лет «поселился» Толстой. И он (из глубины зрения и памяти) многое, очень многое подсказывает молодому белорусскому хлопцу, помогая лучше видеть, честнее чувствовать, не терять веру в человека и в человечность даже в тех условиях.

«Так ну же вас к дьяволу, кричите! Мой мир — моя вера, надежда, любовь — со мной. И я вернусь за стену, которой вам не пробить, сколько вы ни бушуйте. Орите,— мы уже попривыкали к этим страхам... Мы уже неплохо умеем разбираться, где немец, где фашист, где вечное, народное, а где такое, как вот этот дикий крик...»

«Как хорошо,— думал пленный, тихо, лесом пробираясь напрямик,— как радостно, что и здесь, за многие сотни километров от родного гнезда, после всех издевательств, среди опасностей можно все-таки думать, что мир, как говорит народная мудрость,— один дом. Вспоминать везде одинаково милых детей, раздумывать о скромном как будто, однако же самом трезвом, глубоком и близком к вечности разуме трудящегося простого человека».

«Их хабе кайне шульд... Ям не винна, панове»,— звучали в ушах его слова, а глаза девочки глядели в душу до слез доверчиво и огорченно. Говорили так необъятно много и так, кажется,

небывало ясно о том, что все это дикая нелепица — вековая взаимная ненависть народов Один из них дошел уже, к примеру, до того, что объявил фашиста «сверхчеловеком», а другой все держится ветхой присказки: «Як свят святэм, не бэндзе немец полЯ. кови братэм». И неправда! — как говорят дети: ведь вот польский батрак полюбил немецкую батрачку, и любовь их украсила землю таким милым, разумным существом как Стася…»

«Только как же тебе, звездочка, тяжко гореть, как тебе тяжко светить — сегодня, во мраке фашистской ночи!..»

Это зрение — не потом «подправленное», как в иных современных романах и кинофильмах о войне и немцах Оно из войны, из огня борьбы и ненависти вынесено таким — благодаря Толстому. Тут уж определенно И мы это легко чувствуем на многих страницах романа.

«Крамольный листок из блокнота он старательно разорвал на мелкие кусочки, встал, подумал, куда их девать, подошел к речушке и широким взмахом кинул в быструю воду.

— Ну, мальчик, давай косить дальше.

Это про бунт в душе.

Что же до перепуга, то об этом всего красноречивее говорило отношение герра Ракова к местному шуцману, полицейскому.

Какой там ни город Кассов, но порядок в нем был городской: в центре, на перекрестке, стоял регулировщик.

Как по стандарту — здоровенный и пузатый, пряжка ремня едва на пупе держится, в надменно-суровом шлеме «пикельгауб», герр шуцман, которого все живое знало здесь по имени и фамилии, возвышался на площади неумолимым и неприступным воплощением правопорядка.

Встреча с этим богом с глазу на глаз для герра Ракова проходила таким образом: еще издалека, пересев на самый краешек повозки, он отводил левую руку и держал ее семафором, показывая, куда должен свернуть. До поворота еще метров сто, улица по-деревенски пустынна, а сухая старческая рука в сером плохоньком рукаве дрожит, подергивается в неудобном положении, однако и не думает опускаться. И только на повороте рука эта получала заслуженный отдых, забирала вожжи из правой, а та в свою очередь подымалась в приветственном «хайль Гитлер».

Выполнив весь этот обряд, старый батрак, казалось пленному, на глазах сбрасывал общее, обязательное для всех парадное ярмо, и в блекло-серых глазах его оставались лишь неизбывная скорбь да испуг, за которыми — можно было подумать — ни смелой мысли, ни здорового смеха:

«Чем он пришиблен? Кто и за что его так крепко стукнул? И почему он так льнет ко мне?» — часто думал Алесь.

...Алесь поднял голову, внимательно прислушался и услышал:

— Рожь начали жать.

— Ага. Вон жнейка. Я вижу.

— А красиво-то как, мальчик, видишь? Германия красивая, большая, о! А в двадцать седьмом году, помню я...

— Ага,— кивнул головой Алесь.

Но и сам рассказчик, продолжая бубнить, снова повернулся к лошадям, будто полностью уже раскрыл душу.

А пленный подумал сперва:

«Она, дядька, и правда, красивая и большая. И ты, как дитя, восхищаешься ею от чистого сердца, хотя она тебе даже грядки одной не дала. За твою работящую, человечную, кроткую непритязательность...»

Потом в Алесеву душу новым порывом целительной свежести дохнуло насущное, самое важное.

«Она хороша, но зачем она мне такая, как сейчас? — вернулся естественный вопрос с еще большей, чем до сих пор, силой,— И люди и нелюди —зачем вы мне все: чтоб быть у вас рабом? Нет!..»

И он задумался о другой, о далекой, родной красоте...»

Да, влияние, воздействие Толстого —ь это не указка учителя, а дополнительный свет, мощный прожектор, который направлен не на стол писателя, не на лист бумаги, что перед ним, а на самоё реальность, на жизнь, на человека, куда смотрит сидящий над бумагой автор.

Толстой не столько писать учит, помогает, сколько учит видеть — это самое главное и самое ценное.

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПАМЯТЬ, ПРАВДА НАРОДНАЯ О ВОЙНЕ И О МИРЕ

Помню, приезжали к нам в Белоруссию, в Институт литературы им. Я. Купалы, коллеги-литературоведы, критики, и произошел жесткий разговор, спор: а каков он, эстетический результат тех общественных, идеологических перемен и сдвигов, которые принято связывать с XX и XXIII съездами партии? (Но которые, конечно же, подготовлены были и совершались — пусть и с некоторой задержкой — в результате общего подъема народного самосознания после победоносного завершения самой тяжелой из войн.)

Для меня лично тот откровенный разговор, спор служил (и сегодня служит) сильным резонатором, многое проясняющим, усиливающим, когда я читал в последующие годы многочисленные дискуссии на страницах «Вопросов литературы», «Литературной

газеты», «Контекста», «Литературного обозрения» и т. д., в которых пересматривались факты и оценки славянофильского движения и наследия революционеров-демократов, роль и место многих деятелей антидемократического лагеря, таких, как Константин Леонтьев Победоносцев, а также — Николай I, Аракчеев, Булгарин, и многое иное.

За всеми «чисто литературоведческими» сложностями и изысками мне слышится ясное и откровенное: лишь «русский холод», «морозец» полезны для нас, для здоровья литературы, и вредна, бесплодна русская и всякая иная «оттепель»!

Расцвет русской литературы в 20-е и 30-е годы обоих столетий, многозначительно настаивают авторы многочисленных статей, наблюдался отнюдь не в условиях «оттепели». Плавать здоровее в прохладной, а не в сильно подогретой воде и т. д. и т. п.

Конечно, можно сослаться и на Ибсена, который будто бы завидовал тому, как трудно жилось-писалось русским классикам. Есть примеры и более свежие: Жан Поль Сартр даже ощутил тоску по культурной революции китайского образца. Что ж, и киты выбрасываются на сушу по непонятным нам причинам и побуждениям. Про китов не скажем, а про некоторых западных интеллигентов так и просится грубое: с жиру либерального бесятся! Вам бы действительно немножко «китайского опыта» под кожу!

А вот нам, все испытавшим, все познавшим, нам ли спорить о преимуществах тех норм, идеологических и нравственных, которые стали утверждаться после 1956 года? Спор тем не менее нарастал. И сегодня длится. Простецки обывательское: «цены снижались каждый апрель» и утонченно интеллигентское: «зато была здоровая литература» — вполне созвучны, стыкуются. Какой ценой достигалось то и другое, их не интересует — ни тех, ни других, забыли начисто. И ничего хорошего в современной жизни и литературе 60-70-х годов замечать не хотят. Принципиально.

Помню, как смутился критик, когда его спросили: «А все же, хоть кого-то, что-то стоящее можете назвать в литературе после 1956 года?»

После сердитого размышления: повесть Курочкина «На войне, как на войне»!.. И все, и ничего больше, оказывается, не было, не появлялось. Ни «Жестокости», ни «Федора Кузькина», ни «На Иртыше», ни стихов, поэм Твардовского, Кулешова, ни «военной» прозы Быкова, Бондарева, Константина Воробьева, ни «Степных баллад» Друцэ, «Прощай, Гюльсары» Айтматова, «Людей на болоте» Мележа, ни «Пряслиных» Абрамова...

* * *

Большая, а в каких-то случаях и великая литература сформировалась за эти годы — конец 50-х — 70-е. И именно на путях «потепления», а не «заморозков» — на единственно благоприятном для литературы гуманистическом пути развития.

Мы не смешиваем здесь разные вещи: внешнюю обстановку (общественную) и внутренние тенденции развития (литературного). То и другое не обязательно совпадают. Потому-то и мог в николаевские времена возникнуть феномен пушкинской поэзии, но не благодаря «обстановке», а вопреки ей, отрицая ее, зовя новую зарю, согреваясь и просветляясь надеждой... Зато в статьях некоторых критиков 70-х годов мы обнаруживаем не только выведение Пушкина из «времени Николая» (и едва ли не из «аракчеевского»), но и попытки не гуманизм, а «жестокость» сделать знаменем самой литературы. Нет, не «жестокий реализм», «жестокую правду», о чем мы спорить не стали бы, а именно жестокость по отношению к людям, человеку.

А один исследователь даже в «Тихом Доне» вычитал классический пример и увидел пользу подобной жестокости. Которая, мол, созвучна жестокости самой истории, орудующей железом, а не мягким венчиком. История, опа такая! Но при чем здесь «Тихий Дон» — может быть, самый «сострадающий» из всех романов мировой литературы, по-народному в голос жалеющий человека, с которым история вот так обходится?!

Нет, никому и никогда не удавалось и не удастся доказать, что большая литература способна родиться из идеализации «николаевщины», из восстановления жестокости и бюрократического холода. И не только в чувствах наших дело — кто и когда считался всерьез с чувствами, тем более что их можно и повернуть так, что и Фаддея Булгарина вдруг жалко станет (как стало его жалко одному из авторов журнала «Молодая гвардия»),— не в чувствах, а в фактах загвоздка для авторов таких статей и теорий. А факты — это литература, произведения... Но вот «деревенская» проза! Да, именно на нее сегодня опереться, в нее обрядиться пытается теория, ходившая до сих пор нагишом. Даже кое-чем поступиться готова ради столь выигрышного наряда. Например, пафосом казенной жестокости. Ибо как ее совместишь — жестокость к человеку — с гуманнейшим миром Абрамова, Белова, Можаева, Астафьева, Шукшина или Распутина?

Нет, не сойдутся и тут концы с концами у теоретиков «холода», «заморозков». Слишком очевидно, что и «деревенская» литература — результат все того же развития, начавшегося в 50—60-е годы. И, может быть, самый закономерный и глубинный результат процесса углубления гуманистических, духовных начал нашей жизни и литературы.

Что-что, по только не «деревню» можно подверстать под изощренную теорию «благотворной жестокости», приспособить к ней. И сейчас мы испытываем и вынуждены преодолевать последствия безоглядной скоропалительности, диктовавшейся «железной волей» одного человека. И, может, нигде это так не заметно, как в деревне Нечерноземья, с которой как раз и имеет дело русская «деревенская» проза...

От нелегкой жизни — на что, на кого опереться?! — ищут теоретики «заморозков» своих будто бы союзников в литературе, родившейся и расцветшей как раз на «оттепели».

Ну, да мы слишком много об очевидном.

* * *

Большая, а в каких-то случаях великая художественная литература выросла за последнюю четверть века. И новая во многих отношениях. Не на пустом месте: классика (в том числе и советская классика) помогала ей набирать силу, обретать глубину. Не на пустом месте, но и не из попятного движения, а из той плодотворной и новой тенденции общественного развития, которая работой партии и народа закреплялась все эти десятилетия.

Литература возникает из пережитого. Самим автором и народом его пережитого. Такова уж природа искусства. Незачем искать изощренные объяснения, почему да как может родиться великая литература в аракчеевские времена. Объяснение именно в этом: пережитое, особенно если с народом, с миллионами людей пережитое,— вот почва и одновременно материал большой литературы.

Среди бесчисленных сюжетов научно-фантастической литературы возможен и такой. Вообразим себе, что вопреки пессимизму нашего великолепного астрофизика И. С. Шкловского Млечный Путь нашпигован «мыслящими планетами» — сверхкибернетическими цивилизациями, на фоне которых наша земная цивилизация выглядит обидно до слез сермяжной («шарачковой», как говорили о старой белорусской деревне). Те, другие, следящие за нами глазищами «летающих тарелок», давно могли бы сверхцивилизовать и планету землян, попутно избавив их от войн и тиранов. Тем более что под своей, мантией старушка Земля прячет нужные позарез драгоценнейшие минералы, металлы... Но такая колонизация не прельстила инопланетян. Минералы они добудут и на других небесных телах, а с этой планеты, самой для счастья не оборудованной, а потому и самой мечтательной при всей ее жестокости и нерадушности, они получают, вывозят то, чего не производят сами, давно не

производят — «варварское», «дисгармоническое искусство»: трагедии Шекспира, романы Достоевского и Кафки, философские труды Шопенгауэра, картины Пикассо и т. п. (Картины они подменяют копиями и навлекают этим обидное подозрение на хранителей и директоров музеев.)

Все есть у сверхцивилизованных инопланетян, а этого нет: пронизанного вселенской болью за все живое и сущее искусства. Их планеты давно, слава богу, высушены от слез и крови. Одна лишь осталась «от коры до центра» (Достоевский) кровью и слезами пропитавшаяся — планета Земля. Ее они и держат, сохраняют, как заповедник, не решаясь нарушить естественный ход развития, пусть жестокий, пусть варварский во многих отношениях, но рождающий Шекспиров и Достоевских, Бетховенов и Толстых.

Но ведь и нас самих могут посещать эгоистические чувства и жестокосердные расчеты, подстать тем, какими руководствуются нафантазированные инопланетяне. Троянская война, гибель Трои — конечно же, это было бедствие для тысяч и тысяч женщин, детей, жителей города, окружающих поселений да и самих солдат, умирающих, искалеченных. Но потом ведь родилась «Илиада» — нет, пустовато было бы без нее у истоков мировой литературы! А «новая Илиада», как называли «Войну и мир» при ее появлении! Тут уж нам действительно могли бы позавидовать и сверхцивилизованные... Но мы-то, земляне, своей кровью и муками своими оплачиваем будущие шедевры. И получают их как раз новые поколения, а не те, что проходят по колено в крови через огонь.

Все это и печально и верно, но ведь и этим, все испытавшим поколениям, некто тоже покинул и боль свою, и красоту. А у следующих за нами свои будут испытания, и кто знает, какие! Так что все и всем обязаны, все друг другу задолжали, хотя одни больше, а другие, может быть, меньше. Общий путь у человечества — и уже это счастье, если на каком-то историческом или географическом отрезке он не пустой позади. А не пустой он, если вехи остаются, остались —от общества, от народа, от эпохи. Разные бывают вехи, и многим мы поклониться готовы. Но все же самые нетленные, долговременные из них — великие произведения искусства. Нет, не нам, людям, желать себе и другим новых и новых испытаний — ради новых шедевров! Но уж коли есть, были, ждут людей испытания, так пусть, по крайней мере, не постигнет никого историческая судьба греческого племени сибаритов, от которых остался... ночной горшок. Ночной горшок и ничего больше — от всей их истории, забот и терзаний!

Закруглим эти наши рассуждения великолепными словами Александра Твардовского, прозвучавшими с трибуны XXI съезда партии:

«Подтверждать и закреплять действительность — не слишком ли много берет на себя литература? Нет, она берет на себя как раз ту функцию, которая свойственна и принадлежит ей по праву, как и всякому другому искусству…

Разве война и победа русского оружия в 1812 году означала бы столько для национального патриотического самосознания русских людей, если бы они знали о ней только по учебникам истории и даже многотомным ученым трудам, если бы, Допустим на минуту, не было гениального творения Толстого «Война и мир», отразившего этот исторический момент в жизни страны, показавшего в незабываемых по своей силе образах величие народного подвига тех лет?..

То же самое можно сказать о литературе, которую вызвал к жизни беспримерный подвиг советских народов в Отечественной войне 1941-1945 годов. Он подтвержден И закреплен в нашем сознании, в том числе в сознании самих непосредственных носителей этого подвига, средствами правдивого художественного слова.

Да, литература подтверждает и утверждает действительность, достоверность великих свершений своего времени, и в этом именно смысле возрастает ее незаменимая роль в свете тех предначертаний нашего победного продвижения вперед, к коммунизму, какие дает XXI съезд нашей партии.

Но литература, как и другие искусства, способна подтверждать только то, что не является навязанным жизни извне, а что составляет ее существо и правду, органическое и закономерное следствие ее поступательного движения. В иных случаях она не в силах этого сделать. Скажем, гитлеровская пропаганда античеловеческих фашистских идей не могла и не смогла вызвать к жизни ни одного сколько-нибудь значительного произведения искусства»[1]

* * *

То испытать и то пережить, что выпало на долю наших народов, принявших на себя главную, может быть, историческую ношу XX века,— это значит и понять многое, очень многое о себе, о человеке, о человечестве.

Француз Камю сделал пьесу по «Бесам» Достоевского. Пьесу на этом же «материале» написал и Юрий Корякин. Не будем

---

[1] Твардовский А. Т. Собр. соч. В 5-ти т.—М., 1971 Т 5 с 277—279.

сравнивать таланты, но, именно зная силу таланта нобелевского лауреата Альбера Камю, не можешь не поражаться, насколько он книжен в своей интерпретации Достоевского, как ему трудно дается живое, реальное понимание того, что без усилий постигает Юрий Корякин,— масштабы пророческой силы и даль мысли автора «Бесов». Впрочем, Корякину помогает и само время — уже наше время, когда стало особенно очевидно, что левый экстремизм в открытую смыкается с империализмом — на маоистской основе.

Но как это важно и как много значит для писателя — исторический опыт его народа. Через него художник лучше понимает (а если опыт недостаточен, то не понимает) также и другие народы. (Как мы через себя, через свой внутренний мир проникаем в миры других людей.) К. Симонов справедливо говорил: расспрашивайте и записывайте народ, если хотите знать всю правду об Отечественной войне! Спросите свой народ! Но и чужой спрашивайте, добавим мы. Потому что свой опыт неизбежно односторонен.

На международной встрече писателей «военной» темы, которая проходила в Москве в 1975 году, где в центре стояла гуманистическая проблема: ответственность художника за судьбы своего народа и всего человечества, выступил американский писатель Р. Крайтон и посетовал, что советская литература о войне ни в чем не знает меры. «Монументальные памятники в городах-героях и ваша литература о минувшей войне, видимо, заменяют вам религию»,— сказал он. Говорил это писатель прогрессивных взглядов, известный в Америке «смутьян» — борец против вьетнамской войны. Но наши чувства и нашу память о войне ему было не понять. Да и невозможно это, очевидно, понять до конца, если твой народ жил далеко от полей сражения. Или видел не совсем ту войну[1]. Другой американец, побывавший в Хатыни, сам об этом сказал. Слова его мы уже приводили в книге «Я из огненной деревни»:

«Трудно почувствовать полностью глубину мучений другого, если сам не узнал беспредельность трагедии. Я пришел к выводу, что данные о тяжких испытаниях Белоруссии выходят за пределы моей способности постичь и осознать трагическое. Четвертая часть ее населения убита, и восемьдесят процентов ее территории превращено в пепел. Как представить такое? Это было бы подобно трудно вообразимой картине: более пятидесяти миллионов американцев убито и вся наша страна разрушена, за исключением ее восточного побережья»[2].

---

[1] Во время выступлений в ФРГ, где мы читали и рассказывали о наших Хатынях, голландская писательница нас упрекнула: «Мы тоже воевали, но о войне уже почти не пишем. Ведь тридцать лет прошло!»
[2] Литературная Россия, 1972, 22 дек.

«Новый мир» в 1979 году опубликовал роман Германа Канта «Остановка в пути» — произведение немецкой литературы на редкость глубокое и точное по нравственному чувству. Немцу нелегко честно писать об этой странице истории своего народа — о второй мировой войне. Но Герман Кант умеет правду поставить превыше всего — над любыми чувствами и предрассудками. Впрочем, он не склонен считаться с чувствами (если они ложные) многих из своих земляков. Это Герман Кант написал в газете «Нойес Дойчланд» (а «Литературная газета» перепечатала):

«Знаю, знаю, у всех у нас есть родственники, которые время от времени рассказывают нам, что помогали пленным, невзирая ни на какие препятствия, и что наши отцы были сама доброта, когда этого никто не видел

Я не подвергаю сомнению то или иное доброе дело той или иной доброй тети, и я знаю, что среди наших отцов были и такие, что вели себя смело. Я хочу только напомнить, что необходимо было сверхмужество, чтобы перевязать истекающего кровью человека, если этот человек был родом из Киева или из Ленинграда. И подобное мужество встречалось отнюдь не так часто, как хотелось бы верить, слушая нынче рассказы родственников»[1].

Не знаю, читал ли Герман Кант «Нагрудный знак «Ост» В. Семина, где рассказана правда о немецком населении, как ее знают, помнят бывшие пленные Советские военнопленные, которые за полгода лишь один раз нашли на столбике кем-то из немцев положенную для них конфетку. Если и не читал эту книгу, то, безусловно многое другое читал, знает Герман Кант и потому не склонен очень уж доверять запоздалой памяти «родственников»[2].

Да, конфетка та многого стоит — в условиях фашистского озверения и одурения. Она как апокрифическая луковица для грешника, которую он когда-то подал страждущему и за которую вцепился, держится, чтобы его вытащили из адской смолы. И выбрался бы, спасся, если бы не повисли на нем гроздью другие, кто никому не подал даже луковицы...

Большое достижение и много значит для национальной литературы — уметь слушать свой народ, подключаться к его памяти. Но в сегодняшнем мире особенно важно еще и другое — умение слышать голоса соседей, другие народы, их память и

---

[1] Кант Г. История и предыстория,—Литературная газета 1979 19 сент.

[2] В интервью, напечатанном в «Вопросах литературы» (1979, № 10), Герман Кант сказал: «Говоря об этой воображаемой библиотеке, которая послужила предпосылкой для того, чтобы я мог написать «Остановку в пути», я имел в виду, разумеется, всю литературу о второй мировой войне, среди которой для меня, что вполне логично, особую роль играет советская и польская» (с. 190).
И еще — там же: «...многое в моей книге не лишено полемичности, хотя, может быть, я сейчас эту намеренную полемичность и преувеличиваю, В сознании многих наших людей, особенно молодых фашизм стал почти сугубо западногерманским делом,,.» (с. 196).

исторический опыт. И это дается непросто, нелегко людям. И литературам тоже.

Среди неизжитых и опаснейших противоречий и проблем века — все тот же старый шовинизм и агрессивный национализм, сегодня маскирующиеся, охотно рядящиеся и в «социалистические» одежды. (Чем не пренебрегал, кстати, даже германский нацизм.) Не кто иной, как Толстой, назвал национализм и шовинизм, прикрываемые «патриотизмом», «последним прибежищем негодяев». Не из-за этого ли укрытия выскакивают и набрасываются — снова и снова! — на людей новые и новые убийцы. А стены укрытия, убежища, за которыми прячутся бывшие и копятся будущие убийцы народов,— из чего они сложены, возводятся? Не из предрассудков ли и честных людей, их беспамятства и неспособности хотя бы иногда посмотреть на самих себя глазами соседей, со стороны? Все перед всеми всегда правы! А кто же обидчики? Только не мы! Как-то пришлось беседовать с одним турецким журналистом, и он очень недоумевал, что «немцы могли такое творить, о чем вы написали». (Он прочел опубликованные «Октябрем» наши документальные рассказы о зверствах нацистов в Белоруссии.) Человек недоумевал, расспрашивал, а меня мучило другое: ведь он совершенно искренне не помнит, забыл ту страницу истории, которая миру известна как «армянская трагедия»! А забыл, не помнит потому, что память эта неприятна ему...

Осенью 1978 года мы, небольшая они а литераторов, «связанных с кино», побывали в ФРГ по приглашению писательской организации «Когге». Встречались с читательской и зрительской аудиторией, с писателями и студентами, бывали дома у добрых и гостеприимных людей — в Миндене, Ерлангене, Нюрнберге, Мюнхене. В общем и впечатления от людей, нас принимавших, самые хорошие, а беседы, даже споры — потому что и мы не стеснялись говорить, рассказывать, например, о наших Хатынях,— все проходило без предвзятости, с желанием услышать друг друга. И та застольная историйка, о которой я хочу рассказать, не была каким-то вызовом или желанием оскорбить чьи-то чувства — ничего подобного! Она тем и поучительна, что люди, вполне доброжелательные, продемонстрировали и обнаружили, как это непросто, нелегко порой бывает — друг друга услышать и понять. Валентин Ежов заговорил о том, что в ГДР будет ставиться немецко-советский фильм, где рассказывается о берлинском мальчике: его глазами — агония столицы фашистского рейха и т. д. И о удача! Один из наших гостеприимных хозяев — как раз такой бывший берлинский мальчик!..

Что, как вы помните? — нам, конечно, любопытно. С братиками и сестричками, с матерью сидели в подвале, а все рушилось, дым, пламя... И вдруг дверь распахнулась: на пороге солдат с автоматом и в ушанке! (Бог его знает, может, и был в ушанке? А может, потому, что в ужасе ждали такого: по плакатам!) Вошел, ничего, и вдруг вскинул автомат и застрочил.

— По вас?

— По портрету. Отца портрет.

Сказал об отце, и на глазах слезы, голос пресекся. Неушедшая детская или уже взрослая обида... За отца, за портрет? Или за пережитый испуг?

Я не выдержал — все-таки белорус!

— Не по детям, а по портрету?

— Да...

— В мундире был? Отец ваш.

— Да, конечно...

— А вы не подумали — не тогда, сейчас,— что где-то в Белоруссии или на Украине такой вот в мундире тоже прострочил — но не по фотографии, а по живым детям? И это могли быть дети того солдата в ушанке.

— Мой отец?!

Было, конечно, но чтобы «мой отец»!.. А чьи же отцы и руки это натворили?[1]

Как это нелегко, непросто человеку выйти за границы своего и своего народа опыта, чтобы совместно с другими искать выхода из «лабиринта тысячелетий», но не по-ницшеански, не с ножом в зубах искать, а по-человечески.

Взгляд народа на самого себя со стороны — глазами близких и дальних соседей — что и говорить, нелегкая и не очень привычная для национальных литератур проблема. Еще Гёте об этом говорил, и он подчеркивал, что будет очень полезно, «если мир заставит нас задуматься о самих себе».

Это не одних немцев касается. Естественно. Но в Европе, по-видимому, в первую очередь немцев — после того, как они позволили милитаристским силам превратить детей Германии в

---

[1] Этот добрый немец до сих пор не смог установить связи между «причинами» и «следствиями» многих вещей и поступков, которые имели место в годы войны и после войны. Именно такие связи устанавливать немцам помогает литература, которую делают Герман Кант, Зигфрид Ленц, Генрих Бёлль...

«Нет, ничто такое во мне не шевельнулось,— читаем мы у Германа Канта,— не видел никакой связи между моим погибшим отцом и погибшими русскими, или погибшими поляками, или погибшими французами. Мой отец был мой отец, и только его смерть что-то значила... Мне понадобилось огромное количество кирпича и железных решеток, и мерзкой болтовни вокруг, и шумливых надсмотрщиц, и сникших гауптштурм-вояк, пока я научился взаимосвязанно думать о своем отце и о некоторых других живых и мертвых людях» (Новый мир, 1979, № 12, с. 162).

Это Герман Кант — о себе и таких, как он, немцах 1945-1947 годов. А с тем, минденским жителем, разговор был уже в 1978 году.

убийц, говоря словами их бывшего фюрера, «целых расовых единиц».

И выдающиеся немецкие писатели двух Германий это остро сознают и говорят об этом в своих романах, своими романами.

При встрече пленного немца с советской женщиной-врачом вдруг заостряется (Герман Кант смело заостряет) внимание на слове «немец» — как оно звучало в 1945 году для многих, очень многих.

«Она шевелила губами, а глаза при этом прикрыла, и потому казалось, будто она испытывает какое-то слово, прислушиваясь к его звучанию.

Слово — я тотчас понял какое — было одним и тем же, но выражение ее лица менялось при каждом повторе.

Так я хоть и не слышал, но очень четко видел, на сколько разных ладов можно произнести слово Deutscher — немец... Deutscher — немец — обычное слово из девяти букв. Осмысленная мешанина из зубных и латеральных, дифтонга и аффрикаты. Обычное слово, как индеец или негр»[1].

Нет, Герман Кант не из тех немцев, что прячут голову в «песок забвения» и надеются, что другие люди в других странах вслед за ними проделают то же самое. Он знает, что вся правда нужна, необходима прежде всего и больше всего самим немцам, немецкому народу.

«Немец. Этот человек — немец. Он немец, как Лютер. Он немец, как Гёте. Он немец, как Гейне...»

Она замолчала, она и впрямь замолчала, только едва заметно шевелит губами, нет, скорее уж это едва уловимая дрожь, и означает она только одно слово, неслышно и все-таки с разной громкостью произнесенное слово, и это слово — «немец», она подвергает его проверке, точно наносит на него разные краски: немец — это немецкий язык и Лютер.

Немец — это немецкий язык и язык Гитлера.

Немец — это немецкая история, барон фон Штейн и Сталинград.

Немец — это немецкая литература, это Вальтер фон дер Фогельвейде, это еще: «В бой за земли от Нордкопа до Черного моря, в бой, весь народ».

Немец — это книгопечатание и Нюрнбергский закон, Генрих Птицелов и Генрих Гиммлер, Ульмский собор и разбомбленные церкви Роттердама, Роберт Кох и эвтаназия, сочельник и воскресенье 22 июня 1941 года»[2].

---

[1] Новый мир, 1979, № 9, с. 163.
[2] Новый мир, 1979, № 9, с. 163.

Вспоминается первая поездка в страну, где звучит немецкая речь, и как это было странно — привыкать, что в маршевых радиоритмах нет ничего обязательно фашистского. И что слово «Halt» на фанерной стойке, о которое споткнулись глаза, не угрожает немедленным выстрелом, а всего лишь предупреждает, что открыт люк на мостовой, т. е. о тебе же забота. А когда запели народные песни, мчась в ночном автобусе сквозь леса Северной Германии, и пели их по-немецки громко, как бы с вызовом громко, вдруг подумалось: а ведь им неловко отчего-то, поющим. И им и нам неловко. Какая-то неправда и недосказанность в этом пении, желание забыть и не помнить. Да, страшное бывает похмелье, когда народ поддался сладенькой дудочке крысолова и пошел, куда повели. Обещали ему все, что угодно, чего только ни обещали, но не дали, а отняли — все: даже доброе имя, даже язык, даже песни отняли. То, что всегда звучало как немецкое (равно как польское, французское, английское), зазвучало для всей Европы да и всего мира как фашистское. Ведь и песни народные гитлеризм превращал в орудие пропаганды нордического, арийского превосходства немцев над «низшими расами».

Похмелье бывает тяжелое, и тогда бывшие «сверхлюди» как высшего признания сильнее всего жаждут, чтобы забыли, кем они хотели стать или их хотели сделать, и чтобы смотрели на них просто как на людей, на обыкновенных. Оказывается, это так много, это самое великое благо и признание — быть обыкновенными, считаться обыкновенными! Не «сверх» чем-то там, а просто людьми, человеками. Как за тем столом в кабачке западногерманского городка Миндена, где как раз об этом подумалось. Дружелюбные хозяева сидели рядом с французом, голландцем, евреем, русским, белорусом, все разговаривали, все шутили, улыбались, но и тут казалось: прошлое висит над нами, и чем они обыК. новеннее, тем заметнее их стремление быть, к а к все люди, просто людьми. Надо, оказывается, еще заслужить, чтобы тебя снова приняли в разряд «просто людей». После того, как крысолов увел тебя от них, поманив в «сверхлюди», возврат дается нелегко. И не через забвение прошлого, а через самоочищение I правдой, через суд над прошлым.

Герман Кант беспощаден:

«И врачиха (женщина из Баку.— А. А.) моя, что знает, кого потеряла, и ей давно опостылели стонущие попрошайки и ноющие разбойники, что так недавно еще рвались в Баку, к нефти, а тогда они вовсе не ныли, и ничего не клянчили, и уж тем более ни о чем не молили, а теперь из чистого подобострастия сюсюкали на ломаном немецком и наконец-то, наконец-то, когда дело коснулось

их самих, открыли, что существуют сострадание и права человека»[1].

Герман Кант в своем романе «Остановка в пути» рассказал о плене и пленных. О немцах побежденных и плененных. После всего, что фашисты творили в деревнях и городах на оккупированных территориях, после убийств голодом и истязаниями миллионов наших военнопленных, они сами, немецкие солдаты, оказались в руках победителей. Хотя они, большинство, и утверждали, что ничего не ведали и не знали, а тем более ничего такого не делали, и даже сами себя в этом убедили, что не знали и не делали, но сами-то они понимали, какой мести заслужила страна, откуда все это пошло[2]. Если бы победившие народы решили мстить. Но победил не фашизм и его дикая, бесчеловечная доктрина, он-то и был побежден. И о мести целому народу не могло быть речи. Чему в глубине души многие, очень многие немцы поразились больше всего. С этого началось просветление, обновление сознания немецкого народа. И тех, кто оказался за проволокой,—, немецких военнопленных. Хотя в трудные 1945-1948 годы, как показывает Герман Кант, было и голодно и холодно, но каждый, у кого оставалась совесть или пробуждалась совесть, понимал, кто в этом повинен. А то, как вели себя советские люди, совсем недавно истреблявшиеся тысячами, миллионами, как вели себя победители по отношению к побежденным,— вот это больше всего и поражало немцев. И действительно не могло не поражать. Хотя большинство и утверждали и даже сами убедили себя, что не знали о зверствах на оккупированных территориях, не видели, не делали ничего такого,

---

[1] Новый мир, 1979, № 9, с. 163.

[2] Томас Манн в «Докторе Фаустусе» беспощадно точно передал смятение, страх расплаты, охвативший многих и многих немцев в последние месяцы войны и первые послевоенные дни и недели. «Взломаны толстые стены застенка, в который превратила Германию власть, с первых же дней обреченная ничтожеству; наш позор предстал теперь глазам всего мира...» (лагеря смерти и пр.). «И не болезненное самоунижение спрашивать себя: смогут ли в будущем немцы о себе заявить на каком бы то ни было поприще и участвовать в разговоре о судьбах человечества?

Пусть то, что сейчас обнаружилось, зовется мрачными сторонами общечеловеческой природы, немцы, десятки, сотни тысяч немцев совершали преступления, от которых содрогается весь мир, и все, что жило на немецкой земле, отныне вызывает дрожь отвращения, служит примером беспросветного зла. Каково будет принадлежать к народу, история которого несла в себе этот гнусный самообман... который будет жить отрешенно от других народов, как евреи в гетто, ибо ярая ненависть, им пробужденная, не даст ему выйти из своей берлоги, к народу, который не смеет поднять глаза перед другими.

Проклятье, проклятье погубителям, что обучили в школе зла некогда честную, законопослушную, немного заумную, слишком теоретизирующую породу людей! Как благодетельно было бы проклятье, вырвись оно из свободной груди! Но патриотизм, который етважился бы утверждать, что вовсе чужда нашей природе, что никак не коренится в немецкой сущности кровавая империя, сейчас задыхающаяся в агонии, что неизмеримое преступление, которое мы, говоря словами Лютера, «взвалили себе на плечи», преступление, громогласно провозглашенное, зачеркнувшее все права человека, но тем не менее с неистовым ликованием принятое толпой и молодежью, которая, светясь гордостью и непоколебимой верой, шагала под его яркими знаменами,—такой патриотизм мне представлялся бы скорее великодушным, чем добросовестным. Не была ли эта власть в своих словах и деяниях только искаженным, огрубленным, ухудшенным воплощением тех характерных убеждений и воззрений, которые христианин и гуманист не без страха усматривает в чертах наших великих людей, что наиболее мощно олицетворяли собой немецкий дух?.. Наш поверженный наро^ потому и вперяет в пустоту свой обезумевший взор, что столь страшно кончилась его последняя, отчаянная попытка обрести самобытную политическую жизнь» (Манн Т. Доктор Фаустус —М., 1975, с. 547—549).

что все это дело рук «свиней-эсэсовцев», но ведь и знали и делали слишком многие, а потому и поразились незлобивости и доброте наших людей. Побежденные силой и гневом советских народов в 1941-1945 годах, они были, многие, вторично побеждены, фашизм был еще раз раздавлен — в 1945-1948 годах, и на этот раз именно добротой наших людей. Но со многими немцами это произошло раньше.

Записывая ленинградских блокадников, мы натолкнулись на такой случай, такую историю записали. Женщина нам рассказала, учительница Мотовская Мария Васильевна, как в первые дни войны, когда немцы разбомбили эшелон с детьми, она кричала плененному немецкому летчику: мол, подождите, и ваших детей ждет то же самое! Живая боль и гнев в ней кричали...

И эта же женщина через несколько месяцев, в самый разгар войны и страданий приняла, смогла принять решение, которое и в мирное время, сегодня, принимаешь (мысленно ставя себя на ее место) с превеликим трудом. В Киров, куда ее с ленинградскими детьми эвакуировали, следом привезли пленных немцев.

— Вот там надо было для пленных госпиталь отвести,— рассказывает Мотовская М. В.,— и можно было только одно здание взять, в котором наши ребята были размещены. А вы знаете, как население? «Это преступление! Как так, ленинградских детей, и все такое!»

Вот я помню, вызывают меня в обком и говорят:

— Мария Васильевна! Тут надо занять правильную позицию. Скажите им, что существует международная комиссия для наблюдения, как мы тут этих немцев устраиваем. А вам хорошее помещение дают.

— И переместили все-таки детей?

— Переместили. Ну, детей очень хорошо переместили. я туда ездила. Очень хорошо, а ребятам-то даже весело в новом месте...»

Вот видите, даже хорошее в этом находила, нашла новое место, весело ребятам!.. А за этим — чувство что так и следовало поступить: не «как они с нами» а по-человечески. И не для того, чтобы «они» почувствовали или какая-то там «международная комиссия», а потому что это нам самим надо!..

Особенно важно, что такое было возможно и происходило в условиях, когда десятки миллионов людей в Европе и во всем мире настойчивыми усилиями (и не без результата!) «освобождались» от обязанности быть человеком.

к. Симонов в «Разных днях войны» пишет про то, как плененный под Вязьмой немец-фашист реагирует на то что.его не избивают, не расстреливают, а разговаривают с ним, даже вежливо. Пленный на глазах стал наглеть Нашел для себя

объяснение: ага, они знают, что через Ш дней «Москау капут», и потому заискивают перед ним — завтрашним победителем!

Что нужно в любых условиях быть, оставаться человеком, он забыл давно. А точнее, не знал, не успел узнать: ведь его «замесили» совсем на других «идеях» слепили болванчика и пустили, направили «обновлять мир» по своему образу и подобию.

Этот не понял, не способен был ничего понять. Но другие восприняли и понесли в себе высший дар человечности, полученный на земле, которую они недавно жгли, заливали кровью.

В цитировавшейся уже статье Германа Канта, написанной для «Нойес Дойчлаид», читаем:

«Военный музыкант К. получил приказ отправиться в Москву, чтобы дирижировать триумфальными маршами на великогерманском параде победы. Правда, приблизившись к фронту, он удивился похожему на бегство встречному движению, но, поскольку фюрер лично приказал ему протрубить на Красной площади Баденвайлерский марш, он не уклонился от своего маршрута. Когда же люди в незнакомой форме остановили его автобус и кто-то сунул ему под нос автомат, музыкант К. смог выдавить из себя лишь фразу, идиотскую и гениальную одновременно. Он сказал: «Я никс зольдат, я — трамтататам!..»

Я всегда смеялся над этой дурацкой и вместе с тем исполненной смысла фразой и, наверное, буду смеяться и впредь. Но в газетном киоске у больницы, что стоит недалеко от места, где остановили господина К., я купил «Юманите» и нашел в газете фотографию, которую знает или должен знать каждый. На фотографии — яма, полная людей, как видно, только что расстрелянных. На краю ямы скорчился человек, которого сейчас убьют. За ним стоит эсэсовец, он уже прицелился и сейчас отправит человека в яму к убитым.

...Почему же от той глупой истории с музыкантом я перешел к этой ужасной фотографии? Потому что в больнице, неподалеку от конечного пункта, куда добрались немецкие завоеватели, я рассмотрел ее внимательнее, чем прежде. На ней виден человек, который знает, что в следующую секунду умрет. Перед ним лежат те, чей черед пришел раньше. За ним стоит тот, кто сейчас присоединит его к лежащим в яме. Но есть и зрители.

Можно различить по меньшей мере пятнадцать солдат, и поскольку над правым нагрудным карманом у них орел, они принадлежат к вермахту, а не к «СС». Они с интересом следят за происходящим. Только один офицер, кажется, не одобряет того, что видит. Эта они а с таким же успехом могла бы стоять вокруг гончара, ваяющего вазу.

Но ведь они смотрят не на искусство гончара, а на действия убийцы. Один из пятнадцати — молодой толстощекий ефрейтор с нашивками военного музыканта, и если бы он попал в плен, то наверняка заверял бы, что он никс зольдат, он трамтатам...

Не хочу больше думать о нем. Я думаю о самом себе. И о нас. Я часто видел этот снимок. И слышал много историй, иллюстрацией к которым он может служить. А теперь больница на окраине Москвы, воспоминание об ужасах, которые мы принесли, дурацкий и смешной эпизод из того времени, новая встреча с фотографией, давно мне знакомой,— все это подкрепило мое убеждение: мы должны снова и снова вслушиваться в старые истории, иначе не поймем новых. Мы должны вновь и вновь вглядываться в старые фотографии, иначе не разглядим новых. Мы должны считать все годы, иначе нам не сосчитать по-настоящему наши тридцать»[1].

Пройти через такую войну, такие страдания и такую ненависть и сохранить «душу живу» — какой для этого «душевный потенциал» должен был иметь народ! Какую силу человечности!

И не мы сами о себе это говорим, а те, что испуганно смотрели, поверженные под ноги, и ждали неизбежной гибели своей нации,— вот это и было самой главной нашей победой в самой тяжелой и бесчеловечной из всех войн.

Когда мы записывали рассказы наших людей о самом страшном — о Хатынях, о голоде в Ленинграде, без конца поражались удивительным проявлениям доброты, человечности, благородства и незлобивости в условиях, когда могло показаться, что в мире остались только жестокость и эгоизм.

Вряд ли много было случаев, когда каратели, кто-нибудь из них проявлял «слабость» и позволял своей жертве спастись, уйти от пули, огня. Но народная память готова сохранять даже эти немногочисленные случаи. Когда, например, немец сорвал платок с женщины, пострелял над ее головой, чтобы видели и слышали другие каратели, и ушел, оставив ее целой-невредимой. А про «чудного немца», который в Борках малорицких плакал от ужаса и горя вместе с убиваемыми, нам рассказали почти все уцелевшие борковцы.

«И так тот немец плачет. Посидит, посидит и опять на двор выйдет. Как станут уже там стрелять, опять в хату придет. Чи то не немец може? Чи то я не знаю, что это такое...»

«Один немец зашел до хаты и заламывал на себе руки. Я видела сама. Так поглядит на тот народ, так вот покачает головой, отвернется и платочком утирался. И все видели — и те, убитые

---

[1] Кант Г. История и предыстория.— Литературная газета, 1979, 19 сент.

потом люди. Говорят: «Дивись, як плаче...» И он не выстоял, вышел в Старостины сени и упал, сам упал...»

Нельзя не поражаться, какой справедливой и благородной является память народа нашего — при всей ее жестокой правдивости. И если не слишком много таких примеров она удерживает, как этот борковский, так это потому, что слишком мало было подобных случаев. И прав Герман Кант, горько прав, иронизируя над удобной памятью тех бывших немок и немцев «третьего рейха», которые убеждают сегодняшнюю молодежь, что народы-соседи неблагодарны, если забыли, как им помогали, как их спасали...

Сколько доброты, немыслимой ясности и неистребимой мягкости излучали глаза и лица, голоса полесских женщин, когда они нам рассказали о. невиданной жестокости и озверении людском,— это не могут передать по-настоящему ни слова напечатанные, ни фотографии! Но и в печатном тексте это, надеемся, можно угадать, ощутить как-то:

«Стали мы там делить добро на сирот. Ну, я и думаю, что как мне плохо, то и другому так же это плохо. Один говорит: что которое дитя от тех, что за немца были,— то оно другое. А это ж все равно наши дети, а то, что мать его и батька невесть где, то что ж оно, дитятко, виновато...

И я благодарю, что лягу и сплю спокойно. Не то что которые: «Дай, дай!..» А я довольна, что лягу спать да переночую спокойно. И благодарю я нашему государству, нашим бойцам, что нас освободили и что у меня осталось хоть немножко деток. Уже и внучки наши полягут и поспят, и сама я лягу, добрые люди, да посплю...»

«А дочка моя с дитем в лес утекла. Один сынок остался... Вернулся раненый тогда. Лечила я ему ту ногу, купала в зельях и целовала ее от радости, что осталось в хате хоть одно дитя...»

«А потом освободили наши. Такие они, ой, идут, такие молоденькие — не солдаты, а деточки. Они ж, как снаряд падает, не кричат, что «война», а кричат «мама». Пообрастали. И я сижу плачу, и они идут. Рады они, что есть хоть наши дети, так они в котелок набрали воды и три сухарика вынули мне, в ту воду намочили и дают — детям есть.

А мы, когда увидели, что наши, так сразу не верили...»

Вот он простой и человечный мир, народной доброты мир, который стоял за нашей сталью, сокрушавшей бесчеловечную фашистскую машину.

* * *

Сбереженная, пронесенная через все века и испытания живая душа народа — не этим ли дышит, не об этом ли прежде всего рассказывает та проза, которую сегодня называют «деревенской». И если пишут и говорят, что проза «военная» и «деревенская» — вершинные достижения современной нашей литературы[1], так не потому ли, что здесь писатели прикоснулись к самому нерву народной жизни. В дискуссии о «деревенской» прозе, которая на страницах «Литературной газеты» горячо была начата статьей Александра Проханова[2], очень скоро и четко определились позиции «за» и «против», но не в отношении того, настоящая ли, большая ли эта литература — «деревенская» (.сегодня об этом уже не спорят), а в вопросе: как и что писать о деревне сегодня, завтра...

У меня тоже вертятся на языке рекомендации и прогнозы: ничем другим мы не распоряжаемся так легко, охотно, как будущим. Если бы оно еще слушалось нас столь же охотно!..

В статье А. Проханова «Метафора современности» с наибольшей прямотой и даже (по первому ощущению) убедительно выражена мысль, что блестящая проза (как сказано, «рождающая шедевры») Абрамова, Можаева, Белова, Носова, Астафьева, Распутина добыта ...не на том, что ли, пути. Нашли «золотую жилу», добыли редчайшие самородки, обогатили русскую культуру, язык, как давно писатели не обогащали, но вот беда... Не там искали и не там все это нашли! А за это «деревенщиков» можно упрекнуть в желании «духовного комфорта» и даже в поиске «легкого хлеба». Нет, нет, у А. Проханова это об эпигонах! Но и не об эпигонах тоже, если не прислушаются и не начнут отныне искать «золотую жилу» там, где предвидит ее, предсказывает автор статьи.

Забываем, что «легким» литературный хлеб становится потом, даже не становится, а лишь кажется легким тем, кто не поднимал целину (литературную), не наглотался пыли, ветра и собственного пота. Спросить бы у Абрамова, Можаева, Елйзара Мальцева, Белова, легко ли им было, когда «деревенская» проза делала первые шаги. Да и не первые. И если ей на самом деле стало легче пробиваться и жить, то это лишь благодаря очевидности ее достижений. И еще упорству ее работников. Хотя это и не прямо касается литературы, но вспоминается, как приезжали в Болшево к сценаристам руководящие товарищи из Комитета по делам кино. Приезжали все почему-то парами, и каждая пара восторженным дуэтом вспоминала, какое взаимопонимание было у них с Василием Шукшиным: сценарии его утверждались и запускались буквально за неделю-две! Шукшин был уже мертв, его вопросов

---

[1] См., например, статью Б. Анашенкова «...Как зеркало ИТР»,— Литературная газета, 1979, 17 окт.
[2] Проханов А. Метафора современности,— Литературная газета, 1979, 12 сент.

можно было не ожидать. Но спросили мы: а почему же тогда его главная киноэпопея — о Стеньке Разине — за столько лет так и не смогла осуществиться в работе? Обиделись. Надо ли помнить, вспоминать, напоминать, когда все мы так любим Шукшина?! И вот сегодня — все так любим «Привычное дело» и «Прощание с Матёрой»! Можно и забыть, не помнить, что говорили, писали вчера...

До чего же мы в одном пункте все похожи — и критики 40-50-х годов и критики 70-х. В убежденности, что настоящая, большая литература — это нам ничего не стоит! Захотим — создадим, а надо, так заменим — на еще более значительную. Вот только прикинем на литературно-критической карте, куда и как шагать, где свернуть. Никогда у нас не хватает времени просто порадоваться. Сначала не могли потому, что «Привычное дело» и прочее было чрезмерно и опасно не похоже на все знакомое и привычное в литературе о деревне. А когда привыкли, приучили нас упрямые «деревенщики», что можно и об этом и вот так можно, мы вдруг заспешили, засобирались в дальнюю дорогу. Нашли, наконец, зеленый оазис, а нам говорят, что впереди и лучший, и больший — обязательно! Дожидается нас. Куда поспешать все-таки? В день сегодняшний, говорят. Как будто «Прощание с Матёрой» Распутина или «Дом» Абрамова не сегодняшний день нашей деревни и литературы. Другое дело, что в сегодняшнем здесь живут и продолжаются дни вчерашние — острая память русской, да и не только русской, деревни. Хорошо об этом сказал Залыгин: «Деревенская проза» начинается именно с памяти, «которая хотя и принадлежит сегодняшнему писателю, но заполнена в нем десятками поколений... о земле, о земледелии, о земледельце, и не скажешь понятиями только сегодняшнего дня — не та категория, не тот род человеческой деятельности, не тот быт, который поддается мгновенной фиксации. Еще это все то, что мы называем «памятью земли»[1]. Да, в том все дело, что большая литература, которую именуют «деревенской», в настоящее и будущее всматривается сквозь такую же реальную, как и день сегодняшний, народную память о всем пережитом. Она ничего не оставляет позади, все несет с собой, в каждом шаге — вся история народа. А это возможно? Для Залыгина, Айтматова, Белова, Друцэ, Распутина — да. Спросим по-другому: а без этого возможна по-настоящему истинная литература о народной жизни и судьбе, о всем новом, что А. Проханов видит на целине, а другие критики — у себя в республиках? Без всей памяти литература о деревне, возможно, и стала бы «маневреннее» — легче было бы причаливать

---

[1] Залыгин С. Литературные заботы.— М., 1979, с. 151.

к любым новым темам и проблемам. Но осталась бы она тем зеленым оазисом, той литературой — истинной, большой? В одной старой книге о гениальности говорится как о качестве, свойстве памяти: степень гениальности в степени готовности памяти. Гений, о чем бы ни думал в каждый данный момент, что бы ни ощущал, думает и ощущает всем пережитым, все, что когда-либо было, думалось, ощущалось со всей силой, всегда присутствует, собрано на острие его сознания, как электричество…

Не так ли и настоящая литература? И ей это надо еще больше. Ведь литература — это и есть воспоминание. Так ее понимал, объяснял Лев Толстой. Воспоминание об испытанных нами чувствах, состояниях. Радуемся, плачем, действуем — это еще сама жизнь. Вспоминаем (в процессе писания), как человек радуется, или горюет,— с этого начинается искусство, т. е. воспоминание — это не только определенный жанр, но обязательный момент любого произведения искусства, важнейшее содержимое самой психологии творчества[1]. Не потому ли в прозе, например, несмотря на все призывы и старания критиков, чаще удавались и удаются произведения о «днях минувших», чем о «дне бегущем»,— и ничего с этим не попишешь. Но ведь и о «бегущем» литература рассказывает, вспоминая. Принцип тот же. Но память чем старее, тем многослойнее. «Старая» отличается от «новой», как район города, где постройки разных эпох, от микрорайона новостроек. Но даже, повторяем, когда писатель берет жизнь «с. пылу, с жару», и тогда он не обходится без воспоминания. В работу идут старые заготовки, «блоки» памяти — о себе самом, о чувствах, состояниях, осмысленных за всю предыдущую жизнь. Через память проясняется, обнаруживается, как в реактивах, и то новое в людях, в жизни, чего прежде не знал, с чем не встречался.

Но когда мы ведем разговор о сегодняшней «деревенской» или «военной» прозе, следует подчеркнуть осознанное стремление многих писателей «влить» в свою память воспоминания как можно большего числа людей, очевидцев. Свою память подключить к народной. Удается, не удается, в большой или меньшей степени удается, но тенденция эта усилилась, и не видя, не учитывая этого, трудно понять, оценить многое в современной прозе.

Мне уже приходилось писать о поколении Валентина Распутина, Ивана Чигринова, Вячеслава Адамчика, а также о

---

[1] Любопытно об этом высказался Герман Кант, отвечая на вопросы П. Топера: «По-моему, в основе своей роман о будущем — вещь смехотворная, если его не воспринимать верно. А верно его воспринимать можно только в том случае, если и в нем тоже видеть роман о том, что уже произошло. Лем создал будущее, в которое он помещает своих героев и их конфликты. Но если приглядеться повнимательней, эти конфликты есть не что иное, как отклики на уже разыгранные сражения, на вчерашние страсти, на позапозавчерашние триумфы. Все это подвергается вторичной проверке путем перемещения всех обстоятельств в будущее. Словом, я остаюсь при своем утверждении, что «повествовать» — значит производить расчет со «случившимся».
— Всегда?
— Да, всегда» (Вопросы литературы, 1979, № 10, с. 178-179).

писателях помоложе — Викторе Козько, о том, как близка, необходима им «чужая» память, как неотторжима от своей. Трудно понять, невозможно объяснить прозу, например, Виктора Козько, не учитывая такой особенности художественного мышления. Войну, о которой пишет, он вроде бы не должен помнить — рождения 1940 года. Но пишет с реальным чувством — и мы это ощущаем со всей силой,— что он все видел, помнит. Не другие, а он. Сам над этим задумывается и пытается объяснить (в ответ на вопросы автора данной работы):

«Я уже сам не могу себе ответить, когда в памяти впервые были написаны первые куски «Високосного года». Первоначально это был какой-то калейдоскоп, просмотренный, если можно так сказать, в забытом уже детстве, мешанина красок, звуков и запахов. И сегодня мне даже трудно судить, откуда они пришли ко мне, трудно отъединить вымысел от того, что было в жизни. Многое из того, что, кажется мне, помню, я просто-напросто не могу помнить... Мучителен был не процесс письма — я страдал от материала, который был во мне. Он обжигал меня до слез. Я писал не о себе, хотя все в повести в той или иной мере автобиографично, но я и тогда не знал и сегодня не знаю, где в этой помести начинается «я» и где начинается кто-то другой, так, кстати, обстоит дело со всем тем, что написано мной и что пишется. А «Високосный» мой год был о матери, которой я не помнил, из жизни которой в моей памяти сохранилась только смерть ее, не осталось в памяти ни лица, ни глаз, а только сапоги, в которые она была обута, бушлат, который был на ней. Смерть матери — это вторая вспышка моей памяти, второе мое пробуждение в войне. И ощущение вины, не за смерть матери, а за смерть сестры Тамары. Мне трудно было жить без единой родной кровной души на свете. Но могла у меня быть сестра. И сегодня, сейчас мне с трудом даются эти строки. Мать убило шальным снарядом. А мы с сестрой остались живы. Ей два года, мне — три. Я был старшим. И я убежал из разбитого дома от мертвой матери и живой сестры. Заблудился в ночной деревне. Сестра заползла под печь и замерзла там».

Иван Чигринов вот уже сколько лет пишет эпопею о жизни белорусской деревни в годы фашистской оккупации — подробнейшую хронику событий и состояний. Можно подумать, что сам пережил, помнит все — день за днем. Многое и помнит — он постарше Виктора Козько. Но еще больше впитал, как губка влагу,— детской памятью чужую память. Деревни своей, близких людей воспоминания, память самой земли нашей, все еще излучающей жар войны.

Виктор Козько так объясняет свое и других «каноническое пристрастие к определенному человеческому типу», говоря словами А. Проханова, а проще — образы старух и стариков в современной прозе:

«Шел, видимо, уже сорок шестой год, и кое-кто из похороненных, пропавших без вести, возвращался домой. Анисовичи были полны неясными, но радостными слухами: из Лампек вернулся такой, в Козловичи пришел такой-то. Бабка спешила по деревенской улице, принимала и разносила эти слухи. Рядом с ней бежал и я. Слушал старух и женщин. А в Анисовичах в ту пору, так кажется мне сегодня, жили одни только старухи. Женщины и дети. Мужчин не было. Они, конечно же, были, но в то время потерялись для меня в колхозной работе. Мы, мальчишки, девчонки, жили среди старух. Жили их миром, их представлениями, их пониманием жизни. Мы были старые уже дети. И то, что многие пишущие, вышедшие из того времени, пишут о стариках и старухах, наверное, связано именно с этим, с тем, откуда они вышли. Новое, еще не знающее грамоты поколение уже не будет писать о стариках и старухах. У него есть книги, журналы, газеты, радио, телевизор. А у нас были только бабушки».

У меня нет оснований говорить то же самое о Валентине Распутине, а у него таких признаний мы не читали. Но почему-то думается, что и он объяснил бы свое «Живи и помни» если не таким же, то подобным образом. С поправкой, конечно, на сибирские условия. Проза его, как мореный дуб донной влагой, вся пропитана народной памятью, в его повестях —это память, уходящая в народную даль, глубину.

Но вернемся к спору о «деревенской» прозе. Куда нас кличут из зеленого оазиса этой литературы? В день сегодняшний, завтрашний? Ну а «Прощание с Матёрой» — всенародное наше прощание с крестьянской Атлантидой, постепенно скрывающейся — во всем мире, не только у нас — под волнами энтээровского века,— разве не сегодняшний и даже не завтрашний это день? А «Дом» Федора Абрамова, продолжающий к 80-м годам XX столетия историю северной русской деревни, — о чем же, если не о насущнейших моральных проблемах века повествует, хлопочет эта проза? Не мелочит, а как раз укрупняет она проблемы нашего времени тем, что измеряет и оценивает их реальным существованием реальных, а не только «планируемых» — излюбленное занятие определенного сорта литературы — людей.

Может быть, я не видел, не наблюдал того, что знает А. Проханов, но наше Полесье — осушенное и выровнявшееся, с открывшимися почти украинскими просторами, по масштабам перемен и обновления напоминает целину. И те же вопросы

напрашиваются: а что написано, где об этом литература? Что читают новые полешуки? Читают «Полесскую хронику» Ивана Мележа, и вряд ли мы станем их жалеть за это. Да, читают о 20-х и 30-х годах Полесья: как трудно жили люди, предки которых почему-то приросли и душой, и телом, и трудом к этому нещедрому болотному краю. Как трудно жили, но как яростно рвались к лучшей доле. И как люди на болоте и молодыми были, и счастливыми, и несчастливыми, и добрыми, и злыми — как бывают везде, были и будут — и на болоте, и в пустыне, и на море, и на освоенных новых планетах...

Читают полешуки этого Мележа. А могли бы и другого читать: Иван Павлович Мележ сам говорил, что вначале хотел писать роман или повесть о мелиораторах, об осушении Полесья. Мы не знаем, что получилось бы и что получили бы полешуки. Как говорится: от добра добра не ищут! Нет, ищем... дискуссия.

Когда я слышу или читаю, что людям нужна обязательно о них самих и об их непосредственном деле литература, вспоминаются спорящие слова Толстого — его мысль о том, что люди работают, торгуют, воюют, а в это время совершается самое главное: люди выясняют для себя, что есть добро, а что зло. И как людям жить с людьми. Вот оно — главное и для литературы: не что растят или что и как куют, а что и как «уясняют». И не надо тут говорить о презрении к практической стороне жизни, к труду. У солдат, у партизан Великой Отечественной куда как высоко было понимание важности и необходимости их воинского дела. А что любили слушать, читать — какую поэзию, песню, литературу? Грохочущую, «громкую»? О войне и бое? Этого им хватало и без поэтов. Да, истинные музы не молчат, когда гремят пушки. Но безнадежное это занятие — пытаться перекричать, переорать рев орудий. Тихий голос — как это ни удивительно—на войне был слышнее. Голос поэтов, идущий от сердца к сердцу, слышен был по всему фронту — от Черного моря до Белого. Бессмертный «Василий Теркин» написан именно таким «голосом». И не обязательно о бое, как раз не о войне, а о том, что связано с миром,— дом, дети, соловьи, женщина — вот что было нужнее всего труженикам войны.

Но может быть в мирное время все по-другому и даже наоборот? Кто знает. Каждый может привести и свои аргументы и свои случаи.

А. Проханов говорит об антитезе «машины» и «духа», которой быть не должно ни в хорошей литературе, ни в разумно организованном обществе. А вот для меня, например, обещанием такой гармонии будет как раз целинник с «Последним сроком» Распутина в кабине сверхсильного трактора.

* * *

Ну, а если вдуматься, разобраться: зачем она ему— черному от пыли и мазута, молодому и веселому — повесть о том, как умирает старуха. Не ради чего-то или за кого-то погибает, а потому что срок пришел, и надо пройти и через эту необходимость и неизбежность — умереть.

Умирает старуха. И еще умирает Матёра. В другой повести Распутина. Обе повести связаны одной мыслью. Мыслью о смерти? И о ней. Человек, а значит, и большая литература всегда задумывались о смерти. Правда, задумывались, задумываются по-разному. Как рассуждают у Залыгина в романе «Комиссия»:

«Ведь как с людьми происходит: с детства человек носится со своей смертью, словно с писаной торбой! Всем о ней рассказывает, нянчится с нею, без конца предвидит ее, на коленях перед нею ползает, предает из-за нее и, смотришь, уже и живет-то ее рабом. И зря! Сознание смерти дано только человеку, и пользоваться им нужно по-человечески, не унижаясь перед животными, которые, о ней ничего не знают! Человека, Коля, над всей другой жизнью поднимает сознание его смертности: что не вечен он, а пока жив — должен быть человеком, делать человеческое дело. У животного этого сознания нету, потому его жизнь и есть скотство, или свинство, или птичья беззаботность, а дела нет. Ты представь, Коля, будто твоя лошадь или корова знает, что лет через десять она умрет,— разве они работали бы на тебя, как теперь работают? Нет, они бы захотели прожить свою жизнь не так!»[1]

Лишь человек смертен — в том смысле, что знает о неизбежном своем конце. Своей и других, всего живого, смертности. И это тоже отличает его, делает осознавшей себя, свое существование, материей — человеком.

Но повести — и «Последний срок» и «Прощание с Матёрой» — все же о другом. Прежде всего о другом — о памяти и беспамятстве. О смысле жизни, человеческого существования. Не смертью, а беспамятством жизнь обессмысливается. А что касается неизбежной смерти — такой, как у старухи Анны из повести «Последний срок»,— о ней в народе говорят: «Умер, как жил». Когда напечатано было «Прощание с Матёрой», критики были сильно смущены вопросом: так заливать или не заливать остров, строить или не строить гигантские электростанции? Как будто об этом повесть. «Прощание с Матёрой» о другом: остров умрет, как умрет старуха, как умирает, «уходит под воду» огромнейший материк

[1] Залыгин С. Комиссия,— М., 1976, с. 179.

старого крестьянства; печаль и о них, но еще большая — о вас, остающихся.

Кто вы, какие, с чем остаетесь —если смотреть не вашими глазами (кто и когда видел самого себя таким, каким есть на самом деле?), а глазами старух-матерей и Матёры, глазами самой земли, планеты, в которой людей больше, чем на которой?..

«Дарья стала объяснять:

— Путаник он несусветный, человек твой. Других путает — ладно, с его спросится. Дак ить он и себя до того запутал, не видит, где право, где лево. Как нарошно, все наоборот творит. Че не хочет, то и делает. Это не я одна вижу, что мне такие глаза дадены, и ты, ежли посмотришь, увидишь. Приглядись, приглядись хорошенько. Ему смеяться совсем неохота, ему, может, плакать надо, а он смеется, смеется...» «Ты говоришь: пошто жалко его? А как не жалко? Ежли на гонор не смотреть — родился ребятенком и во всю жисть ребятенком же и остался. И бесится, дурит — ребятенок, и плачет — ребятенок. Я завсегда вижу, кто втихомолку плачет. Ни власти над собой, ни холеры. А сколь на его всякого направлено — страшно смотреть. И вот он мечется, мечется... По-пустому же боле того и мечется. Где можно шагом продти, он бежит. А ишо смерть... Как он ее, христовенький, боится! За одно за это его надо пожалеть. Никто в свете так не боится смерти, как он. Хужей всякого зайца. А от страху чего не наделаешь...»[1] И как итог трудной ее жизни: «Я не знаю ишо такого человека, чтоб его не жалко было»[2].

Да, жестокие слова! Но и любящие. Истинно любящие, а потому и жестоко правдивые. Жалеть ли надо человека, надо ли его жалеть?

Играться подобными «вопросами» литература еще могла во времена, когда Заратустра и его «нагорные» проповеди «антиморали», презрения к состраданию воспринимались, как всего лишь бунт против рутины и лицемерия. А потом объявились «дети Заратустры» с эмблемами смерти на эсэсовских мундирах...

У Распутина прямое и открытое обращение к высокой традиции русской литературы — не стыдиться жалости к человеку. Сострадание, говорит любимый герой Достоевского князь Мышкин, главнейший и, может быть, единственный закон существования всего человечества...

Но сострадание в повестях Распутина особенное: глазами самих страдающих, сердцем именно страдающих жалеет (и судит) писатель тех, что, казалось бы, не нуждаются в сострадании, не ищут, не просят его, не подозревают даже, что жалеть их надо.

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой,— В кн.: Повести М 1976, с, 119, 121

[2] Там же, с. 96.

Вот молодой, здоровый, идущий в жизнь внук бабки Дарьи Андрей. Простоват, не злой, хотя и без активного чувства доброты — но что его уж так жалеть? Не его «затопляют», не у него жизнь на исходе. А жалеют в повести его — Дарья...

«Она (Дарья.— А. А.) помнила хорошо: со вчера, как приехал, и по сегодня, как уезжать, Андрей не выходил никуда дальше своего двора. Не прошелся по Матёре, не погоревал тайком, что больше ее никогда не увидит, не подвинул душу... ну, есть же все-таки, к чему ее в последний раз на этой земле, где он родился и поднялся, подвинуть, а взял в руки чемоданчик, спустился ближней дорогой к берегу и завел мотор.

Прощай и ты, Андрей. Прощай. Не дай господь, чтобы жизнь твоя показалась тебе легкой»[1].

Так о чем же повести? И кто кого жалеет? Матёру жалко или тех, кто остается без Матёры? Старуху Анну — умирающую или ее детей — остающихся?

Повести Валентина Распутина «жалеют» беспамятных, легко живущих, легко расстающихся со всем — с Матёрой ли, с матерью ли... Жалостью Матёры-земли, жалостью старухи Анны строго и даже жестоко судит Распутин все еще неразумных сыновей земли... И себя среди них, потому что и это в традиции большой русской литературы — не ставить высокой стены между собой, автором, и остальным «грешным миром»...

«...А вы-то какие? Вы-то пошто так делаете? Эта земля-то рази вам однем принадлежит? Эта земля-то всем принадлежит — кто до нас был и кто после нас придет. Мы тут в самой малой доле на ей. Дэк пошто ты ее, как туё кобылу, что на семерых братов пахала... ты, один брат, уздечку накинул и цыгану за рупь двадцать отвел. Она не твоя. Так и нам Матёру на подержанье только дали... чтоб обихаживали мы ее с пользой и от ее кормились. А вы че с ей сотворили? Вам ее старшие поручили, чтобы вы жисть прожили и младшим передали. Оне ить с вас спросют. Старших не боитесь — младшие спросют...

„ — Человек — царь природы,— подсказал Андрей.

— Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет, да загорюет»[2].

Памятливость и беспамятство — отчего об этом вдруг задумалась наша литература? Что ищет в этом, какие ответы?

И если для сибиряка Валентина Распутина в памяти, памятливости спасение («Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни»[3]), то для автора «Судного дня» белоруса Виктора Козько память, памятливость — это нечто и враждебное, что

---

[1] Там же, с. 127.
[2] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 109.
[3] Там же, с. 158.

человека убить может, добить того, кого война пощадила... Так что есть и у этой проблемы своя «география», не все тут однозначно.

Не однозначно, сложно это и у Распутина: «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни.

Но она понимала: это не вся правда. Предстояло подниматься и идти, чтобы смотреть и слышать, что происходит, до конца, а потом снести это сполна виденное, слышанное и испытанное с собой и получить взамен полную правду»[1].

Говоря по-иному, только сверяя, сверив свое, нынешнее с прошлым, с опытом предыдущих поколений, которые «стали землей», можно надеяться получить «полную правду».

Чем могущественнее делается рука человека, изобретательнее технический ум, тем «упрямее» пишет литература о «душе», о психологической связи с прошлым... Отчего так? Действительно из упрямства? Ностальгия по ушедшему? Или еще что?..

Нет, именно технический век потребовал этого, сам он побуждает литературу делать акцент на этом.

Не учитывая всех последствий затопления или, наоборот, иссушения какой-то части территории, люди рискуют столкнуться с необратимыми отрицательными последствиями, результатами. «Век техники» — люди в этом неоднократно убеждались. Ну, а человек, его «преобразование» — разве это менее сложная, ответственная и рискованная деятельность? Если в обращении с «неживой природой» приходится быть столь осмотрительным, бережливым, то сколько же чадо знать, учитывать, сколько всего помнить, активно формируя общественное, человеческое сознание и самоё жизнь общества! Ведь и здесь возможны «необратимые потери». Не оттого ли «деревенщики» так судорожно рвутся спасти, вынести на высокое, сухое, видное всем место все то в народной жизни, чего техника не родит, машина не воспроизводит и что может навсегда исчезнуть вместе с погружающейся Атлантидой старого крестьянства.

А там, где прошелся огненный каток войны, например в Белоруссии, в белорусской литературе, этому сопутствуют и еще кое-какие психологические моменты. «Миграционные» мотивы и психологические, социальные проблемы деревенских людей, торопливо обживающих городскую жизнь, сближают белорусскую «деревенскую» прозу с шукшинской. Хотя для большинства из них, выросших на традициях мягко-лирической или эпической прозы Коласа, Горецкого, Чорного,— и для Стрельцова, и для Кудравца, и для Сипакова, и для Жука — мало свойственна та взъерошенно-ироничная, нервная интонация, что пронизывает шукшинский

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 158.

рассказ о городских блужданиях сельской души. А если произведения наших «деревенщиков» проецировать на прозу Белова, Можаева или Распутина, то проявится и еще одна особенность — резкое, острое присутствие «военной памяти» во всем, о чем бы мы ни писали, ни вспоминали. И распутинская деревня войну помнит и поминает недобрым словом. Но из своей сибирской дали и помнит, и поминает. Как старуха в «Последнем сроке», которая в свой смертный час ждет не дождется после войны уехавшую на Украину младшую дочку.

«— А там, где она теперь и живет, там война шла или нет?

Старуха боязливо покосилась на Люсю и сжалась, вдавливаясь в постель.

Ей ответил Илья:

В Киеве? Киев немцы брали — ага. Это я точно помню.

— Ну дак и от,— с горькой правотой закивала себе старуха и запричитала:— Дак она пошто такая-то? Она пошто у людей-то не узнала? Я бы рази туды поехала? Она в кого такая беспутная-то? А я ее жду. Да рази оттуль теперь выберешься?! Ну. Это ить она сама голову в петлю затолкала, сама. Это подумать надо.

— Подожди, мать, подожди,— перебил ее Илья,— Ты с луны, что ли, свалилась?! У нас война-то когда кончилась?

— Все равно.

— Что «все равно»?

— А где тогда она, где? Почему ее тут нету?»[1]

Понять можно старуху, сибирскую женщину. Как нелегко эта далекая война ей далась, как дорого обошлась, если и теперь у нее такой страх за дочку, которая, беспутная, туда поехала! Это возвращение войны в память сибирской женщины. А из памяти «деревенских людей» Стрельцова или Козько война и не уходила никогда, никогда не уходит. И не уходит из нашей «деревенской» прозы. Даже если о молодых, послевоенных поколениях повествуется. Старые люди забыть не могут. Молодым напоминает память отцов, земли память. И литература наша напоминает. Хотя память — это и нелегкое бремя для души человеческой. А насколько нелегкое — об этом повесть Виктора Козько «Судный день».

Можно и так взглянуть на путь нашей литературы о Великой Отечественной войне: чья память в ней главенствует, определяет ее тональность — на том или ином этапе? Солдата, партизана память или же тех, с кем война обходилась особенно жестоко,— женщины, дети. Если всмотреться, вчувствоваться в то, что писалось сразу после войны, когда раны, казалось бы, особенно

[1] Распутин В. Последний срок.— В кн.: Повести, с. 519.

ныли, болели, там было больше не правдивой памяти, не реального чувства боли, а откровенного расчета, стремления заново «перевоевать» войну, да так, чтобы неудач, трагедий, жертв было как можно меньше. Чтобы и жертв, и побед было не столько, сколько на самом деле было, а сколько мы должны были имет ь...[1]

Затем, в 50-е, 60-е и в начале 70-х годов пришла пора личной, солдатской и партизанской, памяти в литературе о войне, как бы отрицающей прежнюю усредненно-безличную. Это был ренессанс исповедальной литературы, пронизанной живым, полемическим чувством правды, искренности. Чувством гордости и боли и за живых и за мертвых: «Живые и мертвые», «Пядь земли», «Последние залпы», «Танки идут ромбом», «Наш комбат», «Журавлиный крик», «Атака с ходу», «Сотников», «Птицы и гнезда», «Огонь и снег», «Сосна у дороги», «Пущанская Одиссея» и многое другое, написанное Симоновым, Баклановым, Бондаревым, Ананьевым, Граниным, Быковым, Брылём, Шамякиным, Науменко, Карпюком и др.

Этот период и путь «военной» литературы плодотворно продолжается и сегодня — «Сашка» Вячеслава Кондратьева, «Навечно — девятнадцатилетние» Григория Бакланова, «Печаль белых ночей» Ивана Науменко...

Но если обозревать «военную» литературу в целом и особенно ее документальное крыло, нельзя не отметить постепенный сдвиг «фокуса», переакцентацию памяти — в сторону женских и детских судеб в войне. А это означает и новый накал чувств и непривычную даже для «военной» прозы боль памяти.

Это, пожалуй, особенно замечаешь в современной белорусской литературе. У того же Виктора Козько. Мы приводили слова из его автобиографии о гибели матери, о «вине» его, трехлетнего, в смерти двухлетней сестрички, замерзшей под разбитой снарядом печкой...

Вот когда они познавали и темный ужас смертей и смутное начало вины — в возрасте самом невинном.

«Мне иногда говорят, что все, о чем я рассказываю, вспоминаю, я придумал. В четыре, даже в пять-шесть лет я не смог бы столько запомнить. Но я сам помню все. И это нелегко. Особенно стало тяжело теперь, сейчас, когда я понял, что смог бы спасти сестру...»

Тяжело было солдату, партизанам, подпольщикам. Но насколько заостряется показ войны, ее жестокости и

[1] Даже в 60-е годы, когда уже писали о 20 миллионах павших, до чего же затруднительно было «убить» своего героя, даже одиого-единственного! Это известно всем, писавшим о войне и имевшим дело с редакциями журналов.

бесчеловечности, когда в «фокусе» литературы — дети и их матери, их память! Как сгущаются тени и слепят вспышки памяти!

«— Сам видел,— убеждает Дима немцев.— Папа пришел и винтовку в камешник, к венику поставил...

— Не верьте ему.— У Василисы упало сердце.

Верьте ему, люди. Верьте им, трех-четырехлетним. Они лежат под крестами и без крестов по всей Белоруссии, по всему миру. Но их не убило, потому что они не знают, что такое смерть, и никогда не узнают. Замерзая, заходясь плачем у трупов закоченевших матерей, горя живьем в избах, угасая от голода, задыхаясь в обвалившихся щелях и землянках, захлебываясь в воде, они прокляли мир, в котором их заставляют играть в такие игры. Они никогда не захотят вновь появиться на этот свет»[1].

Это — из «Високосного года».

Детдомовец Колька Летечка — герой «Судного дня» — вместе с жителями полесского городка и «деревенскими» дико ломится в новое здание Дома культуры. Зачем?

«Мужики перли молчаливо и напористо, прижав к груди, бокам руки, сжав зубы, будто исполняли тяжелую, неприятную работу. Бабы, те больше работали руками, простоволосые, в руках сползшие, сдернутые с головы платки; они хлестали этими платками по лицам и глазам мужиков и что-то выкрикивали злое и нехорошее. Но в общем гаме и шуме никто их не слышал и не понимал, будто бабы говорили на каком-то чужом языке... Ему было жутко от этого прорвавшегося вдруг в людях неистового, звериного. Что же должны были представлять из себя эти гады полицейские, если спустя столько лет пробудили такое в людях, человека ли они, на человеков так не ходят смотреть. Что же они натворили тут, какой знак, какую незажившую рану оставили в сердцах людей?»[2]

Детдомовец Летечка не знает ни фамилии своей настоящей, ни имени, ни кто его отец и мать, откуда и кто он сам — отступившая в прошлое страшная война унесла, поглотила и это. Он всю свою мальчишескую жизнь пытался прорваться в прошлое — своей памяти: мучит, давит его собственная «анонимность» на этой земле. И даже зная, что при его ранней тяжелой болезни сердца (которая тоже оттуда, из прошлого) смертельно опасно все это,— ломится он вместе с разгоряченной толпой в клуб, на суд. И он снова и снова стучится, хочет прорваться в собственную память, где вздрагивает, мерцает какой-то лучик... Так уж устроен человек, потому что состоит он весь не из чего другого — из памяти. Ну, а если она вот такая — память?! «В других детдомах по

---

[1] Козько В. Високосный год,— В кн.: Здравствуй и прощай. М., 1976, с. 134.
[2] Козько В. Судный день — Дружба народов, 1977, № 12, с. 39-40.

всей Белоруссии были свои Летечки, свои Стаси, свои Козелы, повязанные единой судьбой, единым страшным детством, которого многие из них, подобно Летечке, и не помнили, а те, которые помнили, не хотели помнить, хотели избавиться от этой памяти, потому что страшнее этой их детской памяти ничего на земле не было и не могло уже быть. Здесь, на земле, при жизни, только вступив в нее, только открывая глаза, они прошли через то, чему нет названия?»[1] Да, попробуй, найди этому название на человеческом языке — вот этому:

«Он уже не помнил, сколько часов или дней пробирается лесом. Не помнил себя, человек он или зверь. Таких, как он, в ту пору немало было по лесам, отбившихся от матери или отбитых от нее облавой. Мальчишка помнил, что совсем недавно с ним был кто-то живой, видимо, мать. Она то ли упала сама и больше не поднялась, то ли на них густой черной цепью вышли люди в черном, с черными палками, обложили со всех сторон и с криками «Ату их, ату!», сея из палок огонь, загнали в болото и оставили там его уже одного. Оставшись один, мальчишка не испугался. Ведь он с матерью всегда жил в лесу. Первый проблеск сознания нашел его в лесу. И он уже считал, что на земле один только лес. Люди всегда жили и живут в лесу, В лесу, под елями и под соснами, их дом, постель, очаг. Но пришло время есть, начал подступать вечер, мальчишка выполз из болота и побрел по лесу. Инстинкт гнал его к людям. Он хотел до темени прибиться к какому-нибудь жилью и боялся этого. Раз или два за деревьями примечал людей, но не открылся им, затаился в кустах, переждал, когда исчезнут. А потом бросился искать их и не нашел. И вот теперь, подвывая, шел и полз, слепо толкался в кочки головой, размазывая по лицу болотную грязь, ягоды брусники, дурнннцы, и звери и птицы обходили, облетали его стороной, не признавая своим. А ему бы сейчас встретить на пути хоть ужа, хоть гадюку — что-то живое, чтобы не так одиноко было, выползти хоть на стежку, на звериную тропу. Но лес был нежилой, пустой,

...Так шагать ему пришлось недолго. Начали попадаться какие-то бревна, цепляться за ноги, будто он, ступил на греблю. Он заспотыкался, голодно заворчал, ему надо было торопиться, хотя и неизвестно куда. Надо было быстрее одолеть дорогу и пробираться к селению, огню, хлебу. И сил у него было только на дорогу, дорогу без бревен. А бревна попадались уже непрерывно, гребля-гать. Мальчишка запутался в них и упал. И тут же из-за леса выскользнула луна, яркая, щербатая, словно была до этого на привязи, моталась, терлась, косо перерезала себя об эту привязь,

---

[1] Там же, с. 25.

меньшей своей частью оторвалась, ускользнула в небо и светила сейчас с утроенной силой. И при этом свете мальчишка увидел, что никакие не бревна свалили его, а люди. Люди густо выстелили своими телами дорогу. И мальчишка лежал на человеке, на старике. Тело старика покоилось на бугре, а голова в ямке и задрана в небо. В небо упиралось яблоко острого кадыка, острый, покрытый, как белым сухим мхом, подбородок... На мальчишку смотрели остекленевшие глаза. И эти глаза больше всего испугали мальчишку. Он прянул от них, рванулся встать. Но сучки — руки старика будто ожили вдруг и не пустили его. Мальчишка снова упал, лег лицом на лицо. Своим грязным, но живым на беломертвое, холодное, лбом коснулся стеклянных умерших глаз, почувствовал их упругий холодок и закричал. И больше не было у него ни сил, ни желания подняться. Страшно было оторвать глаза от одного мертвеца, чтобы увидеть перед собой десятки других. Рассмотренный им уже в подробностях мертвый старик казался добрым, опасности от него никакой не исходило. Те, другие, были страшнее, они были еще незнакомы ему. Этот лежал и молчал, не шевелился, а те могли ожить, закричать, что это он тут мешает им, уложить рядом с собой.

Мальчишка прижался к старику, заклиная его, прося у него защиты. И, подними сейчас старик руку, заговори, мальчишка бы не удивился, так страстны были его заклинания, так горячи мольбы. Но старик молчал. Молчали и другие мертвецы, только лес скорбно гудел, лунный тоскливый ветер гулял в соснах. И казалось, это мертвые отпевают самих себя. На земле, кроме ветра, луны, нет других плакальщиц, ни одного живого человека. Вымерла земля. Вымерла, если люди вышли помирать на дорогу, не нашли другого места, легли здесь, чтобы напугать его, единственного оставшегося в живых. И старик стал еще дороже мальчишке — уже не как защитник от мертвых, а как единственная связь с живыми, уцелевшая, необорванная ниточка. Было страшно выпустить, оборвать эту ниточку, оторваться от старика, остаться совсем-совсем одному.

Но долго оставаться среди них мальчишка все же не мог. Детским криком прокричала в лесу сова. Он вскочил и побежал. Но бежал он теперь, закрыв глаза, надеясь, что, когда откроет их, дорога освободится от успокоившихся в ее песке. Он бежал и сам теперь кричал совой, пока был еще голос, пока был еще крик. А когда его не стало, когда не стало сил бежать, открыл глаза и свернул к обочине передохнуть во мраке, ничего не видя перед собой. Но и там были мертвые, они не пустили его в лес. Мертвые взяли его в кольцо, обложили со всех сторон, как обкладывали некогда живые. И, хотя эти мертвые были безобиднее тех, живых,

которые могли его убить, которые стреляли в него, в его мать, он желал, чтобы из мрака вышли те, сеющие огонь. Если уж им так надо убить его, он не будет больше убегать, не будет прятаться в болото. Пусть убивают, пусть стреляют. Он готов. Лечь на дороге рядом с другими легче, чем шагать и спотыкаться о них, непрестанно чувствовать их присутствие...»[1]

И ведь ни грамма преувеличения, сгущения в фактах. Об этом, о таком вам расскажут, и столь же подробно — как бы не в силах остановиться, хотя, казалось, не могли, сил не было даже начать горькое повествование!— сегодня тысячи людей, только поездите, походите по Белоруссии. Есть эмоциональное заострение, «сгущение», но это потому, именно потому, что писатель смотрит и заставляет смотреть сквозь призму детской памяти. Детскими (и женскими) глазами смотрит наша литература сегодня на то, чего человеку вообще не видеть бы! Тут уж не скажешь, как Валентин Распутин говорит (и говорит справедливо, если делать поправку на «географию памяти»): «У кого нет памяти, у того нет жизни».

Память, к которой устремлен, куда прорывается детдомовец Летечка, сродни неразорвавшемуся, опасному снаряду, которые у нас время от времени откапывают, вывозят, обезвреживают и на которых иногда подрываются.

Подорвется на затаившемся «снаряде» своей памяти и Летечка.

Вот эта память, к которой он с ужасом, но и с облегчением (все-таки вспомнил, кто он, и что, и откуда!) прорвался в тот «судный день»,— она и добьет его, остановит больное сердце Летечки...

«Киндерхайм, киндерхайм»,— осенней мухой бьется сейчас в голове у подростка чужое страшное слово. Он знает, вспомнил, что это слово означает. «Детский дом, детский дом...» Был, оказывается, детдом и у немцев. И недоумение и дрожь охватывают его: немцы, фашисты и — детский дом. И вновь перед ним оживает сверкающий никелем и стеклом медицинский шприц, мужские крупные, крепкие, добела вымытые, пахнущие лекарством и чистым полотенцем руки. Вместо пальцев на этих руках пять черных змеек. Змейки, извиваясь, нацеливают на его тело огромную змею — шприц. Шприц-змея гоняется за ним, жалом целится в его синее тело. И туман. И из тумана два цвета — синий и красный...

Мальчишка пяти-шести-семи лет плыл по белесо-молочному туману. И постепенно выплывал из него. Выплывали сначала ноги, а потом руки, одна, вторая, а потом он заметил, что вокруг люди,

[1] Козько В. Судный день.— Дружба народов, 1977, № 12,. с. 65, 66, 67.

такие же, как он, мальчишки, девчонки. Но не обрадовался им. Все они были страшного серо-землистого цвета. И все чего-то ждали, поглядывая на дверь... И мальчишка ждал своей очереди, копил в себе стон и крик. И настала его очередь. Открылась и закрылась за ним дверь. Но он не закричал. Крик застрял у него в горле. То, что он увидел на белом-белом столе, было страшнее страха. На застеленном простынею столе в стеклянных палочках была живая кровь.

И отпрянул синий цвет, все надолго окрасилось кровью. Из красного выплыли пальцы-змейки со змеей-шприцем и указали ему на стол. Он забился под стол, его вытащили оттуда за ногу. Он укусил кого-то, его ударили по лицу. Удара он не почувствовал, его было бесполезно сейчас бить, боль ушла из тела. Тело было деревянным. И от удара лишь деревянно вздулись губы и на губах появился вкус дерева, будто он грыз дерево, и в губы впились занозы. Его бросили на стол. Прикрутили руки и ноги к столу. И тут он закричал, но не горлом, а прикрученными к столу ногами и руками, которые все видели, но не могли защитить его. Видели красные стеклянные трубки с кровью, нацеленную на него иглу — жало шприца. Глаза понимали, что шприц рвется к нему, чтобы взять его живую кровь. Всю до капли. Он останется без крови, и его выбросят на помойку. Весь земной ужас сосредоточился для него на черной, косовато срезанной дырочке шприца. Вся земная боль смотрела на него из этой дырочки. Жало шприца настигло его и впилось, всосалось в его руку. И он снова провалился в бездну, в белесо-молочный, сосущий из него соки туман. Выжатой тряпкой лежал он на чем-то жестком и рубчатом. Быть может, он был даже мертв. Но это его не испугало. Чего бояться, если в тебе нет больше крови, если змея пила ее из твоего тела долго-долго, пока сыто не отвалилась, роняя „кровавые капли, уползла из твоего тела...»[1]

А надо ли так — детскими, женскими глазами видеть и показывать то, чему и названия нет? Верный ли это путь для литературы, на который она сегодня вступает, да и вступила уже — «военная» литература?

К этому разговору мы вернемся еще — в конце книги.

* * *

А пока снова обратимся к «деревенской» прозе и той памяти, из которой она выросла, вырастает. Это и Залыгина, и Елизара Мальцева, и Мележа, и Шукшина, и Абрамова, и Можаева, и Белова, и Друцэ, и Айтматова, и Распутина, и других писателей

[1] Козько В. Судный день.— Дружба народов, 1977, № 12, с. 87-88.

личная их, детская, юношеская, взрослая, довоенная и послевоенная память, но это и память народная, зачерпнутая из самой глубины.

За страницами «На Иртыше», «Жизни Федора Кузькина», «Людей на болоте» свиток народной памяти, уходящей в века. Вот почему Б. Можаев, споря с А. Прохановым и В. Гусевым — с их «снисходительным» взглядом на «неисторического» будто бы героя «деревенской» прозы, имел право написать: «Отпала необходимость доказывать, что русский мужик не был забитым да темным лапотником с сошкой в руках (конечно, встречались и такие экземпляры), но в массе своей был бойким и сноровистым хозяином, не чуждым участия в общинной и государственной жизни. И технику осваивал быстро, и выгоду хорошо понимал, и от всяких новшеств не отказывался, и в кооперативы охотно вступал... И заводы, и стройки, и всякие ремесла не в диковинку для него были. За короткий срок в начале тридцатых годов наш рабочий класс вырос в несколько раз. Ведь не с луны же свалилось это пополнение. Оттуда же оно пришло, из деревни. Шел на стройки и на заводы не песиголовец, а тароватый русский мужик, имевший за плечами тысячелетний опыт государственного строительства»[1].

«Полесская хроника» белоруса Ивана Мележа пронизана полемическим пафосом утверждения высоких душевных, человеческих качеств людей, живших на болоте,— полешуков, которых молва соседей, а вслед за нею и литература издавна если не презирала, то жалела — за их будто бы бесхарактерность и безынициативность. («Полешуки мы, а не человеки».) А полешуки отвечали в адрес ироничных соседей — тоже иронией: «А за Гомлем людзі е?» — «Е, ды толькі дробненькія!» («А за Гомелем люди есть?» — «Есть, да только меленькие!»).

И вот об этом крае, об этих людях Иван Мележ написал правдивейшие романы, населенные характерами по-настоящему крупными, со страстями шекспировского накала. И главная страсть, которой одержим герой мележевской «Хроники» Василь Дятел,— это страсть властвовать над землей. Над своей землей — это так, страсть вроде бы собственническая. Но властвовать трудом, отчаянным, безоглядным, как только умел крестьянин трудиться, не зная ни дня, ни ночи, не щадя ни себя, ни близких.

«Власть земли», «земное притяжение» — в разные времена по-разному виделось это и оценивалось с точки зрения прогресса и гуманности. И действительно, в различных условиях разные были проявления ее — власти земли над крестьянином. Она и уродовала,

---

[1] Можаев Б. Где дышит дух? — Литературная газета, 1979, 31 окт.

и убивала душу, но она могла и поднимать, распрямлять людей — все зависело и зависит от времени и условий.

А в наше время и в условиях наших?

Один взгляд на эту проблему у Мележа и совсем иной, например, у Макаёнка (хотя Мележ писал о 20-30-х годах, а Макаёнок — о наших днях, но и тот и другой озабочены проблемами именно нашего времени).

В «комедии-репортаже» о жизни и проблемах сегодняшнего села Андрей Макаёнок вкладывает в уста довольно-таки традиционного деда слова неожиданные.

«Дед Цыбулька. А-а, вот как ты повернул? Выходит, я — контра? А ты Стеньке Разину и Пугачеву — ближайший друг? Ну, тогда получай сдачи. Надо растолковать тебе, если ты способен хотя бы что-то понять. Первое. Когда я стал законным пенсионером, полностью обеспеченным, я оказался как бы без конкретного дела. А ето что-о? Для селянина что? Скажу я вам: эх, и тяжелая ето работа — сидеть без дела. Как в президиуме. Вот тогда я и задумался... Перепередумал всю жизнь, и свою собственную, и деда, и прадеда своего, и внуков, и правнуков своих, которые есть и которые будут. Раз ты затронул былое, то я тебе обратно — раскрою былое и думы. Ты потревожил светлые головы Стеньки Разина и Пугачева, народовольцев, героев революции и гражданской войны... Не-е, не раскумекать тебе ето. А потому возьмем конкретно и просто по букварю. Вот ты упрекаешь моего внука и меня, что мы не любим землю. А за что ее любить? Не за то ли, что ета земля меня, батьку моего, деда и прадеда вековечно, столетиями, тысячелетиями, не жалея, горбом награждала, гнула книзу, тащила в грязь, в тину, в болото? Эта земля за тысячи лет насквозь промокла людским потом, набрякла горькими мужичьими слезами. Ступи на нее, и она чавкает. Вековечно я стоял перед нею на коленях, по комочку перетер ее всю пальцами, бил земные поклоны, рыдая, молил ее и ласково, и гневно, чтобы прокормила, чтобы пожалела детей. От зари до зари, от ночи до ночи крюком гнул спину, не поднимая глаз на небо, на жаворонка — на красоту. И так века. Дак за это ее любить? Как бы не так!.. Земля... Ее хватало и тогда, при помещиках. Работай и люби ее, землю эту, сколь душе угодно, хоть целуй ее, хоть лижи. Только плоды труда твоего доставались черту лысому: помещику-дармоеду, купцу, царю-батюшке, попу, чиновнику, жандарму, а не тому, кто руки мозолил. Я тут землю ласкал, нянчил, засевал, полол, жал, каждое зернышко пальцами перещупал... А потом? А потом сам оставался голоден, детки опухали от голодухи, от бесхлебицы. Не обидно? Не болела душа? До слез кровавых обидно было! Вот так, до удушья!.. Дармоеды, сытые, они любили землю. А я

ненавидел ее! Вот эта ненависть, обида, голодные дети и надежда на вольный труд гнали меня на смертельный бой... О-о-о, ета земля!.. Вот попробуй предложи любому колхознику сейчас десять, пятнадцать гектаров земли. Думаешь, возьмет? Даже бесплатно, за так. Не-е! Дудки! Понял мужик — не в земле счастье!»[1]

И даже в микрофон кричит дед Цыбулька — вослед внукам, бегущим из села: «Так что, внуки мои, идите! Учитесь! Работайте! И обязательно любите человека на земле! Человека! Идите! Идите вперед и еще более, дальше. А я тебя, Юрка, прикрою с тыла. От старины прикрою. Вперед! И еще дальше и больше!»[2]

Дед Цыбулька, возможно, и не знаком с цифрами, со статистикой о миграции сельского населения — в планетарном масштабе. Но за «авторской позицией» такое знание просматривается явственно: сокращение сельскохозяйственного населения в развитых, индустриальных странах — процесс болезненный, но вполне закономерный. В наш технический и химический век это неизбежно и даже может служить поводом для проявления энтузиазма. При одном лишь условии: если сокращение количества работников способствует их «качественному» отбору и увеличению производства продуктов питания для ушедших в города.

Почему бы и не прокричать радостно вослед им, как макаёнковский дед Цыбулька: «Так что, внуки мои, идите! Вперед!.. И еще дальше и больше!»

Дед Цыбулька цифрами не оперирует, но они вроде бы за него — такое чувство у автора комедии. А чтобы чувство выразить словами, специально для этого в пьесу вставлен внук деда Цыбульку подкованный политэкономически Юрка («Видели, сколько новой техники только вчера прибыло в наш колхоз? Начинается новый способ производства. Ком-му-нис-ти-ческий!»).

Можно подумать, что задолго до начала нынешней дискуссии вокруг «деревенской» прозы ее уже «прокрутил» в своей пьесе «Таблетку под язык» А. Макаёнок. В пользу и на стороне А. Проханова и В. Гусева, конечно. Но верно сказано еще Горьким, что «образ шире идеи». Где дедову внуку Юрке и некоторым участникам дискуссии опереться не на что, кроме как на пафос и количество машин, там у драматурга в запасе «образ» — сам дед Цыбулька с его прошлыми мытарствами в горевом прежде колхозе. Тех, кто не согласен с главной мыслью пьесы: бегство молодежи из деревни — процесс в целом положительный, поскольку на замену движутся машины, техника (про шефов в пьесе ни слова!) — несогласных с этим дед Цыбулька легко припрет к стенке, не

[1] Макаёнак А. Таблеткуязык: Камедыя-рэпартаж.— Полымя, 1973, № 1, с. 68 (Перевод автора).
[2] Макаёнак А. Таблеткуязык: Камедыя-рэпартаж,— Полымя, 1973, № 1, с. 68 (Перевод автора).

прямо, так косвенно: «Довольно нас дурачить любовью к земле, сыты ею во как! Ты пожил в городе на всем готовом, пока у нас не было паспортов,— теперь паспорта и у нас, слава богу! Мои внуки не хуже ваших!» И верно — не хуже. Попробуй, горожанин, с ним поспорь, ответь ему: ты, лично ты,— ему, Цыбульке, а не Макаёнку! Макаёнку отвечать легко: на его цифры — да своими цифрами. Тут вы на равных, горожане. Между вами лишь цифры. А между тобой и Цыбулькой — годы и годы, когда не ты, а он жил возле хлеба и без хлеба.

Виноватая память подсказывает сцену, картинку тридцатилетней давности, от которой не ушел и никуда не уйдешь. Ты студент, с бывшим своим командиром — дружелюбным и неунывающим работником районного масштаба, оба вы едете по «своим местам», где партизанили, где вас знают. И действительно знают, помнят, но почему так нехорошо, так неловко, стыдно от встреч с ребятами из вашего отряда — мирными послевоенными колхозниками? Тогда, в 1948-м, в 1949-м о человеке думалось хорошо или плохо в зависимости от того, кем и чем он был в войну. А они в войну все были полезнее, нужнее тебя — пацана с винтовочкой. И вот ты приехал повспоминать и как бы покрасоваться и уедешь, а им — хочешь не хочешь — оставайся и живи на «палочки» вместо хлеба. Будто не одна победа на всех. Вам с командиром, уехавшим в город, досталась одна, а им — какая-то другая... Да, это именно то время, о котором иной обыватель, городской или литературный, вздыхает сердито: «Зато цены снижали!» Для тебя, для вас — за их счет. Что ж, за все надо расплачиваться, платить по прошлым счетам — и морально, и материально. И прав был Вацлав Михальский, когда в статье «Бой с тенью» (Литературная газета, 1979, 7 ноября) написал, что проблему «доверия человека к земледельческому труду... ни на каком тракторе не объедешь...» (хотя сам в той же статье преотлично «объехал» и без трактора — ушел от всех проблем вслед за А. Прохановым — в пафос, мало с жизнью связанный).

И все-таки, хотя и припирает нас Цыбулька к стенке — нашим прошлым, не все правда о деревне здесь. И даже не самая истинная правда он, этот Цыбулька. Потому что он не из живой крестьянской плоти, а все-таки из цифр, одетых в «плоть». Он — рупор авторской идеи. Парадоксальной идеи, ничего не скажешь: крестьянин — и вдруг такое о земле!..

Через «деревенскую» прозу об этой же стороне жизни нашей истории узнаешь намного больше. Там всему есть место — даже мстительному нигилизму крестьянина по отношению к крестьянскому труду, но там жизнь, а не голая идея.

Герои романов и повестей Ивана Мележа и Сергея Залыгина («Полесская хроника», «На Иртыше»), «Владимирские проселки» Владимира Солоухина, абрамовские мужики и бабы и особенно его удивительная, вечная труженица и страдалица Пелагея, «Кончина» Владимира Тендрякова, «Войди в каждый дом» Елизара Мальцева, «Жизнь Федора Кузькина» Бориса Можаева и «Привычное дело», «Кануны» Василия Белова — вот оно, прошлое, от которого уйти, не переболев им, литература права не имела. Да и никто не имеет такого права, потому что оттуда тянутся корни и корешки многих и многих сегодняшних проблем, сложностей и трудностей.

Это уже бывало, и не раз — чье-то стремление и расчет делать великие дела руками людей идеальных. Но еще В. И. Ленин предупреждал, что в практической работе не следует рассчитывать на «идеальных». Это только литература — определенного сорта литература — поставляла таких людей в неограниченных количествах. Но они не строили Магнитку и Днепрогэс (и даже Куйбышевскую ГЭС — не они!). Не их руками, трудом поднималась целина. И не они возрождают Нечерноземье. В государственном балансе рабочей силы они не значились и не значатся. Проходят по ведомству критики: это она их бросает то туда, то сюда и руками их творит чудеса.

Или обещает, как А. Проханов, сотворить. (А заодно — и новую, лучшую, более правильную, чем нынешняя «деревенская», литературу.)

* * *

Какие они ни есть — герои Белова, Можаева, Распутина и прочих «деревенщиков», даже если и не очень «современны» по каким-то меркам критики,— но они, безусловно, живые, реальные люди, и с ними хочется быть. Даже если ты, осмелюсь думать, трудишься на сверхсильном тракторе или на атомной субмарине...

«Но теперь ей предстояло готовить избу не к празднику, нет. После кладбища, когда Дарья спрашивала над могилой отца-матери, что ей делать, и когда услышала, как почудилось ей, один ответ, ему она полностью и подчинилась. Не обмыв, не обрядив во все лучшее, что только есть у него, покойника в гроб не кладут — так принято. А как можно отдать на смерть родную избу, из которой выносили отца и мать, деда и бабку, в которой сама она прожила всю, без малого, жизнь, отказав ей в том же обряженье?»[1]

С камня не спросится, что он камень, с человека же спросится!

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 165.

«Русский народ,— написал в конце жизни Василий Шукшин,— за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту… Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком»[1].

Об этом же и о том, что в повестях его говорится,— Валентин Распутин сказал в одном из интервью: «И если мы станем считать вопросы нравственности второстепенными, тыловыми, нам неминуемо придется поворачивать назад, ибо тыл тогда сам по себе превратится во фронт, а что значит фронт за спиной, понятно не только военным»[2].

Так о чем же «деревенская» проза? О погружении извечной деревенской Атлантиды (и многих ею утвержденных ценностей) под шквалом урбанизации и НТР?.. Тема прощания, оплакивания, последнего поклона? Да, и об этом. Не песней же и пляской (или «Петрухиной пьянкой») проводить нашу общую «Матёру», где столько зачато, родилось и умерло… Так все-таки «поклон», умирание — об этом? Нет, о жизни. Больше того — о смысле жизни. Подняться к этой проблеме по-серьезному, как поднимается, например, Валентин Распутин,— нужна не просто смелость, а зрелость. Всей литературы зрелость. Которую мы ощущаем в нашей как «военной», так и «деревенской» прозе.

Насколько они не праздные, вопросы эти, и для современного материалиста, хорошо засвидетельствовал разговор А. Л. Чижевского с отцом космонавтики К. Э. Циолковским. Воспоминания крупного советского ученого Александра Леонидовича Чижевского о его любопытной беседе с Константином Эдуардовичем Циолковским напечатал журнал «Химия и жизнь» (1977, № 1):

«Многие думают,— сказал К. Э. Циолковский,— что я хлопочу о ракете и беспокоюсь о ее судьбе из-за самой ракеты. Это было бы глубочайшей ошибкой. Ракета для меня только способ, только метод проникновения в глубину космоса, но отнюдь не самоцель… Вся суть — в переселении с Земли и в заселении Космоса. Надо идти навстречу, так сказать, космической философии! К сожалению, наши философы об этом совсем не думают».

И дальше.

«Есть вопросы, на которые мы можем дать ответ — пусть не точный, но удовлетворительный для сегодняшнего дня. Есть

---

[1] Вопросы литературы, 1979, № 10, с. 150.
[2] Там же, с. 111.

вопросы, о которых мы можем говорить, которые мы можем обсуждать, спорить, не соглашаться, но есть вопросы, которые мы не можем задавать ни другому, ни даже самому себе, но непременно задаем себе в минуты наибольшего понимания мира. Эти вопросы: зачем все это? Если мы задали себе вопрос такого рода, значит мы не просто животные, а люди с мозгом, в котором есть не просто сеченовские рефлексы и павловские слюни, а нечто другое, иное, совсем не похожее ни на рефлексы, ни на слюни... Иначе говоря, нет ли в мозговой материи элементов мысли и сознания, выработанных на протяжении миллионов лет и свободных от рефлекторных аппаратов, даже самых сложных? Да-с, Александр Леонидович, как только вы зададите себе вопрос такого рода, значит вы вырвались из традиционных тисков и взмыли в бесконечные выси: зачем все это — зачем существуют материя, растения, животные, человек и его мозг — тоже материя,— требующая ответа на вопрос: зачем все это? Зачем существует мир, Вселенная, Космос? Зачем? Зачем?»

«Говорят,— иронизирует Циолковский,— что задавать такой вопрос — просто бессмысленно, вредно и ненаучно. Говорят — даже преступно. Согласен' с такой трактовкой... Ну, а если он, этот вопрос, все же задается... Что тогда делать? Отступать, зарываться в подушки, опьянять себя, ослеплять себя?.. Этот вопрос не требует ни лабораторий, ни трибун, ни афинских академий. Его не разрешил никто: ни наука, ни религия, ни философия. Он стоит перед человечеством — огромный, бескрайний, как весь этот мир, и вопиет: зачем? зачем?»[1]

У Циолковского была своя научно-философская гипотеза будущего развития человека и человечества — неожиданная по смелости и масштабам, оперирующая миллиардами миллиардов лет, когда, по его предположению, даже человеческое тело эволюционирует в «лучевую энергию» и, разлившись, «рассветившись» по Космосу, став Космосом, «может быть», осознает, поймет, «зачем все». Потому что человек и будет этим «всем»...

Это в традиции русской гуманистической науки и великой русской литературы (да и всей мировой, классической) вопрос «о смысле всего» связывать напрямую с вопросом о «вечности». А значит — и смерти. Именно смерть заостряет вопрос до боли, до крика: зачем? зачем все? какой во всем смысл?[2]

Были времена в литературе, когда о смерти, умирании писали много, очень много, писали с удовольствием, со смаком, с

---

[1] Химия и жизнь, 1977, № 1, с. 24—26.

[2] Не эту ли глубинную связь имел в виду Ф. Достоевский, когда в записной книжке заметил: «Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие». (Литературное наследство: Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради. 1860—1881, т. 83, 618).

подвыванием — Максим Горький этих писателей называл «смертяшкиными». Нет ничего отвратительнее, чем «конъюнктурщики» этой «темы».

Но бывало и другое. Смерть ушла из литературы начисто, «намертво». Нет, люди погибали, если надо — геройски или подло погибали, кровь лилась, текла обильно по страницам. Смерть как «поступок» жила в литературе. Но смерть как тема, проблема, вопрос — ушла, исчезла. А с нею — закономерность! — и вопрос о смысле жизни. Ведь все ясно и просто, если умирают лишь за дело (или поделом), а не так, как старуха Анна у Валентина Распутина,— просто потому, что срок подошел и надо.

В «Юности» был когда-то опубликован рассказ «Невероятная смерть» интересного нашего белорусского писателя Валентина Тараса. Партизанский командир и молодой паренек едут на санях сквозь ночь — лесом, полевыми дорогами. Везут убитого партизана. Увидели огонек на хуторе. Командир послал партизана посмотреть, кто и что там, и «прикрыть эту иллюминацию». Мальчишка заглянул в окошко, потом вошел в сени: в избе старухи, дети, тусклый свет лучины падает на мертвого старика, лежащего в гробу. Надо узнать, кто его? Спросил:

«— А кто его убил?

— Никто. Сам...— так же просто сказала женщина.

— Как это — сам? — не понял мальчишка».

Пораженный, вернулся на дорогу и сообщил командиру, что «сам».

«— Умирают же люди I — тихо сказал командир».

«Военная» наша литература не могла и не может не писать о смерти человека — смерти во имя жизни, прежде всего. Сохраняя и передавая всю боль и трагедию насильственного конца. Но военная ситуация фактически снимает главный вопрос, а точнее, решает его лишь «тактически». И редко, очень редко — «стратегически», как решали его классики. Смерть Андрея Болконского — не только во имя победы над Наполеоном. Нет, она «нужна» Толстому и для победы над бессмыслицей бытия, ради выяснения: в чем же смысл жизни и смерти человека? У нас же смерть героя чаще «поступок», а не «вопрос». И когда у Виктора Астафьева в повести «Пастух и пастушка» герой умирает не от ран, а от «усталости» — рана вроде бы пустяковая, а он все равно умирает, как бы от всей войны умирает, от жестокости всей, им познанной,— начинаешь подозревать, что писатель уловил и выразил «усталость» самой пашей «военной» литературы. Усталость от смертей, одинаково лишенных глубины вечных вопросов. Да, тех самых, вечных, проклятых!

И тут не «деревенщики» ли могут, способны подсказать и подсказывают кое-что «военной» прозе? Не случайно именно Астафьев вот так ощутил это и художественно выразил — писатель, одинаково сильно заявивший себя как в «военной», так и в «деревенской» прозе.

Умирает старуха Анна в «Последнем сроке» Валентина Распутина, умирает остров на сибирской реке — зеленая, обжитая Матёра. Река времени и просто река возьмут свое. «Надо, раз надо»,— как бы говорит всем своим обликом старуха в «Последнем сроке». А в «Прощании с Матёрой» звучит: «Надо ли?!» Но и там и здесь главная мысль об остающихся — о тех, кому жить дальше. О «провожающих». И старуха Анна и древняя Матёра одинаково тревожно, жалеюще смотрят на уходящих от них. И от кого они уйдут — в смерть, под воду. Да, и Матёра смотрит: не ради ли этого выпущен автором чудной, проницательный зверек — Хозяин, который, все видит, все чует?

«И он видел все от начала до конца. Он видел отблеск первой спички, особую, ненуждовую вспышку которой сразу выделила и почувствовала изба: она натянулась и, с болью скрипнув, осела. Хозяин подбежал к ней, прижался на мгновение в последний раз к ее сухому замершему дереву...

Он видел дым над кладбищем, тот самый, который, старухи не дали добыть...

Он видел, подобрав опять глаза к Петрухиной избе, как завтра придет сюда Катерина и будет ходить тут до< ночи, что-то отыскивая, что-то вороша в горячей золе и в памяти, как придет она послезавтра, и после... и после...

Но он видел и дальше...»[1]

Последний срок... Старуха уходит, умирает, взрослые ее дети приехали, на время оторвавшись от дел и своей жизни — проводить, исполнить обряд и выполнить долг Человеческий, сыновний, дочерний.

И до чего же, господи, не умеют это люди вести себя перед лицом смерти! Чужой. И свою далеко не каждый человек встречает, встретит, как следовало бы — как сам от себя или другие от него ждали. Но редко кто перед лицом собственного конца бывает столь же пуст и обидно неглубок, какими бывают многие — в роли «провожающих».

Умирает мать, их мать! А они что? Они приехали ее жалеть, оплакать ее. Как умеют, как могут. Но что бы они ни сделали, чтобы ни сказали — все выглядит и все звучит ужасно. Перед таинством смерти.

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 74—75.

Да кто же они — люди, нелюди? Люди, обыкновенные люди, но это о них (и о себе) говорит Поливанов — один из героев нового романа Даниила Гранина «Картина»: «Не думал я о смерти. Словно бы бессмертен. Ты разве к смерти готовишься? Тоже живешь ровно бессмертен. Это у всех нынче как болезнь... Поскольку там ничего нет, то боимся подумать...»

«Провожающие» и сами боятся думать о смерти и приговоренного к ней болезнью или старостью «отвлекают». Как в «Последнем сроке»: «Ну, мать, молодец ты у нас,— с веселым удивлением покачает головой Илья.— Давно ли слова не могла сказать, и вот, пожалуйста, вовсю разговорилась. Прямо как по-писаному чешешь».

«— Мать у нас молодец. Обманула свою смерть, и никаких.

— Смерть не омманешь.— Старуха смотрела на них с терпеливой укоризной и сказала не сразу».

«— Лежишь, мать? Ну, полежи, полежи, отдохни. А плясать вздумаешь, обязательно крикни нас. Посмотрим — ага. Мы знаем, мать, знаем, что ты собираешься плясать,— не отказывайся.

Старуха отвечала ему испуганным, умоляющим взглядом».

Все они как бы ради умирающего стараются — чтобы подбодрить. Но больше потому, что других слов не имеют. Не привыкли об этом думать. Делают вид, что всем еще долго «ехать» вместе («Ты еще у нас плясать пойдешь!»), но сами лишь «зубы заговаривают, отвлекают,— как зло сказано у того же Гранина,— чтобы на ходу спрыгнуть».

«Почему так?» — звучит горький, трудный вопрос в «Картине» Гранина. И у Распутина в «Последнем сроке» тот же вопрос. В каждой сцене, на каждой странице повести. Как все ужасно, ложно у тех, что явились «проводить» мать, и как все по-человечески правдиво и верно у самой старухи, даже когда она «чудит»...

«Приходя в себя, она тоненько, не своим голосом, стонала, из глаз ее выдавливались слезы, и она причитала:

— Сколько раз я вам говорела: не трогайте меня, дайте мне самой на спокой удти. Я бы тепери где-е была, если бы не ваша фельшерица.— И учила Нинку: — Ты не бегай боле за ей, не бегай. Скажет тебе мамка бежать, а ты спрячься в баню, подожди, а потом скажи: нету ее дома. Я тебе за это конфету дам — сладкую такую»[1].

А вот — дети:

---

[1] Распутин В. Последний срок, с. 397-398.

«Первой, уже на другое утро, приехала старшая старухина дочь Варвара... Варвара открыла ворота, никого не увидала во дворе и сразу, как включила себя, заголосила:

— Матушка ты моя-а-а!

Михаил выскочил на крыльцо:

— Погоди ты! Живая она, спит. Не кричи хоть на улице, а то соберешь сейчас всю деревню»[1].

Варвара самая «недалекая» из детей старухи — по уму, да и живет ближе других детей. Люся — та городская, «кричать» не станет на всю деревню и чует ложность положения, фальшь, когда она возникает, но и эта что ни сделает — все невпопад, все ужасно...

«Застрекотала машинка, и Люся сама испугалась, выпустила ручку — до того громким, как стрельба, показался ее стук. На него тут же пришлепала напуганная Варвара. Увидев Люсю, чуть остыла:

— Слава тебе, господи! Думаю, кто тут такой. Прямо всю затрясло. Че это тебе приспичило?

Люся не ответила, шила.

— На похороны, че ли, черное-то приготовляешь?

— Не понимаю: неужели об этом обязательно надо спрашивать?

— А че я такого сказала?»[2]

Сыновья Михаил и Илья позаботились о водке — тоже понадобится.

«Братья понимали, что сейчас все главное для них состоит в том, чтобы ждать, но и ждать тоже можно по-разному, и они исподволь уже начали тревожиться, так ли ждут, как надо, не теряют ли даром время. Напоминание об умирающей матери не отпускало, но сильно и не мучило их: то, что надо было сделать, они сделали — один дал известие, другой приехал, и вот водку вместе принесли — все остальное зависело от самой матери или от кого-то там еще, но не от них...

— Скажи все же, а,— начал опять разговор Михаил— Ведь знали, что вечно жить не будет, что близко уж. Вроде привыкнуть должны, а не по себе.

— А как иначе,— подтвердил Илья,— Мать.

— Мать... это правильно. Отца у нас нет, а теперь мать переедет, и все, и одни. Не маленькие, а одни. Скажем, от нашей матери давно уж никакого толку, а считалось, первая ее очередь, потом наша. Вроде загораживала нас, можно было не бояться. А теперь живи и думай.

---

[1] Там же, с. 398.
[2] Там же, с. 404.

— А зачем об этом думать? Думай не думай...»[1]

А потом была первая тревога, и их всех позвали к умирающей:

«Они ждали, особенно близко чувствуя, что они сыновья и дочери этой старухи, и жалея ее, а еще больше жалея себя, потому что после ее кончины им останется горе, навязанное смертью, которое кончится не скоро. И еще каждый из них по-своему чувствовал новое, не бывавшее прежде в нем горькое удовлетворение собой оттого, что он здесь, при матери, в ее последний час, как и положено сыну или дочери, и тем самым заслужил ее прощение — какое-то другое, не человеческое прощение, мало имеющее отношение к матери, но все же необходимое в жизни. Это были страх и боль вместе, больше всего их пугало, что они, глядя на долго отходящую мать, видели, казалось, то, что людям смотреть нельзя, и, сами не веря себе, они хотели, чтобы это кончилось скорей»[2].

Сами не веря себе!.. Литература давно — начиная с Достоевского, Толстого, видит в человеке то, замечает, подмечает то, на что, казалось бы, и смотреть нельзя: пугающие эти, мимолетные, но тем не менее задерживаемые сознанием, фиксируемые им самим жутковатые мысли, ощущения. Вот и в «Прощании с Матёрой» Дарья говорит:

«— Живые... им жить надо, а не смерть в дому держать, горшки с-под ее таскать, Я потаскала, знаю. Из-под меня скоро с-под самой хошь таскай, мигом от горшка до горшка долетела, а помню. Свекровку свою помню, как я на ее смотрела. А то и смотрела,— непонятно на что опять осердясь, продолжала она,— что думала: «Когды тебя бог приберет? Надоела хужей горькой редьки». Это мы с ей ишо хорошо жили, она покладистая была. А я была небрезгливая. А помню: до того мне под конец тошно к ней подходить. Навроде все понимала, что она, христовенькая, невиноватая, а все равно ниче с собой сделать не могла. Не могу, и все, хошь из дому беги. И думаю: а ежели бы это мамка моя пластом так лежала — я бы тоже ей смерти хотела? Сама отговариваюсь, а сама слышу, издали голос идет: а тоже хотела бы... Это уж и не от меня идет — от чего-то другого»[3].

Такой беспощадной правды, идущей от любви к человеку — не от презрения, а именно от любви, жалости,— литература не знала до Толстого и Достоевского. Но и после них решиться на такую правду и беспощадность можно, право имеет владеющий высоким искусством любви к людям.

---

[1] Распутин В. Последний срок, с. 416—417.
[2] Там же, с. 418.
[3] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 86—87.

Очень даже знакомы Распутину-художнику такие чувства, как презрение, гнев, хватает в его повестях «разоблачительных», почти фельетонных красок: достаточно вспомнить пьянку сыновей, которой они «скрашивают» свое ожидание смерти матери, или же «труды и дни» шефов, налетевших на затопляемую Матёру... Но «разоблачением пороков» он не ограничивается, на этом его реализм, его психологизм не кончается. Гнев его видит и бездушие, и эгоизм, и повсеместную пьянку, от которой люди на улицах «на ходу бодаются». Но жалость его, перенятая у старухи Анны и бабки Дарьи, видит намного дальше, глубже: как нелегко, непросто человеку справляться со всем, что в нем намешано, как мучительно!

Именно такими глазами смотрит на своих детей и старуха Анна.

«Старуха смотрела на Илью долго, до неловкой устали. Она искала в нем своего Илью, которого родила, выходила и держала в памяти, и то находила его в теперешнем, то опять теряла. Он был, но далеко. Столько нового мяса наросло на нем, столько всяких людей без нее ходило с ним рядом, что она верила и не верила, что это он, будто ее Илью, как малую рыбешку, заглотила рыбина побольше да порасторопней, и теперь они живут в одном теле»[1].

А в «Прощании с Матёрой» об этом же напрямую:

«Смотрите, думайте! Человек не един, немало в нем разных, в одну шкуру, как в одну лодку, собравшихся земляков, перегребающих с берега на берег, и истинный человек выказывается едва ли не только в минуты прощания и страдания — он это и есть, его и запомните»[2].

Старуха Анна умирала, как жила всю жизнь,— не жалуясь, ничего не перекладывая на других, не требуя ничего. А только все еще ожидая своей младшей дочери, Таньчоры, которая почему-то не едет, хотя сейчас, в последние минуты, она нужна больше всех. Единственная, которая вслух говорила ей когда-то слова чудные и непринятые в деревне: «Ты у нас правда молодец, ты и не знаешь, какая ты молодец, ты лучше всех... Нам с тобой сильно повезло. У кого еще есть такая мать, как у нас?»

Крестьянку даже пугали такие слова («она не знала, что их можно говорить вслух»), но «...это был приятный, усмиренный страх, как страх невесты перед первой брачной ночью. Мать потом долго испытывала их про себя, как бы случайно, ненароком припоминая выпавшие слова, на самом деле старательно собранные в памяти, чтобы погреть, когда захочется, душу»[3].

---

[1] Распутин В. Последний срок, с. 422—423.
[2] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 105—106.
[3] Распутин В. Последний срок, с. 512—513.

Не много же ласки и добра она видела, но тем бережнее хранила то, что ей досталось.

«Но она не жаловалась на свою жизнь, нет. Как можно жаловаться на то, что было твоим собственным, больше ничьим, и что выпало только тебе, больше никому? Как прошла, так и ладно, во второй раз не начнется. Потому-то и хватает человеку одной жизни, что она у него одна,— двух бы не хватило... Никогда ей не приходило в голову, что хорошо бы стать на чье-то место, чтобы, как он, больше увидать или легче, как он, сделать... И никогда никому она не завидовала, как бы удачно он ни жил и с каким бы красивым лицом ни ходил—для нее это было нисколько не лучше, чем хотеть себе в матери чужую мать или в дети чужого ребенка»[1].

И жизнь у человека — своя собственная. И смерть тоже — собственная, лишь ему принадлежащая. Ведь говорят в народе: умер — как жил. Каждый по-своему умирает, как и живет.

«Старуха верила, что у каждого человека своя собственная смерть, созданная по его образу и подобию, точь-в-точь похожая на него. Они как двойняшки, сколько ему лет, столько и ей, они пришли в мир в один день и в один день сойдут обратно: смерть, дождавшись человека, примет его в себя, и они уже никому не отдадут друг друга... Но про себя старуха знала, что смерть у нее будет легкая. У них было время, чтобы насмотреться, как живут и умирают другие, и им под конец незачем мучить друг друга — да и сил для этого у них не осталось»[2].

Тени, тьма исчезают, если их пытаться рассмотреть «с помощью света». То же саМę случается очень часто и в литературе — когда о смерти пишут слишком «от ума». Стремясь «понять смерть», а через нее — и смысл жизни, литература чаще именно так и поступает: тьму смерти высвечивает рассудком и уже о «свете» рассуждает, будто бы о «тьме».

Иво Андрич в своей мудрой книге «Знаки вдоль дороги» пишет: «То, что у писателя мы называем «размышлениями о смерти», чаще всего далеко от размышлений и еще дальше от смерти. Это лишь выраженные словами наши чувства неуверенности и страха при мысли о смерти. Подлинная мысль о смерти слов не находит»[3].

И удивительно, как Распутин эти слова все-таки находит,— будто уже сам пережил. И даже старухой когда-то был, «побывал».

«Подлинные» это мысли умирающего или нет, мы знать не можем. Но что мы всему в повести верим, это мы знаем.

---

[1] Там же, с. 530—531.
[2] Распутин В. Последний срок, с. 526.
[3] Вопросы литературы, 1977, № 7, с. 212.

«Вот и побыла она человеком, познала его царство. Аминь. Она чувствовала, как меркнет в ней сознание, немеют руки. Или ей это только казалось, этого хотелось? Налившись обещанным звоном, повисли над землей колокола.

Прошли минуты и еще минуты — ничего не менялось. Старуха по-прежнему помнила себя: кто такая, где, зачем. Смерть почему-то не торопилась принять ее, чего-то выжидала.

Старуха прислушалась к себе внимательней. Похоже было, что все в ней на прежних местах продолжало исполнять свою службу. Не понимая, за чем остановка, она тихо, сдавленно простонала: тут я, тут...

Ей стало не по себе, ее охватило недоброе предчувствие. А ну как она умаяла свою смерть до того, что та теперь не в силах сюда добраться? Столько годов водила ее за собой, даже не водила, а можно сказать, гоняла — мудрено ли запалить до полного изнеможения. Вдруг правда: смерть не в состоянии достать до старухи, а старуха не в состоянии подтянуться к ней ближе»[1].

Со своей смертью старуха Валентина Распутина не ссорится: прожила свое, пора и честь знать. Но чужие смерти принимать легко никогда не умела, не хотела. Троих сыновей забрала у нее война. «Уезжали живые, здоровые ребята, один к одному, уже и не ребята, а мужики, а остались от них три бумажки».

О своей жизни-смерти старуха вопросов не задает — другим. Себе — да, но не другим. Но за других она может и похлопотать. За детей — особенно.

«Старуха не понимала только, почему умирают маленькие. Она считала грехом, когда родителям приходится опускать в могилу своих детей, и грех этот готова была отдать богу. У маленького и смерть такая же маленькая, несмышленая, она заиграется с ним, забудется да по нечаянности и коснется его — и сама не поймет, что натворила. А он-то, бог-то, где был, куда смотрел?.. Зачем тогда его обманывали — рожали? Зачем показывали ему белый свет и дали человеческое понятие?»[2]

Старуха умирала даже красиво. Если какую-то смерть можно посчитать красивой. Есть народы, например японцы, для которых умереть «красиво» — значит оправдать всю свою жизнь. Какую бы

---

[1] Распутин В. Последний срок, с. 538—539.

[2] И снова о «географии» в литературе, о том, как то же самое звучит по-другому, когда все происходит в Белоруссии (и в белорусской литературе). У Виктора Козько:

«— Бога! Бога!

И появился бог. Сел на крест возле меня. Посмотрел на простертые к нему руки и заплакал.

— Я тоже страдал, люди,— сказал он.

— Твоего сына только раз распинали,— ответили ему.

— Его тело не крошили танки.

— На его глазах не мордовали его детей.

— Его не закапывали живьем в землю.

— Ангелы оживили его и унесли на небо» («Високосный год»).

ни прожил. И испохабить — тоже любую, если умрешь «без достоинства». Это их поговорка: «Умрешь — не надо будет завтра». У русского народа, у славян свое отношение к смерти, но забота о достойном уходе из жизни тоже великая. Заранее готовили и «наряд» и «обряд», чтобы уйти как можно незаметнее, не причиняя лишних неудобств живым. Своего рода чистоплотность, свойственная людям очень интеллигентным. И вот им свойственная — крестьянам, «простым мужикам».

Мы знаем, как ценил это, как завидовал этому Толстой. («А мужики-то, мужики как умирают!») Старуха умирала — хоть это и неожиданно будет, но хочется сравнить,— как академик Павлов! Который до последнего мгновения диктовал, сообщал ассистенту «ощущения умирающего». Работал. («Не мешайте, Павлов работает,— Павлов умирает!»)

Старухе, конечно, такое и на ум не могло придти: что ее умирание может быть кому-то полезно. Одна забота от нее, одно беспокойство для людей! Вот и дети должны были срываться с места, бросать все и ехать к ней. И теперь сидят, дожидаются, и даже получается, что они виноваты в чем-то: ведь смерти ее дожидаются! Так надо скорее дело делать — скорее умирать! А то нехорошо получается. Будто нарочно тянет-затягивает...

Павлов не Павлов, а выходит, что и старуха делом занята: не просто умирает, а как бы и работает. Смерть поторапливает, помогает ей в ее работе...

«В ту же ночь, не откладывая, старуха решила умереть. Делать больше на этом свете ей было нечего и отодвигать смерть стало ни к чему. Пока ребята здесь, пускай похоронят, проводят, как заведено у людей, чтобы в другой раз не возвращаться им к этой заботе... Старуха лежала в кровати и ждала, когда затихнет изба, потому что знала: смерть у нее боязливая и на шум не пойдет...

Старуха собиралась спокойно, без суеты и страха. Тихонько освободила от одеяла грудь, чтобы было с чего начать, осторожно, не вызывая шума, покачала себя в кровати и нашла, что ничего лишнего в ней нет, все вышло... Ноги она вытянула и устроила удобней — вот и ноги скоро подравняются со всем телом и не будут больше страдать, что они отказали первые. Сколько раз она им говорила, что они не виноваты, она сама их надсадила беготней, да они не понимали. Теперь поймут, никуда не денутся»[1].

Вроде бы все дела переделала, осталось последнее — помочь своей подружке и напарнице—смерти. Но нет, что-то держит, мешает успокоиться и уйти. Небольшой вопросец остается — к

[1] Распутин В. Последний срок, с. 525, 537.

земле, к небу, к людям и к самой себе: зачем приходила, куда денется ее жизнь, и вообще — зачем все?

И повестью «Последний срок» и «Прощанием с Матёрой» Валентин Распутин напрямую выходит к главному из вопросов, к вопросу вопросов: зачем все, какой во всем смысл? Не налегке выходит, не умничания ради. Сами герои туда выходят — всей жизнью своей, правдой и полнотой реальной жизни, которая им дана в повестях Распутина. Талантом художника дана, а точнее — любовью и талантом.

Жила старуха — а когда-то и девочка, и молодая женщина, и труженица, и мать,— не особенно задумываясь над «вечными вопросами». Но уходя от всех и от всего, хотела бы и она знать, понять, выяснить, «зачем и для чего жила, топтала землю и скручивалась в веревку, вынося на себе любой груз? Зачем?» (Так что и тут она немножко «Павлов». Да и не немножко.)

* * *

Да, зачем все? И я зачем, и моя жизнь, и вот теперь — смерть? (А за этим — и все вопросы Циолковского: «зачем существуют материя, растения, животные, человек и его мозг… Космос, Вселенная?») И зачем ему, умирающему, знать это? — вот еще вопрос, встречный. Психологически понятно, почему именно приближение конца, смерти заостряет вопрос о смысле жизни. Для человека нет ничего невыносимее бессмыслицы — как в жизни, так и в смерти. Но можно и так вообразить: чем ближе к концу человек, тем ближе он и к «будущим ответам», которые угадывать пытался и Циолковский: «Итак, значит, мы пришли к выводу, что материя через посредство человека не только восходит на высший уровень своего развития, но и начинает мало-помалу познавать самоё себя!.. И одна из самых поразительных его возможностей — это вопрос, о котором мы сегодня заговорили: почему, зачем и т. д… Кто пренебрегает этим вопросом, тот, значит, не понимает его значения, ибо материя, в образе человека, дошла до постановки такого вопроса и властно требует ответа на него. И ответ на этот вопрос будет дан — не нами, конечно, а нашими потомками, если род людской сохранится на земном шаре до того времени, когда ученые и философы построят картину мира, близкую к действительности.

Все будет в руках тех грядущих людей — все науки, религии, верования, техника, словом, все возможности, и ничем будущее знание не станет пренебрегать, как пренебрегаем мы — еще

злостные невежды — данными религии, творениями философов, писателей и ученых древности»[1].

Итак, старуха В. Распутина не первая и не последняя, которая мучится мыслью: зачем жила, «только для себя или для какой-то пользы еще», «кому, для какой забавы, для какого интереса она понадобилась»? Не первая и не последняя задумывается она. В жизни. Но в литературе было время, когда уже и отвыкать мы начали от «вечных», от «проклятых» вопросов. И это в нашей литературе, которая всегда напрямую себя возводила к Горькому! Мало есть писателей в мировой литературе, герои которых (почти все, даже удивительно, как именно все!) вместе с самим писателем так одержимы стремлением решать самые проклятые вопросы. Как и герои Достоевского, они стремятся сразу «весь капитал получить»: «миллионы» — как удастся, а «мысль разрешить»— этим заняты все. Лев Толстой, мы знаем по воспоминаниям самого Горького, даже упрекнул его: выдумываете, батенька, вы разговоры эти — за своих героев! Хотя кто не «выдумывал»? Платон Каратаев «берет» у графа Толстого мысли и слова столь же свободно, как брал, черпал писатель-граф у русского мужика его земную мудрость. То же самое и Горький: он, конечно, одаривает героев и собственным стремлением заново все «вопросы» если не разрешить, то поставить, заострить. Но прежде они в нем разбудили это стремление — вполне реальные русские люди, с которыми жизнь его сводила…

Когда я слышу упреки С. Залыгину, что его сибирские мужики в «Комиссии» — «все философы», каких и «аспирантура не рождает», хочется сказать: никакая аспирантура не сравнится со школой, которую проходил русский мужик, проламывающийся сквозь тайгу к Тихому океану. А если иметь в виду традицию советской литературы, то самый яркий пример — «Жизнь Клима Самгина». Удивительный это роман, дотоле не имевший аналогов в практике мировой литературы. Надо было пройти путь Алексея Пешкова по самому дну жизни с внезапным, стремительным восхождением — через книгу и через приобщение к спорам интеллигентных и совсем неинтеллигентных «философов»,— пройти через такое резкое восхождение к интеллектуальной жизни, культуре, чтобы осмелиться строить роман весь на «умствованиях». Конечно, и события есть в романе, и выверенно, ритмически точно разбросанные среди бесконечных разговоров сцены самгинских «любовий» (порочных своей «умственностью» и как бы в свою очередь подчеркивающих порочность самих умствований, разглагольствований Клима Самгина).

[1] Химия и жизнь, 1977, № 1, с. 29.

Вот сейчас задаю себе вопрос: почему так нужен был, читался «Клим Самгин» в юношеском возрасте?.. Что его перечитывал, и не раз, потом — понять можно. Но почему тогда — ведь тогда была война! «Войну и мир» в третий раз глотал, вчитывался в нее, как в листовки партизанские — это более чем понятно! Но и «Жизнь Клима Самгина» читалась — я точно свои ощущения помню — не затем, чтобы уйти от войны, забыть про нее, а в ответ на все, что происходило, что окружало нас. Зачем был нужен «хлюпик» и «болтун» Клим Самгин, когда наступило время действий, «время оружия»? Не Клим Самгин нужен был, а «Жизнь Клима Самгина» — удивительная книга, излучающая ум, бросавшая протуберанцы интеллекта в мир, нас окружавший,— внезапно одуревший, отупевший мир, заполненный ненавистными зелеными немецкими мундирами и черными — полицейскими. Книгу эту в темной, твердой обложке и на белорусском языке я, кстати говоря, выкрал у полицая. (Эту и еще пяток других.) Ему поручили сжечь школьную библиотеку, и он это старательно делал, а заодно пытался испечь картошку.

Когда мы говорим о традиции подобной литературы, говорим мы не о подражаниях. Их хватало во все времена, но тут они особенно бессмысленны. Ум, интеллект, как деньги,— это сказал еще Шолом-Алейхем,—они или есть или их нет! Вот почему так трудно «учиться», например, у Андрея Платонова. Можно еще сымитировать (кое-как) его «сдвинутую» фразу, но у Платонова она «сдвинута» мощной гравитацией — неотступной мыслью-заботой о смысле, о целях сущего. А без этого смыслового напряжения получается игра в «слова набекрень», не более.

Не одна лишь «деревенская» проза сегодня живет и болеет большой мыслью о человеческом предназначении на земле. Новый роман Даниила Гранина «Картина» движется, казалось бы, в совершенно ином эмоциональном и событийном русле. «Картина» — проза «городская», но это проза, которая горячо вспомнила, что Достоевский как раз «городской писатель». Да, «общечеловеческий»; никто не спорит — наши абсолютно условные деления на «городских», «деревенских», «военных» к нему тем более неприложимы! — и все же, и все же... Если все-таки заявлять прямые права на «наследство», то у «городской» литературы их определенно больше. Но было время — и совсем недавно это было,— когда «деревенская» всецело завладела Достоевским. Ну, и еще «военная». А «городской» литературе он вроде бы и не нужен был. Почему «деревенской» так необходим Достоевский, понять нетрудно: сошлись, встретились у самых корней, у истоков! А вот почему «городу» был не нужен — уразуметь это невозможно.

Впрочем, Достоевскому от этого убытка никакого. Убытки вынуждена была подсчитывать современная литература.

Даниил Гранин — один из тех «городских» прозаиков, который от великого наследства не собирался отказываться. О чем свидетельствуют «Однофамилец», «Обратный билет». А «Картава» — особенно. Все эти вещи филигранностью письма, сдержанностью в проявлении чувств вроде бы ближе к прозе чеховской. Но заострение нравственных проблем, предельная концентрация их в судьбе отдельного человека: не «миллион» добыть, а мысль разрешить! — это как раз восходит к Достоевскому, жестокому и страдающему поэту «самого фантастического» на земле города.

Роман Даниила Гранина «Картина» совершенно в том же ряду большой современной литературы, что и «Последний срок», «Прощание с Матёрой» Валентина Распутина, «Комиссия» Сергея Залыгина, «Дом» Федора Абрамова — вот еще одно подтверждение условности нашего деления на «деревенскую», «городскую» и т. д.

И тем не менее мы будем использовать возможность такой условной систематизации — поскольку она существует в сознании и критики, и читателей. Да и в сознании самих писателей— сколько бы они не возражали против объединения их под словом «деревенщики», подозревая (и часто справедливо, как Б. Можаев), что делается это, чтобы, «связав, легче было бить» по «куче малой»...

* * *

Нет, не бездушно и бессмысленно старуха Анна работала, рожала, растила детей, хоронила умерших — в земле и в сердце своем. Она — личность. И судя по всему, очень заметная была в своей деревне женщина. Это теперь она вроде кокона, высохшего, мертвого, из которого живое уже вылетело. Это рядом с детьми, неумело дожидающимися «срока», она уже ничто, «кокон». И своей заботой, и неумелой, какая есть, любовью, а больше всего вынужденным, нелепым, пугающим их самих «ожиданием» дети теснят, теснят ее к краю... Страшно, но это так.

А прибежала к ней соседка Мирониха — ее одногодок, «подружка», и вдруг ожила старуха, помолодела, засветилась живыми чувствами.

«— Вылезла?

— Вылезла,

— Дак ты, старуня, моить, за хребет седни со мной побежишь? Вдвоем нам с тобой все веселей будет в гору подыматься.

— Не, я койни-как сюды-то выползла. Где на карачках, где как.

— А я бегу, думаю, узнаю у Нади, с чем моя старуня там седни лежит...

— Не умерла,— сказала старуха.

— А просилася?

— Просилася.

— Выходит, не время.

— Какое ишо надо время? — В голосе старухи впервые сегодня послышалось выражение — оно было обиженным,— Ребяты тут, оне меня долго ждать не будут. Самое было время. Ан нет»[1].

Нет, не как трава прожила жизнь старуха! Детям ее действительно повезло с нею. О Дарье («Прощание с Матёрой») сказано:

«В каждом нашем поселенье всегда были и есть еще одна, а то и две старухи с характером, под защиту которого стягиваются слабые и страдальные; и обязательно: отживет, отойдет в смерть одна такая старуха, место ее тут же займет другая, подоспевшая к тому времени к старости и утвердившаяся среди других своим строгим и справедливым характером»[2].

Справедливый характер был и у старухи Анны, хотя и не такой строгий, твердый, как у Дарьи. Но могла и она...

Пьяный дружок пьяных сыновей старухи вспоминает: «— Помнишь, Илья, как ваша мать вот за него отомстила? „ Как не помнишь, конечно, помнишь. Денис Агаповский, пусть ему на том свете отрыгнется, прихватил вашего Миньку в колхозном горохе и пустил ему в спину заряд соли. Помнишь, Денис, этот зверюга тогда горох караулил — герой! Минька ему и попался. Всю спину разъело, смотреть было страшно. Мать ваша просто так это не спустила, тем же макаром запыжила два патрона солью, пошла к Денису и в упор из обоих стволов посолила ему задницу, да так, что он потом до-о-олго ни сидеть, ни лежать не мог, на карачках ползал. Помнишь?

— Помню — ага,— улыбнулся.— Ее еще судить хотели, да как-то замялось потом»[3].

А Люся, дочка, помнит, как боронила поле. Конь Люсе достался старый, слабосильный, они все в ту весну еле таскали ноги, но этот и вовсе был похож на свою тень. А когда он запнулся и упал, напугав до смерти «тоненькую, во что попало одетую девчонку», прибежала мать. Ее уговаривание умирающего коня, ее разговор с конем — как с собственной судьбой разговор — верх

---

[1] Распутин В. Последний срок, с. 543.
[2] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 69.
[3] Распутин В. Последний срок, с. 503.

правды и чувства (впрочем, в повести В. Распутина все на том же уровне):

«Мать присела перед ним на колени, стала гладить по тонкой, как стесанной, шее:

— Игреня,— приговаривала она,— Ты это че удумал, Игреня? От дурной, от дурной. Он уж трава полезла, а ты пропадать собрался. Осталось дотерпеть-то неделю, не больше, и жить будешь, любая кочка на жвачку подаст. Ты погоди, Игреня, не пондавайся. Раз уж зиму перезимовал, тепери сам бог велел потерпеть. Осталось-то уж... господи... раз плюнуть осталось-то. Че там зиму — войну мы с тобой пережили. Всю войну ты, бедовый, на лесозаготовках маялся, бревны таскал, а такая ли это работа? И таскал, дюжил. А тут уж на характере можно продержаться, я давно уж на характере держусь»[1].

«— Ну и от, ну и от. Я ить тебе говорела. А то пропадать собрался — ну не грех ли? Скажи кому, дак и обсмеют тебя, подумают, дизентир. А какой ты дизентир, Игреня? Господи, какой ты дизентир? Хлопни на тебе комара, ты и повалишься. От и весь с тебя дизентир. Тебя ли сичас на работу назначать? Пойдем, дизентир, пойдем»[2].

Что «на характере только и держалась» — да и не она одна — это великая правда. А стержень ее характера — совесть. Совесть земледельца, которая в том же 1947-м или 1949-м поднимала с нар, выволакивала из послевоенных землянок наших больных, голодных старух, стариков, и они ползли жать, косить — не ради даже «палочек» в табеле трудодней, а потому что «жито осыпается!», «хлеб пропадает, грех!»

И они еще, такие вот женщины, «дядьки», могли себя в чем-то винить, в чем-то упрекать! Вот и распутинская старуха исповедуется перед подружкой своей Миронихой:

«Я одна с имя (с детьми,— А. А.). Одного отпустишь, другой ревет. И корова, как на вред, у нас в тот год не огулялась, молока и того нету... А Зорька наша уж в колхозе жила, помнишь, подимте, нашу Зорьку — такая хорошая была корова, комолая, по сю пору ее жалко. В колхоз как собирали, сам-то и ондал ее в колхоз, на общий двор. От уж я поревела! Ну. А Зорька так и эдак наш двор помнит, все к нам лезла, я до этой до голодовки-то помои ей когда вынесу, а то ломоть хлеба солью посыплю. Там рази такой уход — че тут говореть... Мине жалко ее станет, я загородку открою да и впущу Зорьку. Курево ей от мошки разведу, вымя подмою, она не любила, когда грязное вымя. И от как-то раз я ей вымя теплой водой помыла и думаю, дай-ка я посмотрю, есть-нет в ем молоко.

[1] Распутин В. Последний срок, с. 471—472.
[2] Там же, с. 473.

Чиркнула — есть. И стала я, девка, Зорьку подаивать. Их там не выдаивали до конца. Баночку она мне после вечерешнего удоя ишо спустит, я и баночке радая, разолью ее ребятишкам по капельке, и то слава богу. Лучше слава богу, чем дай бог»[1].

И застала ее за этим занятием дочка — Люся. Которой тоже «капельки» доставались. «Стоит и во все глаза на меня смотрит. До самой души те глаза мне достали... Я сижу и боюсь подняться — как окаменела. Думаю, господи, ты-то куды смотрел, пошто ты-то не разразил меня на месте ишо в первый раз? И такой стыд меня взял, такой стыд взял — руки опускаются. Я ить, девка, после того извиноватила себя, я в глаза-то Люсе до-о-олго не могла глядеть. Ишо и сичас думаю: помнит она или не помнит?»[2]

Вот он, ее «смертный грех», о котором и на краю могилы вспоминает. Не будем говорить о тех, кто своих грехов — перед нею, такою вот! — не помнили и не помнят. (И литературе советуют забыть: старое, давнее!) Не ради них и не им в поучение женщина мучилась. А ради своих детей, которым в жизнь идти.

«Без стыда, старуня, рожу не износишь»,— успокаивает ее Мирониха. Да, и «рожа» изнашивается, но и совесть тоже, людская. Если слишком много на нее и долго все взваливать, если все на ней везти, да на «характере»,— как говорит героиня завалившемуся Игрене.

Даже световой луч, свет «устает» — предполагают ученые. Пронесся луч сквозь миллиарды световых лет и, гляди, уже что-то сместилось в спектре... А совесть, а характер — им что, износу не бывает? Нет, и тут возможна «амортизация» — не об этом ли «Привычное дело» Василия Белова? Вялый и горький рефрен: привычное, мол, дело — в сознании и в поведении крестьянина живет как умирающее эхо прежних его порывов, поступков, попыток не со всем, что плывет, навязывают, соглашаться. А тут — по-о-оплыл по течению. А что, барахтаться! Привы-ычное дело! В одном произведении «деревенской» литературы всего, возможно, и не вычитаешь, но если выстроить их в цепочку: от «На Иртыше» и «Полесской хроники», через «Жизнь Федора Кузькина» и «Пряслиных» да к «Привычному делу», «Канунам»,— как раз и прослеживается, как делалось и как сделалось «привычным» для крестьянина то, против чего он когда-то и буйствовал, и бушевал, с чем совесть и чутье земледельца не могли поладить.

А потом: а, привычное дело!

Такая вот жанровая сценка из жизни: черная еще, ранняя весна 1950 года, дядьки сидят на бревнышках, бригадир безнадежным голосом спрашивает: «Може, пора уже, дядьки,

---

[1] Распутин В. Последний срок, с. 491.

[2] Там же.

пошли давай, дядьки...», от него отшучичиваются-отмахиваются: «Рано еще. До вечера времени сколько еще...» А по улице такой же дядька везет сено — на ферму, очевидно. Сидит на высоком возу, не поворачиваясь, ни на что не реагируя. Почти из каждого двора, из калиток, как только поровнялся с ними воз, выбегают баба или пацан,и стаскивают охапку сена, уносят в свои сараи, где ревет голодная скотина. Дядька «не замечает», как уплывает из-под него воз, как он все ниже оседает задом,— все меньше сена остается под ним...

Привычное дело!..

Газета «Правда» в номере от 17 ноября 1979 года напечатала открытое письмо землякам Федора Абрамова, в котором говорится пусть жестокая, пусть обидная, но «правда в глаза» — о том, что необходимо преодолеть, изжить, если мы хотим иметь надежное во всех отношениях сельское хозяйство. Это те проблемы, которые действительно «не объедешь ни на каком тракторе».

«Изменились условия труда,— пишет Федор Абрамов,— тракторы, комбайны, грузовики и прочее железо, как некоторые коротко называют разную технику, давно уже прочно вошло в быт деревни». (А от себя добавимі именно то «железо», на которое так уповает Цыбулька и сам автор комедии-репортажа «Таблетку под язык», когда они высмеивают всякую там «любовь к земле».)

Техника имеется в совхозе на родине Федора Абрамова.

«Но за счет чего все эти отрадные перемены? За счет надоев, привесов, урожаев? Увы, нет. Увы, за счет государства. За счет всевозрастающих государственных вложений и дотаций...

Конечно, государство, город в немалом долгу перед деревней, и нынешняя материальная помощь ей вполне оправдана. Но помощь помощью, а как же использованы эти огромные средства, эти народные миллионы в Верколе?»

Используются они с удивительным, обескураживающим безразличием к тому, что и техника, и удобрения, и скот — все это не «дядино», а народное, а значит, и ваше, твое.

«Я не поверил,— говорит писатель,— когда мне сказали, что за июль этого года пало восемь телят. И отчего? От истощения среди лета, когда трава кругом». А уж о зиме и говорить нечего! «В прошлом году, например, по 2 килограмма сена на день давали корове, а весной даже солому с Кубани завезли (это в край-то бескрайних трав!) И где уж тут надои наращивать. Сохранить бы вживе скотину».

«Людей мало?» — спрашивает Федор Абрамов.— 117 человек числится в Веркольском отделении — куда же больше? А на сенокос вышло? 41 человек, чуть больше одной трети. Да и эти 41 работают ли с полной отдачей? И т. д. и т. п.

«Исчезла былая гордость за хорошо распаханное поле, за красиво поставленный заброд, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую всеми статями животину. Все больше выветривается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе».

Литература определенного направления, заметим к слову, немало способствовала такому «выветриванию» — в свое время. Но и сегодня не хочет она своей вины замечать и голосом какого-нибудь деда (или внука) все подбадривает нас: ниче-е-его, техника вывезет!

Иван Африканович, вечный, давно махнувший рукой даже на самого себя, Иван Африканович с его удобной присказкой «а, привычное дело!» встает за всем, о чем с болью пишет Федор Абрамов.

«В деревне нет недостатка в работящих, талантливых и совестливых тружениках. И у них болит сердце, когда видят сгноенное сено, погибающих телят, пьяных подростков. «Разболтались... разболтались»,— самокритично говорят они между собой. Но почему не слышно их требовательного голоса? Почему никто из них не хочет идти в бригадиры, в управляющие? Почему они даже детей своих взрослых отговаривают от участия в управлении хозяйством?

Равнодушие, пассивность, нежелание портить отношения с односельчанами... И вечная надежда на строгого и справедливого начальника, который откуда-то приедет и наведет наконец порядок. Почти как у Некрасова: «Вот приедет барин, барин нас рассудит».

И подводя итог письму: «Да, о многом, об очень многом заставляют думать веркольские дела. Однако, если сказать коротко, все, в конце концов, упирается в равнодушие и пассивность. Нет активного, заинтересованного требовательного отношения...»[1]

И тем большая цена таким, как распутинская старуха. Для которых «привычным» все это не сделалось, не стало. На таких все и держалось.

Так что, не стоят они поклона? Последнего поклона!

Только умеем ли мы это делать — проводить? Провожать. Или, как дети старухины, разучились? А может, и не научены.

В повести Виктора Астафьева «Пастух и пастушка» Люся жалуется любимому, провожая его в новые бои, в смерть:

«— Раньше бы хоть помолились,— сказала Люся, теребя отвороты его шинели,— Но мы же не верующие. Атеисты мы...

---

[1] Абрамов Ф. Чем живем — кормимся,— Правда, 1979 17 ноября.

Завыть бы, как в старину, по-бабьи, во весь голос... Но мы же в школе учились. Нельзя!..

— Вот-вот! Только этого еще и недоставало! — оглядываясь на машины, пробормотал Борис, несильно отстраняя ее от себя»[1].

А потом как ему будет недоставать такой вот именно, «в голос», жалости, когда тихо, устало умирать будет в санитарном поезде...

Не потому ли так ждет свою ласковую Таню-Таньчору непривычная к «нежностям» старуха, что теперь ей, как слабому ребенку, как раз это и нужно — открытая нежность, жалость, боль на лицах, в глазах детей. «Задерживает» она себя на этом свете, смерть отстраняет на несколько дней — все из-за того, что не хватает ей какого-то разговора с детьми. Если бы сказали ей, что из-за этого она ломает все «сроки», удивилась бы, возможно. Чего ей еще хотеть: приехали, вон аж откуда, сидят при ней, хотя у них свои дела, работа! Вот только Таньчору не повидает перед концом. Да и тут старуха себя, по привычке, винит. «В чем ее вина, она не понимала», знала лишь, что «нельзя матери столько не видеть свою дочь». С детьми она не может заговорить о главном — о том, что с ней, в ней и вообще происходит. О том, что она умирает. Сразу — нарочито веселое: «Да ты что, мать!.. В гости с тобой пойдем, ага. Чего нам дома сидеть!» Или раздражение. Где притворное, а где и настоящее.

«— Помру я,— жалобно, пытаясь что-то объяснить, пролепетала старуха.

— Мама, мне уже надоели эти разговоры о смерти. Честное слово. Одно и то же, одно и то же»[2].

С Нинкой, ребенком, разговор получается. Ведь та ничего не понимает: «Вот умрешь, я всегда буду здесь спать». И с Миронихой получается: она все понимает.

Она такая же смертная, как и старуха. Не то, что те «бессмертные». Конечно, с детьми не о том бы, не так надо, как с Миронихой, а с ней, подружкой, можно вот и так, будто им обоим очень весело:

«— Оти-моти! Ты, старуня, никак живая?.. Тебя пошто смерть-то не берет? — Мирониха присела к старухе на кровать и, говоря, наклонялась к ней.— Я к ей на поминки иду, думаю, она, как добрая, уж укостыляла, а она все тутака. Как была ты вредительша, так и осталась. Ты мне все глаза измозолила.

— Ты рази, девка, не знаешь, что я тебя дожидаюсь,— с охотой включаясь в игру, отозвалась старуха,— Мне одной-то тоскливо будет лежать, я тебя и дожидаюсь...

---

[1] Астафьев В. Повести,— М., 1977, с. 537.
[2] Распутин В. Последний срок, с. 552

— О-о. Ты меня не жди, сподобляйся, я покамест побегаю, и ты ко мне не присуседивайся. Чем с тобой лежать, я лучше какого-нибудь старичка к себе возьму...»[1]

Вроде бы грубая и ласка, и жалость Миронихи, но глухой стены между умирающим и «провожающим» нет. «Смертны» обе! Хотя и верят в «бессмертие».

В повести «Последний срок» есть страницы, которые прямо «вписываются» в классику,— это когда старуха берется учить Варвару обряду «провожания». Репетирует с дочерью, как ее, старуху, оплакивать.

«—Помру я,— повторила старуха и сказала:— Обвыть меня надо.

— Че надо?

— Обвыть. Оне не будут. Тепери ни ребенка ко сну укачать, ни человека в могилу проводить — ниче не умеют. Одна надежа на тебя. Я тебя научу, как. Плакать ты и сама можешь. Надо с причитаньем плакать.

Похоже, Варвара поняла, на лице ее выступил страх.

— От слушай. Я ишо мамку свою тем провожала, и ты меня проводи, не постыдись. Оне не будут,— Старуха вздохнула и прикрыла глаза, приводя в порядок давние, полузабытые слова, которыми теперь не пользуются, потом тонким, протяжным голосом начала: — Ты, лебедушка моя, родима матушка...

— Матушка-а-а! — качая головой, словно отказываясь участвовать в этой затее, взвыла Варвара.

— Да не реви ты,— остановила ее старуха,— Ты слушай покуль, учись. Не надо сичас реветь. Я ишо тут. Слезы на потом оставь, на завтрева. А то кто-нить придет и перебьет нас. Давай потихоньку.

Она подождала, пока Варвара немножко утихнет, и начала снова:

— Ты, лебедушка моя, родима матушка...

— Ты, лебедушка моя, родима матушка,— сквозь рыдания повторила за ней Варвара»[2].

Надо ей это, чтобы «обвыли» ее, старуху, не сейчас, так потом. Себя ей все-таки жалко. Но их «христовеньких» (как сказала бы тетка Дарья), немых, еще жальче!

Не умеют (разучились или не научились) они «проводить»: что родную Матёру, что родную мать! «Все сломя голову вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на каждом шагу — нет, бегут...» — скажет Дарья в «Прощании с Матёрой»[3]. Так и не сказали друг

---

[1] Там же, с. 481.
[2] Распутин В. Последний срок, с. 549—550.
[3] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 37.

другу главного: ни мать детям, ни дети матери. Но они ее муки видят, видели, ее боль и тоску, а она — нет. Даже если была, испытывали, не увидела бы, прятали бы от нее. Чтобы не думала, что они думают, что она умирает. Все ради того, чтобы ей было «легче»... Но ей как раз от этого еще тяжелее.

Что, это только сегодня так? А вчера люди умели это делать — лучше, умнее, человечнее? Кто умел, а кто — и это гораздо чаще — не умели. Во всяком случае, если по литературе судить: «Смерть Ивана Ильича», «Семья Тибо»...

Жить так, чтобы смертью смысл жизни не уничтожался, а потому и не страшной была бы смерть,— к этому звала великая литература. Искала смысл жизни, звала к осмысленной жизни. Ибо то, что дает смысл жизни, дает и смысл смерти. (Это мысль Сент-Экзюпери.)

Валентин Распутин заговорил о вечных проблемах человеческого бытия и сказал свое слово. Горькое получилось слово — если иметь в виду старухиных детей!

«— Ты живой, нормальный' человек —вот им и будь.— Люся выдержала небольшую паузу и тем же ласковым голосом сказала:— А нам сегодня надо ехать, Так получается, мама.

— Да вы че это?! — вскрикнула Варвара.

Старуха, не веря, оторопело покачала головой.

— Надо, мама,— мягко, но настойчиво повторила Люся и улыбнулась.— Сегодня пароход. А следующий будет только через три дня. Так долго ждать мы не можем»[1].

Так долго парохода — и смерти матери! — дожидаться не могут. Дела, работа. Но когда и Варвара бросилась: «Раз все, то и я. Вместе-то веселей»,— вот тут обнажились весь ужас и вся бессмыслица такого существования человеческого, когда на главное нет ни времени, ни сердца. На все остальное тоже мало, но на главное чаще всего нет и вовсе!

«Ее растолкала Нинка.

— Возьми, баба,— Нинка протягивала ей конфету. Старуха отвела ее руку.

— Они нехорошие,— жалея старуху, сказала Нинка об отъезжающих.

Губы у старухи шевельнулись — то ли в улыбке, то ли В усмешке...

...Ей хотелось спать. Глаза у нее смыкались. До вечера, до темноты, она их еще несколько раз открывала, но ненадолго, только чтобы вспомнить, где она была.

Ночью старуха умерла»[2].

---

[1] Распутин В. Последний срок, с. 553.
[2] Там же, с. 555.

Горькое получилось у Распутина слово о детях. Но от нравственной немочи никто не знал, не изобрел лекарств сладеньких — ни Толстой, ни Роже Мартен дю Гар. Не пытается, не хочет «сладким» кормить и Распутин.

Хемингуэй в «Фиесте» очень лаконично определил чувство совести: «Это и есть нравственность: если после противно».

Мы уже говорили о том, как эмоциональный фокус «военной» литературы смещался к женской и даже детской памяти о войне.

То же происходит, происходило, по моему ощущению, и в современной литературе, которую называют «деревенской». Где-то у истоков явления этого стоят абрамовские «Братья и сестры». А потом была «Пелагея» — щемящий гимн-плач о женской судьбе-доле. По ним, по женщинам, война и послевоенная разруха, обездоленность ударили особенно больно. Мужики, они и есть мужики. Кто не пал на войне — очень немногие в русских деревнях — вернулись в «бабье царство». Бабье-то оно было бабье, но царили они — редкие, а потому на вес золота, мужики-начальники. Но даже если и не начальники, им было чем душу отвести. Как умел это и добрейший, простодушнейший Иван Африканович из «Привычного дела». Сена корове нет, а что в лесу накосил, бригадир «арестовал» — ничего, дело привычное, найти бы только выпить! А можно и хлеба, который легче достается, поискать — в других краях. Жены, бабы с места стронуться не могли: на них — дети!

И приходилось вертеться, как только им ни приходилось вертеться!

«— Ты как золотой волной накрывшись... Искры от тебя летят...

Так плел ей, рассказывал Олеша-рабочком про свою первую встречу с ней, про то, как увидел ее у раскрытого окошка за расчесыванием волос. А сама она из этой встречи только и запомнила, что резкую боль в голове (лапу в волосы запустил, дьявол) да нахальные, с жарким раскосом глаза...

И Олеша совсем ошалел:

— Ежели дашь мне выспаться на твоих волосах, вот те бог — через неделю сделаю пекарихой. Я не шучу.

— А и я не шучу,— ответила Пелагея.

Через неделю она стала пекарихой — сдержал свое слово Олеша. Со скотного двора ее вырвал, все стены вокруг разрушил — вот как закружило человека.

Ну и она сдержала слово — в первый же день на ночь осталась на пекарне. А под утро, выпроваживая Олешу, сказала:

— Ну, теперь забудь про мои волосы. Квиты. И не вздумай меня снимать. Я кусачая...»[1]

Когда мы записывали наших женщин в Брестской области для книги «Я из огненной деревни», встретилась нам такая «Пелагея», доярка. Белорусская сестра Пелагей, которая тоже сверх меры горячего хлебнула! Начиная с войны... Спалили ее деревню, семью убили, а она шестилетняя... Но вот ее рассказ:

«Потом заходят в хату полицман и немец и выгоняют. И согнали в одну хату, а много нас было, половину села согнали. И начали выводить.

Сразу трех мужчин, а потом и батьку уже во второй тройке вывели. Просто пришел немец и «драй, драй» на пальцах показывает. Сами люди выходили, ведь куда же ты денешься, он гранату показывает — выходи...

Ну и батька вышел со второй тройкой. Мать поглядела... что батьку повели уже, а детки малые... Она за свою семью и нас, малых, повела за отцом...

Повела за ним... Старшие две сестры были у меня, а мать несла маленького. Дитя. Было ему год. А сестра уже несла другого, два года мальчику было.

Доводили нас до сарая. Тогда я забежала как-то наперед сестре. Немец ей в затылок выстрелил, а меня с ног сбил, и я так осталась. Она на меня упала так вот — от шеи до пояса, а на ноги — других людей куча навалилась... И уже когда тут побили, дак стали бить на другом конце деревни. А я уже лежу.

Остались три хлопца раненые, мои ровесники раненые, в трупах. Я подняла голову, они плачут, раненые, кровь течет из них. И я заговорила с ними, чуть голову приподняла. И тут летит немец. Долетел до них и из винтовки просто подобивал...

Потом уже гудят машины, едут немцы. Я уже, должно, в обморок упала... Немцы уже стали отъезжать, визжат свиньи, куры кричат, они уже ловят. И слышу, кто-то подошел к трупам и говорит... Мужчина один из села подходит и говорит:

— Кто живой, вставайте, немцы уехали!

Батька мой узнал его по голосу, поднялся и говорит:

— Ну, я живой.

И еще один мужчина, Левон Ализар. Дак батька говорит ему:

— Ты иди домой, возьми хлеба, а я еще погляжу семью свою...

И он начал смотреть. Говорит:

— Все дети мои есть, одной только девочки нема.

Стал он оглядывать, и я отозвалась...

Ну, и батька мой обомлел над этой грудой.

---

[1] Абрамов Ф. Пелагея — В кн.: Деревянные кони. Л., 1972, с. 31—33.

...Батька мой пожил немного, а после войны от ран тех и помер, гангрена подпала в ногу».

У женщины этой пятеро детей. Хорошие, как и их мать, работящие ребята, девочки. Но отца дети не знают. А точнее — отцов. Знает деревня — всех этих бывших председателей да уполномоченных...

Но кто бросит в нее камень, в женщину? Если помнишь вместе с ними, нашими женщинами, если знаешь, как им доставалось, и в войну, и после.

С Даниилом Граниным, среди прочих, записали мы рассказ женщины, которая в блокаду была партийным секретарем одного из цехов завода. Рассказала вроде обо всем, но потом, как бы решившись и как бы испытывая нашу, сегодняшних людей, способность по-человечески правильно увидеть и понять, вот о таком поведала. Направили ее цех — женщин, заготавливать дрова. Дрова, как и хлеб, для ленинградцев означали тогда жизнь, победу над смертью. И понятно, почему так забеспокоилась Мария Андреевна, когда увидела, что команда ее «растворилась» среди фронтовиков. Ведь фронт был тут же, где и дрова заготавливали. Испугалась Мария Андреевна: ни дров, ни женщин!

Говорят мне: «По лесу надо их искать».

Ну, до меня, значит, дошло это дело. Причем, я смотрю, что мои бабки-то... морщинки-то стали расходиться. Я смекнула, в чем дело...

Я, значит, думаю: что же мне делать? Ну, потом думаю: надо ведь что-то делать.

Решила Титову Василию сказать:

— Васенька, бабки-то ведь, знаешь, к мужикам ходят, они их подкармливают.

Он говорит:

— Ну, а что делать? Ничего ты с ними не сделаешь. Голод-то ведь есть голод.

Я говорю:

— Слушай, они такие все грязные. А ребята все-таки из армии, питались, еще не успели обголодаться-то.

Моряки-то все ведь были, здоровые такие...

Думаю, пойду я к генералу. Там землянка недалеко от нас была. Я пришла к нему и говорю:

— Вот, товарищ генерал, меня завод послал сюда вести заготовку дров. Я — секретарь парткома.

Он поглядел на меня, значит,— вид у меня неказистый был — маленькая да худенькая, отеки, волосы за веревку зацапаны... Он мне такого матюга дал! И говорит:

— А ты кого привезла?

Я говорю:

— Слушайте, чего же вы ругаетесь-то...

— И какой ты секретарь?!

Я говорю:

— Ну, хотите верьте — хотите нет. Какого прислали, такого — вот и глядите на него.

Он говорит:

— Мы ведь вот сегодня здесь, завтра — наступление, мы в наступление идем.

Я говорю:

— Но ведь мне нужны дрова, у нас на заводе нет дров. С чем я приеду? Меня тоже под расстрел отдадут. Скажут, что ты там делала?

Он говорит:

— Жалко мне тебя, девчина. Хорошо, я тебе помогу: я тебе дам красноармейцев, они тебе будут пилить дрова.

Ваське я сказала:

— Знаешь, Вася, не знаю, что будет,— договорилась!

Он говорит:

— Ты знаешь, ты только не обращай... не нервничай... (Он всегда меня успокаивал.)

Ну, хорошо. Иду на делянку. Пилы шумят! (Пилят красноармейцы дрова.) Я думаю: ладно! Я собираю... не всех женщин могу собрать,— я собрала бригадиров. Говорю:

— Слушайте, бабки! Зачем же нас сюда послали? Дрова-то нам нужны будут. Сколько будет война — неизвестно. Дров-то нет...

Нас ведь дрова послали заготовлять!

Молчат. Никто ничего не говорит. Все, значит, виноваты. Ну что? Сказать: «Ты больше не будешь?» Голод есть голод! За хлебом и идут! Потом я говорю:

— Ну, ладно. Вот давайте так договоримся: я вижу что вы поправились все,— полкило хлеба отдать девчонкам!

Да... А с генералом договорилась я. С ним воевал Лёня,— его сын, молодой парнишка был, ему 18 лет Он с ним, с отцом, был. Я ему говорю:

— Знаете, что вот вы — отец. У вас есть ребенок Со мной пятнадцать человек девочек. Родители их погибли на нашем заводе. Так как здесь полкило хлеба — вот они у меня на лесозаготовках.

Мы ее спросили, Марию Андреевну:

«— Ну, а когда домой ехали, говорили, обсуждали смеялись?

— Нет, ни слова никто!»

Не будем обсуждать и мы тоже.

Заметим лишь, что такая память, если и вырвется то с болью. У мужчин память обычно «парящая», легче отрывается от реальной правды пережитого. Мы в этом убедились, записывая многие сотни рассказов — и мужчин и женщин. И в Белоруссии, и в Ленинграде У «мужиков» и тут преимущество: в самом горьком и обидном они легче находят что-то для себя утешительное или возвышающее. Как один нам рассказывал — об очень даже невеселом, но все время радостно восклицал: «Я был воинственный! Я же был воинственный! Я же воинственный был!»

Женская память обычно ближе к реальности пережитого, менее податлива давлению и эрозии времени Вот она-то и притягивает сегодня и «военную» и «деревенскую» прозу ближе к «земле», ко всей правде войны и послевоенных трудностей. И не случайно лучшее что «деревенская» проза дала (а Распутин так и весь — начиная с «Денег для Марии»),— это прежде всего летопись женской доли.

И особенная острота чувства там, где глазами матери муки детей в военном аду или глазами детей — материнская трагедия. Блокадница Рачковская Нина Михайловна нам с Граниным написала: «Пришла домой и сварила кашу, заварила какао и в первую очередь стала кормить мать, но она уже есть не могла... Она начинает закрывать глаза, но мы в этот момент начинаем плакать, и она опять открывает глаза. Так продолжалось несколько раз, и я поняла, что мы ей не даем умереть, и я сказала детям, девчонкам, чтобы все отошли от кровати и плакали в другом углу комнаты, так как она все равно умрег. Когда очень скоро я подошла к кровати, мать была уже мертвая. Она была такая маленькая, что я смогла взять ее на руки и перенесла в другую (холодную) комнату».

* * *

Сохранили душу живу, пройдя через всё, через такое пройдя,—вот величайший итог народных побед! В этом пафос и смысл лучших произведений и «военной» и «деревенской» прозы. Но в «деревенской» мы еще вычитываем и вопрос: ну, а через современную жизнь пройдя, часто «налегке», сохранили ли то, что сберегли в тяжелейших испытаниях? Техника убивающая не сломила ли нас, людей, ну, а технический век, НТР — не унесут ли они, не уничтожат ли вместе с тысячами видов животных и растений, вместе с «малыми реками» и пр. и пр. многое и в самом человеке? То, что на первый взгляд и не самое значительное, не главное, даже мешающее атомному веку, но потом окажется, что без этого человеку неуютно рядом с себе подобными. Обнаружится,

что потерял умение быть счастливым, способность давать счастье другим.

Нет, ни Шукшин, ни Айтматов, ни Друцэ, ни Распутин этого не утверждают, они лишь спрашивают. Как и наши белорусы — Стрельцов, Сипаков, Жук, Карамазов (правда, голосом менее решительным). И самое ценное в этой литературе, что спрашивает она вовремя. Правдой жизни, искусства, характеров убеждает, что спрашивать надо, думать надо, беспокоиться. Без этого как действовать — не взвесив всего, не заглянув в прошлое, не понимая того, что живет в глубинах человеческих душ и до чего не добирается ни статистика, ни логика, ни политэкономия, ни математика? Только литература туда проникнуть может, и никто ей не простил бы, когда бы она не выполняла свой долг и прямую обязанность. А критикам, которые считают, что не тем занимается литература, такая литература, ответил когда-то еще Твардовский:

Все учить вы меня норовите,
Преподать немудреный совет,
Чтобы пел я, не слыша, не видя,
Только зная, что можно, что нет.

Но нельзя не иметь мне в расчете,
Что потом, по прошествии лет,
Вы же лекцию мне и прочтете:
Где ж ты был, что ж ты видел, поэт?!

В «Прощании с Матёрой» есть удивительная сцена: внезапный туман, какой-то невиданный, «неземной», вдруг закрыл и как бы унёс Матёру. Ни от нее уйти-уехать, ни к ней пробиться!

«Туман стоял сплошной стеной, и катер, казалось, топтался, буксовал на месте, не в силах выбраться за нее, за эту отвесную стену, снова и снова соскальзывая с ее кручи; Павел не помнил, чтобы он когда-нибудь попадал в такой туман, настолько густой и плотный, что с трудом, будто из глубокого и темного колодца, пробивалось смутное мерцание воды. Глаза упирались в сплошное серое месиво и невольно зажмуривались, закрывались от его близости…

— Долго что-то,— почуяв недоброе, насторожился Воронцов, стоявший от Галкина слева.— Где мы? Почему так долго? Остров, что ли, потеряли? А?

— Найдем,— без уверенности ответил Галкин…

Проплыли еще минут пятнадцать — вдвое больше того, чем нужно, чтобы наткнуться со своей Ангары в Матёру или Подмогу — ничего: ни берега, ни знака какого, ни просветления, одна вязкая и бесконечная, еще больше, чудилось, загустевшая, как студень, масса тумана. Галкин повернул к Павлу лицо, спрашивая, что

делать, куда поворачивать, и Павел в ответ пожал плечами: не знаю.

— Глуши,— решившись сказал он.

Галкин поднялся и заглушил двигатель. Павел вышел на борт, прислушиваясь, как затихает шуршание воды и тумана,— самой воды уже не было видно совсем. Он взял чурбан, на котором перед тем сидел, и кинул его вниз — там глухо и вязко плеснуло, там, значит, была все-таки вода»[1].

Очень соблазнительно начать разгадывать этот «туман» — не символ ли? И кто его напустил — не Хозяин ли? Чтобы отсрочить гибель Матёры, спрятать старух от жизни, которой они боятся, к которой не готовы?.. Не дым ли это придавил всех и все? (Дарья, помните, жалуется на кладбище тем, кто «стал землей»: «Ды-ы-ымно у нас. Продыху нету от дыма».) Или же наоборот — глоток свежести задыхающимся легким земли?!

Но не будем изобретать символы и разгадывать загадки, которые сами же себе и задаем. Попробую пойти за чувством, за первыми ощущениями и мыслями, которые возникли из чтения — из первого чтения.

Из множества ощущений, ассоциаций извлеку несколько. Свои мысли на Енисее... И наконец — острое чувство, что где-то уже читал об этом, и удивление, когда такая ниточка привела... к финальной сцене романа «Идиот». Да, к той, где убийца и жертва, будто в странном тумане, не слыша ни себя, ни друг друга, шепчутся возле прикрытой белой простыней Настасьи Филинновны.

Когда плывешь по широченному, как море, нижнему Енисею — да, наверное, и по любой из сибирских, как бы неземного масштаба рек,— не можешь не ощущать все еще вчерашнюю мощь природы, сопротивляющуюся всему «рукотворному». Помню предательскую по отношению к собственному роду — человеческому — радость, что не везде, пока еще не повсюду единоборство человека и природы закончилось в пашу пользу. («В пользу ли?» — слишком часто мы сегодня спрашиваем.) Со злорадством, направленным против самого же себя, замечаешь, что предъенисейские леса и кустарники съели некоторые поселения 30-40-х годов: сквозь ребра-стропила мертвых человеческих строений просвечивает небо...[2] И помня, что главные

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 191—193.

[2] Этим чувством живет порой и литература, сегодняшняя. С горьким самокритицизмом люди — цари природы — и пишут, читают о себе сегодня: «В природе не может быть главных существ. В ней царит равноправие... Природа была до человека и, следовательно, может обойтись без человека, так же как без льва и без орла, без всяких этих царей. А появились они для пользы, чем-то они нужны друг другу, так же как нужен комар и муравей. Человек тоже для чего-то полезен, но в отличие от других существ он еще не знает, для чего он, поскольку появился недавно. Самомнение его от молодости и невежества. Человек все старается узнать про других, на что они могут сгодиться ему, человеку. А про себя не изучает — зачем он природе? Смысл жизни мы ищем, как цари, считаем себя царями природы, потому и не находим. Какой есть смысл у червяка? Готовить

«легкие планеты» — вокруг Амазонки — люди дотравливают дымами и пожарищами, радуешься не новым поселениям, а бескрайним, все еще диким зеленым массивам…

Вот и это вспомнилось, когда «плыл» вместе с главным «пожегщиком» Воронцовым, его подручным Петрухой по Ангаре, отыскивая Матёру, и радовался спасительному туману…

…Странная, очень странная — чем-то очень напоминающая петербургскую «фантастику» Достоевского — сцена на острове, где в бараке Богодула ночуют последние жители Матёры, чего-то дожидаются, а их куда-то уносит остров, туман и странный, дикий, пугающий их самих, разговор…

«Заплакал со сна, тревожно и неутешно, мальчишка, и старухи очнулись, завозились, распрямляясь и вздыхая,— они так и не укладывались, дремали сидя, каждая на своем месте, кто где устроился с вечера и остался после разговора. Сима, что-то наговаривая, стала успокаивать мальчишку, и он умолк, срываясь временами лишь на слабые и подавленные всхлипы. В курятнике у Богодула было даже и не темно, а слепо и исподно: в окне стоял мглистый и сырой, как под водой, непроглядный свет, в котором что-то вяло и бесформенно шевелилось — будто проплывало мимо.

— Это че — ночь уж? — озираясь, спросила Катерина.

— Дак, однако, не день,— отозвалась Дарья.— Дня для нас, однако, боле не будет.

— Где мы есть-то? Живые мы, нет?

— Однако что, неживые.

— Ну и ладно. Вместе — оно и ладно. Че ишо надо-то?

— Мальчонку бы только как отсель выпихнуть. Мальчонке жить надо.

Испуганный и решительный голос Симы:

— Нет, Коляню я не отдам. Мы с Коляней вместе.

— Вместе дак вместе. Куды ему, правда что, без нас?

— Ты не ложилась, Дарья?

— Я с тобой рядом сидю. Не видишь, ли че ли?..

— А ты кто такая будешь-то? С этого-то боку кто у меня?

— Я-то? Я Настасья.

— Это которая с Матёры?

— Она. А ты Дарья?

— Дарья.

— Это рядом-то со мной жила?

— Ну».

землю и служить пищей для птиц и рыб. И для человека природа определила его назначение, которое и есть смысл его жизни» (Гранин Д. Картина — Новый мир, 1980, № 1, с. 64).

Будто где-то в космосе встретились. Или еще где. Там, где тьма непроглядная, или как у Распутина неожиданно: «непроглядный свет».

«— Я ить тебя, девка, признала.

— Дак я тебя поперед признала.

— Вы че это? Че буровите-то? Рехнулись, че ли?

...— Че там в окошке видать-то? Гляньте кто-нить.

— Нет, я боюсь. Гляди сама. Я боюсь».

Действительно, как бы уносит их Матёра, улетают на ней!..

«Уставились в окно и увидели, как в тусклом размытом мерцании проносятся мимо, точно при сильном вышнем движении, большие и лохматые, похожие на тучи очертания. В разбитую стеклину наплескивало сыростью. Сполз с нар проснувшийся Богодул и приник к окну. Его заторопили:

— Че там? Где мы есть-то? Говори — че ты молчишь?

— Не видать, кур-рва! — ответил Богодул.— Туман.

Старухи закрестились, нашептывая, задевая друг друга руками. И опять, только еще более потерянно:

— Это ты, Дарья?

— Однако что, я. А Настасья где? Где ты, Настасья?

— Я здесь, здесь»[1].

Греются друг о друга — телом, голосами, именами, привычно произносимыми...

«— Ты бы свечку зажег,— сказал князь.

— Нет, не надо,— ответил Рогожин, и, взяв князя за руку, нагнул его к стулу; сам сел напротив, придвинув стул так, что почти соприкасался с князем коленями».

Это уже из «Идиота»...

«— Рогожин! Где Настасья Филинновна? — прошептал вдруг князь и встал, дрожа всеми членами. Поднялся и Рогожин.

— Там,— шепнул он, кивнув головой на занавеску.

— Спит? — шепнул князь.

Опять Рогожин посмотрел на него, пристально, как давеча.

— Аль уж пойдем!.. Только ты... ну, да пойдем!

Он приподнял портьеру, остановился и оборотился опять к князю.

— Входи!— кивал он за портьеру, приглашая проходить вперед...

Князь шагнул еще ближе, шаг, другой, и остановился. Он стоял и всматривался минуту или две; оба, во всё время, у кровати ничего не выговорили; у князя билось сердце так, что, казалось, слышно было в комнате, при мертвом молчании комнаты...

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 194-195.

Спавший был закрыт с головой белою простыней, но члены как-то неясно обозначались; видно только было, по возвышению, что лежит протянувшись человек... Вдруг зажужжала проснувшаяся муха, пронеслась над кроватью и затихла у изголовья. Князь вздрогнул.

— Выйдем,— тронул его за руку Рогожин».

«— Это ты? — выговорил он наконец, кивнув головой на портьеру.

— Это... я...— прошептал Рогожин и потупился.

Помолчали минут пять»[1].

И все в таком вязком темпе, и на все ложится «непроглядный» мертвящий свет...

«— Слушай...— спросил князь, точно запутываясь, точно отыскивая, что именно надо спросить, и как бы тотчас же забывая,— слушай, скажи мне: чем ты ее? Ножом? Тем самым?

— Тем самым».

«— Стой, слышишь? — быстро перебил вдруг Рогожин и испуганно присел на подстилке,— слышишь?

— Нет! — так же быстро и испуганно выговорил князь, смотря на Рогожина.

— Ходит! Слышишь? В зале...

Оба стали слушать.

— Слышу,— твердо прошептал князь.

— Ходит?

— Ходит.

— Затворить али нет дверь?

— Затворить...

Дверь затворили, и оба опять улеглись. Долго молчали».

Убийца и повязанный с ним невольной виной князь Мышкин постепенно отрываются от реальности, как бы от самой земли — их уносит, от всех и всего уносит. Только они теперь и «близкие» друг другу: убийца, соучастник и жертва!

«— Значит, не признаваться и выносить не давать.

— Н-ни за что! — решил князь,— ни-ни-ни!»

«Когда Рогожин затих (а он вдруг затих), князь тихо нагнулся к нему, уселся с ним рядом и с сильно бьющимся сердцем, тяжело дыша, стал его рассматривать... Между тем совсем рассвело; наконец он прилег на подушку, как бы совсем уже в бессилии и в отчаянии, и прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина...»[2]

Известно, что последняя сцена романа «Идиот», фрагменты которой мы привели, возникла первой в сознании писателя. У

---

[1] Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. В 30-ти т.—Л., 1973. Т. 8, с. 502—503
[2] Достоевский Ф. М, Поли. собр. соч., т. 8, с. 504—507.

Валентина Распутина было по-иному, но внутренний динамизм и его. столь же «замедленной», заключительной сцены исключительный, она — эмоциональная, болевая вершина произведения.

* * *

Наш XX век практически заострил мысль, не раз вспыхивавшую — где искрой, а где и факелом — в культурах и философии самых разных цивилизаций, мысль, которой жили в веке XIX Лев Толстой и Федор Достоевский, а Альберт Швейцер, уже в наше время, выстроил мысль эту в теорию «благоговения перед всем, что есть живого». (Для него самого это была практика, норма поведения в мире, где мы не одни.)

«Добро — это поддерживать и развивать жизнь; зло — это вредить жизни и разрушать ее»,— провозглашал Альберт Швейцер»[1].

И — чисто практическое:

«Всякий, кто привык считать недостойной жизнь любого из живых существ, рискует прийти также к идее недостойндсти человеческой жизни, идее, которая играет столь губительную роль в мышлении наших дней»[2].

Техника сделала человека «сверхчеловеком»,— так продолжает свою мысль великий гуманист XX века,— но «сверхчеловек этот самым роковым образом страдает, духовным несовершенством. Он не обладает сверхчеловеческим разумом, который царил бы над этой сверхчеловеческой силой... Знание и мощь дали пока результаты, которые оказались скорее губительны для человека, чем полезны...»[3]

Это говорилось, писалось во времена, когда Европа и мир уже познали, чем может стать человек, у которого в руках современная сверхтехника, а в голове — коротенькие, убогие расистские идейки.

Эту уродливую тенденцию развития классового общества угадывали, предвидели еще классики марксизма, когда писали: «Победы техники как бы куплены ценой моральной деградации. Кажется, что, по мере того как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей либо же рабом своей собственной подлости»[4].

---

[1] Цит. по кн.: Носик Б. Швейцер,—М., 1971, с. 30.
[2] Там же, с. 308.
[3] Цит. по кн.: Носик Б. Швейцер, с. 340.
[4] Маркс К. Речь на юбилее «The peple's paper».— Маркс К-. Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 12, с. 4.

Наша «военная» литература показала и осмыслила многие грани и глубины этого процесса, со страшной периодичностью сопровождающегося войнами, все более разрушительными.

Когда Бертольд Брехт страстно вопрощал у себя и у других: как можно писать о деревьях, если убивают людей? — он выражал состояние кризиса, когда, казалось, не до «деревьев» было. Но совсем немного минуло времени, и стало очевидно, что темы эти для литературы не противостоящие — люди и мир природы («деревья»),

У нас это новое самосознание литературы наиболее остро заявило о себе в романе Леонида Леонова «Русский лес» (1953). Любопытно, как в этом произведении «трагедия леса» и военные трагедии людские переплетены даже сюжетно: для Леонова мир неделим. Так удивительно ли, что в 70-е годы проза «деревенская» с ее пафосом спасения всего живого в природе и в человеке, что проза эта нравственно и эстетически сомкнулась с современной литературой о войне.

Василь Быков, отвечая на все тот же давний вопрос читателей, кто и когда напишет «Войну и мир», сказал, что пишут и напишут ее лучшие наши «военные» писатели всей суммой лучших своих произведений. Если согласиться с этим, тогда я добавил бы: вместе с теми, кто пишет о «деревьях». А сегодня — это прежде всего «деревенщики»[1].

Любопытный пример сведения в один фокус судеб людских и судеб «деревьев» находим мы и в белорусской прозе. Еще в годы войны был написан классиком нашей прозы Кузьмой Чорным рассказ «Большое сердце» — о том, как немцы, воюя с партизанами, пытаются убрать мешающий обстрелу старый могучий дуб, который для жителей деревни — как бы часть их самих. С ним у каждого связаны воспоминания о детстве, представление о старике-дубе связано с делами, мыслями множества людей: ведь он всегда был на виду. А для оккупантов он помеха, как бы даже партизанский лазутчик. Немцы тщетно пытаются спилить толстенный дуб, потом огнем жгут-пытают, наконец вроде бы умертвили, но не до конца... Крестьянин Порхвен (герой рассказа «Большое сердце») «глянул туда, где по ту

---

[1] Снова и снова употребляя термин «деревенщики», выражение «деревенская проза», испытываешь невольное чувство вины, потому что помнишь, как раздражает и обижает оно самих писателей, об этом говорят, пишут Виктор Астафьев, Борис Можаев. Но раздражают их, думается, не сами слова, а то, что слишком часто критика наша увязывает писателей вот так, в один «узелок», чтобы колотить было удобнее —всех за одного и одного за всех! Но у меня совсем другая цель, а что касается самих определений: «деревенщики», «деревенские писатели», то сегодня по заслугам принадлежать к этой могучей когорте талантов — великая честь. И вряд ли есть причины обижаться на сами термины, слова. А критике, исследователям оии пока необходимы. Прав был В. Крупин, говоря в статье «Наболевшее», что обойтись трудно без этих терминов: «Нравится кому или не нравится термин «деревенская проза», но он оказался настолько живуч, что без него немыслим ныне любой серьезный разговор о современной литературе. Больше того, сам термин дожил до тех времен, когда и деревень в привычном смысле этого слова почти не осталось...» (Литературная газета, 1979, 3 окт.).

сторону улицы, на огороде, солнце уже должно было быть на вершине дуба. И внезапно вздрогнул: он увидел в небе черный высокий ствол без ветвей, и только один толстый и тоже черный сук снизу зеленел густыми новыми побегами...»

Сцена «покушения» на «царский листвень» в «Прощании с Матёрой» — больше чем метафора. Все читается как действительно подготовка и попытка осуществить убийство: Пришли откуда-то какие-то люди, старухи пугливо, брезгливо называют их «пожегщиками», а о себе они сами говорят немного, только зловеще и весело повторяют: «У нас шестью шесть — тридцать шесть», «Как дважды два — четыре...»

У них топоры, у них бензопилы, и они, эти орудия, разумеется, не прячут — в отличие от известного нам поклонника «элементарной математики» Родиона Раскольникова. Они что, они же не людей, они лишь вот это дерево должны убрать — для пользы дела!

Но так прежде литература описывала действительно лишь убийство.

Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, «царским лиственем», который возвышался, возглавлялся среди всего остального, «как пастух возглавляется среди овечьего стада», что этим деревом-гигантом «и крепится остров к речному дну, к одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет стоять и Матёра»[1].

Вот чем он был для тех, кто жил здесь. И чьи отцы-матери лежат в этой земле.

А для «пожегщнков»?

«—Ого!— изумился мужик! — Зверь какой! Мы тебе, зверю... У нас дважды два четыре. Не таких видывали»[2].

«Мужики обошли вокруг ствола и остановились напротив дуплистого углубления. Листвень вздымался вверх не прямо и ровно, а чуть клонясь, нависая над этим углублением, точно прикрывая его от посторонних глаз. Тот, что был с топором, попробовал натесать щепы, но топор на удивление. соскальзывал и, вызваниваясь, не мог вонзиться и захватить твердь, оставляя на ней лишь вмятины. Мужик оторопело мазнул по дереву сажной верхонкой, осмотрел на свет острие топора и покачал головой.

— Как железное,— признал он и опять ввернул непонятную арифметическую угрозу: — Нич-че, никуда не денешься. У нас пятью пять—двадцать пять»[3].

Да что же это за существа такие?!

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 159.
[2] Там же, с. 161.
[3] Там же.

Начинаешь на них глазами испуганных старух смотреть. Эти вот. И те, что пришли кладбище рушить. А может не в них зловещее — не в них самих? А в их работе, в деле, к которому они приставлены.

«Было их то пятеро, то семеро — мужики, не в пример прежней орде, немолодые, степенные, не шумливые. Поселились они в колчаковском бараке, через стенку от Богодула, больше на Матёре устроиться было негде, и по утрам проходили по деревне с верхнего края на нижний, и дальше на работу, а вечером с нижнего на верхний возвращались обратно. Работой своей и казались они страшными — той последней, окончательной работой, которой на веки вечные и суждено закрыть Матёру. Они вышагивали молча, ни с кем не заговаривая, ни на что не обращая внимания, но твердо, посреди дороги, с хозяйской уверенностью в себе, и один их вид, одно их присутствие заставляли торопиться: скорей, скорей — пока не поджарили. Они ждать не станут. Собаки и те чувствовали, что за люди эти чужие, и, завидев их, с поджатыми хвостами лезли в подворотни. А тут еще прошел слух, что «поджигатели», как их называли, подрядились заодно с лесом спалить и деревню»[1].

Но кому-то надо исполнять и такую работу — если это для общей пользы. Их, этих реальных, конкретных «поджигателей», даже пожалеть можно: работаешь для людей же, а они вот как смотрят! Даже собаки тебя пугаются!

«И хоть злиться на них, рассудить если, было не за что, не они, так другие сделали бы то, что положено делать, но и водиться, разговаривать с ними никто из деревенских желания не испытывал: делали-то они, глаза видели перед собой их»[2].

Обычной логикой можно «припереть к стенке» и Распутина, и его повесть.

Конечно, не так, как Воронцов, надо бы действовать («Граждане затопляемые»!..), следовало по-человечески разъяснить, сделать все, не оскорбляя чувств старых людей и т. д. и т. п. Но строить все равно надо, а значит, и что-то рубить, затоплять. Электричество и старухам не помеха. Упадет красавец-листвень на «низкой Матёре» — встанут на «высоких землях» красавцы-города!

Дарье, может быть, и не «прирасти» к новому поселку — «прирастет» ее молодая невестка, а внуки так и наверняка. Сам же Распутин об этом говорит в повести: о том, что и непривычное человек полюбит в конце концов — если труды в него вложит. Труды человека роднят с землей. («Через год, два доведись перебираться куда, жалко будет и поселок. Труда положили, дак

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 148.
[2] Там же, с. 148—149.

што...»; «Привязчив человек, имевший свой дом и родину, ох как привязчив!») Создали когда-то колхоз, но стал он не богатеть, а беднеть — жалоб на жизнь хватало. Но вот, прощаясь с Матёрой и с той колхозной жизнью,— перед тем, как перебираться в новый поселок,— собрались «матёровцы» на последний сенокос.

«Выползали из деревни на луга старухи и, глядя, как работает народ, не могли сдержать слез. И подступали с вопросом:

— Че вам надо было? Че надо было, на что жалобились, когда так жили? Ну? Эх, стегать вас некому.

И соглашался народ, задумываясь:

— Некому»[1].

Вот и в этом правда — и жизни и памяти правда. И Распутин ее не упускает.

«Где поддадимся маленько, где назад воротим свое. Были бы силы да не мешали бы мужику, он из любой заразы вылезет»[2].

Нет, не о том повесть Распутина: надо или не надо строить электростанции? И даже не о том, стоит или не стоит затоплять вот эту конкретную Матёру.

Повесть Валентина Распутина о людях: какие они, какими быть им?

И тут уж арифметика не главный аргумент. А часто и совсем не аргумент.

Дарью неотступно мучит вина — не ее это вина, чужая вроде бы, но берет она на себя.

«— Я-то виноватая, виноватая»,— жалуется-винится она своим покойникам, отцу-матери на кладбище,— «я уж потому виноватая, что это я, на меня пало»[3].

Уже в том себя виноватой считает, что при ней — не раньше и не позже, а при пей! — Матёра уйдет под воду («Это на моем, не на чьем веку отрубит наш род и унесет», «Почему, почему при них, кто живет сейчас, ничего этого не станет на этой земле — не раньше и не позже»). У других же есть, однако, на все, что бы ни происходило, что бы ни делали, и объяснение и оправдание: «Не мы сделаем — так сделают другие!»

Два принципа, две формулы.

Мы за все в ответе, что было при нас,— это еще Павел Нилин сформулировал в «Жестокости». А еще раньше и по-своему — Достоевский («Все и перед всеми виноваты»), И вот этот же принцип главенствует в жизни народной, как ее видит, понимает, как ее отображает Валентин Распутин.

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 90.
[2] Там же, с. 112.
[3] Там же, с. 155.

А второй «принцип», «формула времени» — «Не мы — так другие, какая разница!»

Этой «формулой» руководствуются все «пожегщики». Похоже, что всегда руководствовались. И даже считали всегда, что они лучше других прочих: те еще больнее, еще не так сделали бы! Спасибо еще скажите — нам, «пожегщикам»!

Не в том беда, что разные существуют «принципы», «формулы» у людей (это было всегда), беда подступает, когда границы между добром и злом становятся зыбкими, понятия начинают смешиваться, подменять друг друга. Валентин Распутин не только утверждает добро против зла, говоря о людях, но и свидетельствует, что «пожегщики» умеют, если нам не быть начеку, приучать слишком многих к капитулянтской мысли: мол, не этот, так другой! Не я, так другие!..

Вон даже Дарья, непримиримая и горячая, когда дело касается таких вещей, даже она...

«— Че ты расстоналась? Че ты себя так маешь? Не знала ты, ли че ли, какой он есть, твой Петруха? Али только он один у тебя такой?.. Заладила: страм, страм... Не он, дак другой бы сжег. Свято место пусто не бывает — прости, господи!»[1]

Но она, может быть, просто так — чтобы смягчить укоры совести матери «пожегщика»?..

А Петруха — не только по работе, как некоторые мужики, что готовят Матёру к потоплению, а по душе, по психологии — «пожегщик». Мелкий, жалкий, даже смешной, но из той породы. И не жестокость его делает безразличным к земле отцов. Скорее наоборот. Безразличие к тому, что думают о нем люди, даже мать родная, беспамятство делают бездушным и жестоким. Опасным для жизни.

Пустодум, пустопляс он, как и Клавка Стригунова, которая тоже «ждала, не могла дождаться часа, чтобы подпалить отцову-дедову избу и получить за нее оставшиеся деньги»[2].

Петруха первый это проделывает, даже досрочно, не заботясь, что его матери придется искать угол у людей.

«— Он живую избу спалил, он и тебя живьем в землю зароет. Не в землю, в воду он тебя, в воду, чтоб не хоронить»,— сердито говорит Дарья бесприютной Катерине, когда она, бедная мать, все еще хочет оправдать своего Петруху. Хотя бы тем оправдать, что «беспутный, дак че...»

«— Вот и поговори с ей,— всплескивала Дарья руками.— Я ей про дело, она — про козу белу... Ну и захвати тебя с Петрухой вместе! — вот дал господь кормильца...»[1]

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 139.
[2] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 51.

Да, жалок он, Петруха. И повесть Распутина умеет пожалеть человека, даже повинного в самом главном грехе: у которого ни совести, ни души, ни корней человеческих — на земле и среди людей. Именно за это и пожалеть.

«У вас давно уж ноги пляшут: куды кинуться?» — говорит Дарья —«Вам что Матёра, что холера... Тут не приросли и нигде не прирастете, ниче вам жалко не будет. Такие уж вы есть... обсевки»[2].

И она же, Дарья, объясняя, почему ей «всех людей жалко», говорит внуку:

«Ты думаешь, не надоело тому же Катерининому Петрухе дурачком прикидываться? Он ить парень не глупой, не-ет. Он знает про себя, что кочевряжится, а не живет. Но уж не оборотится, из вредности не захочет. Направил свою дорожку и пойде-от, пойдет по ей до конца. Да че Петруха! С Петрухи и спросу нету. На сурьезного человека посмотреть, который навроде по уму живет, а и он боле того приставляется. И он не сам собой на люди выходит, кого-то другого из себя корчит. Чем он, другой-то, лутше тебя? Пошто ты, какой есть, не живешь, а все норовишь притвориться. У сватьи Татьяны невестка была за Иваном — Гутька, форсистая такая девка, ишо косоглазой любила прикидываться, дерьгала свои глазенки почем зря. Дак она, Гутька, молоток за уборну прятала. Ежли кто увидит, что она туды идет, она щас молоток в руки и давай стукать. Навроде как по то и шла, чтобы доску прибить. А спросить ее: кто туды не ходит? Каку холеру стыдиться?! От так и все мы. По прибитому бьем. Человек сотворен, жить пущен, а ему, ишь, другого себя подавай. Запутался, ох, запутался, вконец заигрался.

— И ты, бабушка, тоже?

— А че я? И я себя другой раз ловлю, что не то делаю. Ить ниче не стоит сделать как надо — нет, ноги не туды идут, руки не то берут. Будто как по дьяволу наущенью. Ежли это он, много он успел натворить, покуль народ хлестался, есть бог али нету... Я че?! Не мне людей судить. Да ить глаза ишо видят, уши слышат. Я тебе боле того скажу, Андрюшка, а ты запомни. Думаешь, люди не понимают, что не надо Матёру топить? Понимают оне. А все ж таки топют»[3].

«Деревенская» литература и здесь, и в этом —во взгляде на человека как на нечто самое сложное, трагически сложное, что только есть на земле,— сблизила «невоенную» литературу с «военной».

---

[1] Там же, с. 82.
[2] Там же, с. 108.
[3] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 120—121.

Ну, на войне или «возле войны» — там человек весь раскрывается. Там он весь и со всем — что в нем есть и чего уже нет. К этому нас уже приучила литература последних 20-25 лет.

Но ведь здесь жизнь самая что ни на есть мирная, даже «рутинная», и вдруг беспощадное обнажение самых глубинных мотивов и состояний! — что и говорить, такого наша русская литература (да и не только русская) не знала после «Жизни Клима Самгина» и «Мастера и Маргариты».

«Катерина стала думать, следует ли ей стыдиться перед людьми, знакомыми и незнакомыми, за себя и за Петруху, если сам он не ведает стыда? И если она теперь стала никому не нужной — ни сыну, ни, тем паче, чужим людям, будто ее и нет на свете? А может, и верно сделать вид, что ее нет, а то, что ходит в ее шкуре, ни для чего не годится — ни для совести, ни для стыда?

...А Дарья думала о том, что она чувствовала бы на месте Катерины, какими защищалась бы словами. То же самое, наверное, и чувствовала бы, то же и говорила. И так же отвечала бы, наверно, Катерина на ее, на Дарьином месте. Это что же такое? Дарья впервые .так близко задумалась над тем, что значит в жизни человека положение, место, на котором он стоит... Куда девается человек, если за него говорит место?..»[1]

А на стыке «военной» и «невоенной» есть у нас литература, которой порой критика и не замечает, привыкнув мыслить «блоками», распределив писателей по «обоймам», спискам. Но и вне привычных «обойм» существуют произведения, в которых продолжается та же глубина человековедения, которую мы сегодня находим в лучших произведениях «военной» и «деревенской» литературы.

Когда мне в 1978 году попал в руки сборник прозы Евгения Дубровина, я, начав читать повесть со странным, народийно беккетовским названием — «В ожидании козы» и поняв, что это о детях, «детская литература», ждал от страницы к странице, с минуты на минуту, что вся глубина вещи, сначала поразившая, скоро перейдет в отмель, типичную для подобной литературы. Вначале, конечно, поконфликтуют, если так автору понадобилось, дети с отцом — выросшие, отбившиеся от рук за войну дети с вернувшимся из военной, лагерной «одиссеи» отцом, но в нужный момент все образуется. Не образовалось! Потому что страсти у детей из дубровинской повести не игрушечные, которые можно включать и выключать по желанию. Самые что ни на есть подлинные страсти и проблемы в этой повести. Ни умения, ни времени у их отца-матери не хватало, чтобы справиться с дикой и

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 140—141.

часто злой фантазией своих сыновей, которую распалила война и безотцовщина не в удобно придуманном мире, как часто бывает в «воспитательной» литературе, а в самом что ни на есть реальном, со всеми трудностями и искажениями, уродствами тех лет, когда можно было прожить преотлично и даже возвышаться, ломая судьбы и жизни другим людям. Отец до партизанского отряда в немецком плену был, а сын в майскую стенгазету оконную замазку завернул — для завхоза школы (да и не одного завхоза) все ясно: яблоко от яблони не далеко падает! И даже дочка завхоза с молодой увлеченностью выполняет свое задание в этой будто бы патриотической акции.

Но главное в повести — сами дети — Вад и его старший брат, от имени которого ведется повествование,— непонятно жестокие по отношению к отцу и даже к самим себе. Непонятно жестокие, если выключить из времени, когда это происходит. Но и временем всего не объяснишь. Автор совсем не претендует растолковать, объяснить все. Для настоящей литературы никогда не было все в человеке ясно. «Человек — тайна»,— говорил Достоевский, и он всю жизнь разгадывал тайну человека. Как делали это и Пушкин, и Толстой, и Булгаков, и наши — Колас, Горецкий, Чорный.

Кончается повесть Евгения Дубровина трагически: отец и мать, чтобы спастись от голода и детей своих, все еще не прирученных, спасти, отправляются в соседний район купить козу, на нее теперь вся надежда. Да так и не вернулись. «Люди говорили, что тогда много было пришлого народу: шли в родные места или искали лучшего края, и многие пропадали бесследно. Такое уж тогда было время. После миллионов смертей дешево ценилась простая человеческая жизнь»[1]. Дешевле козы.

А тем временем в родительском доме продолжалась странная саморазрушительная вакханалия детского своеволия, приведшая к гибели (похожей на самоубийство) младшего сына, Вада.

«Дорога была пуста до самого горизонта, но в каждый момент там могли показаться родители с бегущей сзади козой. И мне придется отчитываться за все. Я тогда еще не знал, что мои родители никогда не придут и мне не перед кем отвечать»[2]

Суда не будет, кары не будет. Но это самое страшное, потому что некому будет снять и вину.

«С тех пор прошло немало лет. У меня самого уже сын, который скоро пойдет в школу. Все реже снятся родители, и я уже почти не помню их лиц. Полные приключений годы детства кажутся теперь прочитанными в какой-то книге. Лишь осталось от всего этого тревожное чувство перед пустынной дорогой. Так и

[1] Дубровин Е. В ожидании козы,— В кн.: Счастливка: Повести. М., 1977, с. 156.
[2] Там же, с. 96.

чудится, что вдали покажутся двое с козой и мне придется держать ответ за все, что делал не так...»[1]

За яростной веселостью повествования в этой трагической вещи Евгения Дубровина пульсирует мысль о бесконечной сложности жизни и самого человека. То появляется среди персонажей, то исчезает так и не разгаданный детьми до конца, то ли действительно родной дядя их, то ли авантюрист и бандит — некто Авее Чивонави.

Весь он изранен, изрезан, обгоревший и заново «составлен из кусочков». Пока думают, что он брат их матери, дети не замечают, как он страшен. Они гордятся «дядей-летчиком» и тем, как он ловко «сшит из лоскутков». Но потом возникает подозрение, что это самозванец, присвоивший имя их дяди, возможно, жулик и даже бандит, прячущийся под своей лоскутной кожей. А кто он был на самом деле, так и остается загадкой.

Загадок и неразгаданного жизнь оставляет немало за спиной у каждого из нас. Дай бог, себя-то разгадывать без опоздания!

Человеческая сложность нашей литературы, разумение того, что не однозначен человек и что сам он порой всего себя не знает и всю жизнь открывает в себе новые «острова» и даже «материки»,— где, в чем источники этой правды? В самом времени нашем, требующем не иллюзий, а правды о человеке, даже если она и жестокая. И само собой разумеется — в талантах, в жизненном опыте самих писателей.

Но также и в опыте самого народа, столько испытавшего, познавшего за последние полвека. Народная память — это не всего лишь резервуар чувств и воспоминаний о пережитом. Народ вынес из всех испытаний не только «душу живу» — о чем уже говорилось. Огромная людская масса городов и деревень вынесла из нелегкого прошлого и новое знание о человеке, о том, что есть в нас и чего нет, что мы можем и чего не можем —заново выстраданное представление о пределах человеческих.

Тут еще раз обращусь к материалам, характеризующим память людей, переживших трагедии белорусских Хатыней и блокаду Ленинграда.

Большинство рассказов, которые мы слышали, записывали, когда делали книги «Я из огненной деревни» и «Блокадную», несет в себе народное чувство общей судьбы — и в горе, и в радости. Да, и в радости,— если выстроить в один ряд воспоминания о прорыве блокады. И увиденную трамвайным водителем огненную воду Невы, которая будто поднялась и с гневным громом летит через головы туда, где 900 дней, закопавшись, сидели истязатели

---

[1] Дубровин Е. В ожидании козы,— В кн.: Счастливца Повести

ленинградцев... (Это били стоявшие на Неве наши военные корабли.) И счастливый, озорной крик девушки в госпитале: «Андреенко, прибавляй хлеба!» (Андреенко И. А. подписывал публикации о снижении или повышении нормы выдачи продуктов). И тот драгоценный сырок, который маленькая девочка — цветов у нее не оказалось — отдала солдату в День Победы.

Особой нравственной насыщенностью рассказов создается и оправдывается жанр подобных книг. Без такой нравственной атмосферы слишком многое могло бы показаться ненужной жестокостью, даже патологией. И наоборот, благодаря изначальной нравственности народной памяти появляется возможность поведать и о том, о чем литература не рассказывала.

Это не всего лишь угадываемая нравственность, но и сознающая себя, свое право судить, судящая и приговаривающая. Как в том рассказе простой белорусской женщины, даже неграмотной, которая громко спрашивала нас, а через нас — целый мир: «Так что же это такое делается?.. Какая же это война?! Ну, взрослый, ну, он хоть бы солдат... Но дети, дети!.. Ребенок!.. Оно же, как яблочко катилось, а они бьют, разрывными, искры скачут... От зверья так хоть на дерево заберешься, спрячешься, а человек, он же человека найдет!..»

А другая женщина, в другом рассказе, как бы отвечает, объясняет, кто же они, эти существа в образе человеческом. Загнали женщин в избу, а мужчин в сарай. Сначала, как обычно, первых убивали мужчин, а женщины из окон все видели: как их выводили, как один старик, «крепкий такой дед», «взял немца поперек и поставил на карачки», а другие немцы — «га-га-га, набежали, убили деда».

Женщины, дети из окон смотрели, видели (вот какой «телевизор» изобрели фашисты!), как вырывались их мужья, отцы, пытались бежать и все полегли в поле...

Затем взялись за избу — выволакивали под те же окна матерей с детьми и убивали. Те, кто был подальше от дверей, все еще смотрели в окна.

«— А это дочку мою с внучкой... А это мамку мою повели...»

Женщина, единственный уцелевший свидетель, жертва того дня, сказала нам:

«— И хоть бы слезинка у кого!»

Женщина не говорила, не спрашивала: как могут люди людей — вот так?! Не утверждала, как предыдущие: «Это не люди, это звери были!» Но фраза ее: «И хоть бы слезинка!» — сказала обо всем, выразила все.

В фильме Стэнли Крамера «На последнем берегу» есть сцена: огромные тихие очереди стоят за усыпляющими таблетками — за

безболезненной смертью для себя и близких. Стоят матери с детьми, возлюбленные... Вспыхнула и закончилась атомная война, вся планета убита, отравлена, смертоносное радиоактивное облако надвигается и сюда — на последний оазис жизни... Признаюсь, тихая сцена . Стэнли Крамера мне показалась искусственной, стерильной, излишне красивой. Но как он угадал то, о чем знает, что наблюдала воочию женщина, пережившая трагедию одной из Хатыней: «И хоть бы слезинка!»

Плачут, взывают, когда ты погибаешь, а мир остается, когда даже убийцы — люди, и ты сознаешь, что они слышат, способны услышать. Или небо способно услышать. А если одно на всех радиоактивное облако? Или убивают всех, всех без разбора людей какие-то инопланетные насекомые? Нечто из другой цивилизации, а точнее — антицивилизации. Удивительно передано это в Ленинградской симфонии Шостаковича — массоподобное движение, наползание обесчеловеченной силы... Тут скажешь, как та женщина: «Я уже не хотела жить, раз я одна на всей земле остаюсь»... Фашизм, атомный гриб — это и есть проникшая в нашу цивилизацию, рожденная ею же антицивилизация.

И потому люди перед тем страшным «телевизором» не плакали.

В народной памяти о войне не только свой особенный нравственный климат. Но и глубочайшее понимание человека, разуменне, что он такое, что может он, а чего нет, что можно, а чего нельзя требовать от него.

Прожив под обстрелами, бомбежкой почти три года, учительница Ползикова-Рубец К. В. и в своем дневнике спорит «с самим Львом Толстым» — о психологии человеческой. «Я иду пешком до вокзала от Новой Деревни. Езжу в поликлинику через день... И никогда не приходит мысль: «А может быть я не дойду?» Это не храбрость, а привычка. Лев Толстой не прав, когда говорит: «Прежде Ростов, идя в дело, боялся, теперь он не испытывал ни малейшего чувства страха. Не оттого он не боялся, что он привык к огню (к опасности нельзя привыкнуть), но оттого, что он выучился управлять своей душой перед опасностью...» Мы именно привыкли. Мы ложимся спать под звуки сирены, под вой зениток, под звуки обстрелов, и мы засыпаем без усилия от физической усталости, от привычки засыпать в эти часы, и будит нас только сила звука. Разумом мы знаем, что опасность нам угрожает, но чувство молчит. Я слыхала рассказ Зои об ее тетке, буквально разорванной на части снарядом при обстреле Балтзавода... Ее удерживали в помещении, но она со словами: «Меня никакая пуля не берет» — выбежала и сразу попала под снаряд».

В любом другом случае я (наверное, так же, как и вы) взялся бы отстаивать абсолютный авторитет Толстого. А здесь промолчу: не я жил три года, спал три года под обстрелами...

После опубликования «Глав из «Блокадной книги» мы с Граниным получаем письма. Многие — от бывших блокадников.

«Я блокадница и блокадная мать. Муж был в армии, вернее, флоте, в Кронштадте... Я родила 28 июня 42 г. девочку. В блокадном роддоме... И блокада сидит во мне и не выйдет никогда...»

Все письмо Болотниковой Юлии Владимировны об этом: как глубоко сидит блокада в них, переживших ее. В их памяти, в их болезнях, судьбе. И в особенном понимании самих себя и других людей.

«Я читала, не помню в каком номере, Вы писали про двух матерей. Одна не стала кормить одного из детей, а другая накормила ребенка своей кровью. Я бы ни так и ни так не сделала...»

Юлия Владимировна имеет в виду статью «Возможности жанра», которая была опубликована в 1976 году в «Новом мире». Позволю себе привести из нее выдержки, чтобы ясно было, с чем спорит автор письма. В статье, в частности, рассказывалось: «Женщина, которая в самые страшные дни декабря 1941 года лежала в морозном, темном, без воды, без канализации вымирающем доме и кормила ребенка буквально собственной кровью — материнского молока и никакой другой пищи не было, так она прорезала исхудавшую руку и давала сосать вместо груди,— женщина эта тоже спасала Ленинград, не давала ему умереть...

В том же доме и даже в квартире той поселилась другая женщина. «Такая вроде бы видная, рослая из себя»,— рассказывали нам. И у нее тоже двое было детишек: мальчик и девочка десятимесячная. Когда снизилась норма хлебная до 125 граммов, стала «смертельной» (по словам рассказчицы) погибель, смерть неудержимо устремилась к детям и одной и другой женщин.

Первая собой их заслонила — «открыла жилы».

Вторая перехватил а ее, смерть, рукой человека, ожесточившегося до крайности. Перехватила, чтобы отвести ее от мальчика, старшего. Но какой ценой отвести?! И куда направить?.. «Получу карточки на троих, а кормить буду только его. И ты сделай так»,— советовала она соседке.

Нам адрес давали, той, несчастной. Не пошли мы с Даниилом Александровичем. Побоялись. Постыдились подсматривающе слушать человека. Не нам, не пережившим такое, лезть в судьи.

Пусть судят те, кто право имеют — сами все это испытавшие».

И вот перед нами такой человек — действительно переживший все это, а потому судить право имеющий. И женщин тех и наше, авторов «Блокадной книги», отношение к фактам и людям.

В словах и фразах горячего письма бывшей блокадницы, порой бессвязных от боли, волнения, такая непосредственная связь с самой реальностью обстановки и переживаний блокадных дней, что тут уж только вслушиваться в глубины, трагически открывшиеся тысячам людей,— психологические и нравственные глубины.

«Я бы ни так, ни так не сделала,— пишет Юлия Владимировна Болотникова,— ни одного на смерть не могла бы осудить, а уж будь как будет: не смогла бы смотреть на того, кто остался бы жив. И он не смог бы жить ценой смерти другого. Не смог бы, я знаю. И кровь не дала бы пить. Не потому, что мне ее жалко ребенку. А потому, что даже самый крохотный ребенок все понимает. Я бы умерла (отдав кровь.— А.А.). А ребенок понимает, что он один, и я бы не смогла. Ему легче было бы умереть около матери, он все понимает, а то один».

У многих и многих, переживших ленинградскую блокаду, трагедию Хатыней и заглянувших куда-то за край (и в себя — на всю глубину), такое понимание природы человеческой и такой суд над добром и злом, что действительно впору вспоминать великих гуманистов. Не знаю, как объяснить,— возможно, жизнь так круто развернулась,— но то, что приходило на ум только «великим», что откровением звучало в книгах гениев, запросто звучит, живет в людях вроде бы малоприметных. Женщины полесские, которые нам рассказывали про детей своих — про убитых и про живых, которыми счастливы сегодня, конечно же, не думали о том, что они вместе с Достоевским отгадывали тайну великую, человеческую: ложь или правда в библейской притче про старого Иова, у которого бог отнял счастье, убив детей его, а затем дал ему новое счастье — новых жен, новое богатство и новых детей? Взамен отнятых, утраченных.

Нет, я им поверил, этим женщинам, их глубоким, ничего не забывшим глазам, а не утешительным словам старца Зосимы. (Которому, кстати, куда как трудно оспаривать «бунт» Ивана Карамазова.) «...Старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость...»[1] Не споря,

---

[1] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 14, с. 265.

они (женщины) оспаривают это. Забвение оспаривают: не хотят они его и не могут хотеть, хотя память для них — пытка, мучение.

Вначале, когда я слушал ленинградских блокадников, у меня, ей-богу же, появилось чувство: будто читаю Достоевского! Даже ситуации часто совпадают. Как вот в этом рассказе — страшный, «блокадный» вариант Родиона Раскольникова:

«Здесь у нее была сестра, она жила у сестры. И вот когда она меня узнала... Ну, уж я не буду все рассказывать?..

— Если можете, все рассказывайте,— просим мы.

— Мы ездили на остров Голодай — на склад за дровами. Помогли друг другу санки тащить. С этого момента она меня и узнала. Она узнала, где я работаю. Она стала следить за мной. Почему — я не знала. Однажды осталась я вечером в столовой дистрофиков. Я там работала кассиром. Клеишь на старые газеты талончики (ведь строгая же отчетность!) и в то же время считаешь. Крыс было, что-то невероятное! Вот сидишь, считаешь на счетах, они придут и сядут. На столе. Придут и сядут — пожалуйста! Они же есть хотят! А любят еще качаться на весах, ох, как любят!

Так вот пришла та женщина и стучит. Старик у нас ночевал, грелся. И еще уборщица. Так они: «Вас вызывают». Я говорю, что если по имени и отчеству, тогда откройте. «Нет,— говорят,— спрашивают просто кассира».

Ну, она так стучала, что пришлось впустить.

Она говорит:

— Я есть хочу.

Я говорю:

— У нас ничего нету, и потом без карточек, и вообще повара все ушли.

Ну вот, она такими страшными глазами смотрела на меня, не моргая, и что-то она все время под пальто держала, чего она не вынимала.

— Вы ходите одна домой? Пойдем вместе сегодня.

Я говорю:

— Я не пойду.

Она стала требовать, чтобы я пошла вместе. Конечно, мы ее силой выдворили из столовой.

Когда я утром шла домой, здесь я уже слышу, что якобы она заманила женщину под предлогом пилить дрова и стала ее бить, стала ее тащить, и топор у нее был приготовлен. Хотела убить ее топором. Но женщина оказалась сильнее... И так она кричала, так кричала, что сломали дверь, отобрали топор. Потом ее забрали.

После десяти лет заключения, когда она вернулась, я видела ее» (из рассказа Поповой Ульяны Тимофеевны).

Наслушавшись такого, заново, новыми глазами будешь перечитывать и Достоевского — «бунт» Ивана Карамазова, например. Молодой атеист Максим Танк когда-то озорно сформулировал этот «бунт» в двух строчках:

Якому дурню далі свет зрабіць,
Які мы ўсё жыццё перарабляем.

Мол, какому это дураку поручили создать такой мир, который приходится все время переделывать.

Конечно же, не в Достоевскрм, не в начитанности, книжной культуре ленинградцев дело. Хотя эта культура и заявляет о себе во многих случаях, и очень многих. Но то же самое знание пределов человеческих, понимание человека, его падений и взлетов находишь и у самых простых деревенских женщин, даже неграмотных. Знание, понимание, которому человек ничуть не радуется: слишком дорогой ценой оно куплено, с очень горькой памятью оно связано. Такое всезнание и Достоевского терзало, так ему, писателю, оно хоть нужно было...

Но не знать человек уже не может. И не задумываться над вопросами, которые вроде бы по плечу только «великим»,— над вечными из вечных. Если не в словах, то в чувствах их решает. Но иногда и прямо, сознавая свое право на это, выстраданное право. Слишком многие должны были решать эти вопросы практически. И решали. Познавая себя, других, человека в обстоятельствах, где обнаруживалось все, испытывалось все.

И прежние представления каждого о самом себе — также.

Вот записи в поразительном дневнике 16-летнего школьника Юры Рябинкина:

«Хорошо бы улететь... Выкупить все конфеты на новую декаду и улететь, грызя их. Пожалуй, тогда у меня даже воспоминания об этой жуткой голодовке как-то смягчатся. А ведь что со мной было? Ел кота, убитого самим, воровал ложкой из котелков Анфисы Николаевны, утаскивал лишнюю кроху у мамы и Иры, обманывал порой их, замерзал в бесконечных очередях, ругался и дрался у дверей магазинов за право войти получить 100 гр. масла... Я зарастал грязью, разводил кучу вшей, у меня не хватало энергии и от истощения, чтобы встать со стула,— это была для меня такая огромная тяжесть! Непрерывная бомбежка и обстрелы, дежурства на школьных чердаках, споры и сцены дома с дележом продуктов... Я осознал цену хлебной крошки, которые подбирал пальцем по столу, и я понял, хотя, быть может, и не до конца, свой грубый, эгоистический характер! «Горбатого одна могила исправит»,—говорит пословица. Неужели я не исправлю своего характера?»

Видите, не только выжить, выйти живым из блокады, но человеком выйти — вот о чем он, умирающий от истощения (и умерший через короткое время) шестнадцатилетний ленинградец!

А пока жив, он внушает себе:

«Только бы начать! Завтра, если все будет, как сегодня утром, я должен был бы принести все пряники домой, но ведь я не утерплю, и хоть бы четверть пряника, да съем. Вот в чем проявляется мой эгоизм. Однако попробую принести все. Все! Все! Все!!! Все!!! Ладно, пусть уж, если и скачусь к голодной смерти, к опухолям! к водянке, но будет у меня мысль, что я поступил честно, что у меня есть воля. Завтра я должен показать себе эту волю. Не взять ни кусочка из того, что я куплю! Ни кусочка!»

Запись следующего дня — от 11 декабря 1941 года:

«У меня такое скверное настроение и вчера и сегодня. Сегодня на самую малость не сдержал своего честного слова — взял полконфетки из купленных, а также граммов 40 из 200 кураги. Но насчет кураги я честного слова не давал, а вот насчет полконфетки... Съел я ее и такую боль в душе почувствовал, что выплюнул бы съеденную крошку вон, да не выплюнешь...»

Вот интеллигентный человек, профессорского вида— таким смотрит с довоенной фотографии, таким кажется, хотя и сильно постаревший сегодня. Но когда знаешь о нем то, что и он знает, помнит, начинаешь понимать неуходящую из его глаз грусть слабого человека, навсегда потерявшего веру в себя: помнит он, помнит, что в те страшные дни, уже не владея собой, хватал принесенные женой кусочки липкого хлеба, пытался съесть, а жена била его, отнимала и делила хлеб на четыре части — у них было двое умирающих детей.

И тут же рассказ о другом отце, который тайком от жены отдает маленькой дочери свой хлеб — свою жизнь и просит девочку не пугаться, если он замолчит и не будет больше с ней разговаривать.

А вот обычная ситуация, житейская, нравственная, которую испытали — на самих себе проверили — многие, очень многие блокадники. Человек потерял или у него украли карточки. Притом в начале месяца. Он и его семья обречены. Только случай, чудо могли спасти их — таковы были жестокие условия повседневного быта. Не люди, жестокие, бессердечные — это подчеркивают блокадники,— а условия.

Строки из дневника учительницы Ксении Владимировны Ползиковой-Рубец: «От Любы письмо. Мое она получила. Я так и думала. Она не поймет, что в смерти Богданова никто не виноват. Она пишет: «Неужели ни у кого не нашлось для него кусочка

хлеба?» Как будто кусочек мог помочь. Может быть, прочтя этот дневник, она больше поймет».

Ученый-математик Ляпин Е. С. как бы обобщил для нас такие случаи:

«Поделиться просто было нечем, и он не просил. Человек погибал в ужасной обстановке. Это страшно... Он сидит в углу и знает, что каждый день к нему приближается смерть. Она приближается ко всем, но к нему в десять раз быстрее, ибо он ничего не ест, у него уже организм подорван, а ты не протягиваешь ему руку с половиной своей карточки, ты чувствуешь себя преступником, но тем не менее ты ему половины своей карточки не отдаешь...

Если вы скажете, что если бы взяли и дали? Я могу сказать, увы, я скажу то, что, может быть, тяжело и, может быть, даже не следует говорить: завтра другие, пятеро, пришли бы и сказали, что они потеряли свои карточки.

А государство и эти самые организации ничего сделать не могли бы, опять-таки по этой самой причине. Потому что если бы так сделали, то завтра в таком бюро выстроились бы тысячи, десятки тысяч людей. Причем это не были какие-то отвратительные люди, это люди, которые сами и близкие которых уже стояли на краю смерти».

Вы спросите, неужели действительно у всех и везде так бывало, если человек терял карточки? Нет. Мы не случайно назвали фразой, услышанной от блокадницы, одну из глав нашей первой публикации: «У каждого был свой спаситель». Почти каждый выживший говорил нам про того, про тех, кто его спас. Часто отрывая от себя, от семьи своей последние крохи. Блокадница З. Островская пишет, как соседка принесла им, потерявшим карточки, стакан драгоценного риса, который получила от моряков, из последнего помогавших огромной, голодной семье их погибшего товарища. Вот так выстраивались никому невидимые цепочки спасительной человеческой взаимопомощи...

Потому-то блокадники, такое испытавшие, в массе своей сохранили глубочайшую веру в человека, в человечность. Но память их удерживает всю правду обстоятельств, которые бывали порой сильнее конкретного человека. А потому редко какой блокадник скажет не с жалостью, а с пренебрежением о людях, испытавших моральное поражение. Даже о тех, кто у него выхватывал хлеб в магазине. Слишком жестокими были муки голода, и не каждый в силах был их выдержать. Особенно снисходительны женщины и особенно к мужской части населения, которая вымирала в первую очередь.

Ну, а если даже над необоримыми обстоятельствами поднимается человек — тем большая заслуга его.

Вот та же ситуация — с утерянными карточками. Ольга Берггольц день, второй смотрела на невольного убийцу семьи — работника радио, потерявшего карточки, не выдержала и отдала ему свою. Хотя сама уже страдала дистрофией. То есть человек взял и отдал другому, малознакомому и даже малоинтересному для него человеку, свою жизнь. Ольга Федоровна, зная жестокую реальность, никак не рассчитывала на то, что произошло потом: другие работники стали ей помогать продержаться до конца месяца. И помогли.

И это тоже правда блокады. Ничего не отменяющая, но всему придающая иное звучание — возвышенно трагическое. Человек способен на многое, на очень многое, но как это горько, что жизнь снова и снова требует от него немыслимых жертв.

Блокадники сами рассказывают о духовных проявлениях, потенциях человеческих — как это им открылось в те дни и месяцы. Это — ив письмах, которые нам и в «Новый мир» присылают после публикации «Блокадной книги». Вот некоторые выдержки.

«...Опубликована правда о невиданном эксперименте, когда при полном распаде всех нормальных функций цивилизованного общества, при жизни рядом со смертью во всех ее фантастических обличьях, были проявлены неслыханные «потенции человеческого духа» (Раннопорт Цецилия Петровна, Ленинград, ул. Швецова 6, кв. 9).

А Людмила Николаевна Бокшицкая (Ленинград, ул. Кубинская, д. 26, кв. 54) в письме своем вспоминает:

«Я пережила блокаду в самом суровом смысле: без запасов, без помощи, но с верой, что скоро кончится. Но наступил момент, уже в декабре, 1941 года, когда стало безразлично: не могли пойти выкупить хлеб, не вставали с кровати. Лежали трое: мама, сестра и я. Не реагировали на сигналы тревоги; не слышали, что летят бомбардировщики. И как вы пишете, «у каждого был свой спаситель». В нашу комнату вошла соседка Надежда Сергеевна Куприянова. Она решила, что и мы уже мертвые, так как в квартире, где было много жильцов, живых уже не было... Увидев, что и мы уже «залегли», что мы уже безразличны к тому своему состоянию, Надежда Сергеевна со словами, что она не даст погибнуть семье такой замечательной женщины, ушла. Скоро она вернулась с дровами. Затопила печку, принесла воду. Сказав, что им в госпитале дали кролика, поставила в печку кастрюлю с кроликом. Варился суп, она нас мыла, отгородив одеялом от основного холода. За эти дни' наша угловая комната первого этажа

так промерзла, что тепло было только у печки в радиусе 1-го метра. Только после обеда мы узнали, что это кошка, наверное, последняя, а не кролик. Этот обед и это внимание позволили продержаться до 10 января 1942 года.

8 и 9 января мы опять без ощущения, что с нами происходит, лежали с мамой две дочери во всей одежде, не выкупая хлеб, и уже не говорили о нем, как это было раньше. Мама начала шевелиться, что-то, как мне показалось, во сне начала тихо спрашивать. А потом мама, как бы с испугом, задала вопрос: какое сегодня число. И по тому, что мы два дня не выкупали хлеб, установили, что было 10 января 1942 года. И вдруг мама сказала, что «в этот счастливый для нее день мы не должны умереть, сегодня же день рождения Люсёны!» То есть мой день рождения. Мы должны сегодня встать и устроиться на снегоуборочную работу. Очевидно, услышали по радио, что требовались рабочие... И теперь эту дату я считаю своим вторым днем рождения, но и днем рождения общим для мамы и сестры.

Мы пошли на улицу Скороходова, где был пункт по трудоустройству. Сначала мы делали по три шага и останавливались, но не надолго, затем по десять шагов... Я помню, как мы считали, чтобы не больше, боясь, что можем не справиться, как мы, останавливаясь, проявляли бдительность, чтобы не замерзнуть».

В поезде Брест — Ленинград рассказывала бывшая блокадница Селезнева Зоя Петровна, как жили они возле Серафимовского кладбища и как дворник точно в такой же ситуации, когда семья «залегла умирать», принес мясо и объяснил, что «коня тут убили, люди все тащат», и как мать сварила, накормила, спасла детей. До сих пор мучит Зою Петровну мысль о мясе том («Какое-то крупчатое, знаете, какое-то такое!») и, главное, память про то, как мать долго рассматривала его, решала и решилась. И никогда потом об этом не говорила.

Вот и еще драма немыслимая — материнская, человеческая.

В сравнении с тем, что народ познал в войну да и в годы довоенные и послевоенные, что узнал, знает о человеческих пределах, наши записи — лишь отдельные «пробы», взятые зачастую наугад, хотя и в точках, где боль памяти особенно острая. Мы ощущаем, сколько у этой памяти вопросов к человеку и человечеству, ко вчерашнему и завтрашнему дню. Зачастую тех самых проклятых вопросов, которыми всегда мучилась великая литература. Если сама память народная ими наэлектризована, так разве могла литература — «военная», «деревенская» — их обходить, по-прежнему считая вопросы о смысле всего уходом от актуальных проблем? Сегодня мы их слышим и от девятнадцатилетних солдат

(«навеки — девятнадцатилетних») Григория Бакланова[1] и Вячеслава Кондратьева, которым достался особенно безрадостный, жестокий участок войны, и от вливающихся в идущую на запад Красную Армию молоденьких партизан в новом романе Ивана Науменко «Печаль белых ночей», которым предстоит умирать на самом пороге Победы, и даже от семнадцатилетних, которых в повести Виктора Козько «Судный день» война и смерть настигают уже в мирные дни...

Суд над карателями распечатал страшную память военного детства Коли Летечки: «Из красного выплыли пальцы-змейки со змеей-шприцем и указали ему на стол... Весь земной ужас сосредоточился для него на черной, косовато срезанной дырочке шприца»[2].

«Киндерхайм!» — самое страшное на земле слово — эсэсовский «детский дом», где у детей отнимают кровь...

Не может, не хочет Летечка жить дальше, хотя ему так необходимо это — пожить еще, чтобы хоть чем-то «отблагодарить белый свет за то, что он видел солнце и небо, землю, за то, что он хоть и недолго, трудно, но все же жил на земле»[3].

Отблагодарить белый свет... Но из забытого детства такое вдруг всплыло, что свет белый померк. Само солнце, показалось герою Виктора Козько, «стыдилось взглянуть на землю. Оно тоже закрыло глаза и уши, чтобы не ранить себя памятью, чтобы, не дай бог, не проговориться, не напугать других людей и другие народы страхом и ужасом свершившегося здесь»[4].

Сколько мы их слышали, видели — женщин белорусских, которые как бы винились — не перед нами, а перед светом, перед всеми добрыми людьми! — в том себя винили, что знают, помнят все, что с ними сделали другие люди. Убили всех, сожгли всех на глазах у этих женщин: «спаслась я одна, а зачем, когда такое было? Вот убежала, а куда убежишь?!»

---

[1] Вот они," мысли и недоумения девятнадцатилетнего лейтенанта Третьякова — героя повести Григория Бакланова: «Трава родится и с неизбежностью отмирает, и на удобренной ею земле гуще растет трава. Но ведь не для того живет человек на свете, чтобы удобрить собою землю. И какая надобность жизни в том, чтобы столько искалеченных людей мучилось по госпиталям?,. Еще до войны прочел он поразившую его вещь: оказывается, нашествия Чингисхана предворял целый ряд особо благоприятных лет. Шли в срок дожди, небывало росли травы, плодились несметные табуны, и все вместе это тоже дало силу нашествию. Быть может, разразись над этим краем многолетняя засуха, а не сойдись все так благоприятно, и не обрушились бы страшные бедствия на народы в других краях. И история многих народов пошла бы по-другому... Но здесь, в госпитале, одна и та же мысль не давала покоя: неужели когда-нибудь окажется, что этой войны могло бы не быть? И миллионы остались бы живы?.. Двигать историю по ее пути — тут нужны усилия всех, и многое должно сойтись. Но чтобы скатить колесо истории с его колеи, может быть, не так много и надо, может быть, достаточно камешек подложить?.. Люди по размерам события судят о его причинах: огромное событие, значит, и причины такие, что не могло этого события не быть. А может, все проще? Сделать доброе дело для всех людей, тут многое нужно. А напакостить в истории способна даже самая поганая кошка» (Октябрь, 1979, № 5, с. 44—45).

[2] Козько В. Судный день,— Дружба народов, 1977, № 12, с. 88.

[3] Там же, с. 90.

[4] Там же, с. 87.

Частичка этой совести — высшей народной совести — и этой муки в героях Виктора Козько. И «вопросы» не придуманы, все оттуда — из души, из сознания, из памяти народа, пережившего такую войну и знающего такое.

...Не сможет ни остановить, ни забыть ничего, не сможет больше жить на земле с этой своей памятью. Беспамятным жил бы, а с памятью нет... Нельзя ему больше жить, нельзя, потому что в каждом человеке ему будет мерещиться та черная образина (со шприцем)[1].

«Виноват в том, что столько знает не очень хорошего о людях... Он винил себя за все то окружающее зло, что творилось на свете, за то, что ему выпало изведать его, за людей, к которым принадлежал и он сам, что дорогим ему будет больно его исчезновение»[2].

* * *

За последние годы литература не раз побывала в штабах дивизий и армий, и особенно часто — в ставках (нашей и вражеской), писателям в «окопах» не сиделось. Искали: кто точку обзора повыше, кто исторический размах, эпопейный масштаб. Одни — что повыше, другие — где поглубже.

А Быков, отдав все это другим, казалось, об одном все писал, все о том же: о передовой, о том, о тех, кто на бессрочной передовой. Пока их не ранят, пока не пропали без вести, не убьют...

Литература «военная» туда или сюда, а Быков — прежний и о прежнем: «Атака с ходу», «Круглянский мост», «Сотников», «Дожить до рассвета»...

Литература пела и то, и другое, а Быков все тянул (и тянет) свою трагическую оду (бывает такой жанр?), бесконечную оду «пролетариату войны» — пехоте: тем, кто бежит в атаку, т. е. убивать врага, или, засыпанный, корчится, добиваемый, доколачиваемый немецкими минами, снарядами, идет мост взрывать или добывать партизанский харч и, помимо всего этого, вроде бы немного, но чего хватило миллионам людей на четыре года, еще и тем занят, озабочен постоянно, чтобы сохранить в себе правду, идеал жизни человеческой, человека сохранить.

Да, «пролетариат войны». Пехота, по словам Василя Быкова, «в прошлой войне явилась не только царицей полей, но и пролетариатом всех битв, выигранных ее большой кровью».

До чего же много смысла в этой быковской формуле — «пролетариат всех битв» (выигранных и проигранных), в этом его

---

[1] Козько В. Судный день.— Дружба народов, 1977, № 12, с. 87.
[2] Там же, с. 90.

определении роли и судьбы не только армейской пехоты, но и вообще всех, кто платил самой большой кровью и самыми большими человеческими страданиями.

Кто-то должен был написать и о том, и о другом — не только об окопах, но и о штабах, и о ставках. Литература всегда к этому устремлялась. Да и читателю хочется побывать там, куда без литературы не войдешь.

Но кто-то должен был и это: всего и навсегда отдать себя «пролетариату войны». Купала в свое время оговаривался: «А беларусы нікога ж не маюць, няхай жа хоць будзе Янка Купала!»

Ни Быков, ни мы сказать не могли — ни в 60-е, ни в 70-е годы,— что о «пролетариате войны», о тех, кто и составлял массу народную на войне, не пишет никто, и пусть — «хотя бы Быков»... Писали многие, хорошо и много писали. И тот же Бакланов — «Июль 1941-го», «Навеки — девятнадцатилетние», и Астафьев — «Пастух и пастушка», и Науменко — «Горечь белых ночей». Вспомнить можно и богомоловских работяг-разведчиков. А вынырнувший из безвестности и ставший вровень с уже знакомыми по лучшим произведениям героями — «пролетариями передовой» «Сашка» Кондратьева! А дошедшие наконец до широкого читателя пронзительно правдивые повести Константина Воробьева! Симоновские «Разные дни войны»...

Да, не один Быков писал, пишет о матушке-пехоте. Но никто так неотступно. Никто, кроме него, не отдал себя «пролетариату войны» в бессрочные писаря. Что ж, будем справедливы. Даже если вам больше нравится, как пишут Бакланов, Симонов, или Науменко, или Кондратьев, вы должны будете признать, что всегда был и оставался, всегда при «пролетариате» был и остается — один Быков. Он один столь постоянен. Вот об этом, а не чтобы его над всеми как художника поставить — об этом здесь столько толкую.

Знаете, графически это можно вычертить так: прямая линия, просто тоскливо даже, какая она прямая — это Быков, его повести «все о том же», а над этой прямой взвиваются, горбятся, то вверх поднимаясь, то книзу западая, зигзаги, параболы развития «военной» прозы. И не в укор это другим. Линия хороша одна, Быков хорош — пока он один. А всех бы заклинило на одном, да навсегда — что мы сказали бы? И читатель как бы зажаловался!

Да и самого Быкова все время и всем хотелось с этой линии столкнуть, поднять или опустить — поправить и куда-то направить. Ну сколько можно тянуть прямую, когда параболы так и пляшут, так и взвиваются! Аж до Ставки! Аж до эпопеи! Ну, еще одна повесть об «окопной правде», почти о том же снова, еще одна! Сколько можно, Василь? Скоро каждую новую быковскую повесть будут брать в руки не с нетерпеливым, жадным любопытством, как

прежде, а с понимающе-снисходительной усмешкой: что, снова двое или трое в степи, в лесу? Снова — «критическая ситуация»?

Я и сам (хотя и гордился, признаюсь, репутацией критика, который «некритически берет под защиту даже спорные вещи Быкова» — такие замечания получал в прессе), так вот и я тоже, когда в 1975 году прочел верстку «Его батальона», присланную мне из Гродно, написал Быкову, не удержался от советов: вот, мол, отличное завершение цикла твоих повестей, не удивить ли всезнающего читателя вещью Быкова, но вовсе не о войне, О чем угодно: о матери, о детстве, о птичках, о собаке, но не о войне... И руке, и душе, и таланту нужен ведь отдых, «разрыўка», как говорят у Кузьмы Чорного. А потом, с новой энергией, со свежими чувствами — вернешься к войне. От этого не убудет, а прибудет Быкова!

Одним словом, советы были дельные. И... неприемлемые для Быкова.

Я-то его «Батальон» видел (мы видели) в контексте лишь его, лишь быковского творчества. В таком контексте советы были, возможно, и полезные.

Сам же Быков, то, что он делал, делает, воспринимает в контексте ином: всей службы литературной, как она исполняется во имя все того же солдата, партизана, тетки Демчихи с ее детьми. Уйти-то я уйду, а кто захочет сидеть на моем писарском месте — при том самом «пролетариате»? На службе у которого чаще всего скорых наград не жди — «штаб», да не тот!

Кого тут усадишь вместо себя?

По секрету говоря, Василь Владимирович почти так и написал нашему общему в те времена другу: мол, советует мне Адамович, а кому дело оставить, на кого?.. И назвал несколько имен писателей, кто десятилетиями не вылезает из ставок...

Да, Быков всем все уступал, самое выигрышное — штабы, ставки, романтику, а себе оставлял самую «прозу войны». Прозу боя и смертен. Чертил и чертил прямую линию, а от нее отрывались, воспаряя, параболы. Но куда им было деться — снова и снова возвращались к линии. К тому, что, казалось бы, уже пройдено и превзойдено. А потом парабола ушла еще ниже — к живой, совсем уже непритязательной документалистике. Но это особая тема...

* * *

Вот передо мной не литература уже, а два научных труда — об этом же: что такое человек, каков он для самого себя, какова история его, т. е. откуда и куда идет, куда вышел на пороге XX века? (Ну, а про весь XX мы знаем (и узнаем еще) не по книгам.)

Книги эти: «Прогресс как эволюция жестокости» М. А. Энгельгардта (СПб, 1899) и Б. Ф. Поршнева «О начале человеческой истории» (М., 1974).

В книге крупного, талантливого советского ученого-историка Бориса Федоровича Поршнева прослеживается «путь к человеку» — через труд и «речевое взаимодействие». Причем акцент по-новому смело делается на «речевое взаимодействие».

И еще — на изначальное, «природное» миролюбие троглодитов. Тех самых, именем которых в XX веке называем самых жестоких и тупых убийц всего живого.

«Мы имеем право утверждать, что троглодитиды даже и не могли бы убивать, ибо им это запрещал жизненный инстинкт — абсолютный, не допускающий исключений. Те популяции, которые нарушали бы эту биологическую норму поведения по отношению к животной среде, вымерли бы; иными словами, «не убивать» — это был наследственный безусловный рефлекс, врожденный видовой закон, безоговорочно закрепленный естественным отбором, а не навык, от которого особь могла бы и отвыкнуть»[1].

Смысл этих рассуждений в том, что инстинкт: «чтобы выжить — убей!» — к предкам людей не сразу подоспел. В человеке «закон» этот внедрялся постепенно. (М. А. Энгельгардт выразил ту же мысль в самом заглавии своей книги: «Прогресс как эволюция жестокости».)

Совсем он не изначальный для человека — «инстинкт агрессии», убийства. Хотя об этом писать и рассуждать любят в нашем мире, нашпигованном орудиями, которые как раз для такого занятия предназначены.

Занятию этому, по Поршневу и Энгельгардту, нет оправдания не только морального (т. е. согласно современным понятиям гуманизма), но и «исторического»,— если иметь в виду именно начало начал, природу человека.

Если Поршнев строго научно выводит и проводит эту мысль, то Энгельгардт хотя и знаком хорошо с данными естественных наук своего времени (вплоть до работ Ф. Энгельса), но пишет свой труд скорее как публицист, как бы преследуя цель устыдить людей их «цивилизованным троглодитством» — жестокостями и войнами нового времени. Что касается предка человека, то его, по

---

[1] Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории: Проблемы палеопсихологии.— М., 1974, с. 352.

Вначале мирное растениеедение и трупоедение, без конкуренции с сильными хищниками, которые ее не потерпели бы, а затем «плавное» приручение животных, рядом с которыми наши предки «паслись»,— вот изначальная их история, по мнению Б. Ф. Поршнева. «Если не усматривать предвзято в доисторическом прошлом обязательно войну нашего предка со веем животным миром, то откроется широчайшее поле для реконструкции его необычайно тесной и бескровной связи с этим миром» (с. 357). «Следующий логический шаг, может быть, и ведет к представлению, что древнейшая «звуковая речь» адресовалась не от человека к человеку, а от человека (точнее — его предка) ко всевозможным иным животным. Ныне в обращении с животными мы употребляем не только эти оставшиеся от прошлого вдыхательные звуки, но и особые интонации, недопустимые по отношению к людям» (с. 359).

убеждению Энгельгардта, «могли спасти от конечного истребления только относительная смышленность, помогавшая ему укрываться от врагов, а главное, «общественность, симпатия к себе подобным, доходившая до полного самоотвержения, полного «альтруизма»[1].

И дальше: «Война друг с другом, взаимное истребление, охота на себе подобных поставила бы вид в слишком невыгодное положение сравнительно с окружающими видами животных и привела бы к его истреблению и исчезновению. Только с того момента, когда умственное превосходство, оружие, ловушки и пр. обеспечили человеку господство над животным миром и вследствие этого вызвали усиленное размножение людей, недостаток пищи и необходимость соперничества из-за кусков,— могла начаться внутренняя война, взаимное истребление»[2].

Б. Ф. Поршнев устанавливает два этапа в истории взаимоотношений, «сосуществования» первых людей. Сначала «отлив», «дисперсия» (разбегание) человечества по материкам и архипелагам земного шара. Дело не в одних только «кусках», считает современный ученый: «им не стало «тесно» в хозяйственном, смысле, ибо их общая численность тогда была невелика.

Но им стало, несомненно, тесно в смысле трудности сосуществования с себе подобными». (Вот когда впервые встала она — проблема сосуществования!) «Эта дисперсия человечества по материкам и архипелагам земного шара, если сравнить ее с темпами расселения любого другого биологического вида, по своей стремительности может быть уподоблена взрыву»[3].

Вот как бросилась врассыпную «разбегающаяся вселенная» первоначального рода человеческого! «За эти полтора-два десятка тысячелетий кроманьонцы преодолели такие экологические перепады, такие водные и прочие препятствия, каких ни один вид животных вообще никогда не мог преодолеть»[4].

И все чтобы только подальше от себе подобных! Трудности сосуществования — вот когда они начались. Кроманьонцы — подальше от палеоантропов, которые, возможно, «биологически утилизировали их в свою пользу»[5]. Но и неоантропы — тоже врассыпную, друг от друга подальше!

Но вот процесс разбрасывания то в том, то в ином направлении, пишет Б. Ф. Поршнев, достигает такого предела, когда по природным причинам простое взаимное отталкивание оказывается далее уже невозможным. «Достигнуты ландшафтные

---

[1] Энгельгардт М. А. Прогресс как эволюция жестокости — СПб, 1899, с. 40.
[2] Там же, с. 44.
[3] Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории, с. 377.
[4] Там же.
[5] Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории, с. 377.

экстремальные условия, или океан останавливает перемещение дальше вперед. Но торможение может быть и иного рода: настигают новые волны человеческой миграции, отрываться все труднее. В общем, повсюду приходит пора нового качества: взаимного наслаивания мигрирующих популяций неоантропов, откуда проистекают попытки обратного, встречного переселения»[1].

Теперь, продолжает свою мысль ученый, все чаще перемещаются не в вовсе необжитую среду, а в среду, где уже есть другие люди. Земли, растительности хватает и здесь: одно неудобство — надо привыкать к себе подобным. (Как говорил Лев Толстой — уже о своих современниках: «научиться людям жить с людьми».) Привыкать приходилось к условиям, когда «необходимо как-то пребывать среди соседей».

А это, оказывается, всегда было задачей. У каждого вида живых существ своя потребность в уединении от себе подобных: одним достаточно круга диаметром три метра, другим необходим километр. Первым людям хотелось жить за реками и горами — как можно дальше от «родственников».

А тут хочешь не хочешь пришлось идти на сближение.

«Иссякает отлив, начинается прилив. Люди возвращаются к людям. Или — что равнозначно — они уже не отселяются, они остаются среди людей.

Вот этот второй, обратный вал перемещений неоантропов и есть уже не просто история их взаимного избегання или избегания ими палеоантропов, но начало истории человечества»[2].

Вот здесь-то и мерцает точка в начале человеческой истории, когда жизненно необходимым стало то, что гораздо позже получило название «мораль», «нравственность», а вначале могло быть чем угодно, но все же направленным в сторону «согласия»: поступай с себе подобными таким образом, чтобы и они были к тебе миролюбивее, дружелюбнее. Раз уж жить «в тесноте», так лучше, если «не в обиде»! Инстинкт, который когда-то гнал человека по земному шару,— инстинкт уклонения от стычек с себе подобными, уклонения от конфликтных ситуаций, от взаимного истребления — не он ли помог затем и сближению, привыканию к «жизни с соседями»? Но это уже инстинкт, подчиняемый все более сознательной цели, выполняющей функцию, которую гораздо позже выполняли религия, мораль и т. п.

«Земной шар,— констатирует Б. Ф. Поршнев,— перестал быть открытым для неограниченных перемещений. Его поверхность стала уже не только физической или биогеографической картой, но

---

[1] Там же, с. 378.

[2] Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории, с. 378—379. Далее у Б. Ф. Поршнева следуют уточнения, что первый и второй «вал» не были разделены строго во времени; все это происходило в разные времена и очень по-разному.

картой этногеографической, а много позже и политико-географической»[1].

Вот тут-то и началось соперничество «из-за кусков», о котором пишет М. А. Энгелы ардт в книге «Прогресс как эволюция жестокости».

Отсюда начинается история, в которой столько страниц заполнено «внутренней войной» человеческого рода, взаимным истреблением. Но война эта, считает М. А. Энгельгардт, «до такой степени шла вразрез с первоначальными инстинктами (теми самыми инстинктами «уклонения» от конфликтов, стычек, «войны».— А. А.), что не могла привиться быстро. Мы знаем, как прочно держатся инстинкты и как туго они уступают рассудку. А война была актом рассудочным. Потомок миролюбивого третичного получеловека, «человек мудрый», hm sapiens, своим умом дошел до соображения: если я убиваю мамонта и медведя, то почему бы мне не убить и своего соседа и не отнять у него его добычи, орудия, жены и прочее»[2].

Мы не спешим соглашаться с пессимистической картиной истории человеческого рода, которую рисует в своей книге М. А. Энгельгардт. Хотя XX век примеров жестокостей и массового озверения столько продемонстрировал и таких, какими не одарили Энгельгардта все века и тысячелетия, через которые он путешествует, подбирая доказательства, что жестокость в поведении и натуре людей (отдельных и сообществ) нарастала по мере прогресса[3]. Не соглашаемся не потому, что недостаточно фактов в пользу его невеселой теории, а потому, что революционный XX век дает и новые факты, открыл новые возможности и перспективы движения человеческой истории. «Предыстория человечества», когда прогресс действительно выглядел чудовищем, предпочитающим пить свой нектар из черепа убитого (по известному выражению К. Маркса),— эта

---

[1] Там же, с. 379.

[2] Энгельгардт М. А. Прогресс как эволюция жестокости, с. 44.

[3] Плодами именно цивилизации Энгельгардт считает все, что считалось «дикарством». «Дикари» же, напротив, были вполне'мирные и безобидные существа — какими еще застали европейцы бушмена или веддаха. «Первые плоды просвещения», первые завоевания разума: война, людоедство и детоубийство». Презрение к женщине — тоже результат войны: в войне не участвует, за что же уважать ее? Слабый, беззащитный — значит бесполезный. «Основные факторы прогресса, под влиянием которых воспитывалось человечество—война, рабство, деспотизм». М. А. Энгельгардт подсчитывает действительно ужасные итоги «цивилизаторской деятельности» европейцев в Америке (из 10 млн. индейцев уцелело 244 тыс.), потери Африки — 500 тыс. жизней ежегодно. А за все годы работорговли 150 млн. убитых, умерших в трюмах кораблей и т. д. А ведь в Америке, говорит Энгельгардт, не «отбросы общества» действовали, а едва ли не лучшая часть английского населения: сторонники Реформации, бежавшие от гонений господствующей церкви, и т. д. В Африке «работали» гугеноты — цвет французского населения. «Эволюция человечества была эволюцией безнравственности». И это в масштабах целых сообществ, а не только особей. «Сотня скорпионов глотает друг друга, жиреет, раздувается, растет; наконец остается один, заглотавший всех остальных, чудовищный, осовевший, отяжелевший; откуда ни возьмись врывается новая орава, разрывает его на части, затем обращается друг против друга: вот история всех народов и государств, создававших и двигавших вперед цивилизацию».
Счастье еще, считает Энгельгардт, что некоторые государства (Китай, напр.) как бы в спячке пребывают: «Было бы еще больше крови, страданий, зверства и грубости, если бы все возникавшие цивилизации развивались быстро и безостановочно...»

предыстория все еще длится. На многих континентах. Но в права свои вступает и настоящая, достойная людей история: история не разобщения и взаимопожирания, а сближения народов. Да и этот прорыв к свету, к выходу из тысячелетних тупиков вызвал (как не раз в истории бывало) ответную, встречную реакцию самых темных сил— сегодня это фашизм, империализм, маоизм и т. п. Человечество по-прежнему живет под угрозой войн, и, может быть, самых страшных, губительных из всех, какие только бывали. То есть проблемы остаются и к ним добавилось множество новых. Важнейшей из проблем является и вот эта — ее сегодня формулируют как «ножницы между техническим прогрессом и нравственным движением, уровнем человечества». Хотя и она тоже не новая[1], но время, термоядерный век ее невероятно заострили, драматизировали.

Значение нравственных факторов не только не снизилось, а, наоборот, возросло в мире, расколотом классово-политическим и идеологическим противостоянием различных систем. И именно при наличии термоядерного сверхоружия. Когда им так перегружена планета и не удается пока ничего сделать, чтобы оно, как кошмарный сон, исчезло,— теперь все важно в мире. А человеческий, нравственный фактор — тем более.

Ведь с чего начал и на чем вырастал старый, «классический» фашизм, что и кто были его предтечей? (А при наличии современных средств убийства людей такая, как в 30-40-е годы, фашизация стран и народов означала бы неизбежную катастрофу в планетарном масштабе.) Так вот, предтечей фашистской идеологии (и за ней последовавшей практики) были не только откровенные реакционеры, расисты, консерваторы многих стран, но и некоторые' «псевдореволюционеры» — яростные ниспровергатели «устаревших», как многим в конце XIX и в начале XX века казалось, понятий, категорий морали. Понятий, которые были отнюдь не выдуманы, а выстраданы человечеством: доброта, человеколюбие, сострадание и пр. и пр.

Как это ни странно, но первые жертвы будущих концлагерей и крематориев — интеллигенты, «высоколобые» — сами звали-кликали в мир «детей Заратустры». Привычно полагая, что их слова

---

[1] У Энгельгардта читаем: «Интеллектуальная, идейная сторона морали прогрессировала в одном направлении; эмоциональная — в другом. Совершались параллельно две эволюции: эволюция возвышенных идей и принципов, эволюция низменных чувств и инстинктов. Чем более зрело человечество, тем более возвышенные учения ему преподавались и тем страшнее искажались эти учения...

Прогрессируя умственно, человечество регрессировало нравственно. Нравственный регресс до недавнего времени был синонимом цивилизации».

Конечно, в идеях и формулировках М. А. Энгельгардта есть сознательное заострение с целью эпатажа современников, чтобы будить их совесть и тревогу. Может быть, он и сгущал краски, обзывая «сентиментальными тиграми» своих современников — европейцев и неевропейцев. Но он вполне угадывал ближайшее развитие событий — в нравственном смысле. (Именно так называли потом многих комендантов лагерей смерти, гауляйтеров и разных прочих «фюреров».) Наивными выглядят надежды Энгельгардта, что наука «исправит человека», но разве один он на это надеялся, рассчитывал?

— всего лишь слова, эпатирующие ненавистных буржуа, обывателей. Не ведали, что творят, не понимали, что не слова, а «режущие-колющие» предметы разбрасывают вокруг себя — по страницам книг. Потом эти острые «предметы» подберут и пустят в дело — чтобы убивать. В числе первых жертв фашизма были доброта, жалость, сострадание... И заодно — интеллигенция, от которой «фюрерам» всегда одни неприятности и беспокойство.

В старинном Краковском университете висят на стенах портреты знаменитых польских ученых, которых немецкие фашисты обманом собрали со всей Польши в Краков (под предлогом совещания перед началом учебного года), а затем схватили всех (200 человек) и бросили в лагеря смерти.

«Чрезмерная образованность должна исчезнуть,— «объяснял» и угрожал Гитлер,— История вновь доказывает, что люди, которые имеют образование выше, чем этого требует их служба, являются зачинщиками революционного движения»[1].

Еще в 1925 г. один из «зодчих» итальянского варианта фашизма Фариначчн почти теми же словами выражал неудовольствие «чрезмерно эрудированной» интеллигенцией:

«Мы остерегаемся большой эрудиции и интеллектуально развитых людей. Мы уверены, что на эрудиции и интеллекте далеко не уедешь, так как побеждают идеи живые, ясные и доходящие до сердца. Поэтому естественно, что многие так называемые интеллектуалы — враги режима...»[2]

О ситуации в оккупированной Чехословакии Вацлав Краль, автор книги «Преступления против Европы», говорит:

«Оккупанты полагали, что, как только будет уничтожена интеллигенция, они сами станут «ведущим слоем» и таким образом автоматически будут решены все основные вопросы оккупации»[3].

Кроме причин и соображений чисто политических, военных, государственных на отношение фашистов к высокообразованной интеллигенции как в других странах, так и в самой Германии влияло и то, что фашистская верхушка состояла из людей крайне необразованных или (что еще хуже!) полуобразованных и при этом крайне тщеславных, ненавидящих больше всего человеческую способность критически мыслить, оценивать слова и дела — вместо того чтобы благоговеть перед невиданной премудростью и величием всех этих «дуче», «фюреров»... Комплекс неполноценности

---

[1] Цит. по кн.: Краль В. Преступления против Европы.—М., 1968, с. 268.

[2] Лопухов Б. Р. История фашистского режима в Италии.— М., 1977, с. 207.
Впрочем, подобное подозрительное и гневливое отношение к «так называемым интеллектуалам» свойственно было и старым бюрократам в прежние времена. Вот как высказывался небезызвестный Плеве: «Та часть нашей общественности, в общежитии именуемая русской интеллигенцией, имеет одну, преимущественно ей присущую особенность: она принципиально, но и притом восторженно воспринимает всякую идею, всякий факт, даже слух, направленный к дискредитированию государственной, а также духовно-православной власти; ко всему же остальному в жизни страны она индифферентна» (Любимов Л. На чужбине.—М., 1963, с. 44).

[3] Краль В. Преступления против Европы, с. 229.

понуждал их (и понуждает) искать, на кого бы опереться, сослаться в своих претензиях на власть и мудрость. Подобно дикарям, которые украшают себя совсем для других целей предназначенными, но блестящими предметами, вещами, они вот так же украшают свою «идеологию», «философию», «этику» цитатами и афоризмами ненавидимых ими интеллектуалов, интеллигентов — философов, писателей, художников и др. Они добрались до трудов и произведений Гегеля, Канта, Гёте, Вагнера, Шопенгауэра, ну и, конечно, Ницше. Фридрих Ницше, конечно, сам на то не рассчитывая, когда сочинял свои болезненные филинники в адрес современного человека и человечества, подарил им особенно много ярких и опасных «побрякушек». Ведь действительно, звучало как подсказка, подначка, даже как наводка для напуганных революцией буржуа, деклассированных люмпенов, безработных ефрейторов, разорившихся торговцев, да и всех, кто был достаточно озлоблен или туп, жесток, чтобы поверить, что они-то и есть предтеча тех самых «сверхчеловеков», «сыновей Заратустры» и что они призваны обновить Германию, мир и даже человеческий род:

«Ибо, мои братья, лучшее должно господствовать, лучшее и хочет господствовать»[1].

«...Душа его хотела крови... он жаждал счастья ножа!»[2]

«Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека...»[3]

«Сострадание делает удушливым воздух для всех свободных душ»[4].

«Добрые — были всегда началом конца»[5].

Все это — афоризмы Заратустры.

И еще: «Земля полна лишними, жизнь испорчена чрезмерным множеством людей»[6].

«Восстание — это доблесть раба. Вашей доблестью да будет повиновение! Само приказание ваше да будет повиновением!»[7]

Вполне годилось в «памятку эсэсовцу», который, «приказывая человеку умереть» (убивая), воодушевленно выполнял чей-то еще приказ...

А сколько могли найти они «украшений» для своей примитивной программы и «морали» вселенских убийц в трактатах-«поэмах» «По ту сторону добра и зла» и «Воля к власти»!

---

[1] Ницше Ф. Так говорил Заратустра: Книга для всех и ни для кого,— СПб, 1913, с. 248.
[2] Там же, с. 40.
[3] Там же, с. 6.
[4] Там же, с. 217.
[5] Там же, с. 252.
[6] Там же, с. 47.
[7] Там же, с. 51.

«Не связывайте себя никаким состраданием...»[1]

«Сострадание вызывает у человека познания почти смех так же, как нежная рука смешит циклопа»[2].

«Жизнь есть результат войны, само общество — средство для войны...»[3]

Вон, оказывается, сколько один человек способен наразбрасывать вокруг себя опасных мыслей, фраз, поучений! А сколько было других «высоколобых», звавших «новых гуннов» в этот и без того жестокий мир. Из справедливой ненависти к лицемерной «традиционной» морали под сомнение начали ставить все выработанные за тысячелетия нормы и правила, как человеку жить с человеком,— нравственно раздевали людей.

Не заметили, как неразумно, как играючи слепили голубоглазую маску «белокурой бестии», «сверхчеловека», «смеющегося льва...»

А потом обнаружили ее на мордах убийц, каких мир еще не видывал!

Лев Толстой, кажется, раньше всех ощутил прямую угрозу человечеству от подобной разрушительной работы. Толстой проницательно связывал это с подготовкой к невиданной мировой бойне, которую вели «сильные мира сего».

«Если бы кто сомневался в том страшном одурении и озверении, до которого дошло в наше время христианское человечество,—говорил Лев Толстой,— то, не говоря уже о последних бурских и китайских преступлениях, защищаемых духовенством и признаваемых подвигами всеми сильными мира, один необыкновенный успех писаний Ничше может служить этому неопровержимым доказательством»[4].

И еще: «И вдруг является человек, который объявляет, что он убедился, что самоотречение, кротость, смирение, любовь — все это пороки, губящие человечество... Понятно, что такое утверждение в первое время озадачивает. Но, подумав немного и не найдя в сочинении никаких доказательств этого странного положения, всякий разумный человек должен откинуть такую книгу и подивиться на то, что нет в наше время такой глупости, которая не нашла бы издателя. Но с книгами Ничше это не так. Большинство людей, мнимо просвещенных, серьезно разбирают теорию о сверхчеловечестве, признавая автора ее великим философом, наследником Декарта, Лейбница, Канта»[5].

---

[1] Ницше Ф. По ту сторону добра и зла — Собр. соч. М., 1903. Т. 2, с. 61.
[2] Там же, с. 105.
[3] Ницше Ф. Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей.— Полн. собр. соч. М., 1910. Т. 9, с. 36.
[4] Толстой Л. Н. Поли. собр. соч., т. 35, с. 183-184.
[5] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 35, с. 184.

Слова Толстого звучали тревожно и тогда, в начале века. Но насколько тревожнее воспринимаем его предупреждения мы сегодня! Когда Толстой говорит, как бы и нашего века опыт охватывая — страшнейший «опыт» нацистских концлагерей, Хатыней, уничтожения «целых расовых единиц», а также «уроки», которые во Вьетнаме и в Кампучии человечеству преподал и еще грозит преподать маоизм,— мы думаем именно о нашем времени, наших проблемах. Да, трудно сегодня не согласиться с Толстым, с его словами о том, что если можно признать что бы то ни было важнее чувства человеколюбия, хоть на один час и хоть в каком-нибудь одном, исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя было бы совершить над людьми, не считая себя виноватым.

Слишком многое, что происходило с людьми в XX веке, подтверждает, что именно так и бывает, когда не истинное человеколюбие движет поступками и идеями.

Универсальную для многих цивилизаций формулу нравственности, «золотую норму»: не делай другому то, что ты не хотел бы, чтобы сделали тебе! — Толстой ввел в «Круг чтения» и часто повторял в беседах и спорах. Формула эта, дополненная убеждением, что «нет ничего важнее чувства человеколюбия», пожалуй, и есть доминанта нравственных поисков великого Толстого.

И еще: убеждение, что люди этим, собственно говоря, и живы. Чем бы ни были озабочены люди, какую бы жизнь человек ни прожил, смысл всего, итог всего — продвинуться к истине в главном вопросе: что есть добро, а что — зло?

Это в традиции великой литературы, русской и мировой,— связывать сущность нравственности с вопросом о смысле жизни и смерти. В чем таится то, что человека понуждает делать добро, а не зло,— даже вопреки сиюминутной выгоде? Если его направляет вера в бессмертие, т. е. страх наказания и обещание награды,— тогда все просто и привычно. Ну, а если бессмертия действительно нет? — вопрошают герои Достоевского.— Если награды не будет? Тогда как — все позволено?

Этой растерянности перед последствиями атеизма в XIX веке все еще мощно противостоял просветительский рационализм русских революционеров-демократов, а также фейербаховский «культ человека». Человек добр «от природы». Убийцей, мучителем его делает среда. Рационально изменяя среду, высвободить истинного человека от ложных наслоений...

Гораздо сложнее, «диалектичнее» выглядит человек в творчестве и в представлении двух русских сверхгениев — Толстого и Достоевского. Очень разные во взгляде на церковь,

государство, литературу, они сходились, сближались в убеждении, что в самом человеке заключено больше, чем в среде,— источников и возможностей как добра, так и зла. Различие в их программах самоусовершенствования человека заключалось не в вере или неверии в человека, а в том, что Достоевский относил в далекое будущее «золотой век» человеческого братства, гармонию, Толстой же допускал возможность прихода «золотого века» — «когда люди сами этого захотят», через активную духовную жизнь, работу каждого человека над собой...

Достоевский сильно сомневался, что «захотят», а тем более в ближайшем будущем, и видел нужду в узде на «своеволие» — отсюда их, Достоевского и Толстого, различное отношение к властям.

Девятнадцатому веку грядущий, двадцатый, представлялся цветущей долиной дальнейшего нравственного прогресса — смягчения нравов, затухания войн. (Грозный динамит — изобретение Нобеля, мол, делает войны слишком опасными, а потому люди от них откажутся!)

Казалось, к этому все шло — после европейских жестокостей в средние и последующие века...

И вот наступил двадцатый. Толстой вблизи и раньше многих в Европе увидел лик его и ужаснулся. Вблизи — потому что Россия, как никто, испытывала на себе тупую и бессмысленную жестокость отжившей системы.

Раньше других — потому что все вокруг озарялось вспышками народного гнева, возмущения.

«Не могу молчать!» — возглас гнева и боли, обращенный к петербургским безумцам.

«Одумайтесь!» — крик боли и ужаса, адресованный уже всему человечеству. Предупреждающий голос этот сегодня звучит еще громче, тревожнее потому, что уже не динамит и беспроволочный телеграф в руках у людей, а сверхбомбы и сверхракеты. «Ножницы», которые увидел, о которых предупреждал Лев Толстой («по степени своего нравственного развития люди не имеют права на пользование опасной для жизни техникой»), сегодня способны перерезать самоё нить жизни — на всей планете!

Об этом сегодня напрямую говорит — подхватив и продолжая эхо толстовских предупреждений и призывов — наша «военная» литература.

Проблема «ножниц» — между техническим и нравственным развитием — и в «деревенской» прозе одна из сквозных.

Конечно, не в том выход, что надо техники поменьше. Ее надо намного больше и лучшей. Но и нравственный климат деревенской жизни, как показал Ф. Абрамов,— «производительная»

(или, наоборот, тормозящая производство) сила. Так что обращение «деревенской» прозы к проблемам совести, нравственности — не «анахронические мотивы», как можно вычитать в иных статьях. Проблемы «совести земледельца» не день вчерашний нашей жизни и даже экономики, а самый что ни на есть сегодняшний и даже завтрашний. «Нельзя заново возделывать русское поле,— настаивает Федор Абрамов,— не возделывая души человеческие, не мобилизуя всех духовных ресурсов народа, наций»[1].

Невозможно не согласиться с Валентином Распутиным, который говорил в интервью, опубликованном «Комсомольцем Кубани»:

«Нет и не может быть сейчас для литературы ничего важнее, чем проблемы нравственности. Еще Аристотель, как известно, говорил: «Если мы идем вперед в знании, но уступаем в нравственности, мы идем назад, а не вперед». И афоризм этот звучит сегодня как нельзя более современно. Совсем недавно считалось, что писатель — это поэт эпохи, но теперь приходится признать, что нет, не только поэт, любящий и прославляющий свою родину, порой без любви и славы, но еще и мыслитель, и воспитатель, и тот не обозначенный пока другим словом пастор, заботящийся о добродетели своих прихожан, то есть читателей, любящий свою родину подлинной любовью и болеющий о ее моральном здоровье искренне и заинтересованно. И если мы станем считать вопросы нравственности второстепенными, тыловыми, нам неминуемо придется поворачивать назад, ибо тыл тогда сам по себе превратится во фронт, а что значит фронт за спиной, понятно не только военным»[2].

В белорусской литературе о сегодняшней (и вчерашней) деревне — проза М. Стрельцова, А. Кудравца, И. Шамякина, В. Полторан, М. Сипакова, А. Осипенко, В. Козько, А. Жука, В. Карамазова, М. Тычины и др.— вопросы нравственные тоже на первом плане. Правда, это как бы несколько ослабленный вариант той прозы, которую нам демонстрируют русские «деревенщики». Ослабленный в эмоциональном, в философском смысле. Нет ни остроты абрамовской, шукшинской боли, ни свойственной прозе Белова суровой правды, ни философичности Распутина.

А что есть?

Есть правда лирических чувств, и прежде всего чувства благодарности родным хатам, «откуда мы все», есть проблемы «приживаемости» и трансформации деревенских чувств и качеств в городских условиях («сено на асфальте» — очень емкий образ, рожденный прозой М. Стрельцова). Много есть всего и разного в

---

[1] Ленинградская правда, 1976, 26 июня.
[2] Вопросы литературы, 1979, № 10, с. 110—111.

современной белорусской прозе, примыкающей к русской «деревенской». Нет, однако, той остроты проблем. Растворены в поэтичности, в лиризме.

Может быть, белорусская традиция «обязывает», а возможно, что в самой деревне нашей нет такой концентрации проблем, какая обнаружилась в среднерусской полосе? (Есть и такое мнение, высказывалось и такое суждение на писательском пленуме 1979 года, посвященном белорусскому роману.)

Думается, однако, что не потому все так в нашей прозе, что мы уже «проскочили» сложности, трудности, о которых пишет землякам Федор Абрамов. Причина скорее всего в том, что нет на наши деревенские проблемы своего Федора Абрамова. И, может быть, недостает «глебоуспенской» и овечкинской традиции. (Хотя черты ее обнаруживались совсем неплохо в прежних очерках Игната Дубровского.)

При всем том есть и факторы объективные, смягчающие нашу «деревенскую» прозу, оттягивающие ту боль, остроту, без которой мы не представляем прозу Абрамова или Распутина.

Память о войне — вот что перекрывает в белорусском народе (а поэтому и в литературе) любую другую боль, память, остроту. Даже более позднюю. Военная память все оттягивает на себя, а остальное приглушает, почти стирает. Герои Валентина Распутина, даже в безрадостное прошлое погружаясь, наслаждаются,— как Люся в «Последнем сроке», когда припомнила, как худенькая девочка ходила по мокрому полю за пошатывающимся от слабости конем.

Мы приводили примеры из повестей белоруса Виктора Козько (а можно то же самое найти у Быкова, у Брыля, у Адамчика), когда память не ласкает, а обжигает, как припорошенные пеплом неостывшие угли...

Но даже принимая в расчет все причины, условия, объясняющие приглушенные тона современной нашей «деревенской» прозы, невозможно не испытывать томления по глубокой народной мысли, по ярким, острым чувствам и краскам, какие есть в нашей «военной» литературе. Но и в русской «деревенской»—тоже. «Нашим бы немножко сих качеств!»[1]— повторим слова Горького, когда он завидовал белорусам, народности их литературы — в самом начале XX века. Мы же сегодня русским авторам завидуем, их «деревенской» прозе[2].

---

[1] Горький М. Собр. соч. В 30-ти т.—М., 1955. Т. 29, с. 138.

[2] В то самое время, когда писались эти слова огорчения за белорусскую прозу и затем звучали со страниц «Нового мира» (1980, № 6, 7), Виктор Козько уже работал над романом, засвидетельствовавшим, что отставание нашей «деревенской» прозы было недолгим: сама жизнь жестко понуждает и нас выходить на новые рубежи. Закономерность сегодняшнего развития многонациональной советской литературы в том, что поочередно какая-то литература, кто-то в национальной литературе (в русской, в белорусской, в киргизской и т. д.) вырывается в неразведанное, «незнаемое», открывая новые перспективы развития и для других.

А ведь у нас, в истории нашей литературы есть произведение, которое и сегодня могло бы стоять в одном ряду с «Прощанием с Матёрой» — по мысли, по пафосу, по глубине народного чувства. Я имею в виду «Комаровскую хронику» Максима Горецкого, созданную ещё в 30-е годы.

Поскольку произведение это все еще не напечатано полностью (публиковались лишь главы в журнале «Полымя»), а подробно оно рассмотрено в статье «Врата сокровищницы своей отворяю...», позволю себе процитировать несколько мест из этой моей статьи.

«В Вятке, а затем в Песочне все те собранные старые письма из деревни, записи, воспоминания, семейно-деревенские истории, легенды зазвучали особенно поэтически, лирически — для оторванного от Белоруссии Максима Горецкого. Автор к тому же спешил с этой, главной своей работой: век, жизнь не казались уже бесконечными»[1].

«Все, что происходило с семьей, «родом» Горецких — этот материал нашел для себя неожиданную форму «Поминальницы». Пишу, что слышал от старых людей, что видел сам, что писали мне в письмах, что рассказывали, когда приезжал»,— мы уже приводили эту запись о неожиданно найденной форме, «системе»... «Наш двор в Комаровке пошел от двух братьев. Другого брата звали Лукаш — это был наш прадед. Прабабку звали Хима или Авхимья. Это и все, что о них дошло до меня...»

Дальше — почти как в Библии: кто от кого пошел, кто за чем. И не народирование это, а поэтический вызов: а почему бы и нет? почему я не могу поэтизировать крестьянские «роды», от которых все мы пошли?![2]

«Комаровская хроника» — последний поклон деревне, из которой вышел сам писатель и все, что ему близко, дорого. С которой происходит то же, что и с ним самим происходит, потому что он не может отделить (и не хочет отделять!) себя от нее... А происходит с белорусской Комаровкой то же, что и с целым светом. Что и во всем мире. Сегодня нам это заметно даже больше. Да нет, куда больше! И мы прочитываем «Комаровскую хронику» новыми глазами, потому что уже вторая половина XX столетия, и тот процесс обрел еще большую стремительность и необратимость.

Сколько помнит себя человечество, существовал огромный, наиглавнейший материк. Имя ему — крестьянство. И вот за какие-

---

В «военной» литературе многие маршруты прокладывались и прокладываются также и белорусской литературой. А «деревенская» русская проза в 60-70-е годы вела всех «деревенщиков». Но то, что написал Виктор Козько,— его роман «Колесом дорога» — свидетельствует, что и на этом направлении мы уже готовы открывать свои горизонты и пути. Тем более что у нас уже были, а точнее — есть и «Комаровская хроника» М. Горецкого и «Полесская хроника» И. Мележа.

[1] Адамовіч А. Браму скарбаў сваіх адчыняю...— В кн.: Здалёк і зблізку. Мн., 1976, с. 302.

[2] Там же, с. 303.

то десятилетия — не во всех странах одновременно и не с одинаковым, разумеется, социальным итогом, но везде неизбежно — материк этот на глазах одного-двух поколений начинает внезапно исчезать. Сегодня это уже привычный для нас всех факт... А теперь попробуем себе вообразить самое начало того неожиданного опускания «материка». Или момент, когда человек это ощутил: долго наблюдал, присматривался и тут ощутил под собственными ногами то движение... А человек этот всем самым дорогим, родным связан с тем «материком» — самим языком материнским. Язык (белорусский.— А.А.) и тот «материк» связаны. И в этом тоже острота и сложность ситуации для М. Горецкого — белорусского писателя»[1].

Максим Горецкий, пожалуй, был первый, кто в нашей литературе «зафиксировал толчок», и писатель начал, повел систематические (дневниковые!) наблюдения за незаметным для всех началом погружения великой «крестьянской Атлантиды»... Сначала (еще в 20-е годы) лишь копился материал для какой-то «будущей книги», эпопеи, потом сам материал, сами «дневники» (записи, письма) стали складываться в такую «эпопею» — монументальное свидетельство исторических судеб белорусской деревни. И деревни вообще.

Мы знаем много произведений о жизни деревни в условиях войн, революций. А здесь история взята в такой бесконечной перспективе, что и война, даже мировая,— всего лишь эпизод в жизни... неведомой миру Комаровки. Ощущение, уверенность, что панские роды, унии, войны и все остальное — лишь эпизоды, если их поставить рядом с извечной, как сама земля, народной жизнью деревни, крестьянства... И вот это «вечное» и, казалось, незыблемое вдруг сдвинулось с мертвой точки и тоже стало уходить куда-то вперед — вместе со всеми и всем. Такой писатель-интеллигент, каким был Максим Горедкий, из народных глубин вышедший и особенно ценящий культуру — богатство, которым всегда было обделено крестьянство,— такой не мог не радоваться любым положительным сдвигам, признакам обновления жизни в родных местах. И это тоже присутствует в «Комаровской хронике». Но автор «Хроники» смотрит и видит намного дальше своих современников— тем и поразительно это необычное произведение. У Максима Горецкого нет еще того знания — что же происходит с деревней, крестьянством и к чему все идет,— какое есть у нашей современной «деревенской» прозы. Еще только начиналось «размывание материка» и еле заметное погружение... Но ощущение, предчувствие было настолько сильное, что оно легко

[1] Адамовіч А. Браму скарбаў сваіх адчыняю..., с. 311—312.

смыкается — если читать параллельно «Комаровскую хронику» и, например, «Прощание с Матёрой» — с сегодняшним знанием. «Хроника» предугадала даже некоторые эстетические решения нашей прозы конца 50-70-х годов. Книга о судьбе «Комаровки» у белорусского писателя кончается почти в той же манере, как будут через десятилетия написаны повести Владимира Солоухина «Владимирские проселки» и Елизара Мальцева «Войди в каждый дом». Летописец Комаровки в свой последний приезд в 1937 году, как бы поклон последний отдавая, записывает все, что есть, что осталось, что приключилось с каждым из домов Комаровки, с каждой семьей — действительно, «в каждый дом входит».

Он даже нумерует дома.

«№ 1. Роман Козел умер в 1935 г. Было две хаты, одну продали, уже свезли. В другой хате живет Романиха, невестка его...» «№ 21. Иван Трахименок живет со своей Кулиной. Вчера в лесу лозицы малость надрал, за пояс засунул. Сенцо где-то там подворачивал, накосил на болоте в Комаровщине. Позавчера раньше всех в Телепеничи на «одиннадцатуху» с киечком пошел. Как что, так сразу: «Я этого не знаю, как я неграмотный человек, темный». А как без попа хоронят, так ума хватает сказать: «Как поросенка похоронили». Косить председатель посылает — «Ноги слабые». «...№ 31 Максим Солдатенок. Председатель колхоза. Сын Коля в Москве, в НКВД. Там же зять. Зять привез пилы, а тут злые люди написали заявление, что спекуляция Дочка учительницей в Орше».

И так весь «парад» крестьянских дворов, домов — всех 35.

Читаешь сейчас великолепную «Матёру» русского писателя, а нить протянута — незримая, если не знаешь о существовании такой вот «Комаровской хроники» связывающая день вчерашний и день сегодняшний нашей всесоюзной литературы. Показалось некоторым критикам, когда только заявила о себе русская «деревенская» проза, что не советская это традиция, а какая-то архаично-давнишняя. А ведь и советская тоже мы богаче, чем о себе думали. Не все знаем, помним (было время — даже не знали, что мы богатые наследники Булгакова, имеем «Мастера и Маргариту»!).

Конечно, у Валентина Распутина свои национальные корни — и какие еще мощные! — свои истоки. Но читатель у него — всесоюзный, и контекст у его произведении — тоже всесоюзный. И тут у белоруса возникает свои аналог, у украинца или латыша — свой. А от этого еще ближе, роднее становится далекая сибирская Матера — красота ее и судьба ее. И главное — люди ее.

Да, потому что ими не одна Матёра стояла и стоит — такими.

Они не «пережиток», не «обуза» для дня сегодняшнего, как кажется Воронцову и другим «пожегщикам». Такие люди, как Дарья в «Прощании с Матёрой», как старуха Анна в «Последнем сроке»,—закваска, дрожжи и для будущей жизни. Нельзя беспамятством обрывать единую нить: ничего хорошего из этого никогда не получалось.

* * *

Через них, через Дарью, Анну, выходит Распутин, проза его выходит к главному вопросу, к вопросу вопросов: зачем все? зачем мы и наши дела? наши страдания и радости? рождения и смерти? в чем смысл всего?..

Выходит к этому не один Валентин Распутин, но вся наша современная литература. Потому что большая, настоящая литература к этому неизбежно и всегда выходила. Не налегке, не с уверенностью, что навсегда сможет разрешить проклятые вопросы, ответить на них.

Если бы можно было, давно бы окончательно ответила и разрешила. Когда у нее были Данте, Шекспир, Гёте, Толстой, Достоевский…

Так уж человек устроен, что лишь собственными усилиями обретенный, мукой собственного ума, совести открываемый смысл всего нужен ему по-настоящему. Чужой тоже бывает интересен и нужен: подтолкнет, направит работу твоей души, но душа-то сама трудиться обязана… Это верно по отношению к отдельной личности. Но и по отношению к самому времени.

Наше время заострило в каждом из людей, способном «задавать вопросы», ощущение, сознание, что все мы «подключены» к судьбе человечества, самой планеты. К судьбе рода человеческого напрямую подключены. Повязаны!

В прежние времена благополучие человека и его рода зависело от вещей и событий, так сказать, местных— от хозяйства, здоровья, начальства и т. п. Далекая Америка или Япония и т. п. к его судьбе прямого отношения не имели. Лишь большие умы, исключительно активные души склонны были близкое сопрягать с далеким, все со всем. Но тоже в отвлеченно-религиозном или отвлеченно-нравственном смысле.

А здесь, сегодня почти каждый нормальный человек совершенно практически ощущает, видит: смысл или бессмыслица его дел, планов, надежд напрямую зависит от того, что творится на всей планете, со всеми людьми; все зависит от того, жить или не жить роду человеческому, совладает или не совладает нынешнее и завтрашнее человечество со всеми опасностями термоядерного века. Заострялись все вопросы в одном и главном направлении —

быть или не быть человеку на планете Земля? В прямом, физическом, смысле и значении слова.

Заострять проклятые вопросы жизнь всегда умела — но чтобы так! И литература заостряла их, угадывая (тот же Достоевский) многие нашего времени проблемы. Но одно дело предчувствия гениев и совсем другое — когда это стало повседневной реальностью, реальной судьбой для миллионов людей. Какое же тут необходимо заострение! Со школьных лет помним уютный шар-глобус, в который для Пьера Безухова (в плену после пожара Москвы, после встречи с Платоном Каратаевым) «округлились», слились все вопросы о смысле жизни и смерти.

«И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткии старичок-учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», — сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться захватить наибольшее пространство, но другие стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

— Вот жизнь,— сказал старичок-учитель»[1]

Этот, такой уютный, плавный, зазывающий к себе вовнутрь «шар», ласково безразличный, как голос Платона Каратаева, снова припомнился, когда читал «Прощание с Матёрой»,— о воображаемом «клине» «треугольнике», на острие которого так неуютно и тревожно тетке Дарье. Ей так неспокойно и страшно от сознания что ей, именно ей ответ держать «за весь род».

«Она прикрыла глаза, чтоб не видеть ни дыма ни разоренных могил, и, покачиваясь усыпляющими движениями вперед-назад, как бы отлетая от одного состояния и правя к другому, набираясь облегчающей небыти тихонько объявилась:

— Это я, тятька. Я это, мамка... Вот пришла. Совсем ослобонилась, корову и ту седни увезли. Можно помирать. А помирать, тятька, придется мне мимо Матёры... Не сердитесь на меня, я не виноватая. Я-то виноватая, виноватая, я уж потому виноватая, что это я на меня пало... Это на моем, не на чьем веку отрубит наш род и унесет... Ды-ы-ымно, дымно у нас. Продыху нету от дыму...

Ей представилось, как потом, когда она сойдет отсюда в свои род, соберется на суд много-много людей — там будут и отец с

---

[1] Толстой Л. Н. Война и мир,—М., 1968. Т. 3, 4, с. 527—528.

матерью, и деды, и прадеды — все, кто прошел свой черед до нее. Ей казалось, что она хорошо видит их, стоящих огромным, клином расходящимся строем, которому нет конца,— все с угрюмыми, строгими и вопрошающими лицами. И на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше ее было видно, лицом к нему одна она. Она слышит голоса и понимает, о чем они, хоть слова звучат и неразборчиво, но самой ей сказать в ответ нечего... Они спрашивают о надежде, они говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды и будущего...»[1]

Вот так сегодня — не спрятаться в уютном «шаре»! Каждого, в ком есть, как в тетке Дарье, душа, совесть, каждого общая земная забота и тревога выталкивают на «острие» и спрашивают, спрашивают — за все и за всех. Хотя, казалось бы, что он может — один человек в этом мире «сверхтехники», почему сам берет на себя ответственность за все?

Но таков человек! И в этом надежда. Та надежда которой ищут в Дарье, требуют от Дарьи — не ради себя, а ради внуков и правнуков — ее отец и мать, ее прадеды, уже «ставшие землей».

Смысл в жизни есть (и даже в смерти), если есть надежда. Если будущее есть. Но человек, человечество, пока живы, верят и не могут не верить, обязаны верить в жизнь, в будущее. Верить — значит не сдаваться.

Почти так же, как когда-то пронесся по небосклону русской литературы горьковский Буревестник, клича за собой тех, кто не потерял веры в человека, в будущее, вот так сегодня на сером от рутинного пессимизма небе западной литературы несется, радостно и уверенно «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»[2].

К повести-притче Ричарда Баха есть эпиграф, и обращен он ко всем: «Невыдуманному Джонатану-Чайке который живет в каждом из нас».

Так что же живет в каждом из нас? Чем живы люди? Этим вопросом литература задавалась всегда. То погружаясь в прошлое. То окунаясь в настоящее То взмывая в будущее — чувством, фантазией. И болью и надеждой, мечтой.

Читал мудрого, неунывающего американца Ричарда Баха и помнил об авторе «Буревестника». И еще о русском ученом и философе Константине Эдуардовиче Циолковском, о его мечте-знании, устремленном в космическое бессмертие человечества...[3]

---

[1] Распутин В. Прощание с Матёрой, с. 155—157.

[2] У нас повесть Ричарда Баха публиковалась в «Иностранной литературе», 1974, № 12.

[3] Константин Эдуардович развил далее свою мысль об исчезновении твердой, жидкой и газообразной материи и о ее преобразовании в лучистый вид энергии, что не ново и диктуется эйнштейновской формулой эквивалентности энергии и массы. «Неужели вы думаете, что я так недалек, что не допускаю эволюцию человечества и оставляю его в таком внешнем виде, в каком человек пребывает теперь: с двумя руками, двумя ногами и т. д. Нет, это было бы глупо. Эволюция есть движение вперед. Человечество как единый объект эволюции тоже изменяется и, наконец, через миллиарды лет превращается в единый вид лучистой энергии, то есть единая идея заполняет все космическое пространство. О том, чем будет дальше наша мысль, мы не знаем.

Да, цела, не прерывается и в «апокалиптическом» XX веке живая цепь, связывающая людей-оптимистов. Не ею ли удерживается на орбите надежды наша старая планета?

«Легенда о Джонатане-Чайке, «который живет в каждом из нас», окружена легендами же,— пишет в послесловии к публикации повести Р. Баха на русском языке М. Туровская.— Уже не раз — почтительно, бесстрастно или глумливо — пересказана на страницах периодических изданий история о том, как молодой человек романтического склада — потомок Иоганна Себастьяна Баха, летчик, одержимый своей профессией, но не слишком преуспевший в карьере, автор романов, не имевших успеха, и статей в специальных журналах — этакий американский вариант Сент-Экзюпери,— как он, прогуливаясь однажды по туманному берегу канала Белмонт Шор в штате Калифорния, услышал Голос, который произнес загадочные слова: «Чайка Джонатан Ливингстон». Повинуясь Голосу, он сел за письменный стол и запечатлел видение, которое прошло перед его мысленным взором наподобие кинофильма.

Но история удивительной чайки оборвалась так же внезапно, как и началась. Сколько ни старался Бах досочинить ее своими силами, ничего не получалось, пока лет восемь спустя в один прекрасный день ему таким же образом не привиделось продолжение»[1].

То, что из этого сделали в «обществе потребления» рекламу-легенду, совсем не означает, что. сам художник расчетливо придумал столь романтическую историю рождения его философской сказки. Было!.. А что было — тайна не мистическая, а творческая. Слишком тонкая эта вещь — психология творчества, рождения неожиданного шедевра (или хотя бы «мини-шедевра»), чтобы обязательно стараться рационалистически объяснять «видение» и «Голос», открывшие потомку великого музыканта, а

Это — предел ее проникновения в грядущее, возможно, что это — предел мучительной жизни вообще. Возможно, что это — вечное блаженство и жизнь бесконечная, о которых еще писали древние мудрецы...»

Так записал и передает свою беседу с К. Э. Циолковским другой наш крупный ученый — А. Л. Чижевский (Химия и жизнь, 1977, № 1, с. 28).

Космическое бытие человечества К. Э. Циолковский подразделял иа четыре основные эры космической жизни человечества: эра рождения (как раз наша, начавшаяся с первых спутников), эра становления, эра расцвета человечества. (Расцвет: «Теперь трудно предсказать ее длительность — тоже, очевидно, сотни миллиардов лет».) И четвертая эра — терминальная. Тоже десятки миллиардов лет.

«Во время этой эры человечество полностью ответит на вопрос: зачем?—и сочтет за благо включить в действие второй закон термодинамики в атоме, то есть из корпускулярного вещества превратится в лучевое... Пройдут миллиарды лет, и опять из лучей возникнет материя высшего класса и появится, наконец, сверхновый человек, который будет разумом настолько выше нас, насколько мы выше одноклеточного организма. Он уже не будет спрашивать: почему, зачем? Он это будет знать и, исходя из своего знания, будет строить себе мир по тому образцу, который сочтет более совершенным...

Такова схема, пока голая схема, но периодические пути рождения и смерти человека ясны уже и теперь. Ясно уже теперь, что вопрос: зачем и почему? — будет решен разумом, то есть самой материей, через бесконечные миллиарды лет...» (с. 29—30).

[1] Туровская М. Три жизни «Чайки по имени Джонатан Ливингстон».— Иностранная литература, 1974, № 12, с. 195.

через него — и уставшему от пессимизма человеку Запада «Чайку», надежду.

Но она и нам нужна, она и в нас, действительно в каждом — «Чайка», Надежда. Художник заговорил и е поверх проблем, которые людей разделяют и объединяют в этом безумно тревожном мире. Хотя он, как и Циолковский, мыслит категориями, близкими к бесконечности во времени и в пространстве.

«И времени больше не будет» — звучало угрожающе-апокалиптически в старых книгах. И у Достоевского. Теория относительности эту непонятную и тем жутковатую фразу перевела на язык формул, скоростей, и все стало выглядеть «просто»: время исчезает (или на грани того) при скорости, близкой (или равной) скорости света, т. е. 300 тыс. км/сек.

Вот так, скоростью света наука рассеяла, прояснила темное, пугающее, что несло в себе человеческое «воспоминание о будущем»...

Ею же, скоростью, космической скоростью переносит К. Э. Циолковский человека из привычных измерений и забот в будущее, где «все разрешится» через эволюцию самой материи.

Ею же, скоростью, заряжен оптимизм и повести-притчи Ричарда Баха.

Вот настоящий пример того, как литература (через практику писателя-пилота) пошла на сближение с наукой. Но осталась литературой. Только очень необычной, непривычной литературой.

«Большинство чаек не стремились узнать о полете ничего, кроме самого необходимого: как долететь от берега до пищи и вернуться назад. Для большинства чаек главное — еда, а не полет. Для этой же чайки главное было не в еде, а в полете...»

Сначала — это «тренировочные полеты», в пределах, так сказать, птичьего спорта (хотя и в нарушение традиций Стаи).

«Поднявшись на тысячу футов над морем, он бросился в крутое пике, изо всех сил махая крыльями, и понял, почему чайки пикируют, сложив крылья. Всего через шесть секунд он уже летел со скоростью семьдесят миль в час, со скоростью, при которой крыло в момент взмаха теряет устойчивость...

Несмотря на все старания, взмах вверх не удавался. Он сделал десяток попыток, и десять раз, как только скорость превышала семьдесят миль в час, он обращался в неуправляемый комок взъерошенных перьев и камнем летел в воду».

Падения, падения! — не только опасные удары «о твердую, как камень, воду. Но и веры падения, духа. Родись я для скоростных полетов, у меня были бы короткие крылья, как у сокола, и я питался бы мышами, а не рыбой. Мой отец прав. Я должен забыть об этом безумии. Я должен вернуться домой, к

своей Стае, и довольствоваться тем, что я такой, какой есть,— жалкая, слабая чайка».

Но Джонатан уже заболел жаждой преодолевать все запреты и пределы, которые не только Стая, но и, казалось бы, сама природа поставила, ставит перед Чайкой.

«Он почувствовал облегчение, что принял решение жить, как живет Стая.

Распались цепи, которыми он приковал себя к колеснице познания: не будет борьбы, не будет и поражений. Как приятно перестать думать и лететь в темноте к береговым огням.

— Темнота,— раздался вдруг тревожный голос.— Чайки никогда не летают в темноте.

Но Джонатану не хотелось слушать. «Как приятно — думал он,— Луна и отблески света, которые играют на воде и прокладывают в ночи дорожки сигнальных огней, и кругом все так мирно и спокойно...»

«...Он поднялся на две тысячи футов над черной массой воды и, не задумываясь ни на мгновение о неудаче, О смерти, плотно прижал к телу широкие части крыльев, подставив ветру только узкие, как кинжалы, концы — перо к перу — и вошел в отвесное пике.

Ветер оглушительно ревел у него над головой. Семьдесят миль в час, девяносто, сто двадцать, еще быстрее! Сейчас, при скорости сто сорок миль в час, он не чувствовал такого напряжения, как раньше при семидесяти; едва заметного движения концами крыльев оказалось достаточно, чтобы выйти из пике, и он пронесся над волнами, как пушечное ядро, серое при свете луны».

И неизбежный конфликт со Стаей.

«Когда он приземлился, все чайки были в сборе, потому что начинался Совет; видимо, они собрались уже довольно давно...

— Джонатан Ливингстон! Выйди на середину!

Слова Старейшего звучали торжественно. Приглашение выйти на середину означало или величайший позор, или величайшую честь. Круг Чести — это дань признательности, которую чайки платили своим великим вождям. «Ну, конечно,— подумал он,— утро, Стая за завтраком, они видели Прорыв! Но мне не нужны почести. Я не хочу быть вождем. Я хочу только поделиться тем, что я узнал, показать им, какие дали открываются перед нами». Он сделал шаг вперед.

— Джонатан Ливингстон,— сказал Старейший,— выйди на середину, ты покрыл себя Позором перед лицом твоих соплеменников.

Его будто ударили доской! Колени ослабели, перья обвисли, в ушах зашумело. Круг Позора? Не может быть! Прорыв! Они не поняли! Они ошиблись, они ошиблись!

— ...своим легкомыслием и безответственностью,— текла торжественная речь,— тем, что попрал достоинство и обычаи Семьи Чаек...»

Круг Позора означает изгнание из Стаи, его приговорят жить в одиночестве на Дальних Скалах.

«— Настанет день, Джонатан Ливингстон, когда ты поймешь, что безответственность не может тебя прокормить. Нам не дано постигнуть смысл жизни, ибо он непостижим, нам известно только одно: мы брошены в этот мир, чтобы есть и оставаться в живых до тех пор, пока у нас хватает сил.

Чайки никогда не возражают Совету Стаи, но голос Джонатана нарушил тишину.

— Безответственность? Собратья! — восклинул он.— Кто более ответствен, чем чайка, которая открывает, в чем значение, в чем высший смысл жизни, и никогда не забывает об этом? Тысячу лет мы рыщем в поисках рыбьих голов, но сейчас понятно, наконец, зачем мы живем: чтобы познавать, открывать новое, быть свободными! Дайте мне возможность, позвольте мне показать вам, чему я научился...

Стая будто окаменела.

— Ты нам больше не Брат,— хором нараспев проговорили чайки, величественно все разом закрыли уши и повернулись к нему спинами».

Великолепный Прорыв дерзкой Чайки за черту привычной скорости, привычного мышления — в общем довольно-таки банальная притча о конфликте «творческой личности» с «косной Стаей». Лишь через восемь лет (если верить «легенде») совершил свой настоящий прорыв сам автор. И тогда художественная тема обрела иные глубины, измерения.

Это был прорыв литературы туда, где уже побывали взгляд и мысль Эйнштейна и Циолковского — научная мысль, научное знание и предвидение. Но Ричард Бах и его «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» — это не научно-фантастическая литература, которая пользуется в основном теми же, что и наука, средствами технического прогресса для путешествия в будущее. У Ричарда Баха совершенно другой вид энергии — для прорыва в будущее. Нравственная работа, воля к самоусовершенствованию, движимая любовью,— вот энергия, выносящая Чайку (и мысль самого автора) в совершенно новые «пределы». Которые не за миллиардами световых лет, а здесь, рядом с привычным бытием.

Изгнанная, приговоренная к одиночеству на Дальних Скалах мятежная Чайка мучима была не одиночеством, а тем, что чайки не захотели поверить в радость полета, не захотели открыть глаза. И увидеть!

Но открыть глаза и увидеть — познать что-то гораздо более важное, чем земные сверхскорости,— предстояло и ему самому, Джонатану Ливингстону.

Когда однажды Джонатан спокойно и одиноко парил в небе, прилетели они. «Две белые чайки, которые появились около его крыльев, сияли, как звезды, и освещали ночной мрак мягким ласкающим светом». Джонатан Ливингстон, оставаясь верным своему характеру, тут же подверг их испытанию. Он сложил крылья, качнулся из стороны в сторону и бросился в пике со скоростью сто девяносто миль в час. «Они понеслись вместе с ним, безупречно сохраняя строй». Он на той же скорости перешел в длинную вертикальную замедленную «бочку».

«Они улыбнулись и сделали бочку одновременно с ним».

Естественно, что Джонатан спросил: «Кто вы?»

«— Мы из твоей стаи, Джонатан, мы твои братья... Мы прилетели, чтобы позвать тебя выше, чтобы позвать тебя домой».

Они из его Стаи, но не из той, в которую он прежде входил и из которой был изгнан, а из той, которую именуют Единомышленниками. Туда и эскортировали Джонатана две лучезарные чайки.

Вначале ему показалось, что это небеса. «Так это и есть небеса», — подумал он и не мог не улыбнуться про себя. Наверное, это не очень почтительно — размышлять, что такое небеса, едва ты там появился».

Достигнув двухсот семидесяти трех миль, он понял, что быстрее лететь не в силах, и испытал некоторое разочарование. «На небесах,— думал он,— не должно быть никаких пределов».

И вот он среди таких же, как сам, среди чаек, «каждая из которых считала делом своей жизни постигать тайны полета, стремиться к совершенству полета». Казалось, он уже забыл о мире других птиц — примитивных по своим желаниям, целям. И несчастных, если смотреть отсюда. Где-то там жила Стая, которая не знала радостей полета и пользовалась крыльями только для добывания пищи и для борьбы за пищу...

Но однажды вспомнил...

«— А где остальные? — спросил у птицы по имени Салливан. Спросил беззвучно, потому что вполне освоился с несложными приемами телепатии здешних чаек, которые никогда не кричали и не бранились.

— Почему нас здесь так мало? Знаешь, там, откуда я прилетел, жили... тысячи тысяч чаек,— Я знаю,— Салливан кивнул,— Мне, Джонатан, приходит в голову только один ответ. Такие птицы, как ты,— редчайшее исключение. Большинство из нас движется вперед так медленно. Мы переходим из одного мира в другой, почти такой же, и тут же забываем, откуда мы пришли; нам все равно, куда нас ведут, нам важно только то, что происходит сию минуту. Ты представляешь, сколько жизней мы должны прожить, прежде чем у нас появится первая смутная догадка, что жизнь не исчерпывается едой, борьбой и властью в Стае. Тысячи жизней, Джон, десять тысяч! А потом еще сто жизней, прежде чем мы начинаем понимать, что существует нечто, называемое совершенством, и еще сто, пока мы убеждаемся: смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об этом другим. Тот же закон, разумеется, действует и здесь: мы выбираем следующий мир в согласии с тем, чему мы научились в этом. Если мы не научились ничему, следующий мир окажется таким же, как этот, и нам придется снова преодолевать те же преграды с теми же свинцовыми гирями на лапах.

Он расправил крылья и повернулся лицом к ветру.

— Но ты, Джон, сумел узнать так много и с такой быстротой,— продолжал он,— что тебе не пришлось прожить тысячу жизней, чтобы оказаться здесь.

Однажды, когда на «небесах» наступил вечер, Джонатан осмелился и заговорил со Старейшим — чайкой по имени Чианг, который, как говорили, собирался вскоре расстаться «с этим миром». То есть взлететь еще выше...

— Чианг, этот мир... это вовсе не небеса?

При свете луны было видно, что Старейший улыбнулся.

— Джонатан, ты снова учишься,— сказал он.

— Да. А что ждет нас впереди? Куда мы идем? Разве нет такого места — небеса?

— Нет, Джонатан, такого места нет. Небеса — это не место и не время. Небеса—это достижение совершенства... Ты приблизишься к небесам, Джонатан, когда приблизишься к совершенной скорости. Это не значит, что ты должен пролететь тысячу миль в час, или миллион, или научиться летать со скоростью света. Потому что любая цифра —это предел, а совершенство не знает предела. Достигнуть современной скорости, сын мой,— это значит оказаться там».

И старый Чианг продемонстрировал, что для него уже не существует пространства,— как бы сыронизировав над тем, что всерьез, натужно всерьез демонстрирует современная фантастика.

«Не прибавив ни слова, Чианг исчез и тут же появился у кромки воды, в пятидесяти футах от прежнего места. Потом он снова исчез и через тысячную долю секунды уже стоял рядом с Джонатаном.

— Это просто шутка,— сказал он».

Тонкая дымка иронии окутывает притчу Ричарда Баха.

Но главная ее мысль высказана всерьез, хотя это и парадоксальная мысль:

«— Чтобы летать с быстротой мысли или, говоря иначе, летать, куда хочешь... нужно прежде всего понять, что ты уже прилетел...

Суть дела, по словам Чианга, заключалась в том, что Джонатан должен отказаться от представления, будто он узник своего тела с размахом крыльев в сорок два дюйма и ограниченным набором заранее запрограммированных возможностей. Суть в том, чтобы понять: его истинное «я», совершенное, как ненаписанное число, живет одновременно в любой точке пространства в любой момент времени».

Мы приводили мысли принципиального материалиста К. Э. Циолковского о возможности такого результата эволюции живой материи (через миллиарды и миллиарды лет), когда человек как бы «разольется» по всему Космосу, т. е. он будет и здесь, и везде в каждый данный момент.

Художественная литература не собирается ждать так долго — миллиарды лет. Вот и Ричард Бах современного человека хочет подвинуть на такое самораскрытие возможностей, заложенных не только в плоти, но и в духе его — в нравственной силе человека и человечества, которые способны не то что поровняться, но и опередить любой технический прогресс. А уж тем более — эволюцию самой материи...

Вот здесь и нащупывается если не сама идея, то первотолчок, из которого рождается энергия, поэзия мысли повести-притчи Ричарда Ба ха. Мне представляется, что и в иронии, заключенной в самой стилистике повести («Я чайка, я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много о полетах, у меня была бы не голова, а вычислительная машина» и т. п.), и в мыслях, напрямую излагаемых, звучит спор-несогласие с «ножницами» современной жизни, когда нравственность должна хотя бы поспевать за техническим прогрессом. Хотя бы тянуться-дотягиваться...

Нет, утверждает своей философской повестью современный Экзюпери — пилот и поэт, любые возможности и чудеса техники, технического прогресса и даже научно-технической фантазии ничтожны перед заложенным в человеке стремлением к нравственному совершенству, духовному полету! Главное —

осознать это стремление, живущее в каждом, не позволить, чтобы рутина, корысть, трусость и пр. и пр. заглушили его. Бесстрашие в учебе быть человеком до конца — вот главное!

«— Если хочешь, мы приступим к работе над временем,— говорит мудрый Чианг после того, как они слетали на планету, где не одно, а два солнца (вспоминается, совсем некстати, но вспоминается Дарьино из повести Распутина: «Одного солнца покажется мало...» — А. А.), если хочешь, мы можем работать над временем, и ты научишься летать в прошлое и будущее».

«Чем так прельщают научные фантасты!» — почти так это звучит у мудрой Чайки. Но это не самое главное и даже не самое трудное. Главное Чианг оставляет под конец: «Тогда ты будешь подготовлен к тому, чтобы приступить к самому трудному, самому дерзновенному, самому интересному. Ты будешь подготовлен к тому, чтобы летать ввысь, и поймешь, что такое доброта и любовь».

А потом настал день, когда Чианг исчез. Он спокойно беседовал с чайками и убеждал их постоянно учиться, и тренироваться, и стремиться как можно глубже понять всеобъемлющую невидимую основу вечной жизни. Он говорил, «а его перья становились все ярче и ярче и, наконец, засияли так ослепительно, что ни одна чайка не могла смотреть на него.

— Джонатан,— сказал он, и это были его последние слова,— постарайся постигнуть, что такое любовь.

Когда к чайкам вернулось зрение, Чианга с ними уже не было».

Вот когда начался главный подвиг, самый трудный полет Чайки по имени Джонатан Ливингстон.

Дни шли за днями, и Джонатан заметил, что он все чаще думает о Земле, которую покинул. Он стоял на песке и думал: что если там, на Земле, есть чайка, которая пытается вырваться из оков своего естества... И чем больше он «трудился над познанием природы доброты, тем сильнее ему хотелось вернуться на Землю».

Ибо чем выше летает чайка, тем дальше она видит. А он, взлетев выше других, увидел, где ему, с кем ему быть и что делать...

И он устремился назад — «на берега другого времени».

И вот тут-то ощутил, как никогда прежде: «нет, он не перья да кости, он — совершенное воплощение идеи свободы и полета, его возможности безграничны».

А дальше было все, что бывает, когда идея, высокая идея добра и любви «спускается на землю».

Сначала он учит таких же изгнанников, каким сам был когда-то, тех, кого Стая обрекла на одиночество. Шестеро их сначала

было, «увлеченных новой странной идеей: летать ради радости полета».

«Но ни один из них — даже Флетчер Линд — не мог себе представить, что полет идей — такая же реальность, как ветер, как полет птицы.

— Все ваше тело от кончика одного крыла до кончика другого,—снова и снова повторял Джонатан,— это не что иное, как ваша мысль, выраженная в форме, доступной вашему зрению. Разбейте цепи, сковывающие вашу мысль, и вы разобьете цепи, сковывающие ваше тело…»

Потом он увлек шестерых, вопреки всем запретам Стаи, лететь к ней, к Стае. Джонатан помнил завет Чианга — завет любви… И как можно было ожидать — даже преодолев сопротивление тех, кому выгодно было держать чаек подальше от «смутьянов» и «мечтателей»,— Джонатан не очень приблизился к цели. Недавние гонители Джонатана, покоренные необыкновенным зрелищем свободных, необыкновенных полетов шестерых изгнанниц, привычно объявили Джонатана… Сыном Великой Чайки, «богом». И снова остались теми, кем были, там, где были,— внизу.

«— В Стае говорят, что ты Сын Великой Чайки,— сказал Флетчер однажды утром, разговаривая с Джонатаном после Тренировочных Полетов на Высоких Скоростях,— а если нет, значит, ты опередил свое время на тысячу лет.

Джонатан вздохнул: «Цена непонимания,— подумал он.— Тебя называют дьяволом или богом».

И еще: «Почему труднее всего на свете заставить птицу поверить в то, что она свободна,— недоумевал Джонатан,— ведь каждая птица может убедиться в этом сама, если только захочет чуть-чуть потренироваться. Почему это так трудно?»

Это после того, как Стая, увидев, что даже смерть отступает перед пришельцами «из другого времени», бросились на Джонатана — все четыре тысячи с криком: «Дьявол!»

«К утру Стая забыла о своем безумии, но Флетчер не забыл:

— Джонатан, помнишь, как-то давным-давно ты говорил, что любви к Стае должно хватить на то, чтобы вернуться к своим сородичам и помочь им учиться?

— Конечно.

— Я не понимаю, как ты можешь любить обезумевшую стаю птиц, которая только что пыталась убить тебя.

— Ох, Флетчер! Ты не должен любить обезумевшую стаю птиц! Ты вовсе не должен воздавать любовью за ненависть и злобу. Ты должен тренироваться и видеть истинно добрую чайку в

каждой из этих птиц и помочь им увидеть ту же чайку в них самих. Вот что я называю «любовью».

Уходя, улетая от чаек, которым он больше не нужен как учитель — а «богом» быть не желает!— Джонатан говорит «вспыльчивой молодой птице по имени Флетчер Линд»:

«— Я тебе больше не нужен. Продолжай поиски самого себя — вот что тебе нужно, старайся каждый день хоть на шаг приблизиться к подлинному всемогущему Флетчеру. Он — твой наставник. Тебе нужно научиться понимать его и делать, что он тебе велит».

И еще:

«— Не позволяй им болтать про меня всякий вздор, не позволяй им делать из меня бога, хорошо, Флетчер? Я — чайка...»

И пришедший Джонатану на смену Флетчер Линд вдруг действительно понял, что в Джонатане было столько же необыкновенного, сколько в нем самом.

«Предела нет, Джонатан? — подумал он.— Ну что же, тогда недалек час, когда я вынырну из поднебесья на твоем берегу и покажу тебе кое-какие новые приемы полета!»

И он понял, что любит тех, кого оставил ему Джонатан, чтобы он вел их.

«И ринулся в погоню за знаниями»...

* * *

Так в чем же если не «смысл всего», так хотя бы смысл человеческого существования? Не в вопросе ли заключен и ответ? Не в том ли смысл появления человека на земле и во Вселенной, чтобы кто-то спрашивал. Себя и целый мир: зачем мы и все зачем? Если верно, что человек—осознавшая себя материя, свое существование осознавшая, себя увидевшая со стороны материя, так кому же кроме как человеку спрашивать: зачем? зачем? зачем?..

С камня не спросится, что он камень, с чайки не спросится, что она чайка (если это не Чайка Ричарда Баха — «всего лишь» человек!)... С человека спросится.

Червь, написал один из героев Даниила Гранина, для того, чтобы «делать землю».

Человек, скажем мы,— чтобы спрашивать. И за червя, и за самоё землю спрашивать: зачем все? Зачем земля и зачем червь, «делающий землю»? И самое главное «зачем» — зачем я, человек?

«Простое размышление о смысле жизни,— говорил Альберт Швейцер,—уже само по себе имеет ценность»[1]. Человек смотрит в

[1] Цит. по кн.: Носик Б. Швейцер, с, 197.

небо, на звезды — это ему необходимо потому, что он — человек. Он смотрит как человек, а не как вершина горы, дерево, кошка. Смотрит, спрашивая и за себя, и за гору, и за кошку: что и зачем?

И старуха Анна, и Дарья в повестях В. Распутина спрашивают: зачем я жила? Сегодня литература наша (и «военная», и «деревенская», и «городская»), та, которая действительно заслуживает называться литературой, неутомимо спрашивает, ставит вечные вопросы: зачем? зачем? И не потому, что мода на «философию», а потому, что и писателям и самой литературе близок человек, не соглашающийся на бессмысленное, лишенное духовной цели существование.

А что же сегодня главное, какие вопросы, цели самые актуальные? Не вечные ли и есть самые актуальные? Да, те самые, о которых слишком часто думалось, и многими: обождут, на то они и «вечные»! На то они и«проклятые»!

Вопросы жизни и смерти? — подумаешь, нам бы ваши заботы!

Теперь это наша забота, именно наша — о жизни и смерти самой планеты и человечества, человека на ней. И есть ли что другое, что важнее и актуальнее таких вот «вечных» вопросов?

Настоящее, то, что в данный момент, всегда охотно, легко приносилось в жертву чему-то: иногда — прошлому В жертву, а иногда — будущему. Ведь данный миг, настоящее время — всего лишь мостик, для того вроде бы и существующий, чтобы «консерваторам» уходить в уютное, милое для них прошлое, а «революционерам» — рваться и увлекать за собой в будущее.

И люди, что живут сегодня,—они обязательно «ху-' же вчерашних». И уж наверняка далеко им до тех, которые завтра придут!

Но никогда не было так очевидно, что на них, на теперешних людях вее сошлось. Какие они ни есть, но от них зависит, сохранится ли «память». От них зависит — осуществятся ли мечты о будущем всех веков, «проекты» всех гениев, надежды всех народов. От теперешних! В их руках все, и это для человека страшное бремя — знать, что на нем все может кончиться. Вон как мечется Дарья по затопляемому острову: почему при мне это должно случиться, на мне все оборваться?!

Но ведь это всего лишь прошлое уходит под воду. А уже невыносимо, смысл человеческого существования под вопросом.

А если сам «мостик» обрушится? Без которого ни прошлого, ни будущего!

Сегодня особенно ощутима вся истина: без прошлого человек не весь, без устремленности в будущее человеку невозможно, но главный смысл человеческого существования все-таки в том,

чтобы вечно продолжалось настоящее — жил и продолжался человек. Смысл жизни — в самой жизни прежде всего. Ведь действительно может так оказаться, что человек — единственное во Вселенной существо, через которое материя видит себя со стороны, сознает свое существование и спрашивает, спрашивает — о смысле и целях собственного бытия! Единственное, а других нет и не будет...

А это зачем? — можно спросить.— Зачем, чтобы спрашивала?

Послушаемся Константина Эдуардовича, обождем миллиарды миллиардов годиков и узнаем ответы на все «зачем». Ведь у нас вон сколько времени в запасе — если в погоне за ближайшими целями не упустим главную, не «оборвем цепь», если не позволим, чтобы при нас и на нас оборвалось...

* * *

Эстетическое родство «деревенской» и «военной» прозы особенно заметно по военным повестям «деревенщиков» — Виктора Астафьева, Евгения Носова, Валентина Распутина. «Пастух и пастушка», «Усвятские шлемоносцы», «Живи и помни» — за этой прозой, конечно же, просматривается опыт всей нашей «военной» литературы 60-х и 70-х годов. Но связь с «военной» литературой у этих писателей не напрямую, а через поиски, стилистику «деревенской» прозы. Особенно у Евгения Носова. Его «Шлемоносцы» — это как бы сама «деревенская» проза, вспоминающая про войну, про мысли, ощущения деревни и крестьянина тех лет. Деревенского народа тех лет, русского народа. (А по пути вспомнившая и Васю Теркина... Интонация поэмы Твардовского, трансформированная, конечно, очень заметна — прежде всего в лирическом юморе Носова.)

Как и встарь, крестьянская Россия позвана была подпереть ревущий от техники фронт — плечом, кровью своей приостановить врага. Есть в повести Евгения Носова определенные издержки стилизации. Можно даже резче сказать: любовь к деревенскому люду порой переходит в пейзанство — любование всем на каждом шагу и в каждом слове, смакование всего и вся. При всем при том — это проза талантливая, многими качествами вписывающаяся в контекст нашей литературы об Отечественной войне. Лирическим языком «деревенской» прозы в «Усвятских шлемоносцах» рассказана и сказана необходимая нашему времени правда о минувшей войне, достаточно жестокая и суровая.

Навстречу огненному валу фронта катятся по всем дорогам и перекресткам русские мужики-колхозники, а назад пойдут-полетят похоронки, но по-иному не мог народ, когда над Родиной

смертельная опасность. На телеге упившийся новобранец Кузьма, очнулся, протрезвел и даже слишком:

«— Где едем, батя?

— Далече уже, служивый. По Верхам едем.

— Ну-у? не поверил Кузьма,— Вот это дак дали!

— Кто давал, а кто нахрапывал. Чего хоть во снах видел?

— А-а, всякую хреновину. Тот мордатый лектор приснился. Помнишь, который все брехал: попрут, попрут на чужой тератории бить будут.

— А и попрут! — кивнул картузом дедушко Селиван, пришлепывая лошадей вожжами.

— А чего же не прут? — Кузьма сплюнул клубок вязкой слюны за телегу,—Так поперли, аж сами на тыщу верст отлетели. Подавай только ноги. То отдали, это бросили. Сколь ишо отдавать да бросать? Чего ж доси не прут?

— Ну дак ежли не поперли,— передернул плечами Селиван,— стало быть, нечем. Нечем, дак и не попрешь. Не подстрелишь — не отеребишь.

— Ага! Нечем!— усмехнулся Кузьма — Еще и не воевали, а уже и нечем! А где ж она, та-то главная армия, про которую очкастый брехал? Где? — И Кузьма, сморщив нос, гуняво передразнил:—«Погодите, товарищи, главные наши силы ишо не подошли». Дак чего ж не подходят — вторая неделя пошла?

— Ты чего зевло этак-то разеваешь? Аж потроха дурные видать. Я тебе не фельдмаршал и сраженьев не проигрывал, чтоб с меня взыскивать. Ты пойди да вон на командира и пошуми. А он послушает, какой ты разумный.

— А меня стращать теперь нечего,— огрызнулся Кузьма и сумрачно уставился на лейтенанта, маячившего впереди поверх колонны — Дальше фронта не зашлют.

— А на то я тебе так скажу,— дедушко Селиван, обернувшись, кивнул картузом в сторону мужиков.— Вон она топает, главная-то армия! Шуряк твой Давыдко, да Матвейко Лобов, да Алексей с Афанасием... А другой больше армии нету. И ждать неоткуда...

— Чего это за армия? Капля с мокрого носу.

— Э-э! Малый! — задребезжал несогласным смешком дедушко Селиван — Снег, братка, тоже по капле тает, а половодье сбирается. Нас тут капля, да глянь туды, за речку, вишь, народишко по столбам идет? Вот и другая капля. Да звон впереди, дивись-ка, мосток переходят — третья. Да уже Никольские прошли, разметненские... Это, считай, по здешним дорогам. А и по другим путям, которые нам с тобой не видны, поди, тоже идут, а?

По всей матушке-земле нашей! Вот тебе и полая вода. Вот и главная армия!»[1]

Да, главная армия! И это не всего лишь громкие слова, а истинная и даже горькая правда тех кровавых лет. И на оккупированной территории Белоруссии было то же самое. Воевал народ. Притом — от мала до велика. Кровью истекал народ. И не удивительно, что литература наша, как русская, так и белорусская, украинская, молдавская, литовская и др., стремится, и все настойчивее, заглянуть в самую «середку» — как бы раздвинув «толпу», «массу», литература пытается увидеть и показать: а что там происходило, в самой гуще народной?! В душах людей из массы…

Фашисты именовали эту среду «биологическим потенциалом врага» и всеми средствами старались его истощить, ослабить. Наши публицисты называли этих людей партизанским резервом, активным партизанским тылом. Сегодня литература все более пристально всматривается именно в их память и трагический опыт — мужчин, женщин, детей из партизанских и «непартизанских» деревень.

Иван Чигринов решился писать многотомную хронику о жизни в условиях оккупации, о «войне» и о «мире» одной-единственной деревни. Опасности и трудности его подстерегали и подстерегают немалые, не все он преодолел и, видимо, не все сможет преодолеть. Но что такой замысел возник, осуществляется, что критика приняла его, а читатель романы такие воспринимает — говорит о многом. Значит, действительно «война» и «мир», «война» и «деревня» в наших произведениях снова пошли на сближение.

Думается, что скорее всего на этом пути ожидает нашу литературу тот синтез, о котором критика давно хлопочет. Сопрягать «окоп» и «ставки» — это не самое сложное, трудное. Куда сложнее и, главное, перспективнее для «военной» литературы, больше ей дает и обещает сближение с открытиями, прорывами в народную жизнь, в душу народа, которые совершила «деревенская» проза.

У нас, у белорусов, есть и своя традиция такого совмещения «войны» и «мира» в произведениях о Великой Отечественной.

Традиция эта — прежде всего в романах Кузьмы Чорного, созданных в годы войны: «Млечный Путь», «Поиски будущего», «Великий день». Об этом подробно говорится в книжке о Кузьме Чорном, которую в 1977 году в переводе с белорусского издала «Художественная литература».

Позволю себе повторить некоторые свои мысли:

---

[1] Носов Е. Усвятские шлемоносцы: Повесть, рассказы.— Воронеж, 1977, с. 199—200.

«Может быть, ни в одном своем произведении К. Чорный не смог так опоэтизировать само звание человека, как это сделал он в образах «маленькой Волечки» и Кастуся в «Поисках будущего». Потому что само время требовало этого от писателя, жестокое время, когда над будущим человечества висела черная тень фашизма. Да, все это есть, существует,— фашизм, собственничество, жестокость, невинная кровь и страдания, но все равно человек утверждает и утвердит свою победу над этим. Человек — вот что он такое! — как бы говорит своими романами военного времени К. Чорный, изображая прекрасную галерею людей из народа. Все мысли, чувства его рвутся к, тому уголку земли, где «поблизости слышны в разговорах названия городов Несвиж и Слуцк». И это так понятно: чтобы любить всю землю, нужно любить всей своей памятью какую-то частичку ее, какой-то угол на ней, чтобы любить людей, человека, нужно какого-то реального, живого поселить в своем сердце».

Глядя туда, где остались родина и его детство, К. Чорный видит человека особенно прекрасным и чистым.

Люди, которых помнит, любит к. Чорный и глазами которых он видит и оценивает человека,—простые и искренние люди труда: о них К. Чорный писал всю жизнь, их открыто поэтизирует он в романе «Поиски будущего».

Герои романа «Поиски будущего» — дети Волечка и Кастусь, а также крестьяне, среди которых они живут. Это трудолюбивые, добрые, наивные и искренние жители белорусской деревни Сумличи. Привязанность к этим людям, которая так щедро обнаруживается в романе, не делает его, однако, сентиментальным и не портит его. Потому что за авторской привязанностью, за его тонкой и мудрой улыбкой мы все время ощущаем глубокое и напряженное раздумье над судьбой человека и человечества на земле.

Улыбка, которой освещены лучшие страницы романа (вся первая половина),— это улыбка тихой человеческой радости за человека. Нестерпимая боль, страдание от всего, что делается на захваченной фашистами родной земле, и рядом, тут же — такая вот тихая улыбка.

Потому что было и остается вопреки всему злому на земле вот что: чистота и правдивость детства — неисчерпаемый источник человеческой искренности и чистоты. И так все просто, так все понятно каждому и вечно то, что происходит в душах Волечки, Кастуся, сумличан.

А происходит вот что.

Беженская судьба привела мальчика Кастуся в чужую деревню (время действия — первая мировая война). Появился он

тут странно, необычно: сидя на гробу. Он вез умершего в дороге отца. На другом краю гроба сидел — на удивление сумличанам — пленный немецкий солдат. Сзади шел русский солдат-конвоир.

«Паренек соскочил с воза и скомандовал:

— Принесите лопаты!

Вид у него был такой, словно он был большой специалист хоронить покойников таким образом».

Слишком быстро повзрослевшие дети!.. Сколько горьких и прекрасных страниц посвятил им за свою жизнь К. Чорный: «Быльниковы межи», «Иди, иди», «Третье поколение», «Иринка», произведения времен Отечественной войны... Это лейтмотив всего его творчества — дети, у которых отобрали детство (а в военных романах — еще и родители, у которых отобрали детство их детей).

И все же поэма (иначе и называть не хочется) о Волечке и Кастусе не только об украденном детстве. И даже не об этом прежде всего. Не страдальческие, «старческие морщины» на душах своих героев-детей видит К. Чорный в сценах с Волечкой и Кастусём, а как раз поэзию детской непосредственности. Стойкость и живучесть непосредственности, искренности не только в самих детях, но и в крестьянах-сумличанах, в веселом, разговорчивом фельдшере показывает и поэтизирует К. Чорный.

Герои К. Чорного с их, казалось бы, очень простенькой, но зато и вечной мечтой о человеческой жизни — наши настоящие современники в этом грозном и новом мире. «Так все и допытывали меня — не имею ли я намерение пустить на ветер целое государство!..— говорит Невада — отец Волечки.— Побойтесь, говорю, бога! Пособирайте вы, говорю, золото со всего света, сделайте из него трон, посадите на него меня управлять половиной мира, а чтобы весь мир выхвалял меня, так я буду просить и молить вас: отпустите, пожалуйста, дайте мне счастье сползти с этого трона: я столько лет ржи не сеял, кола даже не затесал, в кузне коня не ковал, в мельнице муки не молол, пашни не нюхал, сапог не мазал, щи не хлебал, не наслушался вволю, как петухи поют, как люди по-людски говорят»[1].

Когда Янка Брыль после работы над записями народной памяти о хатынских ужасах и муках обратился к давнишнему и совсем иному материалу, накопленному в его богатейших записных книжках, и создал «Нижние Байдуны» — самую, пожалуй, веселую белорусскую книгу прозы о деревне и крестьянах, это был более чем закономерный «контрапункт» в творческой биографии писателя: от «ожога» хатынской памятью талант спасался в вечных волнах крестьянского смеха, народного оптимизма.

---

[1] Адамович А. Кузьма Чорный: Уроки творчества.— М., 1977, с. 172—174, 181.

Но переход был закономерным и для самой литературы белорусской, в которой есть мощная традиция вот этой «чорновской», «коласовской» веры в то, что все «гаючыя крынiцы» (целебные источники) там, «где твой народ»!

Снова и снова критика задается вопросом: где тот путь к синтезу, который откроет современной литературе об Отечественной войне новые пути и возможности?

Мне лично кажется, что «военной» литературе пути эти сегодня подсказывает именно «деревенская» проза — к этой мысли приводит нас сопоставительное изучение самых мощных ветвей современной советской прозы — «военной» и «деревенской».

Повесть В. Кондратьева «Сашка» — особенно интересный пример «военной» литературы, где характернейшие черты исповедальной прозы о войне, новаторски заявившей о себе во второй половине 50-х и в 60-е годы, дополнены и обогащены качествами, утверждаемыми и нынешней «деревенской» прозой. Мы имеем в виду подчеркнуто народную оценку — нравственную, житейскую, языковую — всего, что происходит с людьми, с жизнью, с самим героем. Вот почему «Сашка» — казалось бы, произведение, которое лишь повторяет прозу конца 50-х — начала 60-х годов,— так свежо и необычно прозвучало для современного читателя. Не оттого ли, что «деревенская» проза разбудила в читателе интерес особенный именно к такой интонации, таким краскам — языковым, психологическим…

В какое новое качество, состояние перерастет «военная» литература, опираясь на достижения «деревенской», на открытые ею новые источники народных чувств, мыслей, языка — покажет время.

Но синтез следует искать в этом направлении. Мне так кажется. Ничего, кроме бессилия и претензий, не демонстрирует сегодня та литература, которая без устали тянется, становясь на цыпочки, чтобы, обходя реальные, «горячие» проблемы живой современности, народной жизни, напрямую дотянуться до толстовской эпопеи «Война и мир».

Но не о простом «суммировании» опыта «военной» и «деревенской» литератур идет речь, а о помножении, о возведении в степень…

Долгое время именно «военная» проза была средоточием, важнейшим источником идейно-художественных, нравственно-философских и психологических открытий для всей советской литературы. И «деревенская» проза зарождалась и начинала свой победный путь, опираясь на «военную». И она тоже из «шинели» вышла.

Наступило время возвращать долги.

1982

ОТВЕТ НА АНКЕТУ
ИЗДАТЕЛЬСТВА »КНИГА»

Отвечу на ваши два обобщенно сформулированных вопроса: а) от жизни к книге; б) жизнь книги.

Вы спрашиваете: «Кем встретил войну?»

В 1941 мне было 14 лет, и, конечно же, я «встретил войну», вооруженный школьным оптимизмом и всезнайством: да у нас, да мы их!.. А на шестой день наша Глуша уже увидела их: совсем как в недоумевающей песенке Высоцкого, которую он сочинил для фильма «Война под крышами»: «Мы их не ждали, а они уже пришли...» До старой границы 100, до новой все 300 километров было от нашего рабочего поселка. До Москвы — прямо по «варшавке», заасфальтированной перед самой войной,— оставалось менее 700... Для живущих вдоль «варшавского шоссе» цифры эти, чернеющие на круглых километровых столбах,— такие привычные с самого детства. Теперь они ошеломляли, пугали.

На Березине фронт не удержался, зато на Днепре стоял месяц, но затем снова непонятно и страшно покатился на восток. За себя, за свою Глушу даже испугаться не успели. Зато страх, тревога за Москву не покидали ни на минуту, все нарастали. Это был страх потерять все — не просто жизнь, а именно все. Расхожее, стертое выражение: «враг замахнулся на самое будущее» тогда было чувством самым непосредственным, тоскливо реальным, щемящим. Почти незаметно для самих себя стали делать то, за что в немецких приказах обещали только одно: «расстрел». Не было городка, поселка, да, пожалуй, и улицы в Белоруссии, где не было бы своего подполья и «молодых гвардий». Хотя далеко не все себя называли так: просто подкармливали с риском для собственной жизни военнопленных и не могли не делать этого, когда увидели невообразимую лютость голода и непонятную даже в «чужинцах» человеческую жестокость. Собирали оружие — а как его не собирать, если валяется на каждом шагу! С радостной, даже счастливой готовностью отзывались на «голоса из леса», где застряли «окруженцы», которых как-то незаметно стали называть партизанами. Вот так и наша мать занесла в лес первую корзинку медикаментов. Это был сентябрь — октябрь 41-го. Распираемая колоннами машин, предательски устремленная к Москве наша асфальтка гудела не переставая днем и ночью и все удлинялась с «немецкой стороны». Но, вопреки всякой очевидности и даже «наглядности», само существо твое ждало, требовало, чтобы это наконец кончилось и все переменилось. И когда свершилось под Москвой, было ликование, самое великое за всю войну. Чего не было, так это удивления: можно было подумать, что под стенами

столицы всего лишь осуществили план, отлично разработанный в Глуше. Убежденность, что немцам быть битыми, настолько распирала, что, помню, я поделился ею с немецким офицером, которого вселили в наш пришоссейный дом. Он по карте объяснял нам, как все у них точно распланировано и Хорошо идет: «Москау капут... Япония вступает в войну...» Всех нас опередил глухой дедушка. Глухой-глухой, а про Москву расслышал и громко откомментировал: «Зарано пташечка запела, гляди, чтоб кошечка не съела!» Вот тут и я выпалил свое — про Наполеона, конечно, как ему далеко и неудобно убегать было...

Офицер хоть и помрачнел сердито от такой наглой уверенности старых и малых «в своей победе», но повел себя не как эсэсовец, а, «по-иителлигентски», больно постучал согнутым пальцем в мой лоб, как в деревянное что-то, и не то предупредил, не то пообещал: повесят, повесим...

Впрочем, я уже «Войну под крышами» пересказываю, но это потому, что роман довольно подробно «пересказывает» мою и Глуши моей память. «Записал» я себя в своей наивно объемистой дилогии столь же «дословно» и тщательно, как потом мы записывали рассказы белорусских и ленинградских женщин.

«Хатынская повесть» писалась несколько по-иному. С большим использованием чужого опыта и впечатлений других людей. Но память эта особенная — людей из Хатыни, Опа и твою поднимает, во сто краг обостряет,— будто заново возвращаешься прямо туда, в войну. Такую память Даниил Гранин сравнил в новомирской статье, с документальной кинолентой. В «Хатынской повести» меньше лично испытанного, чем в дилогии «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой». Но иллюзия такова (судя по критическим статьям), что как раз больше. Просто сила народной, хатынской памяти оказалась столь взрывной, что от нее «сдетонировала» заново и собственная, личная память. А следом — и воображение.

Литература давно зафиксировала и утвердила взгляд на военный быт именно как быт,— и это было открытием необходимейшей правды о человеке на войне. Правда эта не отменяет и не ограничивает другую, а именно ту, что на войне быт и бытие, забота о насущном и мысль о «вечном», как нигде, сходятся, сближаются. Живя военным бытом на самом рубеже жизни и смерти, человек вынужден решать — в чувстве, в мыслях, в поведении — самые что ни есть проклятые, вечные вопросы. Даже если не хочет, не привык, не умеет, не способен.

Умный, испытавший войну сполна писатель утверждает: человек хотя бы единожды убивший — уже не прежний, уже другой человек. Даже если на войне, на справедливейшей из войн

убивал. Так, видимо, и есть — в принципе. И если я тут же все-таки выражу с этим несогласие — как с истиной всеобщей — то лишь потому, может быть, что из себя себя не видишь. Сам не видишь, каким ты стал.

И все же хочется сказать, что не так абсолютно все. И даже не так все трагично, хотя чего-чего, а трагизма хватает там, где война. Когда я писал дилогию о Толе Корзуне, я почти стенографически пытался восстановить свою память о чувствах и мыслях подростка, юноши, которого убивают и который убивает. Тогда это занятие, состояние — убивать, умирать было, стало по сути дела самой формой существования миллионов людей. Мой Толя, пережив многое и даже убивая, тем не менее не утратил юношески лирического взгляда на мир. Все еще влюбленное отношение к жизни вынес он из всех испытаний. И он, по моим наблюдениям, никакое не исключение. Я с попятным любопытством, как дети детей или собаки собак, сразу замечал «своих», т. е. одногодков, и наблюдал многих. И даже не возраст тут главное, а вообще таящийся в человеке запас прочности. Защитный механизм психики — чудо живой природы, которое сохраняет (и сохранило!) человеку его лицо. Лицо в переносном, но и в прямом значении: да если бы все знаки от пережитого и увиденного за тысячи лет на человеческом лице отпечатались, какая это была бы маска жестокости и боли!

Я очень люблю «Ивана» В. Богомолова, так же как и до времени повзрослевших детей из рассказов А. Платонова, которых сделала такими война. Гюго, Достоевский, Кузьма Чорный — сколько было их, великих художников-гуманистов, до глубины сердца потрясенных и нас потрясающих образами детей, у которых отнято детство, которых жизнь превратила в невыносимо мудрых старичков. А дети блокадного Ленинграда, которым приходилось заново учиться смеяться и даже плакать учиться! Как страшно сама жизнь подтверждает правду искусства, которая могла казаться (и некоторым критикам казалась) лишь заострением художественным. Но, написав это, я снова хочу оспаривать любую претензию (если бы она прозвучала) эту правду абсолютизировать. Хотя бы потому, что знаю про пятнадцатилетнего, которого война и немецкие зверства ожесточили до такой степени, что, когда пуля раздробила ему голову, взрослые с виноватым чувством, но признавались, что испытали что-то вроде... (хотел сказать «облегчения», но не решаюсь). Все как будто бы выход в этом увидели. Страшно было представлять, как бы он жил, этот паренек, для которого возможность убить стала не то что необходимым, но даже сладостным занятием...

Так вот, даже при этой, при такой крайности ожесточения (почти болезни) паренек оставался веселым, живым, озорным — мальчишкой оставался. В «обычные» дни. Озорничал, смеялся громко и беззаботно, надоедал всем детскими выходками. Когда после войны я увидел «Иваново детство» художественный фильм, вспомнил я этого паренька. Реальных подростков, своих одногодков вспомнил. Они не мешали мне оценить фильм: ведь это и о них, с таким уважением, рассказывалось. По знающе посмеивались где-то там, в памяти: и они, и я сам, мы знали, что не удержалась бы долго на их живых лицах такая, как на Иване, трагическая, постоянно трагическая маска. И смеялись, и дурачились они там — на войне, в партизанах — как и положено им по возрасту, а может быть, даже чаще и безудержнее, чем когда-либо. А ведь убивали — и они и их.

По вернемся к мысли, утверждению, что единожды убивший не может остаться прежним — в лице, в глазах, в натуре его что-то резко сдвинется. Мысль в высшей степени гуманная и даже нужная. И все-таки вся правда не менее нужна и важна, а она, мне кажется, не укладывается, не вмещается в формулу эту. То, что я расскажу, всего лишь «мой случай», возможно, ничего не опровергающий и ничего не доказывающий. Но я и хлопочу здесь о том лишь, что вот такой случай, например, не вмещается, не помещается... Ведь мне предлагают проследить путь от вполне конкретной «жизни» к вполне конкретным «книгам» — тут важна прежде всего точность и конкретность.

Всю жизнь болезненно помню, мучит меня факт биографии: я убил слепых котят! Известно, как просто когда-то решался вопрос с «лишними» котятами (не знаю, как сейчас его решают) — в воду или зарывали в землю. И я однажды согласился это сделать, и сидит во мне ноющее воспоминание, как нес я их, с какой внезапной злостью все проделал (на них же озлился — за то, что они такие беспомощные и что их так жалко!).

И еще знаю, помню, я убил (или по крайней мере тяжело ранил) двух человек: немца-жандарма и власовца, но присутствует это воспоминание глухо, ничего во мне не задевая — как-то изолированно от моего существа. Если бы точнее звучало и не так громко, можно было бы сравнить это с тем, как организм изолирует засевший в тканях осколок — заключая его в капсулу из солей. В романе «Сыновья уходят в бой» я подробно, из собственной памяти записал чувства паренька, который целится в идущих через поле двух власовцев — то в одного, то в другого, по очереди. Выбирая, которому умереть — высокому или тому, который пониже. Ничего больше о них он не знает. Если не считать, что знает главное для того времени: это враги, такие же,

как и немцы!.. (А в деревнях наших вам сегодня скажут многие, что «бобики» были похуже некоторых немцев.) Или вот эти с большими медными бляхами на груди — тоже двое, сидят на передней повозке (через три дня после власовцев) — в кого бы ни выстрелил, убьешь врага, который пришел, чтобы убивать тебя, всех твоих, всех наших…

Котята нет-нет да и царапнут живую память, а что ты *убил человека* — нет, не осталось такого чувства. Не люди они были для нас, не вернулись к человеческому образу и десятилетия спустя. Для точности отмечу, что я не рассмотрел тогда, в торопливом ознобе, ни глаз, ни лиц человеческих — лишь цвет, лишь форма мундира… Максим Царик, наш зычный командир роты, после той засады на обоз жандармов требовательно спрашивал: «Нет, говорите: сто убили?» Нам тоже хотелось, чтобы побольше, но «сто» — это было заведомое очковтирательство, (говоря сегодняшним языком), и мы скромно, но с удовольствием, что это тоже немало, называли: «человек 20-25». Но слово это — «человек» по отношению к фашистам употребляли чисто механически. Не человека — фашиста убил ты, а потому мало что сдвигалось в тебе, мало что менялось в человеке убившем. (Конечно, нам повезло в том смысле, что и тридцать пять лет спустя мы знаем, видим, что мы стояли на стороне жизни, справедливости — против самых жестоких врагов жизни и человека. Слишком часто бывало в истории, что тот же механизм. «военной психики»— умение не видеть человека в противнике — использовался силами зла. На это ставку делал и фашизм, когда внушал немцам, что все другие народы — «термитоподобные», «недочеловеки».)

Когда я писал «Хатынскую повесть», когда собственную память, военные переживания, хотя и жестокие, но в то же время и юношески легкомысленные, когда все это: безжалостно протаскивал сквозь ад хатынской памяти белорусских деревень (мы снимали, записывали для документального кино рассказы выживших женщин, мужчин), я уже не мог оставить своего Флеру Гайшуна столь же наивно лирическим, каким был в партизанской дилогии Толя Корзун. В «Хатынской повести» и судьба другая, и интонация. Но и растворять в глобальном трагизме или «замораживать» юную душу мне тоже не хотелось. Наоборот, даже получилось (непроизвольно), что «вымороженным» Косачем оттенил «душу живу» Флеры. Защитный механизм психики во всю силу работает в юном Флере. И это не мое художественное своеволие, а как раз сгусток живых впечатлений, полученных на войне. На Флеру столько всего обрушилось, что впору с ума сойти, но он держится, и потому держится, что человек умеет не все впускать в себя…

«Документ, память, воображение... Делались ли на войне какие-то записи?» — интересуется Анкета.

Пришел в лес в партизаны с «Пушкиным» и «Толстым» (тайком вынул из чемоданчика, который мне поручено было нести, буханку хлеба и втиснул книги, самые нужные, как мне казалось, фотоаппарат). Тетрадки же со своими стихами не прихватил — значит, не думал, что стану там писать. Но самопишущую ручку взял, даже заправил синими чернилами. (Помню, как окрасили Они полу моего пиджака, когда в первом же бою с напавшей на партизанский лагерь эсэсовской «ягдкомандой» отбился от своих и уже ждал, что обнаружат мепя в кустиках близко перекликающиеся немцы и убьют. Я запомнил эти чернильные пятна на кармане пиджака потому, что подумал: когда «все произойдет», на пиджаке появятся еще и красные пятна.) Праздную ручку эту я потом легко и радостно обменял на две обоймы патронов.

И все-таки потянуло записывать, но это уже через полгода: к тому времени всласть настрелялся, находился, набылся в партизанах и партизаном, и захотелось, очевидно, «остановить мгновение», хотя прекрасным оно едва ли представлялось. Сидя возле постреливающей на загнетке смоляной лучины, дневаля, пробую писать карандашным огрызком на каких-то случайных листках: день, час, деревня (Крюковщина Глусского района), возвращаемся от «варшавки», хлопцы спят на голом полу, бормочут, яростно чешутся, вчера было то-то, а месяц назад... Начал, но скоро бросил это занятие с чувством человека, который барахтается среди моря, не зная, где берег и выплывет ли, а сам хочет запомнить цвета моря и неба, себя в эти минуты и пр. и пр. Выживешь, тогда и будет все, а теперь... Помню ведь, что в эти именно дни в той же Крюковщине проверял себя на мысли (и запомнил ее и действительно записал — но уже после войны), на такой кот мысли: а что, если бы пришел кто-то и спросил: «Хочешь, согласишься неделю-две прожить, гарантированные 10-15 дней, как до войны, но потом умрешь?» И я соглашался. Всматривался в себя и видел: согласен! По тут же выторговывал себе деньков десять лишних и считал, что здорово выиграл бы, потому что без такого «уговора» и десяти дней не проживешь: скольких ребят, которые позже тебя пришли в отряд, уже убили!..

Господи, как мы бесились, студентами будучи, в сорок пятом, в сорок шестом от постоянно длящегося чувства, что живы, и теперь надолго! Полуголодные постоянно, на шестерых жильцов нашей комнаты недоставало трех рук и одной ноги, но таких неутомимых жизнелюбцев-буянов, не злых, симпатичных, мне видеть больше не доводилось.

Когда встречаемся сегодня: кто завкафедрой, кто литератор, а один даже президент Академии паук — всегда смешно и чуть-чуть грустно знать, что это мы и есть...

Записывать начал где-то в 1948. Но сразу же стали мучить сны, что не смогу, что-то не успею, что-то мешает (не то новая, по то старая, возвратившаяся война). Отзывалась во мне эта работа, эти первые записи военной памяти каким-то сдвоенным чувством: острота воспоминания, еще свежего, и острота радости, что я «пишу». Нет, не думал, что роман сочиняю, по что «пишу» — уже это переполняло. И до того это было всерьез (пе по результату — по чувству), что даже организм как-то странно отреагировал. Долго не могли врачи определить: не то туберкулез, не то «вегетативный невроз» — отчего так потеет этот румяный студент, просто купается в поту? А что бывают и такие симптомы начинающегося заболевания литературой — этого не знали. (Зато потом, когда мы документально записывали чужую память, намного острее моей, болезненнее, я уже знал, как с этим надо обходиться осторожно — если это память военная. Л тем более хатынская или блокадная.)

Так что писать начинал с искренним, даже наивным переживанием самого занятия этого, по когда тайна моего писания обнаруживалась, вел себя, прямо надо сказать, предательски по отношению к своей «литературе». Бывало, что друзья-аспиранты находили очередную мою тетрадь, и как им было удержаться, не присочинить что-либо от себя? Дописывали к моим описаниям и диалогам свои, да такие, что ржание неслось из нашей комнаты. И слышнее всего, говорят, было ржание Адамовича. Но не изображать же всерьез из себя обиженного писателя! Встречает хлопцев профессор, мой научный руководитель, интересуется своим аспирантом. «Да он все романы пишет!» — отвечают. «Неужели? А казалось — неглупый парень».

Как писать — об этом не задумывался. Не писал — записывал. Хотя почему-то все в третьем (в «романном») лице: он, Толя... Но о «романах» всерьез не помышлял. Просто для себя, чтобы не было так, будто ничего и не было: ни переживаний, таких неожиданных, открывших ранее незнакомые закутки твоего существа, ни погибших хлопцев, которых, думалось прежде, так будет недоставать живым, но оказалось, что их отсутствия счастливцы просто не замечают. А в моих записях они есть, они вроде бы продолжают быть...

Литературу, писателей — настоящих, то есть не таких, как я, уважал страшно. Но только не там, где они рассказывали о партизанах. Несогласие промелькнуло еще в войну, когда к нам прилетел «живой писатель» и засел в деревне, по нашим понятиям «тыловой», шагу не сделал, чтобы самому что-то увидеть, испытать.

Конечно, так думать было несправедливо: человек сделал «шаг», и немалый,— сотни километров пролетел навстречу опасности, таинственному и тревожному миру оккупации, и его ли вина, что он просто не догадывался, что из тыла попал в тыл, что в наших условиях 10, 5, 3 километра — уже глубокий тыл, откуда «самую правду» так же сложно разглядеть и оценить, как и за 500, 300 километров. На войне достоверно лишь то, что испытал сам: Хемингуэй не зря говорил, что личный опыт для пишущего о войне ничем не восполним. Нет, я трепетно думал о рядом появившемся «живом писателе». Но обидно было, что ходят к нему самые что ни есть трепачи, побасенки, будто из газет вычитанные, рассказывают, а он слушает и радуется. А потом они, и Вася, и Петя, уже нам рассказывали, как «заливали писателю», зарабатывая «казбечину» и право причаститься рюмочкой «московской».

И вот стали в нашей послевоенной литературе появляться все новые рассказы, повести и даже романы о партизанах, а меня преследовала мысль, что это все «он» тогда записал, написал — со слов дурашливо серьезного Васи или Пети, которым всерьез поверил. Были и другие книги, появлялись, они так не оскорбляли чувства правды скучно-розовым сочинительством. Но таких было гораздо меньше. А те, те не только сами не помнили, как оно было на самом деле, но и от других, от тебя как бы требовали — забыть. И вроде бы действительно твое не настоящее, а то настоящее, потому что оно существует — вот она, книга! По и твое хочет существовать, хотя бы в записях, никому не ведомых. Вот и писали мы — не я один, конечно. Потом был XX съезд и то, что ему предшествовало. Многое сдвинулось, перевернулось, стало смотреться и оцениваться по-иному — и в жизни, и в литературе. А у тебя что-то есть, лежит. Но что, чего стоит это — ты не знаешь.

— Что ты все там пишешь, прячешь? — однажды поинтересовался товарищ мой, поэт начинающий. Ладно, покажу, все равно он пьян, завтра и не вспомнит. Послушал несколько страниц и даже сказал: «Посоливши, есть можно». С этого начал смелеть, на других испытывать стал, пока не попала машинопись в редакцию журнала «Дружба народов»...

Писал я свою дилогию о партизанах 15 лет, сначала страницы, которые потом вошли во второй роман, потом — для первого романа, пока не понял на каком-то (седьмом или восьмом году), что же я пишу. А тем временем чем только ни занимался: диссертацией, критикой и даже киносценариями. Только в свое главное никак не осмеливался поверить.

Эти пятнадцать лет записывания, собирания своей памяти в большущий роман имели потом значение и для «Хатынской

повести». Ведь перебрал день за днем, а где и по мгновениям, оценил стилистически (что серьезно, а что и с иронией) всю войну — как я сам ее пережил. И тем самым освободился от неодолимой потребности рассказать сразу все (по принципу: этого, об атом никто еще не писал). После романа «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой» я ужо мог не тащить в «Хатынскую повесть» все, что знаю и «о чем не писали». Тем более что к этому времени (после «Асии» и «Последнего отпуска») ощутил удовольствие писать лаконично, плотно, прессуя слова мыслью. Так, во всяком случае, казалось.

Недавно нашел первый черновик «Хатынской повести», помеченный 1965 годом, называлась опа еще «Власть власти». Хатынь вообще не присутствовала: просто едут люди в свои края на партизанскую встречу. В автобусе том и бывший командир — не самый приятный для бывших партизан и даже не самый уважаемый человек. Хотя ведь помнят, что слово его, одобрение или неодобрение на лице, в глазах могли заставить пойти и на смерть. Да, это будущий Косач, но писался этот образ «разоблачительно». Косачевской трагедии я еще не видел, не ощущал. Но вот возникла, появилась рядом (в том же автобусе) еще одна фигура — Столетова, и будто промокашка сняла, забрала на себя все лишнее, всю черноту с Косача. А Косач стал проясняться совсем в другой образ — трагедийный. (И так вот случается при писании, а почему — сам не знаешь.) Тем более что к этому времени прототип появился, нашелся (вот так — не сразу, а после) и наложился на вымышленного командира. Это когда уже ездил в 1968 г. с киногруппой по «бывшим деревням» и там пришлось разговаривать с председателем колхоза, брат которго партизанил, командирствовал в той же местности.

В деревне этой (Брицаловичи Осиповичского района) стараниями председателя поставлен памятник сожженным людям, пожалуй, после Хатыни самый значительный из всех, которые довелось видеть. Но я понял, что брат председателя, партизанский командир, так и не приезжал сюда ни разу после войны. Я ничего о нем не знал, кроме того что воевал он крепко, зло, хотя защитить Брицаловичи или спасти брицаловичевцев не сумел (или не смог). Не о нем — о себе подумалось. А ты на его месте приехал бы, приезжал бы сюда?..

Словом, прежний командир и публицистически разоблачительный пафос постепенно стали неинтересны самому автору — как только возникла тема «бывших», «убитых» деревень. Тема эта такое вовлекала в орбиту повести, такие вечные проблемы, вопросы, что уже никак невозможно претендовать на «исчерпывающие» ответы. Потому что и человека, если всерьез о

нем говорить, «исчерпать» невозможно. Человек — тайна, написал осужденный на каторгу молодой гений Достоевский, и задача в том, чтобы разгадывать ее всю жизнь...

К «Хатынской повести» шел и пришел под действием разных толчков — изнутри и извне. О всех помнить и даже знать, по-видимому, невозможно, назову лишь некоторые.

Была поездка в деревню Ковчицы — в места, где недалеко от Березины отряд наш когда-то вел бой с немецкими фронтовыми частями. Засев в дзоты, окопы, которые отбили у полицаев, партизаны продержались с утра до вечера — с двумя ПТР против танков. Некуда было отступать: родная стихия — лес «отгорожен» был от нас двухкилометровым чистым полем. Но вечером выстроившиеся в ряд танки уже низали нас, отступающих к лесу, на огненные трассы нуль... И вот в 1966 году приехали мы открывать памятник 80 партизанам, здесь погибшим. Участвовали в открытии, конечно, и жители деревни, среди них было всего лишь несколько женщин, которые и тот декабрьский день 1943 года находились в Ковчицах. Потому что жителей немцы, ворвавшись в деревню, перебили. Уже не смотрели, чья семья партизанская, чья полицейская,— всех. Одна из уцелевших женщин стала рассказывать, как их гнали к канаве, где уже лежали расстрелянные, как ее с сынком и других, кого поймали, всех уложили, будто поленья, на убитых «и тоже убили из автоматов». И начали наваливать солому, чтобы сжечь трупы, а она все слышит: «Думаю, это ж я мертвая, а все понимаю...» Поискала рукой своего мальчика под соломой, а он теплый, живой. «Это ж он угрелся на крови и заснул!» (Потом нам многие рассказывали, что «спать хотелось»... Все тот же «защитный механизм», спасающий от безумия.) Разбудила сынка (все это под соломой, которую уже подожгли с краев) осторожненько, чтобы только не испугался, не выдал себя: «Сынок, ползи, за мной ползи». И как-то выползли, за дымом до леса добрались...

У меня была любительская кинокамера, сиял я и рассказывающую женщину из Ковчиц, а когда увидел ее лицо, глаза на домашнем экране, понял, как я буду писать свой «Автобус». (Одно из первоначальных названий «Хатынской повести».) О чем и как. Для начала сочинил и подал на белорусскую киностудию сценарий документального фильма, назвав его по статье, как раз появившейся в «Правде» (Фролова, кажется, статья). Назвал «Двести Лидице». Двести их, белорусских Лидице, или сколько — не знали точно ни автор статьи, ни я. Да и вряд ли знал кто-либо в те 1966-1967 годы. Хотя, казалось бы, сколько лет уже мипуло после окончания войны. Даже мемориал Хатынь закладывали вначале под 119 деревень — «уничтоженных с людьми

и не восстановленных». (Только о «невосстановленных» собрали сведения по районам, но «восстановленных» и, тем не менее, все равно убитых — было во много раз больше!) Сегодня и тех и других в Хатыни значится 627. Но и это лишь самые массовые трагедии. За этой цифрой — еще более 4000 (тысяч!) белорусских деревень, испытавших карательные акции фашистов, сожженных деревень, большинство жителей которых сумели спастись (или их выручили партизаны). Во всех местностях Белоруссии это творилось, и везде немцы свои «акции», «экспедиции» старались изобразить как ответ на действия партизан, как «борьбу с бандами». Убьют, сожгут в церквях, амбарах, сараях тысячу, две, три тысячи женщин с детьми, а в донесениях «наверх» (согласно инструкциям, полученным оттуда же, «сверху») сообщают о потерях, «партизанских банд». Геноцид, заранее распланированный, прятали за ложью и лицемерием: истребляли мирное население, чтобы «снизить биологический потенциал славян» и других народов, но проделывали это с обиженной миной: как же, «незаконные действия партизан» мешают им налаживать «мирный быт населения». Не желают люди ни на западе, ни на востоке — вот и в этой Белоруссии, расположенной к тому же на стратегических путях к сердцу Советской России,— не согласны «мирно» дожидаться, когда придет пора «окончательного урегулирования». То есть когда, разгромив армии главных противников и вызволив необходимые силы и средства, фашистская Германии займется «дальними целями»: окончательно «разгромит русских как народ». «Разгромит» белорусский, украинский, польский и другие народы — все тем же способом: массовым истреблением мирного населения, голодом, онемечиванием.

И не только «восток» ждала такая судьба — согласно нацистским планам. Первые зондеркоманды, айнзатцкоманды, убивавшие белорусские деревни, переместились сюда с берегов Ла-Манша. Сначала нацелились было на Англию и, конечно же, рассчитывали попасть туда рано пли поздно — поднабравшись кровавого опыта на востоке. Для оккупированных стран Востока существовало два «плана «Ост»: «Большой» и «Малый». «Большой» — когда придет время «окончательного урегулирования». Но в Белоруссии «выведенные из терпения» заправилы «третьего рейха» уже в 1942 г. фактически запустили в действие «Большой» план: перешли к поголовному уничтожению населения на обширных территориях, в десятках деревень подряд. Ну и, конечно, действовал «конвейер» многочисленных концлагерей.

Народ наш не собирался сдаваться: партизанские армии выросли в огромную силу, истребившую полумиллионную армию

фашистских убийц, партизаны беспощадно громили немецкие тылы, парализуя коммуникации врага.

Но об этом литература наша писать, рассказывать стала сразу же. Звучала и тема «убитых деревень», но не напрямую, а как сопутствующая (в романах К. Чорного и И. Шамякина, в рассказах Я. Брыля и других). Память о самых трагических, невыносимо жутких событиях жила, продолжала жить в народе, она, как электричество, копилась и в литературе. Да и наша личная память тревожила, подсказывала, требовала.

В дилогии своей я тоже пытался заговорить об этом, но все еще с недостаточной мерой боли и понимания. А ведь помнил и я. И даже кое-что сам пережил.

Тяжелого, трагического в войну хватало на каждом шагу. Но и сейчас помнится то чувство, с каким — слышал — говорилось: «Немцы выбили Нарщаху», «Сожгли Белые, с людьми», «В Каменке немцы всех выбили». Это «всех», это «выбили» холодило кровь и душу. Что-то запредельное, тайно нацеленное угадывалось в этих акциях, что уже никак не диктовалось конкретной обстановкой, хотя немцы и их «бобики» — полицаи, конечно же, старательно сваливали всю вину на партизан.

Дошла было очередь и до нашего рабочего поселка, до нашей Глуши. Никаких особо заметных диверсий против немцев в эти летние дни и недели 1942 в Глуше не случилось: просто дошла очередь и до нас — в чьих-то «местных» планах и расчетах. Согласно фашистским «законам» такое решение принять мог и командир роты, капитан («гауптшарфюрер», если это эсэсовец). Из Бобруйска приехала большая колонна крытых машин, остановилась на шоссе напротив комендатуры, немцы (мы сразу настороженно отметили, что приехали эсэсовцы) пососкакивали и мирно расположились под соснами. Эти здесь, а другие тем временем, не. доехав до поселка, слезли и уже окружали Глушу, «растягивали сеть». Словом, делали то, что до этого сотни раз отработанно проделывали в других местностях, с другими деревнями и поселками. Мы жили совсем на виду у комендатуры, но и она была у нас на виду. Мать тут же приказала: «Уходите на хутор к Лещуну, они что-то задумали». В этих случаях раньше всего думалось: будут хватать молодежь! И мы со старшим братом (и еще шурин, а также оказавшийся в доме соседский парень) ушли тут же, как уходили не раз. Топоры и пилу прихватили — будто по дрова. Всех, кто «пригоден» был для отправки в Германию, Глуша — как потом обнаружилось попрятала, матери нас быстренько спровадили: кого в лес, кого в погреба или в «каналы», которых много было под неработающим стеклозаводом. Нас отправили, а сами остались — наши матери, потому что оставались еще малые,

старые. На возможную расправу оставались — и так бывало не у одного Флеры Гайшуна, и не его одного потом мучило безысходное чувство вины перед ними, принявшими мученическую смерть.

Когда согнали, собрали «всю Глушу» к огромному больничному сараю — в огороженный колючей проволокой двор комендатуры,— каратели увидели, что тут одни женщины, дети, старики. В других случаях, не обнаружив молодежи в своей «сети», они с тем большей яростью расправлялись с захваченными. Всех, кто попался,— в огонь, в ямы! То же самое проделали бы и с нашими родными, близкими, уже и приготовились, загнали всех в крытый соломой сарай. «Вначале плакали, кричали люди,— рассказывала назавтра наша мама,— а потом какое-то безразличие пришло. Лежали все кучей, столько нас затолкали в сарай, и молчали». Что в этот раз спасло людей, наших матерей от огня и страшных мук (а нас — от пожизненного казнящего чувства невольной вины), даже не знаем. Возможно, соображение, что две сотни убежавших молодых парней, если сжечь Глушу,— это уже партизаны. Или то, что Глуша расположена на шоссе и дома ее понадобятся для постоя. Говорили, что переводчик Бартель (он из местных немцев) все бегал, все отговаривал немецкое начальство. И, наверное, приводил те самые доводы. Одним словом, случайность сработала против «плана» — на этот раз,— но обычно побеждал «план». Так что и наша Глуша, и наши матери — с детьми, со стариками — побывали в «хатынском сарае». Вышли из него живые, хотя и почерневшие от пережитого (мы с трудом узнавали их лица, глаза, когда вернулись назавтра из леса) — вышли, так и не понявшие до конца, что это было, что готовилось, происходило. Как не понимали, не могли, не в состоянии были понять и поверить многие, даже опаленные хатынским огнём. (В этом мы многократно убеждались, записывая потом людей для книги «Я из огненной деревни...».) Люди как бы отталкивали, отталкивают от себя такую правду — слишком тяжелую, мучительную. Вот и я, совсем непонятно почему и зачем, но и я в своем первом романе хотя и писал об этом (и в одном, и в другом месте романа), но всё как бы спеша проскочить *это место*, побыстрее от него уйти... Да что я, или даже Брыль, Быков, когда и вся наша литература, если и затрагивала это, то лишь «по касательной». Кажется порой, что сама память нашей республики-партизанки долгие годы на этом боялась остановиться, задержаться — на самом болезненном и тяжёлом. В белорусском календаре значился, отмеченный красным, «день трагедии чешской деревни Лидице». Свои Лидице мы не обозначали в календарях. Пожалуй, пришлось бы все дни года пометить красным. Но было в этом, сказывалось, возможно, звучало и такое: незачем о трагедиях, если такой массовый

героизм проявили советские люди, белорусский народ! Как будто можно попять, показать, оценить героизм республики-партизанки, по зная, не показывая, какую цену платил, заплатил народ за свою готовность умирать, но не склонить головы. С этим и мы столкнулись, авторы книги «Я из огненной деревни...», даже в середине семидесятых, когда начали публикацию глав из книги. Тогдашнему редактору «Маладосці», нашему поэту Геннадию Буравкину, и авторам книги пришлось выслушать и преодолеть немало опасливо строгих и возмущенных претензий, и главная претензия: в книге жертвенность, а не героизм! Один так даже наших рассказчиц упрекнул в недостаточном «героизме поведения»: «Кто хотел найти путь к борьбе — находил!» Так и сказанул, блестя золотом очков, как сталью. Бог ему судья, дураку! Но ведь человек этот даже не понимал, куда он сам забрел — в своей уверенности, что ему все виднее. Ведь как старались каратели «обработать» каждую деревню «чисто»: чтобы ни одного свидетеля не осталось! По три раза в хату, в сарай возвращались, слушали за стеной: «не дышат ли», и снова приходили добивать. Так им не хотелось, чтобы кто-то потом рассказал. И вот нашли, записали более трехсот таких свидетелей (к стыду нашему, лишь тридцать лет спустя), они заговорили, да как заговорили! («Не боролись? Да они и сейчас борются — словом, памятью своей!» — сказал один наш писатель.) Не дать им говорить, свидетельствовать — да это же для «тех», за «тех» стараться!..

Но были, нашлись люди, которые понимали, что память «убитых деревень» должна быть собрана и сохранена такой, какой ее сберег народ. Что она «не могла не быть собрана в книгу». И книга появилась, сейчас она заинтересованно переводится в других странах.

Но вернусь, согласно вопросу Анкеты, к «Хатынской повести», которая предшествовала документальной книге «Я из огненной деревни...».

У повести было несколько названий: после публицистического «Власть власти», «бытового» «Автобус» и «Автобус идет через Хатынь» появилось «философское» — «Время камней» («Время собирать камни»). Но все эти названия обязывали, вынуждали определять еще и жанр: «роман», «повесть», а на это у меня «перо не поворачивалось». Рассказать, даже не рассказать, а дать выкричаться жестокой памяти Хатыней, и холодно написать, что это «роман», «повесть»?..

«Повествование», «быль», «Хатыни, о себе повествующие» — такой смысл в названии «Хатынская повесть». Логика заглавия, хотя и говорили мне, что слишком оно публицистическое, диктовалась тем не менее чувством. Чувством жестокой правды, с

которой нельзя «играть в литературу». О «жестокости» повести говорилось (с пониманием) во всех без исключения откликах на ее публикацию (в рецензиях А. Бочарова, Г. Березкина, Д. Гранина, Г. Бакланова, И. Козлова, Л. Лазарева, М. Кузнецова и др.). Потому что такая степень «жестокости» нуждалась и в объяснении, и в оправдании. Еще нуждалась.

А уж про книгу «Я из огненной деревни…» и говорить нечего. Свою рецензию в «Комсомольской правде» М. М. Кузнецов начал так: «Страшнее книги я не знаю…» Так что если и были завихрения и трудности с публикацией этих произведений, многое (хотя и не все) из временной дали видится почти закономерным, потому что в самой психологии нашей есть свои пороги. Автор или авторы через работу, например, с хатынским (или блокадным, ленинградским) материалом пороги эти преодолевают тоже не сразу, но все же раньше других, а затем туда же тащат издателей, читателей, а тех. естественно, ошарашивает, поначалу даже пугает непривычно жестокая правда, с которой авторы уже «сжились». И необходимо время, душевные усилия, желание и способность сопережить, не щадя своей чувствительности, чтобы такую литературу принять. Хотя бы «по частям». Так и говорили, писали нам многие: «Не мог не читать, но и прочесть сразу не смог. Откладывал и снова возвращался».

И тут нужна своя практика — читательская, наряду с писательской. Только она в конечном счете покажет: что допустимо, а что нет, что нравственно оправданно, эстетически возможно…

Помню давний наш, во время поездки по Грузни, разговор с Даниилом Граниным: как показывать и нужно лн вообще раскрывать все пределы жестокости, с которыми мы столкнулись в годы войны? Я начал уже писать «Карателей», и мне было важно услышать мнение автора «Нашего комбата» — жестоко правдивой повести о войне. А несколько лет спустя мы вместе стали делать «Блокадную книгу» и уже на практике столкнулись с вопросом о нравственно допустимых пределах в раскрытии (или «сокрытии») всей правды, которую отдавали в наши руки блокадники,— правды, порой невыносимой и даже обидной для человека. Ведь не случайно люди так мало оставили писаной правды о трагедиях массового голода, непропорционально мало, если учесть, что значили такие трагедии и сколько их было за историю хотя бы нашей цивилизации. Человеку и человечеству свойственно не только помнить, но и стараться забыть. Пытка, унижение голодом не из тех событий, состояний, которые хочется сохранять в себе. Ведь бывает, что память такая смерти подобна, хуже смерти. И это не громкие слова, а вполне реальные ситуации. Вот как эта. Муж и

жена (врачи) в голодном безумии… Словом, их расстреляли за трупоедство (если не хуже). Мы все же не могли не спросить: «Ведь они невменяемы были? Значит, неповинны». «Да, но их пожалели и потому расстреляли. Представляете: вернулась бы к ним память, сознание, что они сделали с ребенком своим!..»

Человеческое сознание — наше, сегодняшнее,— сталкиваясь с такой правдой, не может не пережить состояние, подобное шоковому. И вот решай: в пределах или «за» — такая правда, нужна, необходима она людям, дала если она и правда? И решают не только авторы таких книг, но и читатели, каждый в отдельности и все сообща,— это мы ощутили по сотням писем, которые на дом (и через «Новый мир») получаем от блокадников и от «неблокадников». Большинство писем блокадников начинаются почти криком. Криком облегчения, даже какого-то освобождения…

«Я верила, я чувствовала, что такая книга, именно такая, когда-нибудь будет. Каждая строчка, каждое слово — все-все правда. Читала и плакала. Я многое помню, хотя мне и не верят» (Ковалева Ольга Демьяновна).

«Да, это страшная правда. Даже себе не веришь, что все это было с тобой» (Александрова Елена Николаевна, Ленинград).

«И даже уверенности не было, что это когда-нибудь найдет выражение, и вот теперь это произошло. Тяжело читать, тяжело вспоминать (я лишилась сна), но радует, что это обнародовано и то, что люди представляли абстрактно, теперь узнают — истинно» (Блюхер З. В., Ленинград).

«Воспоминания и обиды ожили под влиянием опубликованных Вами блокадных материалов огромной впечатляющей силы. Таково мое мнение. Думаю, иного и быть не может. Ибо блокадники-ополченцы могут твердо сказать: все правда, все до последней буквы» (подполковник в отставке Кузнецов М. Г., Баку).

«Тяжело было читать, два дня трясло, как в лихорадке, но я должна была ее прочитать… Мне даже легче стало на душе: наконец-то о блокаде, а значит, о моих родных и близких рассказана эта потрясающая правда, осмысленная и обобщенная» (Вовчар Екатерина Васильевна, Ленинград).

«Прочитав «Главы из блокадной книги», я буквально была выбита из колеи жизни. Волной захлестнуло меня то страшное далекое прошлое. Все опубликованные Вами рассказы блокадников правдивы. Да, так было. Было и хуже, всяко было… В свидетельстве о смерти моего отца написано: «Умер от физической и моральной дистрофии» (Кашкова Галина Николаевна, Челябинск).

«В записанных Адамовичем и Граниным рассказах бывших блокадников немало неточностей, ошибок памяти, случайных оговорок (например: «Пять углов — это угол Разъездной и Марата» вместо «Разъездной и Загородного», что известно каждому ленинградцу), но ни одной строки, ни одного слова лжи, никаких преувеличений...» (Рисс Олег Вадимович, Ленинград).

«Не пишу о впечатлениях (их все равно не описать), а хочу только посоветовать: провести работу над книгой (или книгами?) о Великой Отечественной войне в той же, исключительно удачно найденной Вами форме. Дело это спешное — ведь через 15-20 лет участников войны просто не будет в живых» (доктор технических наук Раков Михаил Аркадьевич, Львов).

Вот, заодно ответил и на вопросы Анкеты: «Как складываются Ваши отношения с читателями?.. Какие читательские отклики Вы получаете, их характер?»

Читатель видит, получает итог, результат. Но был еще и путь — порой сложный, неровный, с потерями.

В 1977 г., начав работу над фильмом «Убейте Гитлера» (экранизация «Хатынской повести»), мы с режиссером Элемом Климовым стали просматривать документальные лепты о Хатынях, в том числе и первую по времени — «Хатынь, 5 км», которую в 1968 г. режиссер Игорь Коловский делал по моей «заявке». Я удивился, а Элем Германович просто в ярость пришел: самое главное, ценное в фильме — голоса, рассказы людей из убитых деревень были приглушены, замазаны зудящим «кинематографическим» звуком. Откуда он, как появился? Удивился и я. Хотя сам участвовал в делании фильма — на всех этапах. И должен был помнить, что он не «появился», он б ы л, но прежде я его не слышал, а если и слышал, значит, соглашался, что он по крайней мере не мешает, а вроде бы даже «усиливает» — намекает на мысль о чем-то роевом, пчелином, потревоженном... В заявке, в сценарии этого не было, а потом родилось, возникло — из чего? И ради чего?

Да, что-то шло, исходило от самих авторов фильма. Но что-то и вошло в них, в авторов,— извне. В процессе работы и трудного прохождения столь непривычного «материала». За фильмом этим еще не стояла такая работа, как «Я из огненной деревни...», как это было позже, когда о Хатынях делал документальные киноленты Виктор Дашук.

Первая реакция (очень многих) на наш с Коловским фильм (и даже не фильм, а «материал») была: исчезло время! Будто и не было послевоенных двадцати пяти лет. Сидит на скамеечке немой и «рассказывает» (руками!), как все было: как гнали, поджигали, стреляли из пулемета... Показывает на пальцах, что шестерых

детей у него убили... Крик нутряной, глаза, лицо человека, который сам оттуда — из огня, только что чудом вырвался!

Или женщина: зарывает или раскапывает что-то, в земле ищет или прячет (сняли мы ее прямо на огороде, картошку копала, в хату отказалась идти), руки, лицо, рассказ — и все о том дне, который для нее никогда не кончится...

Вопрос: «Где 25 послевоенных лет?» — звучал над Игорем Коловским не единожды. И тогда, видимо, появился зудящий, «кинематографический» звук, который должен был приглушить первую реакцию на фильм. Не приглушил. Судьба фильма Игоря Коловского «Хатынь, 5 км» сложилась не очень счастливо: несмотря на авторитетное одобрение Ромма, Кармена, Льва Гинзбурга и на диплом Оберхаузенского кинофестиваля, фильм старился в архиве.

А потом появились четыре киноленты Виктора Дашука (но книге «Я из огненной деревни...»), и они, подчеркнув значение именно простоты, которой первому фильму все-таки не хватало, еще глубже похоронили его. А мне его все жалко, наш первый фильм о Хатынях — ведь через него и шел и к «Хатынской повести».

Киногруппа снимала рассказывающих женщин в Брицаловичах, в Великих Прусах, в Борках Кировских, а сценарист смотрел, слушал и тоже записывал их рассказы — в блокнот, думая о повести. Сам же это дело заварил, но не очень полагался на кинопленку, которая где-то, у кого-то, в чьем-то ведении. Бумага — не такой дефицит, и, главное, она на твоем столе, в полном твоем распоряжении. Я благодарен и Коловскому, и его фильму, и тому времени, когда мы с ним ездили, записывали, снимали, соглашаясь и споря. Но в благодарности этой заключено и чувство невольной вины: у повести судьба другая. Получилось, что сценарист «подстраховался», а у режиссера такой возможности не было. Хотя повесть не мягче, а как раз жестче фильма, по тут уже сработали преимущества бумаги перед кинопленкой. Что они, эти преимущества, не придумка моя, подтвердила и наша с Элемом Климовым попытка экранизировать уже «Хатынскую повесть». Оказалось, что даже при таком первоклассном варианте, как режиссура Элема Климова — автора «Агонии», кинопленка, по мнению некоторых товарищей, не терпит того, что вполне терпимо на бумаге. Фильм уже не делается...

По это если брать в сравнении. Потому что и на бумаге Хатыни — это не совсем привычная мера жестокости, боли.

Написал, закончил (как мне казалось) свою повесть и раздал (как делаю обычно) тем людям, мнение которых мне было необходимо для проверки собственного ощущения: Брылю, Бакланову, Березкину, Друцэ, Лазареву, Коваленко, ну и, конечно

же, работникам «Дружбы народов». Наиболее определенно объективную ситуацию сформулировал в своем письме Григорий Бакланов: мол, долг Вы свой исполнили, но напечатать это никто, видимо, не напечатает! Прошел год, второй — карантинный срок «привыкания»,— и повесть напечатали: одновременно «Маладосць» (па белорусском языке) и «Дружба народов». Чем освободили меня для работы, в которую мы уже вошли — с Брылем и Колесником начали мы ездить по Белоруссии, собирать, делать записи для книги, которую назвали потом «Я из огненной деревни…».

Работал над «Хатынской повестью» довольно долго — с 1965 но 1971. Переписывал раз двенадцать, а повесть все более и как бы изнутри — от рассказов белорусских женщин, услышанных, записанных, живущих в сознании, в чувстве,— раскалялась. Они и сейчас, те рассказы людей из убитых деревень, присутствуют в повести: как бы выжгли «нишу» в повести и остались в пей. Рассказы эти — «прообраз» тех, что составили потом книгу «Я из огненной деревни…» — жгли, выжигали, раскаляли «Хатынскую повесть», давая всему, что вошло в нее, меру правды и боли. А годы, когда повесть писалась, ведь это время Вьетнама: мир содрогнулся ознобно, услышав, узнав о Сонгми, напомнившем и предупреждающем. А другие каратели, португальские, играли в «футбол» черными головами жертв африканских Хатыней, Сонгми — об этом тоже писали газеты… Все как бы повторялось, но уже под тенью зловещих ракет с атомными боезарядами. Так что само наше время было гулким резонатором для рассказов женщин из убитых белорусских деревень. Тут впору было кликать на подмогу великих: помогайте, без вас не одолеть, они уже прошли по нашей земле,— и чтобы их загнать назад, мы заплатили двадцатью, а человечество — пятьюдесятью миллионами жизней! Но они и сегодня присутствуют в мире, действуют— те, кто готов за свой «прогресс» потребовать не то что «сто миллионов голов» (как предрекал, сам боясь верить, Достоевский), а уже миллиарды!

«Присутствуя» в мире, империализм, милитаризм, фашизм в новейших обличиях и облачениях, вооруженные сверхбомбой, способны исказить самосознание человека и человечества — всей современной цивилизации. Об этом и говорил один из великих гуманистов нашего времени — Альберт Швейцер, голос которого, наряду с голосами Толстого, Достоевского и многих других, великих, автор «Хатынской повести» собирался включить в текст повести — в контекст с голосами женщин из деревни Борки, Великие Прусы, Рудня[1]…

---

[1] В статье «Доверие и взаимопонимание» Альберт Швейцер говорят: «Атомное оружие должно быть отвергнуто, однако не только по соображениям разума, но и по более глубоким соображениям, внушаемым нам нравственными принципами культуры. По вине атомного оружия мы, не отдавая себе отчета, сошли с пути, ведущего к созданию нравственной культуры. Наша готовность применить это чудовищное, нечеловеческое

Когда зал суда в Нюрнберге, весь встав и повернувшись весь, долго, как бы не веря, не понимая, смотрел на себе подобных — после просмотра документальных фильмов об Освенцимах и Хатынях — на главных убийц смотрел, на этих «человекоподобных», да разве думали люди, что мысль об убийстве (уже атомной бомбой) 100, 200, 300 миллионов перестанет поражать, вызывать крик ужаса и протеста, сможет стать «привычной» (о чем предупреждал Швейцер)?! Что уже заговорят о «половине человечества», которая трупами «ляжет» в «фундамент будущего счастья»...

Тут уж действительно самое время звать, взывать к великим, которые и на одну «слезинку» одного ребенка не хотели дать согласия...

В более ранних вариантах «Хатынской повести» Толстой, Достоевский, авторы Старого и Нового заветов, Ганди, Альберт Швейцер и другие великие присутствуют, говорят, пророчествуют, объясняют, предупреждают... По мои «собственные рецензенты» все восстали против — и Брыль, и Бакланов, и Друцэ, и Лазарев. Автор какое-то время еще держался за цитаты из великих — как за «леса»,— потом все же снял их. Когда поверил, что «стены» достаточно поднялись и не завалятся.

Конечно, они, мои рецензенты, были правы. Я слишком рисковал. Я и без того пошел на риск, когда после авторской сцены сожжения деревни Переходы решился дать живые рассказы реальных людей — о таких же событиях. Рассказы эти могли полностью уничтожить одну из главных сцен повести.

А тут хотел, наряду со своей собственной публицистикой (споры Флориана Петровича с Бокием), дать еще слово Толстому и Достоевскому. Так и прихлопнул бы все свои умные мысли.

Советовали убрать и сами споры, всю публицистику, по тут я заупрямился. И не потому, что поверил, будто удалось мне (или моим персонажам) понять и объяснить «расчеловеченного человека». (Что это не так, свидетельствует следующая моя, семилетняя уже, похоже, что бесконечная, работа над повестью «Каратели», где об этом же — напрямую.)

И все-таки я не выбросил, оставил споры Флориана Петровича с Бокием, всю эту «философскую публицистику» — отчасти, кажется, из соображении психологических. Обожженному телу нужен холод: вон как Флера хватается вспухшей ладонью за приклад винтовки, за холодные кирпичи, за землю!..

оружие, хотя мы и не признаемся себе в этом, сделала бы нас бесчеловечными. Под его властью мы перестали бы быть цивилизованными людьми. Пора окончить эту ужасную главу в истории человечества».— В кн.: Альберт Швейцер — великий гуманист XX века: Воспоминания и статьи. М., 1970, с. 235-236.

Мне казалось, что и воспаленному сознанию читателя — после хатынских сцен — понадобится «холод». Человек, увидел, услышав такое, не может не спрашивать: да что же это, да как это могло быть? Как люди могли?

И не заговорить с читателем об этом напрямую, не отвести его глаза на время от огня и боли — значит рисковать, что он или начнет «привыкать» и уже перестанет воспринимать или, что еще хуже,— заподозрит автора в каком-то художественном садизме.

Товарищ позвонил из Москвы и вместо «здравствуй» — «Сволочь ты!» — «Откуда ты узнал, что сволочь?» — «Жена из-за твоей повести не спала ночь, и я всю ночь мучился, отпаивал ее. И уж извини, надо было что-то говорить, я и говорил: «Врет он все, и все они, белорусы, врут!»

Так вот «публицистика» — как бы вместо воды холодной…

Но если до конца честно — все эти объяснения родились, пришли на ум потом, а писалась вся «публицистика» не ради чего-то, а потому что и самому автору кричать хотелось…

Об авторах, много раз переписывающих свои произведения, говорят обычно как о добросовестных тружениках. Но сами-то они знают, что они гурманы: без устали мечтают не столько о последней, сколько о первой (снова и снова первой) странице, без конца стремятся, спешат, рвутся к наслаждению первой, чистой страницей. Дорвался, выводишь заново первые строки, абзац, и такое чувство, какое, помню, бывало в младших классах: устал от старой нескончаемой тетрадки с каракулями и кляксами, спрячешь, «потеряешь» ее и берешь новую и радостно веришь, что даже почерк в новой будет красивый.

В этом смысле одно мучение с большим романом: пока доберешься до первой страницы! То ли дело повесть: каждые полгода переворачивай новые варианты — как блин на сковородке. Потому, кажется, и задержался на этом жанре. И уже посматриваешь на рассказ, новеллу: там с первой страницы можешь и не уходить.

А если серьезно об этом говорить, то и серьезно будет то же самое: повесть привлекает относительной легкой обозримостью ее площади. Ведь в произведении все связано со всем, и если брать чувство пишущего, то очень важно сознавать, что все подконтрольно твоему взору и слуху, ничего не ускользает. И потому действительно с облегчением и новой надеждой возвращаешься к первой странице, к новому варианту: любое изменение в середине, в конце, любое добавление что-то смещает, меняет во всем корпусе повести, должно отозваться и отзывается и на первых страницах. А измененные первые требуют уточнения и дальше…

Постоянную вибрацию, колебания всего корпуса повести от малейшего толчка на любой странице, от «упавшего» слова, фразы — так и хочется это сравнить с «эффектом Луны» (которую даже заподозрили в пустотелости!).

Снова и снова переписываешь, и конца, кажется, этому не будет...

Кто граблями сдвигал валки сена, знает, помнит радостное, «эпическое» ощущение, когда узенькие грабли превращаются в широкозахватный, гонящий огромную копну агрегат. Сначала гребешь и движешься в любую сторону, но лишь до тех пор, пока не скопилась перед тобой гора, а дальше она как бы сама себя направляет — только по прямой, и чем труднее толкать, тем хочется быстрее двигаться, набрать разгон, чтобы было скольжение. Вот так, всей массой, и повесть к концу движется и тебя направлять начинает,— когда уже достаточно наработано, скопилось. Свернуть в сторону уже не так легко. Не то что в первых вариантах. И совершается как бы обязательная эпизация повести — к финалу. Скапливаясь, вырастая, материал захватывает перед собой все шире...

Конечно, все это лишь про собственные ощущения: у других по-другому. Но и у других, тем не менее, ищешь и находишь свое. Помню, с каким предвкушением и беспокойством смотрел «Рим» Феллини, ждал финала: как же все это можно завершить, в узел свести — весь этот фейерверк памяти и фантазии? Но «беспокоился» напрасно: не был бы то Феллини! В конце понеслись по опустевшим улицам и площадям ночного Рима орды новых варваров на грохочущих мотоциклах — и все обрело законченный смысл. Эпический финал — это второе дыхание повести, оп подобен горизонту, который и хочет быть частью земного пространства, и стремится оторваться от пего, быть где-то там, чтобы все к нему дотягивалось и не могло дотянуться...

Финал «Хатынской повести» найден мною случайно. И всякий раз пугает эта случайность самого необходимого: а что, если бы не попалась она на дороге? Ведь без «кольцевого боя» уже сам не мыслишь «Хатынскую повесть». Кажется, что ради него она и писалась. Ну, а не приедь я тогда в Бобруйск, не разговорись с бывшим партизаном Раменчиком Степаном Иосифовичем и не расскажи он мне про такой бой... Да, рассказ его был лишь толчком, который вынес наверх то, что в моей памяти тоже хранилось, толчком, от которого заработало и воображение — в определенном направлении. Но ведь именно этот толчок понадобился, а другой мог направить воображение по-другому. И как бы я заканчивал повесть? Как-то закончил бы и тоже, наверное, «эпически». Но в это уже не веришь. Как не хочет верить

отец любимой дочери, что у него «вместо нее» мог быть сын. Хотя сам когда-то, может быть, ждал сына.

Да, случайность, и всегда удивляешься, как чуду, что она подоспевает кстати и вовремя. Но чтобы ее настичь, нужную тебе случайность, для этого и превращаешься в нечто вроде «локатора», который без устали ощупывает все вокруг (и внутри тоже!). И днем и во сне даже. (И даже если совсем не до повести тебе: ведь я поехал в Бобруйск по печальному поводу: тяжело заболел близкий человек.)

Люди по-разному пишут, и, очевидно, нет хороших или плохих способов, важен результат. Я, например, не умею писать вещь по частям, а не всю сразу. Опа постепенно выступает, вся — как на фотобумаге в проявителе. Помню, в детстве рисовал я, как все самоучки: сначала глаз или нос — до полной видимости, затем ухо, волосы навешивал на человека. Будто из «конструктора» собирал. А когда студент-художник Виктор Сущеня (в «Войне под крышами» — Виктор Петреня) пытался показать, как надо делать, чтобы человеческий образ, пейзаж и т. п. равномерно выступали из бумаги, из мягкой, а затем все более густой и твердой штриховки, я еще сопротивлялся: мой способ казался мне вернее, интереснее. Сначала глаз, потом нос... Но вот прозу пишу его способом: «заштриховывая» площадь повести сразу всю, от начала до конца. То, что уже в первых вариантах найдено, в следующих проступает яснее, четче, а что не найдено, отыскиваешь при следующем переписывании, не задерживаясь, если даже текст не удовлетворяет. Расчет на разгон мысли, чувства, настроения, на то, что при новом переписывании наконец «проступит» и на том месте, где была пустота или слишком общо, невыразительно. Что-то появляется на страницах, что-то, не удержавшись, пропадает, сваливается, к каждой детали идешь через всю повесть, добиваясь, чтобы все было связано со всем не только «сюжетно» или мыслью, но и настроением. А настроение вещь капризная, на нем, как на велосипеде, легче удержаться, непрерывно, стремительно двигаясь... Конечно, и это очень субъективно. Я, например, боюсь машинки: она создает ложное чувство «окончательности», «ясности», когда этого еще нет. Другим машинка не мешает, а помогает, мне же надо, чтобы до самого последнего варианта, до полной опустошенности все, что в тебе есть, стекало с руки. И только когда появилось наконец ощущение, что страницы, фразы, слова и как бы даже буквы твои наполнены, напряглись изнутри, пульсируют и уже не хочется вернуться на первую страницу,— тут можно и на машинку. Теперь можно и даже нужно: лучше увидишь, яснее, как бы со стороны, текст, пропорции, что получается, а что лишнее...

В какой шкаф ни сунешься — громадное что-то, чужое, не твое. Рукописи. А ведь когда-то жил на этих страницах, годами в них жил. Теперь же папки с твоим почерком — будто покинутые коконы, высохшие, мертвые. Жизнь переместилась в печатный текст, в книгу. Началась «жизнь книги» — то, о чем есть вопрос в Анкете.

Вопреки ожиданиям жизнь «Хатынской повести» сложилась благополучно. Но когда повесть вышла в свет, автор уже весь был в другой работе — делалась книга «Я из огненной деревни...». Из всех рецензий на «Хатынскую повесть» «отрицательной» была одна, и эта единственная принадлежала автору повести. В интервью «Литературному обозрению» я высказался в том смысле, что «Хатынская повесть» — «литературное поражение». На что редактор журнала иронично заметил: нужно быть очень самокритичным автором или же очень самонадеянным, чтобы такое сказать. Но дело все же не в качествах автора, а в особенности материала, с которым он столкнулся. Я говорил и сейчас считаю, что если бы раньше прослушал все рассказы, которые составили книгу «Я из огненной деревни...», то есть до написания «Хатынской повести», делать «литературу» об этом не смог бы, не осмелился. Смог, осмелился, успел лишь потому, что только прикоснулся к обжигающей хатынской правде (в тех первых поездках с киногруппой) и оставался еще простор для домысливания, воображения, творчества. А потом, объездив всю Белоруссию, мы такую правду на себя обрушили, что не до литературы стало. Впору вообще было усомниться в ее возможностях — в способности литературы это поднять, такое вместить, выразить.

Впрочем, не я один так подумал, почувствовал. Василь Быков переслал мне письмо писателя Александра Бахвалова, автора известного романа «Нежность к ревущему зверю». В письме этом острее и продуманнее, чем у меня, говорилось обо всем об этом. С разрешения Александра Александровича Бахвалова привожу некоторые его мысли:

«И я хорошо понимаю Адамовича, когда он говорит: «После всего нами услышанного, записанного, собранного в книге «Я из огненной деревни...» вроде бы ничего не стоит написать еще одну повесть, роман написать... Только зачем? После таких рассказов, такой правды!.. Но то же самое, что закрывает путь, так же и открывает его — только совсем в другом направлении». Очень верно! Дальше идти некуда. Нужно возвращаться. В этом направлении ничего равного сказать невозможно. Толстой не прибавил бы ни строчки. Более того: гений Толстого отступил бы перед тем, что являет собой эта книга. Но она-то как раз и напоминает о толстовском, то есть человеческом, не

опосредствованном теориями видении, понимании и отображении правды. «Другое направление» — попытаться дать равнозначную по искренности, а значит и силе воздействия, картину мира, сотворившего народ без милосердия — немцев сороковых годов, нас с вами той же поры — от руководящих теориями командующих фигур до простого крестьянина, нашу подлинную (неофициальную) сущность. «Другое направление» — это в конечном счете истинное отображение человека выходцем из Европы, этой «огненной деревни» первой половины XX века. Чтобы сравниться с Толстым, нужна не только «правда войны» (гнойник, как известно, заключительная фаза воспалительного процесса), а прежде всего правда мира».

Очень угадал автор письма настроение, направление мыслей, под влиянием которых я, задним числом, заговорил о «литературном поражении».

«Не обижайте «Хатынскую повесть», я ее люблю»,— написал мне Владимир Огнев. А повесть, как бы и впрямь обидевшись на автора, в укор ему, стала получать премии, переводиться...

Важным и полезным для меня результатом этой истории (внутренней) было то, что я укрепился в убеждении, что чувство «литературного поражения» после всякой написанной вещи почти нормальное состояние и, пожалуй, самое плодотворное. Ведь пишешь не потому, что тебе все ясно и хочется этой ясностью поделиться с другими, а, наоборот, чтобы «мысль разрешить», от которой житья нет. Которую и сама жизнь никак не разрешит. Тут возможна лишь какая-то степень приближения, а не исчерпанность. Всегда ставишь цель, которая явно выше твоих возможностей, сил, и через работу (отсюда бесконечные варианты) пытаешься к ней дотянуться.

В нашем деле не поражение опасно, а боязнь его, страх перед ним. Ничего нет опаснее, чем нацеливать себя на обязательный успех и еще хуже — «шедевр». Сколько воль и талантов сломилось о первый успех, от страха, что вторая, третья вещи окажутся совсем не шедеврами. Тут-то и начинается эксплуатация уже найденного, открытого, работа наверняка, с оглядкой и фактически вполсилы, даже если человек весь извелся в работе.

Очень близки мне и понятны Гранин, Залыгин, которые всегда делают не то, чему уже научились, что им дается, удавалось, а всякий раз роют на новом месте и новым способом, совершенно по-другому. Чтобы Залыгину выйти к мудрой и ясной (при всей ее сложности) «Комиссии», ему необходимо было (теперь это видно) после «Иртыша» пройти-пробиться и через «Южно-американский вариант», и сквозь «Соленую падь»...

Вот уж действительно: бояться поражений — в литературу не ходить!

Без такого настроения, пожалуй, не осмелился бы на еще одну повесть о войне, которую я назвал «Каратели»...

1978

ВРЕМЯ ЖИВОЕ

> После того, что написали, думаете ли Вы (или нет?), куда идти дальше?
>
> *Из письма*

Отвечая на вопрос, сформулированный в письме, мог бы убежденно подчеркнуть: то лучшее, что сделано советской «военной» литературой, не только наше время, но и будущее вряд ли поставит под сомнение. Наша война, Великая Отечественная, была справедливейшим в истории актом народной правды, гуманистической необходимости, патриотическим и интернациональным долгом перед всем человечеством,— это с исключительной полнотой и силой и выразила советская литература.

Так о чем же предлагаемая статья — в ответ на вопрос действительно важный, который само время ставит перед нами: куда идти дальше? Уже не надо быть «чувствилищем своего времени», чтобы сознавать: делать надо что-то большее, чем делалось, предпринималось людьми, потому что угроза всем и всему все сгущается.

И от литературы, и от себя в литературе требовать и можно, и следует большего, нежели прежде, вчера. К этому понуждает и то, что Г. Шахназаров, президент Советской ассоциации политических наук, назвал «логикой ядерной эры», формулируя ее как требование «поместить привычные понятия в новую систему отсчета»[1].

Как-то, обсуждая планировавшуюся в Минске конференцию о современных проблемах «военной» прозы, заговорили мы с Даниилом Граниным о том, куда дальше, действительно, куда идти пишущим о войне. В наступившие, в навалившиеся новыми тревогами 80-е годы. На столе у Гранина как раз лежала новая его вещь, над которой он работал, и, как я уже слышал,— о войне. А это именно тот момент, когда пишущий легко включается в разговор с футурологическим уклоном: новой, завтрашней вещи, будущего, так сказать, слова еще нет, не объявлено, но в самом авторе оно уже звучит...

Мы с ним пустились в рассуждения о том, в частности, отчего «наша» война столь долго не становится историей. Никак не отделится от нас, не удалится, не застынет в исторической перспективе. В монументальной холодной неподвижности.

Не прошло и десяти лет после Отечественной 1812 года, а Пушкин, его современники могли воспринимать генерала Раевского как «памятник».

А для нас — Жуков, или Чуйков, или Сталин?

---

[1] Шахназаров Г. Логика ядерной эры.— Век XX и мир, 1984, № 4, с. 9.

Нет, все кипит, огненно бушует, бьет и бьет в берега новых десятилетий живая боль минувшего, грозно и требовательно врывается в души и сознание все новых поколений страстями и мыслями тех, кто уже ушел или накануне ухода из жизни. Сколько в ней, в нашей «военной» литературе, живой, сегодняшней страсти, полемики, сколько ранящих, не стертых, не сглаженных временем краев, острых углов!

В чем же отличие нашего, столь затянувшегося в психологическом отношении послевоенного (привязанного к отгремевшим битвам) времени от пушкинского?

Узкая — вдоль смоленской дороги — рана, нанесенная стране наполеоновским вторжением. И многолетние реки крови на огромных пространствах, по телу огромной страны — Белоруссии, Украины, западных и южных российских областей.

Да и сама литература. Та, дотолстовская, легко и привычно восходила по белоснежно-мраморным ступеням к высям исторической романтизации. А наша,— тот же Быков,— все штурмует взятые и невзятые безымянные, скользкие от крови высотки, в грязи, холоде, огне военной повседневности. Какие уж тут романтические доспехи! За сегодняшней трезво-реалистической литературой о войне — мощная толстовская и послетолстовская мировая традиция. (Тут и советская классика: «Тихий Дон», «Разгром», «Записки об империалистической войне» М. Горецкого, «Василий Теркин».)

Даниил Гранин за «круглым столом» журнала «Дружба народов» высказал такую мысль: «Не забуду, как после войны мы, кто участвовал в ней, испытывали сладостное ощущение мира, послевоенной жизни. А потом началась как бы предвоенная жизнь, то есть поколение, которое шло за нами, вошло в полосу новых угроз, опасений. Поколение, над которым висит в течение уже стольких лет угроза ядерной войны, новых агрессий. В самой борьбе за мир постоянно участвует ужас всеуничтожающей тотальной войны. Предвоенность жизни не проходит бесследно. Это нездоровая, ненормальная вещь — страх всеобщей гибели»[1].

В истории народов, человечества переломных этапов, рубежей было немало, по такого глобального перехода от одного состояния к совершенно иному, притом на глазах у одиого-двух поколений, захвативших довоенное время,— перехода, перепада от состояния, когда род человеческий мыслится как бессмертный и — вдруг Хиросима, Нагасаки, сотни тысяч возможных Хиросим, могущих испепелить не только человека и его цивилизацию, но и самое жизнь на планете?!

---

[1] Дружба народов, 1983, № 1, с. 207.

К осознанию своей неожиданно обнаружившейся смертности человечество приходит все еще с усилием. Через уяснение новых неотменимых реальностей.

И первая из этих жестоких истин: в атомной войне не будет победителей, как бы ни хотел кое-кто видеть социализм «на пепелище истории».

Что это так, что это уже понимает большинство людей на планете,— свидетельством тому служит Декларация Организации Объединенных Наций, объявляющая планирование и развязывание термоядерной войны самым большим преступлением против человечества. Декларация предложена Советским Союзом и поддержана, принята подавляющим большинством стран, представленных в ООН, вопреки противодействию американской дипломатии, циничному, саморазоблачительному.

Наша страна не устает взывать к разуму людей, человечества.

Все более активную поддержку миллионов людей получают выдвинутые Советским правительством предложения разработать, установить для ядерных держав статут особой ответственности за поддержание мира на планете, заключив соглашения о неприменимости ядерного оружия первыми, об отказе от использования силы в отношениях между блоками, а тем самым и между социальными системами и т. д.

Когда история будет подводить итоги самого критического, опасного периода развития человеческого рода, она, конечно же, в числе наиболее разумных деяний человеческих, самых мужественных назовет взятое на себя нашей страной обязательство не применять ядерное оружие первыми.

Литература не может не жить этими проблемами, сложностями. О чем бы она ни размышляла, о чем бы ни говорила. А наша «военная» литература — особенно. Ведь что она такое, нынешняя ситуация в мире, если ее осмысливать в сопоставлении с пережитой нами минувшей войной? А минувшую войну — в контексте новой, невиданной ситуации?

По накопленному оружию, его «убойной силе» — это многие и многие сотни войн, равных второй мировой... Ну, а по предсказываемым учеными, самыми авторитетными специалистами, жертвам? Почти сто (сто!), равных минувшей, спрессованных в одну! Тысячекратная степень мук, страданий, крови, смертей на планете, но без Победы! Все будет: мыслимое и немыслимое,— но Победы уже не будет, не состоится.

Вот он, контекст, без которого, вне которого литература уже по может писать и о войне минувшей. Иногда пишет, обходится и без него — современного и будущего контекста,— но тогда-то и

возникает чувство, вопрос: а выполняет ли она вполне свою роль, свою задачу, наша современная «военная», направленная против войны литература?

Да, именно эта особенность нашей современности — послевоенное время тут же перешло снова в предвоенное — в немалой степени питает безжалостный реализм лучших произведений о прошедшей войне.

Как входил реализм в русскую «военную» классику? Через «свою» войну (на Кавказе) Лермонтов ощутил, рассмотрел солдатский лик русского Бородино. Толстой — через севастопольскую (тоже через следующую) разглядел правду войны 1812 года. То есть следующая война питала правду о предшествующей. Как любил выражаться Митя Карамазов: «запомню». Но у нас-то, слава богу, следующей еще не было! Да, не было, но само ожидание ее, тревога столь реальны, сама мысль о ней столь ужасающа, что не хочется ее и додумывать... Да где уж тут застыть в величавом спокойствии, в исторической отстраненности — просто совесть литературе не позволяет, нашей действительно честной «военной» литературе!

Для многих на Западе (и в литературе) война давно стала историей, притом приевшейся. Как объяснила мне «директор по распространению» одного из нью-йоркских издательств: литература о минувшей войне — «сейловая»[1] приносящая убытки. Нас даже упрекают западные критики, издатели, а иногда и писатели: «Сколько же можно о том, что происходило так давно? Это — противоестественно, против законов памяти, которой положено же когда-то улечься, успокоиться...» А кое-кто намекает или даже открытым текстом пишет, что в неотступности нашей памяти проявляется «установка на войну», на агрессию. Вот уж что называется — с ног на голову! Уж мы то нахлебались ее досыта, войны. Врагам того не пожелаем, не то что для себя захотеть.

В ФРГ на одной из встреч писательница из Голландии свою литературу в пример поставила: вот тоже воевали, но уже не пишем! Что ж, какая война — такая и память! Да, они тоже видели физиономию фашизма, порой жестокую, безжалостную, но все равно настоящий звериный оскал немецкий фашизм приберегал для Востока. До поры до времени, конечно, для французов, голландцев, датчан, для Запада гитлеризм демонстрировал совсем иные «законы войны». В тактических целях. У нас же отбросил даже видимость каких-то законов, правил. Так что жестокость врага, как мы ее видели, война, как мы ее познали,— это то, что ждало и другие народы, в том числе и на западе Европы...

---

[1] Sale (англ.) — распродажа неходовых товаров.

Не потому ли не можем забыть минувшую войну, что не забываем, не в состоянии забыть о той войне, что готовится ныне, грозит из неопределенного будущего? Литература наша все еще на бессрочной передовой, которая постепенно превратилась в передовую и против нового врага, сегодня главного, постоянного,— против войны, новой и всякой, которая смотрит нам в глаза, все еще смотрит.

Читал я или слышал, что на одном из парижских памятников жертвам нацизма написано: «Простим, но не забудем!» По-галльски броско. И завидно легко. Но нам это не дано, и не только из-за иного склада нашей психики. У нас еще и другая память о войне, о жертвах, несопоставимых с западноевропейскими, и подобные афоризмы — не для нас, не для нашей военной истории и не для нашей литературы.

* * *

А что, если взглянуть на наше время из четвертого тысячелетия? Да, четвертого (а почему бы и нет: в запасе у человечества, как утверждают ученые, 800 миллионов лет жизни — наш биологический потенциал!). Попробуем — насколько это нам доступно — посмотреть оттуда: что будет казаться достойным истинной литературы? Война? Атомная энергия? Вряд ли.

Все войны для человека четвертого тысячелетия (если люди, если жизнь сохранятся) сольются с общим фоном «доисторической» дикости человечества. Атомная энергия,— кто знает, возможно, это будет для них такой же позапозавчерашний день, как сегодня — сельский ветряк.

Но космос — это, конечно же, будет их сфера обитания. И они, заглянув в старые, нашего времени, книги, удивятся: почему так невыразительно писали о главном, о космосе, а второстепенное (войну) отражали в истинных и даже великих произведениях?

Может быть, и не поймут, что проблемы войны и мира на исходе второго тысячелетия — это и было главное, самое главное. Чтобы это понять, им придется поднатужиться и ощутить, какая угроза, реальная, физическая угроза их будущему существованию обозначилась как раз в 70-80-е годы, в конце второго тысячелетия. (В 90-е годы и дальше заглядывать, гадая, что и как будет, сложнее, чем за тысячу лет вперед, и потому не станем.)

Да, сошлось на наших поколениях слишком многое: из прошлого и, возможно, будущего — в нам отпущенных десятилетиях.

Как жалуется Дарья из «Прощания с Матёрой»: почему на нас должно оборваться, кончиться?

Чем мы так провинились перед всем прошлым и будущим, что именно при жизни наших поколений возникла угроза ликвидации всечеловеческой истории?

Это лишь возможность — такая ликвидация? Да, но возможность вполне реальная: подручные средства для этого уже собраны, накоплены. И не удивительно, что ни Луна, ни Венера, ни Юпитер, столь фантастически реально приблизившиеся ныне к нашему зрению и опыту, не захватили и не захватывают с такой силой наше воображение, как судьба какого-нибудь Петрока с белорусского хутора, или ржевского работяги-солдата Сашки, или белеющего костями солдата в случайно разрытой могиле — навеки девятнадцатилетнего. Или Сергея Рязанова из «Плотины» В. Семина, так и не преодолевшего запрет-плотину на убийство. Или героев Д. Гусарова, ступивших, ушедших за черту милосердия, но сохранивших в себе человечность. Не Марс — тот, что далеко, в космосе, а тот Марс, что на земле, кровожадный воитель, держит в напряжении наше сознание.

Отсюда и наши литературные заботы. Мучающие нас вопросы.

Способна ли литература как-то действенно влиять (положительно, конечно) на критическое состояние мира, быть хотя бы тем камешком, который, положи кто-то вовремя, подложи под колесо, глядишь, и попридержит, притормозит, даст возможность выиграть, может быть, решающую минуту? Если это так,— а хочется верить, что это именно так,— тогда как надо писать, чтобы наше противодействие сползанию мира к войне было максимально эффективным?

И как мы не должны писать — это тоже немаловажная проблема. На этом очень своевременно в телефильме «Формула гуманизма» заострил внимание Василь Быков. Если писать не то и не так, как требует время паше, все меньше оставляющее людям прав на ошибки, на эгоизм, на трусость, корысть, если лгать в главном (а что сегодня главнее проблем войны, мира?), тогда не исключено, что мы и наша литература будем не камнем под сползающим колесом, а скорее тем маслом, которое глупая булгаковская Аннушка пролила под ноги Берлиозу…

Хотелось бы остановиться не столько на том, что уже сделано, наработано нашими литературами, выдано нагора, а на том, что лежит на больших глубинах, что добывать предстоит сегодня, завтра. Одним словом, заглянуть бы нам в завтрашний день нашей «военной» (а точнее, антивоенной) литературы.

* * *

> Мы сидим за столом, спокойно пьём кофе и читаем газету, а в следующее мгновение можем оказаться внутри огненного шара с температурой в десятки тысяч градусов.
>
> *Джонатан Шелл. Судьба земли*

Молодые сотрудники Института литературы имени Янки Купалы В. Жибуль и Л. Казыра обратились к участникам Минской республиканской конференции по проблемам «военной» литературы с анкетой. Один из вопросов ее: что каждый из нас подумал бы, сказал, сделал, если бы узнал точно, что вот-вот начинается ракетно-ядерная война?

А действительно, что?

Как это ни поразительно, по на вопрос, который задан нам, нашей литературе, самой современной мировой ситуацией,— на этот главный вопрос литература наша отвечает еще очень вяло. По крайней мере так было до самого последнего времени. И литература, и кино, и живопись.

Мне, во всяком случае, довелось прочесть лишь одно произведение, написанное советским писателем, о той войне, о которой мы с понятным ужасом и отвращением и думать побаиваемся. Произведение это — «Катастрофа» Эдуарда Скобелева — задумано и написано с полным пониманием необходимости, нужности такой литературы. И знаете, там я нашел прямой ответ на вопрос: а что сделал бы, если бы оставался час, минута?.. Там ситуация такая, что уже свершилось самое страшное, и люди, когда они уже оказались за чертой,— она их отделила от прошлого, от будущего, от самих себя,— люди, ослепленные вспышкой бомбы, немым криком кричат: да как же мы могли не делать самого главного, когда еще была возможность что-то делать, предпринимать? Да если бы можно было повернуть назад время, на три дня, на час, на полчаса, да я бы, да мы бы!!!

Вот тут-то и вопрос: а что же ты сделал бы — ты, мы все? Что мы можем, время ведь еще есть, какое-то время осталось. Не свершилось еще самое страшное и необратимое.

Что можем мы, должны мы — литература?!

* * *

Первые строки устава ЮНЕСКО констатируют: «Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознание людей следует укоренять идею защиты мира».

Да, идея, овладевшая массой... Это нам известно. Но не массам же нужны мировые бойни, и тем не менее тысячные и даже миллионные массы некто снова и снова заражал идеей:

«Убей... во имя!» Кто? Все те же — кому войны нужны, выгодны. Тут и чье-то властолюбие, и чьи-то богатства.

Мы знаем, сколь плодотворно и необходимо было воздействие литературы, искусства на человеческую историю, на человеческое сознание, на воспитание гуманизма. И хотя все вместе взятые Гомеры, Леонардо да Винчи, Шекспиры, Толстые, Чайковские не смогли сделать так, чтобы мир не познал неронов, гитлеров, Хатыней и Хиросим, но даже мысленно жутко исключить из памяти человечества все то, что наработано искусством, литературой.

Живая плоть планеты сама создала тот кислород в составе атмосферы, которым опа дышит: именно потому живое может жить. Так и людьми за много тысячелетий наработан кислород человечности, который позволяет им оставаться людьми и вопреки самым обесчеловечивающим обстоятельствам. Без кислорода гуманизма мир был бы воистину ужасен. Можно лишь догадываться, какой стоял бы вселенский хруст костей. И сегодня хватает этого, но что было бы, если — лишь бомба и никакой литературы?!

(Под литературой я здесь имею в виду все гуманистические накопления человечества.)

Однако, если взглянуть на все на это с другой стороны, у нас и к литературе, которая сопровождала человечество на долгом его пути, появятся претензии. Хотя нам известны исторические, экономические причины всех этих многочисленных войн на протяжении многовековой истории человечества, с точки зрения идеального будущего покажется, очевидно, что сама история племен, народов как бы сфокусирована была на этом занятии — на войне, убийствах... В современной критической мировой ситуации невольно рождается мысль о том, как часто возникал над войной вообще, битвой вообще, воином вообще некий ореол, отделялся от сути,— от того, справедлива или не справедлива эта война,— воспарял, светился привлекательно на фоне серой обыденности.

* * *

В одном из трактатов о вечном мире, которые оставлены нам предыдущими веками,— в «Рассуждении о мире и войне» Василия Федоровича Малиновского (директора Царскосельского лицея, старшего современника Пушкина) — говорится: «Когда предубеждение народов заставляет их думать, что им убивать друг друга позволительно, война кажется вам менее ужасною потому еще, что оставляет всякому средство защищаться и взаимно убивать. От сего она имеет вид справедливости, к которому, присоединяясь, победы, возбуждающие к себе удивление, и деяния

мужества и храбрости и, будучи почтенны, присовокупляют и к войне понятие почтения. Величественный вид армии и флотов пленяет собою и, вселяя доверенность, возбуждает рвение отличиться. Сие самое состояние духа между страхом и надеждою, сколь ни беспокойное, но приятное для человека, показывает ему в войне некоторые прелести. Молодость, веселость, беспечность и награждения, коими наслаждаются обыкновенно военные люди во время войны, делают им оную приятною и заставляют ее любить. Оттого многие состарившиеся уже люди, воспоминая веселые дни, провожденные во время войны, любят и самую войну. Наконец, всеобщее уважение военных добродетелей, славные примеры храбрости и геройства в древние и новейшие времена воспламеняют к войне людей отменных достоинств и великого духа. Они почитают войну непременным путем к славе и думают, что не могут быть велики иначе как через войну, потому что оною прославились великие люди»[1].

Появилось на планете оружие, которое, казалось бы, должно поубавить охоты к разного рода военным забавам, играм. Ан нет!

Вот и в Лондоне в 1978 году вышла книга, названная: «Третья мировая война. История будущего»[2]. Если взглянуть на «авторский список» — сплошь генералы, маршалы, вице-адмиралы. Сюжет ее — очередной сценарий «ограниченной» атомпой войны. Конечно же, первый удар (шантажирующе-пробный выстрел по Бирмингему) они приписывают противнику. (Хотя именно западные военные доктрины основываются на стратегии первого удара[3].) Но зато уж потом отыгрываются, выявляя всю свою генеральскую охоту пошвыряться бомбочками.

...Президент Франции был вызван на связь и дал свое немедленное согласие. Пока информировались остальные союзники, был направлен приказ двум подводным лодкам — одной американской и одной английской, несущим межконтинентальные баллистические ракеты стратегического назначения,— выпустить каждой по две ракеты, нацеленные на город Минск. Эпицентр взрыва должен быть на высоте трех тысяч метров над центром города. Обе лодки сообщили об исправном, в полном соответствии с указанным временем, запуске, и многокассетные боеголовки четырех ракет, направленные точно к цели, взорвались над городом одна за другой. Эффект был катастрофическим... Не было

---

[1] Малиновский В. Ф. Рассуждение о мире и войне.— В кн.: Трактаты о вечном мире. М., 1963, с. 224-225.

[2] The Third World War. A. Futuro History by generał sir John Hockett and others, Sidgwick-Jackson, London, 1978.

[3] Насколько они заигрались в сценарии-спектакле ракетно-ядерного геноцида — все, от президента до генералов,— свидетельствует и вот такое признание американского офицера Стивена Гиффорда, не пожелавшего играть в их игры: «Нас готовили в Ванденберге к нанесению первого ядерного удара, то есть к нападению, а не к обороне... Наши инструкторы просто мечтали обезоружить Советский Союз с помощью мощного ядерного удара. Один даже заявил, причем никто из генералов его не поправил: детские дома, которые устоят после нашей первой волны, мы разобьем боеголовками, оставшимися у нас еще в резерве».— Правда, 1983, 29 мая.

ни телевизионных, ни радиосообщений об ударе. Тем не менее весть распространилась по всему миру, как лесной пожар. Последствия были колоссальные...

С каким еле скрываемым удовольствием эти атомные идиоты, решившие пощекотать себе и другим нервы, но и успокоить обеспокоенных их безумными планами соотечественников, живописуют начало всеобщего ракетно-ядерного побоища, планетарного самоубийства! Нет, нет, они, конечно, обещают «благополучный» конец — для капитализма благополучный. Социализм развалится по давно наметившимся «швам» национальных и прочих противоречий, и все будет о'кей!

Вот они, уже современные, игры в то, что и в былые времена было для человека разумного занятием сомнительным, а сегодня — является опаснейшим безумием.

* * *

Да, литература, искусство, именно они наработали — вместе с народным творчеством, передовым общественным сознанием — тот кислород гуманизма, которым мы и сегодня дышим. Но ведь и они, литература, искусство, к сожалению, разве не внесли свою лепту в то, чтобы над свирепой физиономией, над воинственной каской Марса воссиял, засветился ореол прекрасного, величественного, привлекательного. И этот исторический грех предстоит искупать литературе нашего, атомного времени!

Что и говорить, мы здесь не первопроходцы. Нам еще тянуться и тянуться до антимилитаристского пафоса Толстого. Всех предшественников в этом деле — развенчании Марса, бога войны,— нам просто не перечесть. По мы на особом счету у истории, на нас ответственность особая: там была добрая воля гениев, талантов делать или не делать эту работу. Впереди, казалось, была бесконечность: не ты, не вы сделаете — следующие поколения выполнят, проделают эту работу, доведут до конца.

У нас выбора нет: эту работу должны делать мы сами. Последовательно и до конца. Потому что самим развитием человечества поставлен последний вопрос перед людьми: или вы научитесь решать свои проблемы иными средствами, без войны, или погибнете, исчезнете навсегда!

Да, многое может искусство, и оно это поняло давно.

«Если искусством,— писал Толстой,— могло быть передано чувство благоговения к иконе, к причастию, к лицу короля, стыд пред изменой товариществу, преданность знамени, необходимость мести за оскорбление, потребность жертвы своих трудов для постройки и украшения храмов, обязанности защиты своей чести или славы отечества, то же искусство может вызвать и

благоговение к достоинству каждого человека, к жизни каждого животного, может вызвать стыд перед роскошью, перед насилием, перед местью, перед пользованием для своего удовольствия предметами, которые составляют необходимое для других людей; может заставить людей свободно и радостно, не замечая этого, жертвовать собою для служения людям»[1]

Искусство способно переносить свет туда, где ему и следует сиять,— на мирный лик, прекрасный лик человека-созидателя, человека, исполненного братских чувств к другим людям. Ради этого литература должна поступиться давней своей привычкой поэтизировать, говоря словами И. Гердера, «героическую кровь Каина». Как она делала это и продолжает делать, рассказывал на Софийской писательской встрече 1982 года Чингиз Айтматов с горечью и протестом: «Не будем разбираться сейчас, почему возникали эти войны, какие причины привели к ним. Сам факт, что фигура Наполеона нередко героизируется, а погибшие — они вроде бы никто, они не воспринимаются нами, забыты,— вот эта мысль приводит меня в отчаяние. И я думаю о том, как это важно сейчас каждому из нас каждым своим словом, каждой строкой своей книги — единственного оружия в наших руках — таким образом повлиять на умы и настроения, на сознание, на формирование взглядов молодых людей, чтобы показать им, как опасно героизировать это в прошлом, превращать это в символ славы, величия, хоть в чем-то содействовать рождению какого-нибудь новоявленного Наполеона»[2].

Никто не знает, сколько живого времени осталось нам, людям, а потому медлить, терять не то что годы, а месяцы, дни — преступление перед всем родом человеческим.

Это очень остро почувствовал и сформулировал Юрий Карякин в журнале, который издает Советский комитет защиты мира, «Век XX и мир»:

«...Время живое и время мертвое: живое — когда еще можно предотвратить катастрофу, еще можно спасти жизнь, мертвое — когда ничего уже сделать нельзя, когда «корабль» улетел не туда и — не вернешь его обратно, не изменишь его курс...

Здесь — перелом в мировоззрении, во всем мироощущении...

Прежнее отношение ко времени (впереди бесконечность как синоним безграничной надежды) подспудно таило в себе ту опасность прекраснодушия, безответственности, которая вдруг и обнаружилась, когда живое время стало катастрофически сокращаться... Раньше мы жили как бы по песочным часам: проходил день, год, век — мы переворачивали их, и время

[1] Толстой Л. Н. Что такое искусство? — Полн. собр. соч. (Юбилейное), т. 30, с. 194-195.
[2] Время защищать жизнь: Говорят писатели мира.— Иностранная литература, 1983, № 5, с. 205-206.

начиналось заново, текло, как прежде. А теперь оно словно стало вытекать из бытия... вытекать, как кровь»[1].

Медлить действительно нельзя ни в чем никому — и литературе тоже. Навалиться всем миром на нее, на войну: по-вольтеровски — раздавите гадину! Войну раздавите и тех, кому она все еще снится как нечто возможное, допустимое — вкупе с капиталами, властью, генеральскими погонами!

Тем более сегодня это должно быть, стать первоочередной задачей литературы — полное развенчание Марса, когда даже слуги его, вчера еще убежденные,— те западноевропейские генералы, в ком человеческое победило «профессиональное»,— заявляют: «В наши дни военный, осознающий свою ответственность, не может проводить грань между выполнением своих военных обязанностей и чувством своего морального долга. Он должен выполнить этот моральный долг, пока не стало слишком поздно и дело не дошло до выполнения им военного приказа. Первый долг современного военного — предотвратить войну»[2]

У термоядерной войны одип-едипственный адресат, что бы там ни толковали те, кто готов ее развязать ради того, мол, чтобы кого-то «сдержать», «отбросить» и т. п. Адресат термоядерной атаки один — человечество. И война такая — величайший и последний геноцид, направленный уже не против каких-то народов, рас, а против самого рода человеческого, самого вида, против — homo sapiens.

Чувство это, становящееся все более осознанным, вот так выразил итальянец Альберто Моравиа в письме из Японии[3]:

«Дорогой друг.

Я нахожусь в Хиросиме, и вот тебе последняя новость: я уже не Альберто Моравиа, не итальянец, не европеец, я всего лишь один из представителей вида, и к тому же вида, которому грозит, судя по всему, исчезновение в ближайшем будущем... Монумент, воздвигнутый в память самого злосчастного дня во всей истории человечества, потряс меня. Я внезапно понял, что памятник требует, чтобы я считал себя отныне уже не гражданином определенной страны, принадлежащим к определенной культуре, а в какой-то мере представителем вида — в зоологическом, равно как и в религиозном смысле этого понятия.

---

[1] Карякин Ю. Не опоздать! — Век XX и мир, 1983, № 3, с. 37-38.

[2] Из «Манифеста генералов». Цит. по ст.: Пумпянский А. Ядро и Парфенон,— Дружба народов, 1983, № 9, с. 20. В статье этой дается поименный список генералов, подавших в отставку, ибо свои профессиональные знания они решили поставить на службу массовому движению за мир. Это: Герт Бастиан (ФРГ), Юхан Кристи (Норвегия), Фрапсиску да Кошта Гомеш (Португалия), Георгиос Куманакос (Греция), М.-Х. фон Мейенфилдт (Голландия), Нино Пасти (Италия), Антуан Сангипетти (Франция).

[3] Литературная газета, 1983, 12 янв.

Должен сказать: обнаружить внезапно, что ты прежде всего и всего лишь представитель вида, неприятно. Это ощущение забытое и стертое миллионами лет истории человечества...»

И снова и снова, как заклинание: «...Я обнаружил, что являюсь представителем вида, который близок к уничтожению. Ведь когда я, Альберто Моравиа, писатель, итальянец, европеец и т. д., думаю о смерти, я перестаю быть данной личностью и чувствую себя всего лишь представителем вида и в качестве такового бессмертным, потому что вид не умрет никогда».

Так было, так чувствовалось и думалось...

А сейчас?

«Никто не мог предвидеть, что в определенный момент не та или другая нация, а целый вид может оказаться под угрозой полного уничтожения...»

Во время Великой Отечественной войны к партизанам приходила из-за фронта белорусская газета, в которой сотрудничали К. Чорный, К. Крапива и другие наши писатели,— «Раздавім фашысцкую гадзіну». Тогда врагом человечества номер один был фашизм. Теперь таким врагом всех, кто не заражен безумием накопительства власти и капиталов, являются те, кто готов применить атомное оружие.

Об этом очень верно сказал в одной из телепередач «Москва — Космос — Калифорния» вице-президент АН СССР физик Евгений Павлович Велихов: «атомная бомба — такой же всеобщий враг, каким в 30-40-е годы был фашизм». (А. Пумпянский в названной выше статье «Ядро и Парфенон» пишет: «Атомная война — это страшнее, чем даже фашизм».)

Видимо, так, и только так литература обязана смотреть на порождение и продолжение (материализованное) фашизма — на атомпое оружие. Мы ведь знаем, что именно зло фашизма породило зло атомной бомбы: из страха перед готовностью Гитлера использовать любое оружие массового уничтожения ученые выпустили безудержного джина. Загнать его назад — как? Для человека невозможно отказаться от знаний. Даже уничтожив запасы всеобщей смерти, люди сохранят знание, как их снова создать. Обратного хода — к незнанию, неумению убить всех и вся — уже нет.

Есть, возможен путь лишь вперед: разоружение, социальное и гуманистическое развитие в условиях мира, которое снимало бы напряжение между блоками, государствами, они ами людей. И закрепляло бы человечество на все новых рубежах гуманистического мироощущения, миропонимания.

Движение, развитие неизбежно, даже необходимо, чтобы мир сохранялся. Это ведь вопрос жизни и смерти самого рода

человеческого. «Больше того, реалии ядерной эры требуют не только отказа от всех форм неоколониализма, но и готовности принести определенные жертвы, чтобы поскорее «провести» человечество через опасную зону. Сотни миллионов голодающих, нищета, неграмотность — все это потенциальный источник социальных взрывов, которые в условиях ядерного века могут привести к самым трагическим последствиям. И чувство гуманности, и прямой интерес диктуют необходимость покончить с этими явлениями коллективными усилиями мирового сообщества»[1].

Кто главный герой нашей эпохи, герой самой великой трагедии всех тысячелетий, вдруг представший, вдруг выступивший на подмостки истории, вы спрашиваете — кто? Он,— и тут абсолютно прав Альберто Моравиа, назвав имя этого главного героя, о котором все паши главные заботы, тревоги, думы,— homo sapiens. Да, он — сам род человеческий. Можно спросить: а не слишком ли это абстрактная для литературы идея — о роде человеческом? Может ли она питать не только мысль, но и эмоции литературы? Мол, своя рубашка куда ближе, а эта вроде бы и не касается тела нашего.

Касается, да еще как касается! Джонатан Шелл, американский публицист, в своей книге «Судьба земли» предлагает мысленно представить ситуацию, когда все, что есть на земле, продолжается как прежде, но с одной оговоркой: больше ни у кого на планете не родятся дети. И сразу все потеряло бы смысл, мы, люди, потеряли бы интерес ко всему. Оказывается, это в нас самой природой заложено: самый «шкурный» интерес для нас имеет значение, «интересен» только при условии, если мы знаем, что и завтра, и послезавтра будут люди жить, пусть и чужие, далекие нам, безразличные вроде бы, что род человеческий не исчезнет.

Вот какой силы, какой мощи эта мысль, это чувство — наше единство с родом человеческим, который, продолжаясь, продолжает нас! А потому это вовсе не абстракция, не отвлеченная условность: homo sapiens как важнейший объект наших забот, писательских тревог, нашей творческой энергии.

* * *

Уже напечатаны главы работы Светланы Алексиевич — рассказы жещцин-фронтовичек об «их» войне. И смотрим документальные фильмы Виктора Дашука об этом же, слышим голоса тех 800 тысяч, которые в семнадцать — восемнадцать лет пошли туда, где погибали миллионы мужчин — солдат, партизан. Пошли, чтобы разделить их кровавую долго, их многотрудную

---

[1] Шахназаров Г. Логика ядерной эры, с. 11.

судьбу, помноженную на тяготы, которые известны лишь женщине. Да, женщины тоже участвуют в войнах, но все равно — у войны лицо не женское...

Жанр, который получает развитие и в книге Светланы Алексиевич, жанр этот до сих пор не имеет определения, даже названия. По возможности его выясняются — чем дальше, тем больше. И первая, уже обнаружившаяся,— особая способность переносить всю температуру давно пережитого реальными людьми в новое время, через десятилетия перебрасывать: это происходит у вас на глазах — 35, 40, 50 лет назад!.. Но в ответ ли на внутреннее чувство наше, а может быть, и народное — на протест против того, что пережитое и перестраданное миллионами душ будет заслонено бронзовой плитой истории, холодной, мертвой, а точнее, похоронено под плитой,— не в ответ ли на это чувство и возникают такие произведения? И сами эти жанры?

Когда-то М. Кузнецов в «Новом мире», а позже Г. Белая в «Вопросах литературы», А. Эльяшевич в «Звезде», обращаясь к книгам «Я из огненной деревни...» и «Блокадной книге», называли их по-разному, но все — новым жанром. Но что он такое, если это жанр, а не что-то единично-уникальное (как вначале многим казалось)? Как описать его, очертить его границы? Даже просто назвать?

«Репортаж с места исторического события» — когда-то мне так это представлялось. Сила памяти, эмоциональная сила живых рассказов, температура дневников таксвы, что для них как бы не существует дистанции времени: будто с тобой это происходит или у тебя на глазах! Репортаж непосредственно из дня вчерашнего.

Но почему только вчерашнего? А о самой-самой современности этот жанр повествовать не может? Подумалось: а что, если тем же способом записать температуру болевых точек современной жизни. Например, записать голоса вчерашних жен, мужей, тещ, свекровей, превратившихся в «истцов», непримиримо правых друг перед другом. Представляете, какой накал чувств, страстей! А ведь это бушует над целой планетой — эти страсти.

Или же: собрать в книгу нашу городскую память (и не только городскую) о своей речке, о своем лесе-подлеске, птицах, животных своего, нашего детства, вчерашнего дня человечества, которое сегодня видится как действительно его детство. Чтобы закрепить таким образом и как бы вернуть исчезающее. Или хотя бы прочертить линию, дорожку памяти, по которой могла бы вернуться к нам отравляемая, убиваемая, растаптываемая природа...

А вот и еще одна возможность (частично уже осуществленная неутомимой Светланой Алексиевич): послушать, дать другим

услышать голоса-признания тех, кто покинул землю-кормилицу. Не потому покинули, что она, как было когда-то, не кормит (сегодня кормит, и получше, чем в городе), а потому, что всем людям стало казаться, что они превзошли и природу, и самих себя, вчерашних.

Но природа своего требует, ищет в человеке. И человек ищет ее — природу — вокруг себя, тоскует об утерянном так, что и радость приобретаемого не всегда в радость. Об этом — литературно-документальное исследование Светланы Алексиевич, где прослежены судьбы деревенских девчат, ребят, уехавших из деревни в город.

Значит, в самом жанре нет ограничения: только о прошлом! И не только о трагедиях. Возможны, оказывается, лирические (ностальгически-лирические) или даже трагикомические книги подобного жанра. Видимо, возможны.

По что тогда представляется обязательным для этого жанра, что является самим условием создания и существования подобных книг?

Прежде всего: события, факты, материал должны затрагивать самую глубину души человеческой.

Второе: факты эти, события должны касаться многих и многих, это тот случай, когда говорят, что «всех касается». Лишь при этом условии может возникнуть нужная температура, эмоциональный накал, когда все переплавляется, любой сырец — в «продукт» одного художественного уровня. Прием коллажа — рассудочно-интуитивная комбинация разнородного материала — тут не действует, не подходит. Нужна именно температура плавящая.

Но и этого мало, даже такой температуры. Обязательно нужна множественность людей-зеркал, а луч каждого из этих зеркал надо ухитриться направить в одну точку. Все в одну точку. И эта точка вытягивается в линию, вонзающуюся, как луч лазера, в душу, в сознание читателя.

Что и говорить, жанр безжалостный, кто-нибудь скажет, что просто-таки членовредительский, но не в нас ли самих, в нашей не так уж редко проявляющейся «толстокожести» и оправдание его. Попробуй пробейся с чужой бедой-заботой через все помехи, которыми «перекрыта» душа человека XX века! А пробиться необходимо.

Сказал «необходимо», но тут же спрашиваешь себя: а кому необходимо, почему нужно, чтобы прозвучали голоса Хатыней, блокадные, голоса фронтовичек и те, что еще прозвучат, может быть?

Но как все-таки определить этот жанр? Как его назвать? Один из ленинградцев при обсуждении «Блокадной книги»

поделился вот таким наблюдением: смотрите, мол, в первой книге как бы хор голосов, хоровое начало, а потом (во второй) из него выступили, укрупняясь, трое, три судьбы, три голоса, и повели повествование...

Может быть, действительно возвращение к родохоровому началу? На новом, так сказать, витке? Когда-то, в античные времена, это было нормой. Потом личность, индивидуальность стала жанрообразующим началом — возник современный роман. И вот наш век с его глобальными проблемами, тревогами, опасностями снова воззвал к родовому началу, хоровому.

И еще такое замечание: в подобных книгах очень важный принцип — самоисследование. Хатыни, исследующие себя сами (через память, голоса жертв); блокада, сама о себе повествующая; ушедшая в города деревня, озирающаяся назад; женщины-фронтовички, удивленно спрашивающие себя и других: «Неужели это я, мы это были там, тогда?..» Многоголосое самоисследование жизни, когда объект и субъект повествования как два зеркала, которые друг в друге отражаются, повторяясь многократно...

Так как же определить, назвать этот жанр?

Жизнь, о себе повествующая?

Эпически-хоровая проза?

А может, даже роман-оратория?

Или: соборный роман?

Магнитофонная литература?..[1]

Раз столько вариантов, значит, все еще не прояснилось, не возникло, не найдено слово. А может быть, и не стоит поторапливать, спешить? Пусть жанр еще потрудится, наработает побольше, присмотрится к самому себе. А там и найдется кто-нибудь, окрестит. Был бы младенец жив-здоров.

* * *

Как ударило бездумно-простое признание: «Мне нравятся их мундиры, подтянутость, хрустящая кожа!» О ком, о чем это? Об эсэсовских мундирах, которые она, девушка эта, видела, конечно же, только в кино.

Приглушим чувства возмущения, попробуем разобраться. Как в сознании молодой девицы могли так разобщиться форма и суть явления, которые для старшего поколения, конечно же, неразделимы? Она сама лишь повинна, наша девица, или повинны и бесконечные детективы, военно-развлекательное кино, легковесная литература, которые внедрили в молодое сознание нечто совершенно неожиданное и непредусмотренное?

---

[1] На Западе журналистский, научно-исторический вариант таких книг получил очень емкое название: «Копай у себя под ногами», «Рой, где стоишь» («Grabę wo du slehst», «Dig where you stand»).

Вот она, новая уродливая трансформация извечного поклонения военному мундиру.

Девица, о которой я рассказываю,— цветочки! Ягодки завязываются, возможно, поядовитее, и мы все про это знаем, хотя почему-то стесняемся говорить. Может быть, боимся, что услышат те, кто в земле, павших в борьбе с фашизмом стыдимся: как объяснишь им такую девицу, как оправдаешься? Ведь столько писали о фашизме, разоблачали его... А может быть, не всегда писали, разоблачали так, как надо, и вместо безжалостной правды преподносились подчас литературные игры в войну, в мундиры-манекены, когда теряется сама суть войны, суть фашизма?

Так как же писать, чтобы подобное было просто невозможно? Чтобы нас читали, а читая, получали настоящий иммунитет к болезни, которой нет-нет да и заболеет какая-нибудь слабенькая головенка?

У каждого, конечно, свой ответ. У меня — такой: писать войну войной, со всей беспощадностью. Да, не щадя ни себя, ни других, ни на йоту не отступая от жестокой памяти самого народа о войне. В памяти народной, в памяти тех, кто испил всю чашу испытаний,— истинная мера правды, нравственная мера. Другое дело, что и этот источник может быть замусорен всем, что плыло на нас и через нас все эти годы: жизнь есть жизнь. Но надо уметь пробиться к душе, к памяти народной, чтобы зачерпнуть самое правду.

Не то время, не та в мире ситуация, чтобы писать нам заемными, сухими красками, соскобленными с литературных страниц. Надеюсь, никто не поймет это как пренебрежительное отношение к батальной классике (а тем более — антивоенной). Нет, искать и в народной памяти, и в памяти большой литературы, но и не забывать о первородном грехе искусства, литературы, которые, что ни говори, тоже повинны в опасной привлекательности всеистребительного, воинственного Марса.

Как пишем — это более или менее известно. А вот как писать и куда идти, звать других?

Очень привычное для нас занятие, дело — зазывать прозаиков в «престижные» жанры, в эпопею. Все кажется нам, что если взять большой сачок, то обязательно поймаем большущее чудо. А ловим (чаще всего) воздух да собственную тень. В лучшем случае — тень «Войны и мира». Не ленясь соскабливаем с великих полотен сухие краски, разводим их публицистической олифой, живописуем: кто под Льва Николаевича, кто под Кузьму Чорного, а кто и вообще под Илью Гурского.

Возьмите многотомный «Большой лес» Б. Саченко, цикл «партизанских романов» А. Савицкого,— что это, как не попытка двигаться на давно отработанном паре, безнадежно остуженном?

Видимо, настоящая эпопея сегодня мыслима тоже лишь как прямое, самое непосредственное участие в происходящем в мире, в ней должно быть то же чувство сопричастности самым горячим, болевым точкам действительности, истории, какое живет в лучших повестях о войне. Только в этом случае эпопея будет полноценной, эстетически и нравственно обеспеченной. Если она тоже вспомнит, в каком веке, под каким небом живет, какой отсчет времени сегодня, цену дням и минутам, времени живому и мертвому…

А пока, на мой взгляд, все же главенствует повесть, все более смело берущая на себя, несущая в себе тревоги времени.

Вот и еще одна победа повести — «Знак беды» В. Быкова.

* * *

Этот прием не новый в литературе — увидеть войну глазами невоенного человека, через его восприятие рассказать об абсурдности и дикости этого нечеловеческого действия людей — убивать друг друга.

«Матка боска! Да это же они стреляют,— испуганно догадалась Ядвиська и заломала, даже треснули, пальцы.

Одна серая, обвешанная сумками коротенькая фигурка бежала совсем недалеко от пруда, вдоль шоссе по канаве. Вот присела, направила винтовку в сторону леса, резко хлопнула — и раз, и два, и три. Вскочила и быстробыстро покатилась от хутора.

Ядвися не имела силы оглянуться. Вот фигурка взмахнула над собой руками и бросила винтовку. А поодаль от нее пыль на пахоте курится, там, здесь, как пыль на дороге, когда начинается крупный дождь. Присела фигурка, потом сердито начала срывать с себя те сумки, снова вскочила, схватилась за грудь, заметалась туда-сюда в стороны, бросилась на землю и осталась лежать неподвижно…»[1] — так писал много лет назад М. Горецкий в «На империалистической войне». А прежде того был Пьер Безухов на Бородинском поле, забредший на батарею под огонь.

«Солдаты неодобрительно покачивали головами, глядя на Пьера. Но когда все убедились, что этот человек в белой шляпе не только не делал ничего дурного, но или смирно сидел на откосе вала, или с робкою улыбкой, учтиво сторонясь перед солдатами, прохаживался по батарее под выстрелами так же спокойно, как по бульвару, тогда понемногу чувство недоброжелательного недоуменья к нему стало переходить в ласковое и шутливое

---

[1] Перевод мой.— А. А.

участие, подобное тому, которое солдаты имеют к своим животным: собакам, петухам, козлам и вообще животным, живущим при воинских командах».

Солдаты, вчерашние крестьяне, на него смотрели как на петуха или доброго пса, а он тоже,— добряк и простак, но и умница Цьер,— на все смотрит такими же изначально природными глазами — на весь ужас творящегося, творимого людьми.

«Пьер вошел на курган, где оп провел более часа времени, и из того семейного кружка, который принял его к себе, он не нашел никого. Много было тут мертвых, незнакомых ему. Но некоторых он узнал. Молоденький офицерик сидел, все так же свернувшись, у края вала, в луже крови. Краснорожий солдат еще дергался, но его не убирали.

Пьер побежал вниз.

«Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» — думал Пьер, бесцельно направляясь за толпами носилок, двигавшихся с поля сражения.

Но солнце, застилаемое дымом, стояло еще высоко, и впереди, и в особенности налево у Семеновского, кипело что-то в дыму, и гул выстрелов, стрельба и канонада не только не ослабевали, но усиливались до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил».

Гениальное открытие толстовского реализма: показывая через восприятие невоенного человека «марсово» занятие, тем самым оценивать «работу-убийство» с точки зрения обычной, человеческой нормы, народной морали,— более чем пригодилось нашему времени, современной мировой литературе, когда войны напрямую обрушились не на какую-то часть мирного населения, а на народы целиком, вовлекая в кровавую мясорубку всех, от мала до велика.

О такой войне и новая повесть Быкова «Знак беды».

То, что было когда-то литературным открытием, приемом, стало или становится (у одних писателей, в одних литературах раньше, в других позже) основным взглядом на войну, сливаясь с оценкой не просто извечно народной, а оценкой именно того народа, по которому раскаленный вал, каток современной войны прошелся и проходится со всей лютостью.

Да, это уже не прием, это угол зрения на все без исключения. В том числе и на наше занятие — литературное. Заметнее всего это начало проявляться в так называемой исповедальной прозе.

Мы имеем в виду тот изначальный, очень непосредственный порыв и прорыв к народной правде о войне, которому так способствовало само время — вторая половина 50-х — начало 60-х годов.

В этот прорыв: «Последние залпы» Ю. Бондарева, «Пядь земли» Г. Бакланова, «Журавлиный крик» В. Быкова, «Танки идут ромбом» А. Ананьева и др.— литература посылала (и посылает вот уже больше двух десятилетий) все новые и новые подкрепления, закрепляя и расширяя успех. А расширение идет в направлении более прямого, открытого использования жизненного опыта все большего числа непосредственных участников событий, памяти народной о пережитом тогда.

«Знак беды» Быкова — в жанре все той же исповедальной повести о войне, по написана она на новом витке развития «военной» прозы. И это сказалось в характере и структуре материала и самого построения повести. Да, это все та же быковская повесть, но на таком этапе развития «военной» литературы, когда народная память, народная правда заявили себя как едва ли не главный судья (или критерий) всех других правд о войне. И еще, в повести Быкова — открытый, сознательный выход писателя к проблемам и материалу, которые мощно зазвучали и в книгах о войне после произведений русских писателей«деревенщиков ».

Увело ли это Быкова от Быкова? Отнюдь нет. Скорее приблизило его к самому себе — тому, который уже заявлял о себе в прежних вещах, в том же «Сотникове», где Дёмчиха и староста не просто персонажи: они, их судьбы в каком-то смысле — оценка (и все более важная по мере развития сюжета) действий, мыслей, поступков не только Рыбака, но и Сотникова. По сюжетно — это второй план. Здесь же, в «Знаке беды», второй план (и сюжет, и мысли) стал первым, выдвинулся, открылся на всю глубину, на которую прежде Быков лишь намекал.

Последние годы мне пришлось заниматься архивом Ивана Мележа. И даже попытаться (совместно с Лидией Яковлевной Петровой-Мележ) пунктирно прочертить дальнейший маршрут его «Полесской хроники» — с помощью записей, незаконченных сцен и отдельных глав, оставшихся в архиве писателя. Все это в полном объеме представлено в седьмом томе Собрания сочинений И. Мележа, которое подготовил и издает Институт литературы имени Янки Купалы АН БССР.

Мы это сделали, чтобы полнее прочитывался общий замысел незавершенной эпопеи. Хотя, конечно же, невозможно, немыслимо, даже используя собственные материалы художника, сделать за него то, что он сам не успел. Так есть, так и останется: всегда будет зиять незаполненная пиша в белорусской литературе — мележевская. И никакими нашими трудами в его архивах ее не заполнить, не закрыть. Будут прослушиваться, простукиваться обидные пустоты. Однако даже не сделав до конца, не исполнив

свой урок, писатель уже обозначил маршрут: вывести «деревню» туда, где «война», показать одно через другое, первое во втором и наоборот.

Не стану гадать, как это происходило у Быкова с точки зрения психологии творчества: мучило или не мучило его, что вот сосед, товарищ по делу, по службе литературной, не успел, не смог завершить свой труд — такой необходимый всем. Но нам со стороны может показаться — и это будет еще одно радостное подтверждение, что мы действительно делаем общее дело,— показаться может, что Быков исполнил то, к чему жизнь, история, совесть, правда звали Мележа. По-своему, совершенно по-быковски, но он это сделал в белорусской литературе: через судьбы деревни повествует о событиях войны, а войной перепроверяет то, что происходило в деревне за последние полвека. И другие, бывало, пытались делать это, по так всерьез, «по совести», как планировал написать Мележ и как написал Быков,— никто.

«Военная» и «деревенская» проза — разные ветви, особенно мощные на древе нашей современной литературы,— не только сблизились, но и срослись в одну в новой повести Быкова. Сошлись в одной тревожной большой мысли о судьбах народных. «Война» и «мир» — не к этому ли все больше склоняется современная «военная» проза? Писать войну войной — в смысле правдивости, беспощадности — это одно дело. Но объяснять войну лишь войной — путь, пожалуй, не самый плодотворный в литературе. Не потому ли самая великая вещь о войне так и называется: «Война и мир». «Василь Быков,— пишет И. Дедков,— никогда не обещал нам и не предлагал ничего легкого или легкоразрешимого, литературным бромом и валерьянкой потчуют нас другие; Быков остается Быковым, и это благо. И если в этой повести он выходит в новые для себя пределы, то все равно ни в чем себе не изменяет и не противоречит; он остается самим собой даже там, где вступает на земли деревенской прозы, уже, казалось бы, поднятые И. Мележем, В. Беловым, Б. Можаевым и др. Быков и здесь никого не повторяет; это его — быковский — выбор героев и ситуаций, его понимание народного характера, крестьянской судьбы и хода истории. Он узнаваем в полной мере: та же преданность человеку обостренной совестливости, непокорному и непокоренному, способному бесконечно претерпевать любые обстоятельства и потому — героическому»[1].

«Знак беды» — не такая уж неожиданность, как может показаться. Еще в «Журавлином крике» (1959) Быков пытался объяснить поведение своих героев на фронте их довоенной

---

[1] Дедков И. Неостывший пепел старого пожарища.— Літаратура і мастацтва, 1982, 15 окт. (на белорусском языке).

жизнью. Был среди них и молодой крестьянин по фамилии Пшеничный с судьбой искаженной и как бы правоцирующей его на измену. Однако в конспективных предысториях Пшеничного и других персонажей Быков больше был публицистом, чем художником, а потом долгое время предвоенного житья-бытья своих героев едва касался. Лишь начиная с «Сотникова» писатель все чаще стал искать решающих объяснений человека, в том, как он жил и что делал в прошлом; публицистический «антисхематизм» все более уступал место свободному художественному анализу. Да, прошлое и настоящее у Быкова взаимосвязаны, и эта связь все более художественно проявляется, раскрывается в самих характерах, а не только в событиях.

Быковские Петрок и Степанида — плоть от плоти той простонародно-крестьянской массы, которая очень часто составляет как бы фон бурных исторических событий, но без которой самым смелым планам и движениям не обойтись, как не обойтись было без прямого обращения к крестьянству: восстановиться и восстановить! А Отечественная война с ее «царицей полей», «пролетариатом войны» — пехотой, которая, конечно же, черпала свою силу из резервуара рабоче-крестьянского населения. И как нам сегодня не хватает (несмотря на всю насыщенность сельского хозяйства техникой) все той же надежной массы земледельческой. Не отсюда ли и некоторая растерянность литературы, пишущей о деревне: к кому взывать, где их искать, своих героев?

Важная мысль, печаль, боль новой повести Быкова: ничто в мире не проходит бесследно. Но чего-чего, а наследить человек умеет. А потом и расплачивается. Он сам. Или его дети, внуки. Казалось бы, далекие дела деревенские. Но пришла война — и вот оно где отозвалось! Полицаями, предательством, жестокостью отозвалось. Новыми и новыми муками людскими, народными. Тех же Петрока, Степаниды воистину крестными муками. (Не случайно и хутор их прозван Голгофой.)

Дурачок, вообразивший себя селькором, вызвал лавину обид и несправедливостей в глухой деревеньке. Умный и честный не устоял, поддался демагогии еще одного деятеля, а в результате: любимая девушка сослана, сам он стреляется, перепугав этим младшего братишку так, что тот становится немым на всю жизнь... Все, все остается, все со всем связано. И вот все это расхлебывать Петроку и Степаниде, немому братишке, таким, как они. Искупать — муками, безнадежностью, кровью. Буквально сжигать себя (Степанида), чтобы не поддаться злу, оборвать цепь его. Если надо — собственной жизнью, на себе, не оборвать.

Главное — понять: чужой беды нет. И не в нравоучительном лишь смысле: мол, если ты человек, обязан се разделить с другим человеком. А в том сугубо практическом, что, если уклонишься, не придешь другому на помощь, не по совести поступишь, потом опа, чужая беда, отзовется на тебе самом, станет твоей бедой…

И Степанида, и Петрок не без греха в этом смысле. Оправдание им: не знали счастья с молодых дней своих, а так хотелось. И потому даже понятно, что могли поверить: ладно, зло это последнее, оно уйдет, а впереди у людей будет одно лишь добро. Но то, что человек бросит позади, найдет впереди. Народная мудрость.

Даже в условиях такого глобального зла, которое несли развязанная фашизмом война, оккупация, не затерялись и маленькие ручейки зла, когда-то кому-то причиненного. Как во времена Батыя малые племена, побежденные, вливались в общую зловещую лавину, накатывающуюся на все новые города и селения, так и тут: малое зло вливалось в огромное, питая его силу.

И это тоже урок минувшей войны, с наглядной убедительностью и смелостью высказанный в новой повести Быкова.

Повесть Быкова «Знак беды» — антивоенная в каждой своей клеточке, как ни одна из его вещей, тоже страстно антивоенных. И именно в том отличие, что жестокая бесчеловечность войны со всей глубиной увидена здесь глазами тех, кому война всегда казалась такой чужой, бессмысленной, дикой: глазами земледельца, живущего одной жизнью со всем, что так нуждается в мире, в тишине, в неторопливой смене дня и ночи.

Человек и природа, обласканная каторжным трудом земля, животный мир (корова, парсючок, куры хозяйственной Степаниды),— все это здесь наравне с самым главным. Сращенность человека и окружающего мира в повести Быкова трогательно-живая. У него и корова — со своим характером, и парсючок, простите,— индивидуальность, каждая курица, которую сжирает пришлый вояка,— не безлика. И это все потому, что писателю дорог, близок внутренний мир хозяев хутора. Василь Быков исполнен уважения к их месту в жизни, хотя, казалось бы, и не на главной «магистрали» они находятся.

И вот на этот скромный очажок человеческого житья-бытья начинает напирать своей тупой, слепой силой пришедшая на нашу землю война — в образе фашистского оккупанта. Вчера она еще была в отдалении, просто не было моста сюда, к хутору. По вот мост построили, и но нему люди пришли к другим людям. По с чем пришли!

Война пришла в хату, под крышу Петрока и Степаниды. И сразу становятся они вроде бы уже и не хозяевами в собственном дворе, в собственной хате. Их лишают то одного, то другого, притом без особенной даже злости, вражды: просто пришла, вломилась сквозь стену тупая машина и теснит их, теснит... Куры ваши? Хорошо, сюда их, сюда — в котел! О, корова, молоко гут, гут, молоко полезно, мы тоже любим молоко! Как, ты посмела выдоить корову не для нас? Ого, ты, значит, партизан, бандит! И вот уже человек приговорен. И если не застрелили сразу, можешь считать, что повезло.

Вот так враг наступает на упрямую Степаниду и все ее бабье курино-поросячье-говяжье царство. На более покладистого Петрока — по-другому, но с той же убежденностью, что все твое — это паше, поскольку и жизнь твоя в полном нашем распоряжении.

Война подняла всю муть, грязь с самого дна жизни, и вот она, эта грязь в образе полицаев (среди них есть и те, кого «кулачили», но и те, кто «кулачил»), поплыла поверху...

Островок человечности среди всей этой мути, грязи, принесенной войной, фашизмом,— хуторские жители Петрок, Степанида да погибший раньше их Янка. Это всего лишь островок, но он принадлежит континенту, люди эти — часть народа. Того, который заплатил величайшей ценой, но врага, но фашизм, но войну победил.

В той войне победил человек. Еще дано было это — побеждать. В будущей — атомной — победителей быть не может. Время больше не течет из песочных часов, оно вытекает, писал Ю. Карякин в статье «Не опоздать!», из темной, закрытой посудины. Не дано знать, сколько его там — живого времени — для нас, людей.

* * *

Один из членов рейгановской команды атомных маньяков вот так резвится на пропагандистских подмостках: «Хотя радиоактивные осадки (в результате атомной войны.— А. А.) и увеличат раковые заболевания процентов на 30, этот фактор легко компенсировать, отказавшись от восстановления табачной промышленности».

Всякое маньячество имеет свою логику. Ныне она часто выстраивается по законам технического прогресса, НТВ.

У американцев вообще крепка вера в то, что всегда выручит техника,— и на этот раз, мол, сработает американская техническая сноровка. Например, создадут космическое ядерное противооружие, которое парализует советский потенциал ответного удара. И в этот самый момент, как только появится хотя

бы временная щелочка технического перевеса,— тот самый первый ядерный удар, от которого маньяки предусмотрительно не отказываются... Именно на первом ударе основываются их военные доктрины.

Это знать, помнить важно, необходимо — особенно когда мы пишем о современной армии. И когда мы выступаем по вопросам войны и мира в роли публицистов. Ситуация действительно такова, что просто расслабляться, ослабить паши оборонные усилия — значит спровоцировать атомных горилл на тот самый первый удар.

Да, и у литературы есть первоочередные задачи, о них забывать нельзя.

Вспомним, однако, Толстого. Вот он пишет свои севастопольские рассказы, это, собственно говоря, репортажи с места боев — с Севастопольских бастионов. Пишет солдат-патриот. Но помните, какие у него там горькие и горячие слова о противоестественности для людей самого этого занятия — убивать себе подобных. Да, кроме ближайших, у литературы есть цели также и дальние, долговременные: способствовать гуманизации мира, человечества. Эти, долговременные, задачи тоже диктуются всей современной ситуацией.

Так куда же ей идти, нашей «военной» литературе? И какую традицию брать с собой, развивать в современных условиях? Об этом, кстати, вели горячий спор писатели на писательской конференции в Минске, к этому возвращаемся мы сегодня.

Да, большие традиции накоплены за послевоенные годы. Но не забыты и те традиции, которые складывались в годину смертельной опасности для родины. Когда враг, стремившийся уничтожить наш народ, был под Москвой, под Ленинградом, когда страшно пылали Хатыни...

Сегодня эта угроза над Москвой, над Ленинградом, над Белоруссией, над Украиной, над Уралом... Еще более страшная. И ответом на нее должно быть то же чувство литературы мобилизованной, сердцем и совестью мобилизованной, то чувство, которое питало слово Твардовского, Шолохова, А. Толстого, Эренбурга, Симонова, когда бой тоже шел «ради жизни на земле».

...Во времена доисторические и в эпоху сменяющих одна другую цивилизаций выжить и развиваться среди других видов помогал человеку его удивительный мозг, разум. И вот он, homo sapiens, человек разумный, а вместе с ним и все, что он создал (или, наоборот, обескровил: братья меньшие),— на краю бездны. Как это получилось, ведь у пего все время был «фонарь», который разгорался, светил все ярче,— разум, так почему, как же он, человек, выбежал на самый край?

Что может дать ему реальный шанс на выживание? Все та же умелая рука и быстрый разум, современная паша техническая сноровка и ученость? При всем техническом всесилии, которое нас вроде бы защищает от реальных трудностей существования, мы, люди, оказываемся, как никогда, беззащитными перед силой случайностей. Они всегда висели и висят над человеком. Но чтобы над всем родом человеческим?! Чтобы таракан мог столкнуть нас в пропасть?! Да, самый обыкновенный, который и нашим бабкам-дедам досаждал, умело, расчетливо падая с потолка в крынки с молоком. Но чтобы он мог погрузить во тьму целую державу — а именно это случилось с Японией, когда таракан заполз, забрался в компьютерную систему энергорегулирования?!

Ну, а если заползет в какой-нибудь другой компьютер, поважнее?..

Человек умелый и человек разумный — они свой отрезок пути проделали. Дальше идти — если нам это будет дано, если сможем, удержимся на краю — человеку не только разумному, по и гуманному. Только такой и возможен в будущем. Другому туда не прорваться, не войти.

«Проблема в самом человеке,— утверждает, подчеркивает автор книги «Человеческие качества» Аурелио Печчеи,— а не вне его (а мы уточним — не только вне его! — А. А.), поэтому и возможное решение ее связано с ним; и отныне квинтэссенцией всего, что имеет значение для самого человека, являются именно качества и способности всех людей».

Притом «не качества отдельных элитарных групп, а именно «средние» качества миллиардов жителей планеты»[1]. Не прекраснодушные ли это мечтания? И не много ли, не слишком ли много хотите вы, такое утверждающие (или с этим соглашающиеся), от человека, притом «среднего»? Нет, кажется, не больше, чем практически необходимо, чтобы нам, людям, выжить на планете, уже познавшей и соблазн обманного всемогущества, и ужас грозящей всеобщей погибели. Ведь люди в массе своей никогда так резко не менялись — к лучшему. К худшему — возможно, но чтобы к лучшему?.. Но опять-таки вспомним: и обстоятельства изменились кардинально! Никогда еще не зависело от «качеств» людей — жить или не жить в этом мире им самим, их детям, внукам, правнукам... И думают об этом уже не только отдельные мечтатели, или философы, или ученые, политики...

Мировая печать писала о дотоле никому не известной женщине из Осло — домохозяйке Ракель Педерсон (у нас о ней рассказывалось в журнале «За рубежом», 1981, № 45), а также о

---

[1] Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980, с. 44, 45.

Холле — американском рабочем. Они были инициаторами Маршей мира — 81 в Европе и в Америке. При этом норвежская женщина продала свой дом и поселилась с мужем и ребенком в чужом, сняла квартиру, а вырученные деньги отдала на организацию Марша мира, который и состоялся, прошел невиданно мощно через европейские столицы, города, поселки...

Пожертвовала своим домиком, чтобы спасать общий Дом — Европу, планету!

Так разве не поразительные существа эти люди? Казалось бы, такие до невозможности инертные, погруженные в свои лишь интересы, заботы, так что кое у кого снова и снова появляется соблазн, уверенность, что можно с ними делать все что вздумается — даже к мысли о немыслимом приучить, согласиться с возможностью и «полезностью» атомной войны. Но вдруг эти же люди и покажут себя. И это «вдруг», к счастью, обнаруживается именно тогда, когда встает вопрос действительно о жизни и смерти, о главном, когда медлить уже нельзя, невозможно.

Сколько раз за свою историю народы, люди превозмогали, казалось бы, непреодолимые сложности, трудности, препятствия, чтобы идти дальше. Чтобы жить дальше.

Высшим этому примером может служить выстраданное, преодоленное и совершенное нашим народом в годы тяжелейшей из войн — Великой Отечественной. И в этой способности людей совершать невозможное, когда встает вопрос о жизни и смерти,— в этом надежда!

Чтобы ничтожнейший таракан не посмеялся над многотрудным и удивительным путем человечества от пещеры до космоса, самое разумное для человека — возможно быстрее становиться человеком гуманным. Не частично, не «полу», не «отсюда и досюда» гуманным, а принципиально и абсолютно гуманным. Становиться человеком, для которого ничего нет важнее, выше чувства человеколюбия. Ни на один час и ни в каком, даже исключительном, случае ничего нет и не бывает важнее (известные слова Толстого).

Эта же мысль, неожиданно повернутая, прозвучала в новомирской статье (1983, № 10) философа Ю. Школенко «Космос, человек, книги»: для контактов с гипотетическими внеземными цивилизациями необходимо будет преодолеть огромные межзвездные расстояния; для нас техника таких перелетов — дело далекого будущего; далекие «братья по разуму», если они уже готовы к подобным полетам, следовательно, наш будущий путь уже проделали: «преодолели свои внутриобщественные антагонизмы». (Без этого не преодолеть межзвездные расстояния — «не хватит сил, если силы разобщены».) То есть «они» «должны быть разумными

и гуманными существами, от которых мы вправе ждать мирных и дружественных намерений».

Только такие и способны прорваться в бесконечное будущее!

Сегодня великая страна объявляет, что она ни при каких обстоятельствах первой не пустит в ход страшного, самоистребительного оружия. Вот шаг именно по этому пути. Но это первый шаг, и он может остаться шагом на месте, если не присоединятся другие страны. И не последуют новые шаги.

«Спешите делать добро!» — взывал доктор Гааз, тюремный московский лекарь, которым так восхищался бывший каторжанин Достоевский. Спешите,— умолял и предупреждал человек XIX века,— если хотите умереть людьми.

Сегодня это звучит: спешите, если не хотите умереть! Всем родом своим умереть.

Но что сегодня — добро, высшее добро? Ведь столько за последнее столетие было все новых и новых попыток толкования добра, зла, все нравственные категории подчинить ближайшим целям, поставить в зависимость от того, что «выгодно», «полезно», как выражался Гитлер, «нашему движению».

Бомба, которая способна все истребить, кое-что ставит на место. Сегодня уже не получится, ни у кого не получится,— доказать, что высшее благо есть то, что полезно только тебе, во вред другим. При такой бомбе чего пожелал «врагу», то поджидать будет и тебя самого. Настигнет «противника» — настигнет и тебя тоже.

«В нынешних условиях «больше оружия» на одной стороне автоматически означает «больше оружия» и на другой. Больше угрозы противнику — больше угрозы и себе. То есть меньше безопасности...

В наше время противопоказано добиваться безопасности себе в ущерб соседу, даже если ты и считаешь его противником. Только вместе с ним!»[1]

Судьбами, жизнью и смертью человечества, всего человечества — вот чем сегодня измеряется высшее благо, добро. (И соответственно — высшее зло.) Там, на этой высоте,— и абсолютный нравственный закон.

«Не убий человечество!» — ничего нет и быть не может, что этот закон ограничивало бы, сужало. Дескать, так-то оно так, но есть, могут быть «вещи поважнее...». Нет и быть не может ничего важнее для человека самого существования человечества, рода человеческого. Все остальное — абсолютно все в человеческой, общественной жизни — производное от этого.

---

[1] Пумпянский А. Ядро и Парфенон, с. 192.

Как пишет Г. Шахназаров в статье «Логика ядерной эры: *«...Не существует политических целей, которые оправдывали бы применение такого средства, как ядерное оружие»*[1].

Люди все отчетливее осознают опасность «ножниц» между прогрессом техническим и нравственным. Того и гляди ножницы эти могут перерезать самое нить жизни. Вот почему и в гуманитарной ветви человеческого сознания тоже все активнее замечается стремление: использовать все средства, извлечь из запасников все, чтобы пустить в дело, на пользу, во спасение человечества. Не все, как мы уже видели, выдерживает проверку атомной бомбой, ракетно-ядерной опасностью. Зато кое-что из того, что, казалось, давно продемонстрировало свое бессилие и «непрактичность», вдруг обретает новые качества, по-новому высвечивается нашими тревогами и надеждами. «В условиях, когда антитезой состоянию мира стала не просто война, а тотальная катастрофа, грозящая гибелью всему роду человеческому, созданной им материальной и духовной цивилизации, мир не может больше рассматриваться как одно из благ, являющихся в числе прочих предметом выбора. В шкале приоритетов он должен, безусловно, значиться первой строкой.

Из этой посылки вытекает важный вывод: то, что могло считаться правильным до появления и накопления тотального оружия, необязательно должно считаться правильным после этого переломного события... Достаточно перебрать в уме традиционные понятия и правила поведения на международной арене, чтобы убедиться в необходимости их более или менее существенной корректировки с учетом фактора ядерной опасности. В мире, над которым нависла угроза уничтожения, некоторые понятия, служившие более или менее надежным инструментом ориентации, начинают порой играть прямо противоположную роль, как размагниченный компас. Целесообразное в нем может стать бесцельным, сила обернуться слабостью, прибыль — разорением, приобретение — утратой, убийство — самоубийством. И есть только один способ избавиться от этой иррациональности — поместить привычные понятия в новую систему отсчета, пересмотреть их с точки зрения логики ядерной эры»[2].

«Не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы с тобой поступили...» «Не убий!» — это в нашем сознании прочно связывалось с религией. А религия слишком долго была служанкой как раз тех, кто и убивал (во имя богатства и власти), и делал другим именно то, чего себе, конечно же, не желал.

---

[1] Век XX и мир, 1984, № 4, с. 14.

[2] Шахназаров Г. Логика ядерной эры, с. 8-9.

Но не следует считать, что эти истины изобретены религиозным сознанием, специально «для обмана» придуманы им. Нет, их инстинкт «придумал», спасительный жизненный инстинкт перволюдей. Задолго до христианства, до индуизма. Без запрета на убийство, истребление себе подобных человеческий вид просто не выжил бы, не сохранился в мире куда более сильных, более вооруженных для этого дела — убивать — существ. Автор серьезнейшего исследования «О начале человеческой истории» Б. Ф. Поршнев утверждает, что там, тогда мы были вообще трупоядными. Самыми смирными и мирными среди млекопитающих. Сохраняли и сохранили себя как вид не знаменитой агрессивностью, а именно тем, что не были конкурентами в борьбе за пищу для более сильных и кровожадных. «Убей и отними!» — это появилось позже, гораздо позже…

Так что ж, выходит, человек возвращается, приближается — по спирали развития, на новом витке — к тому самому месту: «не убий! иначе род твой обречен!» Но там, тогда действовал инстинкт выживания, биологический запрет. Здесь — сознание, понимание, что не выжить нам, людям, коль скоро вето на убийство не обретет силу если не абсолютного запрета, то хотя бы равновеликую силам, которым войны, убийства необходимы по самой их социальной сущности, природе.

Это в их адрес звучит сегодня из миллионных демонстраций в защиту жизни на земле: «Не убий Европу!», «Не убий человечество!..».

Массовое движение против атомной угрозы, становящееся воистину всечеловеческим, рождено недоверием к тем правителям, для которых нормой стало балансировать на грани самоистребительной войны, недоверием и страхом перед их безответственностью и классовым эгоизмом. В основе движения этого — высоконравственное чувство долга перед детьми и внуками, перед самой жизнью и будущим планеты.

Изначальное (о котором говорил Маркс) чувство справедливости и гуманности этого коллективного действии — Маршей мира и т. п. — придает движению против атомной угрозы чрезвычайную устойчивость, несмотря на разнохарактерность сил и психологий, в нем участвующих.

Это ощутили и мы, в Минске, в Хатыни, когда участвовали в акциях, шествии Марша мира — 81. Соглашаешься с Александром Пумпянским, когда он говорит: «Близко наблюдая участников Марша мира, понимаешь: это миссия. А сами эти люди — миссионеры. И оттого, что их послание так просто, оно не становится меньше, но вырастает до общечеловеческого призыва».

Так давайте же писать о главном! Для всех о самом главном.

Вспомним: гении жизнь свою ломали, чтобы сделать жизнь народа, крестьян чуть получше, светлее, человечнее. Судьба народа, судьба державы, государства — и люди самоотверженно шли на подвиг, человеческий, творческий!

А тут судьба самого рода человеческого — на вечные времена! Вот важнейшая задача, вот пафос, крик души, сердца, до которого мы все еще не поднялись. не поднялись по-настоящему.

Эйнштейновская формула: $E=mc^2$, то есть энергия во вселенной равна массе, помноженной на квадрат скорости света,— формула эта резко изменила представление о материальном мире. Оказывается, материи, отпущенной природой на строительство человеческого тела, одного-единственного, вполне достаточно, чтобы взорвать большой город, двигать ледокол в течение многих лет, осветить целый район...

Это — материально-энергетический потенциал, выделенный природой на каждого из нас. Ну, а духовный потенциал?

Никогда в истории но было момента, чтобы столь многое зависело именно от духовного, нравственного потенциала человека, человечества.

Физики разбудили материю. Нам будить душу, ее энергию.

Хорошо об этом сказал на Софийской встрече писателей вьетнамский писатель Нгуен Динь Тхи: «Неужели же человеческий дух, при всей его уязвимости и хрупкости, не таит в себе силу, о которой мы до сих пор могли только догадываться, несокрушимую силу, скрытую в каждом, если позволено так выразиться, атоме совести? Освобожденная сила совести способна, быть может, многое изменить в мире. Наша писательская работа, которая порой под грохот взрывов кажется нам смехотворно слабой, одушевляется надеждой, что мы, в меру своих возможностей, содействуем высвобождению этой силы, живущей в каждой человеческой душе»[1].

Историческая память народов наполнена подвигами духа человеческого.

Мы говорим, мы пишем о подвигах, о героизме нашего народа, будя в людях чувство уверенности в своих силах, возможностях.

Наступило время звать человека к самому главному в истории подвигу — во имя спасения планеты. Сколько необходимо было больших и маленьких побед, чтобы в поверженной столице фашистского рейха наступил окончательный день Победы! Не меньше, а может быть, и больше побед, порой таких же, может быть, малозаметных, как в войне против фашизма, потребуется,

[1] Время защищать жизнь: Говорят писатели мира, с. 201.

чтобы побежден был главный враг нынешнего человечества — опасность атомного самоистребления.

Литература наша всегда гордилась своим правом, своим долгом быть на передовой. «Военная» наша литература вот уже почти полвека — на бессрочной передовой. Но замечаем ли вовремя, что передовая перемещается, и все более круто, из прошлого в будущее — и именно к атомной опасности как главному нашему противнику.

Не пора ли круче разворачиваться, фронтально — лицом именно к этой опасности?

Не забывая об исторических тылах, но лицом к противнику № 1.

Вопрос, о чем писать, конечно же, важный, по, в конце концов, каждый сам знает, о чем ему писать следующую вещь.

Но что действительно практически важно (и об этом особенно надо нам задуматься) — это как писать. Как писать сегодня.

Верно сказано: литература — не врач, литература — боль. Если боль эта не острейшая, а значит, не взывает к немедленной реакции,— значит, опа не соответствует времени.

Мы, писатели, должны быть требовательны, беспощадны к самим себе: ну, а я, я — все ли сделал, все ли, что мог? Эти вопросы, повторяю,— самые главные. Бомба не должна взорваться над головами людей, у них под ногами. Но именно потому, во имя этого должна взрываться в головах, в сознании писателей, художников. В нашей «военной», направленной против войны литературе.

1983

OVERKILL[1]
АДЕКВАТНА ЛИ РЕАКЦИЯ

Мы сидим за столом, спокойно пьем кофе и читаем газету, а в следующее мгновение можем оказаться внутри огненного шара с температурой в десятки тысяч градусов. Мы идем на работу по привычной нам улице, а через секунду можем оказаться на опустошенной равнине под потемневшим небом, разыскивая обгоревшие останки наших детей.

Джонатан Шелл. Судьба земли

После войны долго, очень долго жила в сознании постоянная прикидка: вот отсюда удобно — из пулемета! Или вот так из автомата потянуть...

В кого? Да ни в кого. На «другом конце» никого и не видишь, определенного, но все равно срабатывает когдатошняя постоянная «готовность» упасть раньше, чем по тебе пройдет пила пулеметной очереди и тах-тах-тах! С крымской возвышенности или на белорусской асфальтке, круто ныряющей в густой, удобный для засады ольшаник...

Вошло, внедрилось когда-то, в течение года было «рефлексом на выживание», а потом — целые десятилетия — игра памяти, фантазии или еще чего, не знаю.

И вдруг исчезло — вытесненное. Прошлое — будущим, ушедшее — ожидаемым.

Идешь по улице и видишь, снова и снова, смотришь на все, на всех, беззаботно или озабоченно бегущих, взглядом той японки, которая в ясное августовское утро вот так спешила по улице, и вдруг что-то случилось: лицо у идущего навстречу мужчины, глаза, нос, губы — все исчезло! Нет, лицо осталось, но все на нем стерто: глаза, нос...

И тут женщина ощутила, что у самой горит спина...

Тысячи солнц вдруг вспыхнули: у нее за спиной, а тому — в глаза!

«Глазки наши будут выскакивать!» — кричал иа руках у матери белорусский ребенок в сарае, который вот-вот обольют бензином.

А тут — тишина. Потрескивающая, сковородная, и тысячи сжигающих солнц — в глаза! В детские глазки!

[1] Overkill — многократное убийство, сверхубийство (англ.).

* * *

«15 конечном счете сейчас все зависит от того, чтобы человечество осознало: есть одна цель, один общий враг, угрожающий человечеству,— ядерное оружие».

Это — из доклада вице-президента АН СССР Е. П. Велихова, произнесенного на всесоюзной конференции ученых за избавление человечества от угрозы ядерной войны, за разоружение и мир (17 мая 1983)[1]. Академик Велихов — физик-термоядерщик, и он-то знает и степени угрозы.

Когда появилось такое оружие, любая будущая война, самая «маленькая», по которая способна подвести, подтолкнуть мир к глобальной катастрофе, и само понятие войны совсем по-иному видятся и должны оцениваться. И литературой тоже.

Впрочем, и здесь мудрость старая может пригодиться, не стареет — если она действительно мудрость. (Хотя в свое время все это могло казаться наивным «идеализмом», прекраснодушным мечтательством.)

В 1963 г. издана у нас книга-сборник: «Трактаты о вечном мире», в которую вошли и впервые у нас переведенные «Письма для поощрения гуманности» (отрывки) Иоганна Готфрида Гердера — великого немецкого философа-гуманиста XVIII века.

В главе «К вечному миру» автор припоминает легенду-быль из жизни американских ирокезов, как они — истерзанные, удрученные постоянной войной с соседним племенем делаваров — искали выход. И нашли такой: «направили к делаварам послов со следующим: «Прискорбно, что племена ведут между собой войну. В конце концов она повлечет за собой гибель всех индейцев. Поэтому мы нашли средство предотвратить это зло. Нужно, чтобы одно племя стало «девой мира». Это племя мы поместим в середину; другие воинственные племена назовут себя мужчинами и поселятся вокруг девы. Никто не должен трогать деву, тем более причинять ей зло, а если кто-нибудь совершит этот проступок, то немедленно все обратятся к нему со словами: «Зачем ты обижаешь женщину». Все мужчины должны будут напасть на того, кто ударил деву. Сама дева не имеет права начинать войну, наоборот, она обязана всячески стремиться к сохранению мира. Если окружающие ее мужчины начнут избивать друг друга и война станет ожесточенной, дева должна найти в себе силы обратиться к ним со словами: «Мужчины, что вы делаете? Подумайте о своих женах и детях, они погибнут, если вы не остановитесь! Неужели вы

[1] Здесь и дальше цитируется по стенограмме. Сокращенный вариант доклада Е. П. Велихова,— См.: Век XX и мир, 1983, № 7, с. 18-22.

хотите истребить друг друга?» И мужчины должны прислушаться к голосу девы и повиноваться ей»[1]

«Мою великую деву мира,— сообщает Гердср,— зовут всеобщая справедливость, человечность, деятельный разум. ...Она должна в соответствии со своим именем и своей природой способствовать распространению мирных убеждений»[2].

Мирные убеждения, считает Иоганн Гердср, необходимо распространять: сделавшись сознанием, совестью большинства людей, мирные убеждения стали бы силой, реально противодействующей корыстным интересам тех,: кого сегодня называют «поджигателями войны».

Иоганн Гердер достаточно трезво (для своего времени) разумеет причины, истоки военных конфликтов, он не упускал из виду даже экономические факторы, «...опустошительные войны зачастую ведутся из-за пушнины в Гудзоновом заливе, из-за участков земли в Парагвае, о месторасположении которых сами организаторы войны имеют лишь смутное представление, из-за гаваней в Тихом океане, из-за капризов правителей!»[3]

Понимая все это, казалось бы, посчитаешь безнадежным занятием взывать, подобно Гердеру, к морали, к нравственности людей, заклинать их именем «девы мира» — всеобщей справедливости, человечности и т. п. Но именно сегодня категории нравственные, духовные, как никогда, обретают политический вес, силу,— когда широчайшие массы людей включаются в борьбу против отвратительной бесчеловечности, безумия тех, кто хотел бы и дальше богатеть, крепить свою власть через умножение средств всеобщей погибели.

Давние мечтатели о «вечном мире», казавшиеся современникам наивными фантазерами, утопистами, сегодня по-другому читаются, предстают перед нами.

У них не было (у большинства) понимания социальной, экономической «механики» войны? Они слишком полагались на духовно-нравственное просветление людей?..

Но сегодня именно эта сторона — духовно-нравственная, общечеловеческая — важна как никогда в борьбе за самое насущное. Хотя не всеми это осознается как следует. Все еще много в мире политиков, которые никак не могут разглядеть, понять, что мир их представлений — в перевернутом состоянии: то, что они считают (и прежде считалось) «реализмом», «трезвым подходом», ведет в никуда, увлекает в бездну, а то, что ими испокон веков презиралось как «святая наивность», что

[1] Трактаты о вечном мире, М., 1963, с. 204.
[2] Там же, с. 206-207.
[3] Там же, с. 205.

третируется порой как «идеализм», «пацифизм», обрело качества реальной силы и надежды, противостоящей инерции скольжения к пропасти...

В истории народов, человечества переломных рубежей, этапов было немало. Но такого окончательного перехода от одного состояния к совершенно иному еще не бывало, пожалуй, притом на глазах у одного-двух поколений, захвативших и довоенное время — перехода, перепада от состояния, когда род человеческий не мыслился смертным, и вдруг — Хиросима, Нагасаки, сотни тысяч возможных Хиросим, испепеляющих не только человека и цивилизацию, но самое жизнь на планете!

К осознанию своей неожиданно обнаружившейся смертности человечество приходит все еще с усилием. Через уяснение новых неотменимых реальностей. И первая из все более жестоко осознаваемых истин: в атомной войне не будет победителей, и те, кто хотел бы социализм видеть «на пепелище истории», даже уцелей кто-нибудь (чего тоже не будет), как отличили бы они пепел социалистический от капиталистического?

* * *

> И если, как я почти уверен, формальный вечный мир будет заключен лишь в день Страшного суда, тем не менее ни один принцип, ни одна капля елея, подготовлявшие его даже в самые отдаленные времена, не пропадает даром.
>
> *Иоганн Готфрид Гердер. Письма для поощрения гуманности.*

Отдаленные времена человеческой мечты о вечном мире, надежда на человеческое существование без войн уходят в самые глубины человеческой истории, культуры — это и индийские «Веды», и персидская «Авеста», и одна из мировых религий — буддийская. Времена античности (Платон, Аристотель), а затем раннее христианство не обошли эту извечную человеческую мечту и проблему.

Тридцатилетняя война — это бессмысленнейшее, кроваво-грязное самоистязание Европы,— а затем наполеоновские войны (пролог к войнам мировым), дали новый толчок проектам, надеждам, мечтам как-то установить, наконец-то устроить на земле «вечный мир» между народами.

Пути и средства предлагались разные, «проекты» следовали один за другим — вплоть до конца XIX века. Отзвуки этого слышим мы в «Войне и мире» — в гостиной Анны Павловны Шерер, где Пьер Безухов вступает в горячий спор с гостем-аббатом.

«— Средство — европейское равновесие и droit des gens[1],— говорил аббат.— Стоит одному могущественному государству, как Россия, прославленному за варварство, стать бескорыстно во главе союза, имеющего целью равновесие Европы,— и оно спасет мир!

— Как же вы найдете такое равновесие? — начал было Пьер; но в это время подошла Анна Павловна и, строго взглянув на Пьера, спросила итальянца о том, как он переносит здешний климат»[2].

Затем Пьер говорит появившемуся Андрею Болконскому:

«— Нет, этот аббат очень интересен, но только не так понимает дело... По-моему, вечный мир возможен, но я не умею, как это сказать... Но только не политическим равновесием[3].

Князь Андрей лишь мягко упрекнул Пьера за непосредственность.

Но когда эти свои взгляды Пьер позже выскажет старому князю Болконскому, тот по обыкновению резко отмахнется:

«Кровь из жил выпусти, воды налей, тогда войны не будет. Бабьи бредни, бабьи бредни...»

Но отнюдь не бреднями это казалось многим умнейшим и образованнейшим людям своего времени: Эразму Роттердамскому и Яну Коменскому, Себастьяну Франку и Вильяму Пенну, Жан Жаку Руссо и Шарлю Ирине де Сен-Пьеру, Иммануилу Канту и Иоганну Гердеру, Иоганну Фихте и др.

Сами названия трактатов, проектов, памфлетов говорят о их направленности, пафосе и, так сказать, «замахе». «Война сладка тем, кто ее не испытал» (1515 г.), «Жалоба мира» (1517 г.) — Эразм Роттердамский; «Боевая книжка мира» (1539 г.) — Себастьян Франк; «Всеобщий совет человеческому роду, и прежде всего ученым и благочестивым властям Европы, об исправлении человеческих дел»; «Необходимо только одно» (1668 г.) — Ян Амос Коменский; «Опыт о настоящем и будущем мире в Европе» (1693 г.) — Вильям Пенн; «Проект вечного мира в Европе» (1713-1717 гг.) — Сент-Пьер; «К вечному миру» (1795 г.) — Иммануил Кант; «Письма для поощрения гуманности» (1793-1797 гг.) — Иоганн Готфрид Гердер и так далее и тому подобное.

В этом ряду и русские имена и работы: И. Ф. Богдановича, Я. П. Козельского, А. Н. Радищева, В. Ф. Малиновского.

Василий Федорович Малиновский, автор «Рассуждений о мире и войне», впоследствии был директором Царскосельского лицея. Но это не единственная, конечно, причина того, что и

[1] Народное право (франц.).
[2] Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22-ти т. М., 1979, т. 4, с. 20-21.
[3] Там же, с. 34.

бывший лицеист А. С. Пушкин одно время весьма активно жил мыслями и идеями «вечного мира».

Идеи эти носились в воздухе, обсуждались, вокруг этого кипели страсти, глохли и снова вскипали — несмотря на весь холод скептиков и историческую реальность, которая снова и снова все мечты о «вечном мире», этом «шедевре разума» (И. Кант), низвергала в грязь и кровь новых войн, все более безрассудных, безудержных, жестоких.

И тем не менее в письме А. С. Пушкину даже такой рациональный ум, как П. Я. Чаадаев, мог вот так рассуждать, думать, надеяться: «Не поговаривают ли о всеобщей войне? Я утверждаю, что ее не будет. Нет, друг мой, путь крови уже не есть путь провидения. Как бы ни были глупы люди, они не бўдут больше терзать друг друга как звери: последняя река крови пролилась, и сейчас, когда я вам пишу, источник ее, слава богу, иссяк (письмо от 7 июля 1831 г.— А. А.). Без сомнения, нам угрожают еще грозы и общественные бедствия; но уже не народная ярость принесет людям блага, которые им суждено получить; отныне не будет больше войн, кроме случайных — нескольких случайных и смешных войн, чтобы вернее отвратить людей от привычки к убийствам и разрушениям»[1]

За пятнадцать лет до первой мировой бойни — детища нового времени, империализма — была опубликована книга М. А. Энгельгардта «Прогресс как эволюция жестокости». Даже автор книги с названием, казалось бы, столь пессимистическим, лелеял надежду, что наконец-то человечество вырвалось из кровавой, бесчеловечной полосы своей истории и вступает в век без войн, без прежних жестокостей.

И что же, что-нибудь переменилось: войн стало меньше или они менее жестоки, бесчеловечны? Да нет же! Говоря словами Андрея Вознесенского, «па олимпиаде жестокости» век двадцатый взял бы призы, побил все рекорды.

Тогда на что же надеяться? На что рассчитывать на исходе самого «воинственного» века?

Ничего вроде не изменилось. Кроме одного. *У человечества, у людей не осталось больше ни времени, ни права не относиться всерьез к той самой, так долго ими игнорируемой, идее и мечте о «вечном мире».*

Изобретатель динамита Нобель, помнится, обещал и даже гордился: мое средство, моя взрывчатка, дескать, дает и сделает больше для устранения войн из жизни людей, чем все ваши конгрессы в защиту мира!

---

[1] Переписка А. С. Пушкина: В 2-х т. М., 1982, т. 2, с. 284.

Задолго до атомного оружия возникла эта надежда и не раз высказывалась: развитие техники уничтожения достигло такой стадии, когда оружие убивает, убьет не людей, а саму войну!

А потом разразилась невиданная война, мировая, за нею — вторая.

Сегодня как никогда ясно, что само по себе оружие, какой бы катастрофической мощью оно ни было начинено, войну убить не может, полагаться на это — безумие. Одно из опаснейших безумий нашего времени. Несколько отдалить войну, передвинуть нас чуть-чуть в будущее, когда оружие обретает еще более всеразрушительную мощь,— это, оказывается, возможно, это произошло, происходит. Но это лишь отсрочка, которой человечество распорядилось, пользуется далеко не самым умным образом. Мегатонн стало больше, намного больше, их апокалипсическая мощь нависает над всем живым, как паровой молот над мотыльком, а потенциал мирной решимости, готовности всем пожертвовать ради самого главного, важного (перед лицом всеобщей гибели — единственно важного) — этого если и прибавилось в мире, в людях, в их поступках, в поведении и действиях человечества, то все равно — видимо, непропорционально мало, неадекватно усиливающейся угрозе.

Времена, когда идея «вечного мира», существования без войн и оружия могла быть лишь отдаленной мечтой, неблизкой целью (в лучшем случае, а то и просто блажью каких-то одиночек не от мира сего),— времена эти прошли, все переменилось, и это необходимо осознать, понять как можно скорее и как можно большему числу людей. «Мир навсегда», мечта о нем в наших, в современных условиях — ближайшая практическая цель, важнее которой нет ничего! «Реалисты», «реальные политики» и «мечтатели», «утописты» поменялись местами, знаки поменялись: плюс на минус и наоборот.

Дж. Шелл, автор книги «Судьба земли»[1], которая потрясла сознание огромного числа людей на Западе, открывая им глаза на катастрофические последствия ракетно-ядерной войны, так об этом говорит: «Поскольку политике не удается занять твердую позицию в ядерном вопросе, она больше, чем какой-либо другой род деятельности, занимается ложью, с которой нам всегда приходится иметь дело,— притворством, будто жизнь, построенная на крыше ядерного склада, может продолжаться… При таком робком, искаженном образе мышления «реализмом» называют убеждения, наиболее заметной характеристикой которых является неспособность признать основную реальность нашего века, яму, в

---

[1] Shell J. The Fate of the Earth. N. Y. 1982.

которую рискует угодить наш род; «утопическим» называют любой план, свидетельствующий о серьезном намерении предоставить человечеству возможность избежать самоуничтожения (если называть «утопическим» желание выжить, тогда «реалистическим» должен быть путь к смерти); а политические мероприятия, которые ставят нас на грань уничтожения, считаются «умеренными» и «приемлемыми», тогда как новые мероприятия, способные отвести нас на несколько шагов от края пропасти, называют «экстремистскими» или «радикальными». Такими устрашающими, парализующими всякую мысль эпитетами сторонники сохранения статус-кво поддерживают анахронический образ мышления и стремятся блокировать революцию мышления и действий, необходимую для того, чтобы человечество могло продолжить существование».

В условиях нашего времени роль и значение литературы, искусства, их практическое участие в спасении человечества, планеты также должны быть осмыслены, осознанны по-новому. Но дается это не легко — каждый по себе ощущает.

Полвека спустя после смерти автора проекта о «вечном миро» аббата Сен-Пьера его последователь Иоганн Гердер написал: «Если бы Сен-Пьер воскрес и увидел бы, что его идеи, желания, надежды стали в известном смысле достоянием всех добрых и достойных... он бы, наверное, сказал: «Время прошло быстрее, чем я предполагал»[1]. Но потом еще и еще, дважды полвека минуло, но практического воплощения тех идей все не предвиделось.

Сегодня стремление ко всеобщему миру стало стремлением, важнейшим желанием, требованием многомиллионных масс людей. Однако и времени в обрез. А потому необходимость действовать во имя практического утверждения идеи мира на планете — небывалая. Именно действовать. Этому устремлению и требованию не может не быть подчинена и жизнь литературы.

* * *

> Все благородные люди обязаны повсеместно распространять это убеждение; отцы и матери должны так поведать детям о том, что они пережили во время войны, чтобы это ужасное слово «война», которое так легко произносится, люди не только возненавидели бы, но и не решались бы его выговорить или написать и произносили бы с таким же трепетом, с каким упоминают о безумии, чуме, голоде, землетрясении, оспе.
>
> *Иоганн Готфрид Гердер. Письма для поощрения гуманности*

[1] Трактаты о вечном мире, с. 24.

После довольно бурной белорусской республиканской научной конференции 1983 года, посвященной современным проблемам «военной» прозы (и вообще — дню грядущему), когда еще звучало, длилось эхо наших споров, случился у меня довольно характерный разговор с художником-графиком, талантливым оформителем, интерпретатором «военной» литературы. Именно о том разговор, что мы, что каждый из нас может в нынешней ситуации. Да, все сдвинулось к самому краю, сползает, скользит, но что мы, мы-то что можем сделать, те же писатели, художники? Если всерьез соизмерять происходящее, участвующие в этом силы и «массы» с собственными возможностями, «весом» наших профессий. Не прав ли тут Владимир Солоухин, который в белорусском публицистическом телефильме «Формула гуманизма» заявил полемически, но вполне определенно: нас никто не спрашивает и не спросит! Начинали войну Ирак с Ираном — кто спрашивал у писателей? Или на Ближнем Востоке. Что тут значит мнение писателей, художников? Слова их на весах международной политики не много тянут. А потому давайте, дескать, заниматься делом, где мы что-то можем, значим — на вечной ниве нравственного восстановления человека. Ведь столько пьяниц, бездуховности — как с этим идти в будущее?!

По-своему это убедительно, но не обошелся Владимир Солоухин без фразы-заклинания, которую принять всерьез, «наповер» (как бы нам этого ни хотелось!), видимо, рискованно: «Войны не будет! Не будет войны!»

Но нет, никакими заклинаниями и «аутотренингами» не спять, не рассеять их — жутчайшие тревоги планеты, по которой расползается раковая опухоль термоядерного оружия. Не вправе и литература прятаться от главной угрозы — даже в другие заботы, дела, пусть тоже важные, злободневные. И эти, другие, внутри главных забот, тревог существуют. Не рядом, а внутри!

Вот, казалось бы, экологические проблемы, грозящие не меньшей, по утверждению многих ученых, чем ядерная война, катастрофой,— они вроде бы даже пошире военной угрозы, глобальнее. Но и они — внутри этой, военной, до которой мы не знаем, сколько времени осталось: годы, месяцы или минуты. (Осталось, если людям, если нам не удастся угрозу эту победить.)

Можно и не соглашаться вполне, но прислушаться к предупреждению известного американского психолога Э. Фромма стоит: «Жизнь на протяжении некоторого времени под постоянной угрозой уничтожения создает определенные психологические изменения у большинства человеческих существ — испуг, враждебность, бесчувственность... и итоговое безразличие ко всем

ценностям, которым мы поклоняемся. Подобные условия трансформируют нас в варваров»[1].

Начиная с 1947 года американский журнал ученых физиков «Bulletin Atomic Scientist» в каждом номере публикует изображение часов, стрелки которых показывают, насколько угроза термоядерной катастрофы приблизилась или отодвинулась от нас, людей. Сколько осталось до полуночи — до термоядерного Армагеддона…

В таком мире, под такими «часами» живет сегодняшний человек, миллиарды людей. И даже перестают замечать, в каком мире живут, это становится вроде бы «нормой», ибо, как сказал Федор Достоевский, человек — это существо, которое ко всему привыкает. Но иногда только кажется, что привыкает. На самом же деле призрак всеобщей гибели витает над всеми и оказывает на человеческую жизнь порой незаметное, но все возрастающее давление.

Психика человеческая, впервые столкнувшись с подобной ситуацией, начинает пробуксовывать, никак не настроится на «адекватную» реакцию. (И литературе это дается пелегко — соразмерная, адекватная реакция.)

Дж. Шелл пишет: «Мы знаем, что в любой момент можем упасть в пропасть, но мы также знаем, что это может и не произойти. Жизнь продолжается — что же еще опа должна делать? — но спотыкаясь и нерешительно, подобно человеку, двигающемуся ощупью в темноте по краю бездны. Рассудком мы признаем, что приготовились к самоуничтожению, и с каждым днем повышаем свою готовность, но эмоционально и политически мы не нашли ответа. Поэтому мы стали жить, как если бы жизнь была безопасной. Но жить как если бы — это совсем не то, что жить нормально. Происходит разрыв между тем, что мы знаем, и тем, что чувствуем. Мы помещаем свои повседневные дела в один отсек своей жизни, а угрозу всей жизни — в другой. Но такое разделение касается слишком важного вопроса, чтобы ограничиться констатацией этого факта, и оно начинает влиять на остальную жизнь. Давно уже отрицание реальности стало привычкой — господствующей модой в жизни общества, а неотзывчивость — образом жизни. Общество, согласившееся с угрозой своего полного уничтожения, вскоре обнаруживает, что ему трудно реагировать на меньшее зло…»

На то же пьянство, на ту же бездуховность и пр. и пр. реагировать. А потому (как бы нам этого ни хотелось) литература не в состоянии выделить, вычленить «меньшее зло» из всеобщего

---

[1] Новое время, 1984, № 27, с. 30.

(термоядерной угрозы) и бороться с этим более или менее успешно. Будет, есть в такой попытке, в таком подходе изначальная фальшь, трусость, которая лишит писательское слово, позицию художника нравственной основательности.

Нет, не рядом все это существует, а все внутри самого большого зла — термоядерной угрозы самому роду человеческому!

В нашем с художником-графиком разговоре о том, что можем, в состоянии мы сделать в сложившейся ситуации, а чего не можем, припомнилась, всплыла встреча с немцами из Западного Берлина, с группой «акции искупления». До приезда в Минск молодые немцы побывали в Скандинавии, на Ближнем Востоке — все по следам отцов своих. Работают, созидают в странах, где их отцы разрушали, убивали. Акция подобного искупления, что И говорить, больше символическая. И даже, как тут сказать... Особенно — в нашей Хатыни. Следы-то отцов совсем Не символические, а очень даже «материальные»: огромное кладбище деревень! Какой работой их искупишь?

Не знаю, что думали, чувствовали Василь Быков, Виктор Козько, Галина Василевская, когда собирались на эту встречу. Мне же было определенно не по себе. Камня за пазухой не нес, но на сердце камень лежал, тяжелый.

И вот уселись за овальным столом в доме Союза писателей Белоруссии, заговорили они, сказали свое мы о войне; конечно, и прошлой, и грозящей...

Подошел, подвели к нам высокого, застенчиво неловкого парня — с изуродованным лицом, без глаза, на руке нет пальцев. Оказывается, «акция искупления» уже стоила крови: следы взорвавшейся бомбы, которая убила насмерть брата этого парня. Произошло это на Ближнем Востоке, где побывала «группа искупления» — печальная случайность. Случайность, но и звено в цепи, тянувшейся к кровавым делам их отцов... После этого и особенно когда девушка-немка громко сказала: «Мы верим вашим словам больше, чем родителям своим», беседа пошла совсем в неожиданном направлении. Мы — и Василь Быков, и Виктор Козько, и Галина Василевская, и я — все, как сговорившись, стали припоминать случаи (к сожалению, нечастые), когда немцы-оккупанты вели себя у нас не как фашисты, а как люди. (Вроде того «чудного немца» в Борках Малорицких, который рыдал и бился о землю от горя в день, когда его соплеменники убивали белорусских женщин, детей.)

Вдруг захотелось нам, чтобы тяжесть вины отцов не так давила на сердца, души этих парней, девчат из Западного Берлина, которые всерьез приняли историческую вину нации и несут ее честно. Да, невозможно предотвратить еще более

страшную войну, катастрофу, если не пойти навстречу друг другу с открытыми сердцами, очищенными от страстей и предрассудков, накопившихся за всю прошлую историю.

Немецкая девушка, которая памяти Хатыни, памяти Белоруссии поверила больше, чем родительской, передала нам листовку — воззвание американских женщин, обращенное к соплеменникам и людям других стран.

Об этой листовке и пошел у нас с художником разговор. Ведь они, женщины эти, объявляющие голодовку (бессрочную, как в свое время ирландцы), никак не могли рассчитывать, что их ультиматум: сделать реальные шаги по разоружению немедленно, уже этой осенью — заставит фанатиков сверхвооружения отступить от своих программ.

Так зачем они это сделали, делают? Бессрочная, значит, до полного истощения, может быть, смерти. Тут уже не символика, тут — жизнь и смерть сошлись.

Могли бы и они сказать: да что мы можем, что это даст?! Возможно, очень даже возможно, что ничего не даст их поступок. Конкретно реального ничего. Но ведь действуют они так, а не иначе, видимо, потому, что иначе не могут,— просто у этих женщин реакция адекватная угроза, ситуации. Потому что речь о жизни и смерти детей их, внуков, правнуков. Другие, может быть, не задумываются или сумели себя убедить: даст бог, не случится! Эти так ие могут, они ощутили: случится, если я, если мы не будем поступать именно вот так!

А если случится, какое значение имеет, что значит моя жизнь, которой, кстати, тоже гореть в общем пламени!

Не отсюда ли готовность английских женщин, блокировавших военную базу Гринэм-Коммон, снова и снова прорываться сквозь колючую ограду на площадки, где устанавливаются крылатые ракеты, несмотря на все угрозы и издевательства солдатни.

Адекватная реакция на соответствующую ситуацию — это всего лишь адекватная реакция. Но это можно называть и героизмом, то есть исключительным поступком,— пока далеко не всем дано вести себя так же.

Когда Норманн Мейер, американский фермер, пошел на отчаянный шаг — пригнал свой рабочий грузовик к памятнику Вашингтону, что на виду у Белого дома (президент мог видеть его из окна), и заявил: «Взорву, если президент не объявит, сегодня же, референдум по вопросу «фриза» (замораживания арсеналов), разоружения»,— было очевидно, что это — безумная реакция на безумную политику. И безнадежная, беспомощная. Не более того. Мало кто поверил, что в грузовике действительно взрывчатка.

Журналисты, пока фермер с раннего утра до позднего вечера ходил с мнимым радиовзрывателем вокруг машины, разведали, кто он, что он: активный борец за мир, человек исключительно порядочный, честный. Но напряжение перед телевизорами в Америке в этот день было большое. Не потому ли, что люди — возможно, даже полицейские, что стерегли, а затем застрелили Норманна Мейера — понимали: он ведь ради нас всех! Это всем урок! Не в том смысле, что такими методами можно и надо пользоваться,— тут как раз возникали неприятные ассоциации с терроризмом, выгодные властям: может быть, потому они и тянули с финалом, расправой до самого вечера, имея в виду дискредитацию борцов против гонки вооружений,— но чисто человеческие чувства Норманна Мейера, его готовность жизнью пожертвовать в ситуации более чем критической — это все тот же пример адекватной (по решительности) реакции на происходящее.

Чтобы превозмочь в себе слабость, нерешительность, надо ясно представлять реальную ситуацию и чем в конечном счете грозит каждая большая или малая победа могильщиков планеты.

«Слепящиий белый свет огненного шара в течение 30 секунд будет освещать место действия. Одновременно от высокой температуры, возникшей в результате ядерного излучения, загорятся все воспламеняющиеся предметы и начнут плавиться оконные стекла, автомобили, фонарные столбы и все прочие предметы из металла и стекла. Люди, находящиеся на улице, в скором времени превратятся в сильно обуглившиеся трупы. Примерно через пять секунд после световой вспышки обрушится ударная волна, несущая с собой обломки зданий из уже не существующей центральной части города. Некоторые здания окажутся раздавленными, как будто их сжал со всех сторон гигантский кулак. Другие могут быть сорваны с фундаментов и унесены вместе с прочими обломками. ...С юга на север устремится воздушный поток со скоростью 400 миль в час. Через несколько секунд он прекратится, а затем двинется в обратном направлении с ослабевшей скоростью. Пока все это будет происходить, огненный шар будет гореть в небе в течение десяти секунд, порождая тепловой импульс. В скором времени огромные густые облака пыли и дыма заволокут всю местность, и, когда вырастет грибовидное облако (оно будет иметь в диаметре около 12 миль), затмится свет солнца и день превратится в ночь. Через несколько минут пожары, возникшие под воздействием теплового импульса, а также в результате повреждения газопроводов, хранилищ газа и нефти и подобного, рассеят тьму, и сильный ветер задует в направлении взрыва. Как это было в Хиросиме, может возникнуть смерч, который пронесется над развалинами, и пойти

радиоактивный дождь... При огненном шторме вертикальное перемещение воздуха, вызванное огнем, засасывает воздух из окружающих районов в центр пожара, и поэтому пожары образуют один интенсивный пожар, создающий крайне высокую температуру...»

Это — взрыв бомбы в одну мегатонну, а их, мегатонн, накоплено много тысяч.

Видеть и оценивать нынешнюю ситуацию (и себя, свое поведение в этой ситуации) можно по-разному. Зная, мысленно видя вот это, такое, или же имея обо всем самое смутное представление. Могильщикам хочется, чтобы у людей оно было самое смутное. Или просто искажённое.

Американские школьники читают в своих учебниках, что радиоактивность, которую несет в себе атомная бомба, «чуть-чуть» опаснее, во всяком случае, сродни — сильному загару, когда «пересидишь на солнышке».

Мне пришлось видеть передачи по американскому телевидению на эту тему. Вот одна из них: ученый озабоченно говорит о серьезной, опасной ситуации, созданной атомным оружием, журналист, автор книги об Америке «после третьей мировой войны»,— о том, что лучше не рассчитывать на «выживание». А рядом сидит кругленький, аккуратненький, чиновничьего вида человечек с лицом загадочно спокойным. Что этот скажет, у этого наверняка все рецепты, все рекомендации — как быть, как спастись Америке? Открыл рот, и снова — лопаты! Вырой яму, прикройся слегка, и ты спасен! В супериндустриальной Америке в последнее время лопата стала популярнейшим инструментом. Все проблемы можно решить, если только наделать их достаточно. Американские сторонники мира, однако, уже перехватили у администрации этот «аргумент»: «Парни Рейгана Америку похоронят по первому разряду — хватило бы лопат!»[1]

Зачем и кому надо сегодня любой ценой преуменьшить угрозу, которая с каждым днем возрастает и приобретает воистину космические масштабы?

Чья и какая корысть в этом?

И прежде были президенты, которые, конечно же, вполне выражали и защищали интересы Америки капиталистической, но вот что они (хотя бы иногда, но чаще, покинув президентское кресло) писали, говорили.

Дуайт Эйзенхауэр (в 1956 г.): «...эра вооружений кончилась», «род человеческий должен соизмерять свои действия с этой истиной или умереть». Он же — в своей прощальной речи в 1961

[1] Журналист-исследователь Роберт Шиэр книгу свою так и озаглавил: «Если хватит лопат. Рейган, Буш и ядерная война».

году: «...стол переговоров, хотя он изрезан многими прежними разочарованиями, нельзя менять на верную агонию поля битвы».

Джимми Картер: «...уцелевшие (после ядерной войны.— А. А.), если таковые будут, будут жить в отчаянии на зараженных руинах цивилизации, которая сама покончила с собой».

При Эйзенхауэре получила признание (а при Кеннеди закрепилась) доктрина ядерного сдерживания: у каждой стороны имеются средства для нанесения ответного удара, который причинит непоправимый, катастрофический ущерб нападающему.

Когда Дуайту Эйзенхауэру в 1953 году предложили производить больше ракет (тот самый военно-промышленный комплекс, о котором, уходя в отставку, Эйзенхауэр высказался с неожиданной резкостью и тревогой, как о силе, обретающей в Америке все более бесконтрольную власть), так вот, когда назвали цифру: 400 ракет «Минитмэн» ежегодно, президент ответил: «А почему бы нам не сойти окончательно с ума и не запланировать производство 10 тысяч ракет?»

Сейчас на планете более 50 000 боеголовок, тысячи ракет, но президент принялся из телеящика еженедельно внушать американским семьям: мало! мало! надо больше, больше!..

Вроде бы действительно забыли, что живое умирает только один раз. Что убить всех можно лишь один раз и это — навсегда. Пошла гонка цифр: на твою ракету, боеголовку — мои две, на этот тип оружия — два, три новых!

«То, что разыгрывается на наших глазах сейчас,— безразлично, наблюдаем ли мы события с далекой звезды или взираем на них глазами генерала, жившего в начале XIX века,— чистейший абсурд: каждый имеет возможность уничтожить каждого сто раз... тем не менее со всех сторон постоянно раздаются требования нового оружия. Политические деятели уподобляются умирающим, каждому из которых нужен один только гроб, а оп заказывает сто гробов».

Это из сборника, составленного из выступлений, статей авторитетных западногерманских общественных деятелей — противников бесконечного, самоубийственного «довооружения» Западной Европы[1].

В свое время, являясь единственной страной, обладающей ядерным оружием, США не пошли на договор об повсеместном отказе от его производства, в чем Эйнштейн и другие ученые пытались убедить американских политиков. Начались термоядерные гонки, как им казалось, вверх — к вершинам мощи, а на самом деле — к пропасти. И на бегу — мрачные подсчеты: 60-

[1] Jens W. (Hrsg.) In Letzter Stunde. Aufruf zum Frieden. Munchen, 1982.

80 млн. погибнет на каждой стороне, 120-130 и т. д., пока не дошли до того, что вице-президент США Джордж Буш всерьез пытался «обрадовать» американцев: 5 % все-таки выживут! Нет, «более пяти процентов даже в том случае, если обе стороны выпустят все запасы, которыми обладают». Ради этого надо «обеспечить возможность выживания верховного командования» (будут сидеть в супербункерах или носиться в спецсамолетах или на шатллах, пока все живое будет корчиться в огне!). Обеспечить «возможность сохранения промышленного потенциала» (с помощью первого удара с оснащенных лазерным оружием спутников, но тут уж заведомо врут, хорошо понимая, что от промышленности — первоочередного объекта ударов — не останется и пыли), а также «гарантировать защиту определенного процента граждан...».

С помощью тех самых лопат, которыми в свое время советовал запасаться помощник заместителя министра обороны США Т. К. Джонс?

А раз так — 5 процентов гляди что и выползут из радиоактивных руин цивилизации — началось азартное рекламирование (как каких-нибудь подтяжек), «примерка» сумасшедших доктрин: «затяжной», «ограниченной», «победоносной», «выживаемой»!

Академик Е. П. Велихов говорил на всесоюзной конференции ученых за избавление человечества от угрозы ядерной войны — в мае 1983 года:

«Говоря о возможности ограниченных ударов, контроля над эскалацией, затяжном и поэтапном обмене ядерными ударами, западные специалисты рассуждают о первом применении ядерного оружия, как о каком-то недоразумении, которое обе стороны примутся сразу улаживать совместными усилиями,— ну, может быть, обменявшись по ходу дела еще несколькими ударами,— пока удастся достичь взаимоприемлемого компромисса. Ничего не может быть опаснее таких нереалистических представлений. Они были бы переходом рубикона и вызвали бы цепь необратимых событий. Использование ядерного оружия поставит под угрозу жизненные интересы другой стороны и скорее всего вызовет ее ответный удар на максимальное поражение и в полном объеме. Ядерная война — это не совместное предприятие, не игра с заранее известными правилами и ограничениями, а в силу самих физических свойств ядерного оружия и последствий его применения — величайшая в истории человечества катастроф а».

Когда спросили американцев, оказалось, к концу 1983 года: более 80 % — за немедленное замораживание атомных арсеналов. Эта цифра почти совпала с другой; более 80 % американцев

убеждены, что в ближайшие 20 лет термоядерная война произойдет и человечество погибнет.

До чего же надо не уважать «массу», «толпу», собственный народ, чтобы их, этих людей, дурачить сказками насчет лопат и т. п. А именно этим заняты были те, кто в 80-е годы дорвался в Америке до рычагов власти — политиканы правого толка. Достаточно долго (особенно после поражения во Вьетнаме) их не хотели слушать в собственной стране, зато теперь они вовсю разболтались. И много лишнего выболтали, так что им даже пришлось оправдываться, вилять: перед европейцами и перед собственным народом.

Но все же откуда такой просчет: объявить на весь мир, что Западной Европе в войне, к которой устремилась Америка,— что Старому свету отводится роль «ложного аэродрома», на который лягут все взрывы, могущие накрыть собственно Америку. Европа для американских милитаристов — нечто вроде хоккейной рукавицы, которой они собрались ловить атомные бомбы, ракеты.

Команда президента наговорить, выболтать успела многое.

Каспар Уайнбергер, министр обороны США: «Сколь бы ужасным и трагичным это ни казалось миру, факт состоит в возможности применения некоторых ядерных вооружений в связи с войной, которая до некоторого времени велась бы исключительно на европейском театре военных действий».

Кому может понравиться, когда предлагают: «Приютите наше оружие первого удара и выполните тем самым вашу миссию. А потом на свалку! Мир вашему праху!» (Так оценил вышесказанное взбунтовавшийся генерал Нино Пасти.) На что они рассчитывали? На то, очевидно, что все в мире ослеплены такой же ненавистью к «русским», «советским», как и они: лучше быть мертвым, чем красным!

А когда поняли, что просчитались, что Европа умирать, гореть за них и вместо них (и вместе с ними также) не желает, замелькали в телеящиках физиономии американского военного министра Уайнбергера, госсекретаря (вскорости ставшего бывшим) Хейга, самого президента и все, конечно же, обиженные.

Как-то очень знакомо обиженные…

Когда «лионский мясник» Клаус Барбье наконец сел на скамью военных преступников, которая его дожидалась почти сорок лет, в Москве в марте 1983 г. состоялась пресс-конференция для иностранных и советских корреспондентов. Бывший узник фашистского концлагеря житель Ростова А. Печерский рассказал, что, когда он выступал в качестве свидетеля в западногерманском суде, адвокаты и судьи настойчиво интересовались, какие лица,

глаза были у эсэсовцев, когда они гнали свои жертвы в газовые камеры.

Что было «написано» на их мордах — это знаем мы, белорусы, особенно хорошо, вблизи рассмотрели в наших Хатынях. Обида была на тех физиономиях. Да, обида на свои жертвы. Которые срывают график работы: не идут, куда велят, не хотят добровольно заходить в сарай, в церковь — мешают выполнять приказ, «программу». Гореть не хотят!

Палачи, каратели всех времен и народов (особенно «идейные»), все они и всегда — «не для себя», а ради «цели», «идеи» стараются, ради кого-то и чего-то. А их почему-то проклинают, мешают им. И прежде всего — сами жертвы.

А потому и жалуются: «Я пришел к выводу, что налицо глобальный заговор с целью осложнять мою работу практически ежедневно».

Всегда удобнее, практичнее, чтобы жертвы не знали, не понимали, что их ждет...

И вдруг, надо же, сами на весь свет объявили, кому гореть в числе первых, кому потом!.. Пришлось вертеться, успокаивать, ловчить, вытащили на свет и эти идиотские лопаты. Они и там фигурировали, лопаты,— когда немецкие фашисты подготавливали людей, деревню к смерти.

«А наш староста в ту, легковую, сел, и кудысь в этот угол отъехал, и слез, и так по хатам все бегает, по хатам бегает, и тех лопат насобирал. Еще люди не знали, думали, что, може, буде (немец) облаву делать на партизан или на что. Ничего не знали... А как лопаты насобирал, ну, то говорят люди: «Уже на нашу голову насобирал»[1]

Там предпочитали, чтобы о лопатах подумали как можно позже. Чтобы не сразу разобрались, к чему их, людей, готовят. А теперь Именно лопаты суют в руки, специально, но тоже чтобы одурачить: чтобы мегатонны, радиация, огненные вихри над планетой показались всего лишь небольшим бытовым неудобством.

Но в подобной игре с собственным населением очень мешают такие книги, как «Судьба земли» Дж. Шелла, которая, по признанию западной и нашей прессы, сыграла и играет заметную роль в антивоенном движении в самих США и в Западной Европе[2].

---

[1] Адамович А., Брыль Я., Колесник В. Я из огненной деревни... М., 1979, с. 502.

[2] «Известия» от 24 августа 1983 г. отмечали (статья Н. Турканенко «Отвергая опасные концепции Пентагона»): «Пожалуй, первым широко опубликованным в США подробпым — и устрашающим — исследованием на эту тему была серия статей известного журналиста Дж. Шелла (в рассчитанном на интеллигенцию журнале «Нью-Йоркер»), изданных затем отдельной книгой «Судьба земли», которая разошлась буквально в считанные дни». Книга подробно рецензировалась в «Иностранной литературе» (1983, № 7). Автор статьи «Пусть никогда не наступит «ядерная полночь» Г. Шахназаров подчеркивает серьезность и актуальность работы Дж. Шелла, ее основной пафос, направленный против зловещих усилий политиков-«атомщиков» преуменьшить угрозу, исходящую от их планов термоядерной войны.

И такие телефильмы и фильмы, как «На завтрашний день», «Военные игры».

Телефильм «На завтрашний день», книга Дж. Шелла «Судьба земли» — пример и доказательство в споре о том, что может один человек, что несколько человек могут сделать для предотвращения катастрофы, как много значат слово и образ, если они действительно соответствуют ситуации, выражают всю правду безбоязненно, с настоящим чувством ответственности.

Администрация бормочет о лопатах (главное, не молчать, делать вид, что есть что сказать и чем успокоить), а Дж. Шелл объясняет, какими «лопатами» будет действовать война, если ее развяжут.

«Как я узнал от д-ра Кендалла и из других источников, вспышки белого света внезапно осветят огромную территорию страны тысячами солнц, каждое — ярче настоящего. Свет этот разольется над городами, пригородами и другими населенными пунктами. В эти же мгновения после налета первой волны ракет основная масса населения в районах первоочередных целей будет поражена радиацией, раздавлена или сожжена. Возникшие тепловые импульсы могут создать заряд тепловой энергии на территории более 600 тысяч кв. миль, что составляет 1/6 площади суши США, на уровне минимум 40 калорий на кв. сантиметр — при таком уровне температур люди обугливаются... Десятки миллионов людей превратятся в дым... В течение десяти секунд или что-то около этого после взрыва каждой бомбы от тысяч эпицентров пойдут ударные волны, которые сметут прочь все материальные ценности в Соединенных Штатах, подобно тому как порыв ветра уносит листья. 600 тысяч кв. миль территории, уже выжженной и оплавленной от температуры в 40 или более калорий на кв. сантиметр, теперь подвергнутся воздействию ударных волн... В результате буквально все жилища, производственные предприятия и все прочее, созданное человеком,— по существу, все, сотворенное человеком в Соединенных Штатах,— будет превращено в пар и дым. Вспыхнут пожары в городских развалинах и во всех достаточно сухих лесах. Они буквально сожрут дотла Соединенные Штаты».

* * *

> Все шире надо распространять убеждение в том, что героический дух, проявленный в завоевательных войнах, есть вампир на теле человечества и отнюдь не заслуживает той славы и почтения, которые воздают ему по традиции, идущей от греков, римлян и варваров... Объединенными усилиями всех обладающих разумом надо развеять ложный ореол, окружающий имена Мария, Суллы, Атиллы, Чингиз-хана,

Тамерлана, пока наконец всякий образованный ум не поймет, что песни о них столь же героичны, как и песни про разбойника Липса Туллиана.

Иоганн Готфрид Гердер. Письма для поощрения гуманности

Но дело не только в чьей-то злой воле — не позволить людям вовремя осознать, что им уготовано... Дело иногда и в самой психологии человеческой, которая впервые столкнулась с подобной ситуацией. Тот же Дж. Шелл пишет: «И всякий, кто изучает последствия ядерного побоища, обязательно испытывает мощное воздействие противоречивых эмоций. Почти наверняка можно сказать, что преобладающим будет чувство глубокого отвращения к открывающейся картине разрушений, страданий и смерти. Отвращение может сопровождаться ощущением беспомощности от сознания неспособности человеческой души постичь ужас в таком масштабе... После подобной реакции может произойти отступление — решение, принятое сознательно или бессознательно, не думать больше о возможности ядерной катастрофы. (Поскольку такая катастрофа представляет собой бедствие не наших дней, а лишь будущего, думать о ней не обязательно, и всегда есть возможность отказаться от таких размышлений.): Стараясь справиться с ядерной опасностью, человек чувствует себя больным, а прогоняя эту мысль прочь, как, очевидно, человек должен поступать почти всегда, чтобы быть в состоянии жить дальше, он снова чувствует себя хорошо. Но подобное чувство благополучия имеет в своей основе отрицание важнейшей реальности нашего времени и поэтому само по себе является своего рода болезнью».

Советский ученый Марат Вартанян, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, пытается рассмотреть и оцепить эту проблему во временной перспективе.

«Был предложен ряд гипотез, пытающихся объяснить несоответствие между реальной угрозой ядерного катаклизма для человечества и пассивным отношением к этой угрозе широких слоев населения. Предпринимались попытки привлечь некоторые представления из области индивидуальной психологии для объяснения поведения больших групп населения. Рассматривались, в частности, поведенческий феномен «вытеснения», явление «адаптации», «абстракции» и другие. Обычно под феноменом «вытеснения» понимается стремление людей вытеснять из сферы своего сознания неприятные для них мысли или переживания о возможном возникновении тяжелых злокачественных болезней, неизбежности смерти и другие.

После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки широко развернувшееся общественное движение во многих странах против использования атомного оружия было прямой реакцией на

ужасы разразившейся в этих японских городах катастрофы. Однако последующие десятилетия были отмечены значительным спадом общественной реакции на ядерную угрозу. Несмотря на последовательное накопление в мире ядерного потенциала, пополнение атомного арсенала вооружений в ряде стран, не отмечалось соответствующего (пропорционального) возрастания общественной озабоченности по поводу усиливающейся угрозы ядерной войны. Из-за большого срока давности ядерного взрыва трагедия Хиросимы и Нагасаки в представлениях молодого поколения превратилась в некую абстракцию, лишенную образного, конкретного выражения, не создающую полного ощущения размеров грозящей катастрофы. А это также способствует недостаточному пониманию людьми реальной опасности гонки ядерного вооружения. Многие в связи с этим не усматривают и не осознают качественной разницы между эффектами действия обычных видов оружия и ядерного оружия. Поэтому отсутствие опыта и абстракция рассматриваются некоторыми как возможный психологический механизм недооценки реальностей и последствий ядерной войны.

Однако чем более реальной становилась угроза, тем более серьезные поведенческие реакции возникали в ответ на опасность»[1].

Вот об этом — о «поведенческих реакциях», адекватных или по вполне адекватных,— и хочется продолжить разговор. И о роли искусства, литературы в выработке именно адекватной реакции на угрозу, которая, что и говорить, с трудом вмещается в паше сознание. (Тем самым об адекватной реакции самих литературы, искусства.)

На Московском кинофестивале 1983 г. второй жизнью зажил старый, 50-х годов, фильм Стенли Креймера (тогда произносили: Крамер) «На последнем берегу» (по роману Невила Шьюта).

Вспоминаю, как мы его смотрели и восприняли — слушатели Высших сценарских курсов в 1963 г. (Этот фильм и еще — «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился любить бомбу» Стэнли Кубрика.) Фильм Стэнли Креймера, помнится, воспринимался нами, слушателями сценарских курсов, излишне «профессионально» (как же — будущие Антониони-Феллини!), но и поныне все стоит перед глазами: бесконечная очередь последних жителей планеты, австралийцев, за получением усыпительных таблеток. Стоят семьями, с детьми, выделяются влюбленные пары (кстати, подумалось сейчас, не фильм ли этот повинен в том, что из Западной Европы, от бомбы бегут именно в Австралию.

[1] Вартанян М. Война против умов,— Век XX и мир, 1983, № 3 с. 27.

Правительство Австралии уже вынуждено отказывать в визах — столько их, ищущих убежища от будущей катастрофы). Радиоактивные тучи приближаются к последнему континенту, и люди спешат умереть хотя бы не мучительной смертью… Особенно запомнилась кладбищенски пустынная (ни души!) улица Сан-Франциско, на которую смотрят с моря, с мостика подводной лодки. Эта лодка разыскивает источник единственного радиосигнала: кто-то, видимо, выжил и подает слабый голос из пустыни радиоэфира. Наконец лодка добралась к нему (где-то в Азии), люди бегут, добежали по каким-то коридорам, вбежали… Ветер колышет штору, она задевает упавшую бутылку, а та надавливает на рычажок аппарата… Вот и все! Никаких развалин, ни одного трупа, не картина, а скорее «идея» всеобщей смерти, гибели, по с какой силой выраженная!

Но все-таки «Затмение» Антониони разговоров и споров вызвало несравненно больше в нашей среде, а уж о «Сладкой жизни» Феллини и говорить нечего.

У профессора-норвежца Нурланда, участника Марша мира-82, который по дороге из Хатыни мне сказал, что именно фильм «На последнем берегу» определил все его поведение в последующие 20 лет, реакция на проблемы, заостренные в фильме Стэнли Креймера, была, значит, более глубокая. И поведенческая реакция — куда более определенная, личностная.

По-разному влияют на людей и время, и обстановка, и психологическая предрасположенность, да и весь климат общественный. И тот самый психологический механизм «вытеснения» неприятных эмоций, тупиковых состояний, о которых упоминает Марат Вартанян.

Следует все же отметить, что Марат Вартанян несколько преувеличивает активную будто бы реакцию протеста сразу же после войны на факт появления атомного оружия. Ученые, в том числе ученые-физики, да, предупреждали, протестовали. Лео Сциллард, физик, разработавший взрывное устройство для атомной бомбы, набросавший черновик письма, посланного Эйнштейном Рузвельту, в котором президента убеждали опередить Гитлера и создать бомбу, он в том же письме целью дальнейшей жизни создателей бомбы провозглашал борьбу за ее запрещение.

Что касается «всего человечества», то оно в то время резко делилось на победителей и побежденных. Второй голос мало значил, да и не чувствовали они, представители стран, развязавших бойню, морального права кого-то судить-осуждать. А победившие слишком жили чувством, что паконец-то окончилось, и слава богу, что окончилось! Да и вера, что это война —

последняя, приглушала всякие мысли о новом оружии, страх перед ним.

В книге статей одного из крупнейших советских физиков П. Л. Капицы прослеживается любопытнейшая эволюция взглядов и оценок специалиста, за которой — движение самого времени, подводящего людей ко все более неоспоримому взгляду на действительную ситуацию, в которой человечество оказалось после Хиросимы и Нагасаки.

Толчок спорам среди ученых дал известный манифест Рассела — Эйнштейна (1955 г.), программного документа Пагуошского движения ученых за мир, в котором, в частности, говорилось:

«Мы убедились в том, что точка зрения специалистов на эту проблему не зависит в какой-либо степени от их политических взглядов. Она зависит только, как показали наши исследования, от степени знаний специалистов. Мы установили, что люди, которые знают очень много, выражают наиболее пессимистические взгляды.

Поэтому вопрос, который мы ставим перед вами,— вопрос суровый, ужасный и неизбежный: должны ли мы уничтожить человеческий род или человечество должно отказаться от войны...

Все мы пристрастны в своих чувствах. Однако, как люди, мы должны помнить о том, что разногласия между Востоком и Западом должны решаться таким образом, чтобы дать возможное удовлетворение всем: коммунистам и антикоммунистам, азиатам, европейцам и американцам, белым и черным. Эти разногласия не должны решаться силой оружия. Мы очень хотим, чтобы это поняли как на Востоке, так и на Западе.

Перед нами лежит путь непрерывного прогресса, счастья, знания и мудрости. Изобрели мы вместо этого смерть только потому, что не можем забыть наших ссор? Мы обращаемся как люди к людям: помните о том, что вы принадлежите к роду человеческому и забудьте обо всем остальном. Если вы сможете сделать это, перед вами открыт путь в новый рай; если вы этого не сделаете, перед вами — опасность всеобщей гибели»[1]

В Манифесте прозвучали слова о необходимости ограничить национальный суверенитет, а также о том, что никакие запреты на использование атомных, водородных бомб не являются надежной гарантией, пока «люди полагают, что войны, вероятно, могут продолжаться при условии, что будет запрещено современное оружие». Но любые соглашения мирного времени будут считаться необязательными в военное время, говорилось в Манифесте.

---

[1] Цит. по кн.: Хазин Г. С. В ответе перед будущим. М., 1984, с. 24.

«Ибо стороны немедленно приступят к изготовлению водородных бомб, как только разразится война, потому что если одна сторона начнет изготовлять водородные бомбы, а другая нет, то та сторона, которая обладает водородными бомбами, неизбежно окажется победительницей».

Скептические взгляды Б. Рассела на тогдашние предложения о запрещении ядерного оружия, без «запрета» на войны вообще, которые он развивал в своих выступлениях и заявлениях — с указанных позиций,— вызвали полемические замечания советского ученого П. Л. Капицы. П. Л. Капица исходил из безусловной, безоговорочной важности такого запрещения, невзирая на все его возможные недостатки.

Но в его полемике с Б. Расселом обнаруживается (для нас сегодня очень неожиданный) такой вот взгляд специалиста — на последствия термоядерной войны. Какие же последствия виделись тогда, в те годы — не нами, малосведущими, но крупными учеными?

«Разрушительное действие бомб любого типа,— писал П. Л. Капица,— на военные и гражданские сооружения может быть точно установлено. Как бы велико оно. ни было, опыт предыдущих войн показывает, что за одно поколение страна всегда может восстановить материальную базу, которая ей необходима для нормальной жизни. Но главным ужасом ядерного оружия являются исключительно тяжелые для людей последствия, вызванные загрязнением атмосферы, медленно распадающимися радиоактивными веществами»[1].

Все это так, соглашался П. Л. Капица, но «по данным, имеющимся сейчас в научной литературе, можно заключить, что большинство ученых считает, что отравление атмосферы даже после самой крупной атомной войны не приведет к прекращению жизни на Земле. К тому же нельзя забывать, что, как показывает история человечества, даже при эпидемиях самых ужасных болезней всегда находились люди, имевшие природный иммунитет, которые не гибли и не теряли жизнеспособности.

...В борьбе за предотвращение атомной войны необходимо также учитывать возможность того, что будет найдена полноценная защита от ядерного оружия... История показывает, что всякое новое оружие нападения всегда вызывало появление соответствующего ему нового оружия защиты. Трудно предположить, чтобы ядерное оружие представляло исключение из этого правила»[2].

---

[1] Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика: Статьи, выступления. М., 1982, с. 301.
[2] Там же, с. 292.

...Писалось это по конкретному поводу — в споре с конкретной позицией другого ученого, но в условиях своего времени, у которого были свои политические страсти, своя правота и свои заблуждения.

Как и у нас, у литераторов. Помнится вот такой случай тридцатилетней давности. Белорусский поэт Владимир Короткевнч — тогда он жил в Орше — напечатал стихотворение, в котором высказывал тревогу, что оружие, испепелившее Хиросиму, угрожает гибелью всему человечеству. «Как всему? — строго одернул его в оршанской газете некто Высоцкий,— А разве не ведомо поэту Короткевичу, что прогрессивная часть человечества погибнуть не может?» Минские литераторы попытались защитить Короткевича, но вместо нашего письма в газете «Літаратура і мастацтва» была напечатана еще одна отповедь «пессимизму» и «капитулянству».

Так что не сразу приходило к нам понимание всей опасности. Во всяком случае выводы из этой опасности делались нами далеко не все.

В статьях и выступлениях П. Л. Капицы более позднего времени взгляд на масштабы грозящей катастрофы не только изменился, но и стал совершенно категорическим: атомная война — смерть рода человеческого! Это позиция ученого, которому известна научная истина, по и, конечно же, человека 70-80-х гг., вполне осознавшего, кому и ради каких целей нужна в этом вопросе неясность, недоговоренность. И насколько это расслабляет волю, глушит ту самую поведенческую реакцию. То ли три миллиарда погибнет, то ли полтора... То ли семь, то ли пять процентов населения выживет... И вроде бы лично тебя это не так уж и касается: каждый запросто может включить себя в эти «проценты». И живи, как жил!

Выступая на встрече ученых в редакции журнала «Вопросы философии», П. Л. Капица развивал мысль о новом нашем, уже планетарном мышлении.

«Такое восприятие планетарного характера отношений человека с природой впервые возникло в связи с появлением атомной бомбы и с угрозой мировой ядерной войны. Общепризнано, что такая война, где бы она ни возникала, в несколько часов могла бы отравить весь земной шар и прекратить жизнь человека»[1]

Здесь это уже общепризнано. Время — 1972 г.

А в 1976 г. П. Л. Капица так высказался по данной проблеме — в лекции, прочитанной в Стокгольмском университете:

---

[1] Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика, с. 421.

«Теперь уже общепризнано, что при возникновении ядерной войны существующих уже сейчас запасов атомных бомб достаточно, чтобы истребить значительную часть народонаселения и, главное, так отравить радиоактивностью земной шар, что остальная часть либо погибнет, либо, принуждена будет вести существование, подобное существованию доисторического человека»[1].

Но даже к общепризнанному каждый приходит сам, если, конечно, говорить не просто о безразличной нам информации, а о «поведенческой реакции»: я это принял, вобрал в себя, а потому уже не могу думать, чувствовать, действовать, жить — как прежде, как вчера!

На минской научной конференции, посвященной перспективам развития «военной» прозы, ее современным проблемам, в числе других известных наших писателей выступил Даниил Гранин. И начал вот так: «Весьма интересным был доклад Адамовича[2]. Я бы сказал: романтический доклад, кричащий доклад, однако я не со всеми положениями этого доклада могу согласиться. Может быть, это хорошо, такими, вероятно, должны быть доклады — небесспорными. И одна из вещей, которую я не могу припять для себя или не знаю, как припять, это тональность доклада, в которой Адамович подводит нас к самому краю, прямо к вратам страшного суда. Прямо вплотную сталкивает с ликом всеобщей гибели и требует при этом какойто писательской работы. У меня руки опускаются. Я не знаю, что делать в такой обстановке. Карякин еще тут тоже прибавил... А между тем, действительно литература должна как-то на это отозваться, как-то реагировать».

Не прошло и месяца после конференции — в это время продолжались споры, мысли наедине, всплыла, как аргумент, книга Дж. Шелла и пр. и пр.— и вот Даниил Гранин сам пишет статью[3], тут же определенно кричащую. По-гранински умную и предельно острую. И в ней — заново осмысленная, остро осознанная готовность работать именно «на краю пропасти». А где же еще быть литературе, идти,— если не у самого обрыва, со стороны обрыва?

Ход размышлений Даниила Гранина — с обычных наших сомнений:

«Иногда кажется, что мы повторяемся, начинаем твердить друг другу одно и то же, возникает изжога, и смысл наших встреч ускользает. Для кого мы говорим, кого убеждаем, если мнения наши — сходятся?

---

[1] Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика, с. 431.
[2] Тема и название доклада: «Заглядывая в день грядущий».
[3] Статья эта — одновременно и письмо Ю. Ф. Карякину и мне, предназначенное для использования в планировавшейся нами совместной работе.— Примеч. авт.

Но что еще может писатель? Что может литература? Не переоцениваем ли мы свои силы?

Произнесено великое множество блестящих фраз, придуманы метафоры, сравнения талантливые, убедительные, написана библиотека проникновенных статей и эссе. Всего этого создано в таком количестве, что ни души, ни ума не потрясает. И все же писатель снова и снова упрямо долбит своим пером, как киркой, скалу абсурда. Когда я прочел статью Гюнтера Грасса о том, что ядерная угроза отнимает у всех нас будущее, или книгу Шелла «Судьба земли», где пункт за пунктом разоблачаются аргументы военных, политических и прочих апологетов новой войны в любой ее форме,— я испытал признательность авторам. Они освежили голову, сняли усталость мысли. Проникновенное слово писателя что-то еще может, и это успокаивает нас; произнеся свою речь, опубликовав статью, мы с чувством исполненного долга возвращаемся к своим стихам, романам, где гипертония предвоенного нашего состояния почти не сказывается.

Не пришел ли момент, когда в своей современной литературной работе писатель обязан выразить главную тревогу времени».

И дальше Даниил Гранин пишет: «На каком-то повороте наша цивилизация, наверное, и впрямь пошла по пути, который привел нас к краю пропасти. Мы извлекли силы, которые сулили могущество и всеобщее благополучие. Мы обманулись. Но амбиция мешает отступать, даже остановиться. Искусство, и в первую очередь литература, пытается как-то осознать ошибку, заставить опомниться, ужаснуться, устыдиться. Это нелегко. Поколение за поколением проводили жизни, поклоняясь военным подвигам. Кому стоят памятники на площадях городов Европы, Америки, Африки? Великим художникам, музыкантам, писателям, вождям, президентам. Но более всего — полководцам. Героям разных войн. Победителям сражений. Солдатам, маршалам, адмиралам.

Школьные учебники истории забиты описаниями войн, походов, завоеваний. Вся Европа заставлена мемориалами, всюду висят доски с перечнями жертв, белеют кресты на военных могилах. Ныне история добралась до последней войны, завершающей огромный список. Эта война должна стать несостоявшейся. Тогда может начаться новый отсчет времени. Новая история. Из того, что не было, из войны, умертвленной в своем чреве.

Новые Находки антропологов отодвигают время появления человека с миллиона, потом с миллиона семисот тысяч лет на два с половиной миллиона лет назад. Прошлого становится все больше, а вот будущего становится все меньше...»

* * *

> Нельзя положить конец войнам, продолжая вести их, распрям, разжигая их, преследованиям, преследуя людей. Для этого необходимо предпринять полное изменение всех этих дел.
>
> *Ян Амос Коменский. Вестник мира*

Мы обильно цитируем книгу Дж. Шелла, хотя и не все в пей может показаться сегодня приемлемым: например, авторская убежденность, что путь к спасению лежит через отказ от суверенитета. (Сразу встанет — если учитывать политические и государственные реальности — вопрос: в чью пользу?)

Но в книге есть главное: доказательный пафос невозможности, преступности атомной войны — под любым предлогом. Нет ни ценностей, ни мотивов, ни целей — ради которых стоило бы начинать, совершать атомное побоище.

И самая великая несправедливость — перед будущими миллиардами и миллиардами людей, которые будут жить собственными идеями и ценностями, а наши так или иначе в их жизни отзовутся — если мы, конечно, не оборвем цепь жизни.

«Вереница поколений тянется от нашего времени в такие дали, которых не может охватить наш разум, и в сравнепии с этим грядущим временем человека, которое превосходит всю историю земли до наших дней, краткий срок пашей цивилизации представляется бесконечно малым.

Если человеческий род истребит себя, это будет смерть в колыбели, подобно гибели ребенка» (Дж. Шелл).

Ядерная опасность превращает всех нас, независимо от того, будут ли у нас собственные дети или нет, в родителей всех будущих поколений. Если, конечно, мы, ныне живущие, всего лишь посланные от имени всех поколений, бывших и будущих, всего лишь «делегаты» — если не станем убийцами нас делегировавших.

И что же, мы их не впустим в этот мир (а заодно и себя заживо сожжем)? По какому праву? Только потому, что вперед них забежали? Тысячи миллиардов их ждут своей очереди, в сравнении с этим наши неполные пять миллиардов — все равно что пяток человек! И эти пятеро за все миллиарды людей и все будущие миллионы лет решат? Все накопленное матерью-природой за миллиарды лет пустят в распыл в течение нескольких минут?

Без всякой надежды на любое восстановление, повторение человеческого рода.

«Но если, как об этом до настоящего времени свидетельствует история развития жизни, земная эволюция способна лишь однажды породить такое чудо, как качества, которые мы сейчас

ассоциируем с человеческим существом, тогда всякая надежда исчезнет вместе с человеком» (Дж. Шелл).

И все это — только потому, что каждый всегда прав перед другими и его взгляды на устройство жизни «самые-самые»! Потому лишь, что 5 % человечества — Америка «привыкла жить», используя 1/3 часть всех нынешних энергоресурсов Земли, а следовательно, у американских транснациональных корпораций, куда ни кинь — везде зоны «жизненно важных интересов».

Или потому, что на старых картах или в старых книгах чьи-то территории обозначены как принадлежавшие «тебе»...

Но, даже если чьи-то претензии друг к другу и выглядят вполне справедливыми, как можно при этом не думать, что идя напролом к «тебе принадлежащему», обязательно подтолкнешь и без того неустойчивый мир к той грани, за которой уже не вопросы справедливости или несправедливости, а — величайшее преступление.

Происходящее в мире Дж. Шелл так характеризует:

«По сути дела, мы пытаемся проводить политику времен Ньютона в мире Эйнштейна».

«Говоря прямолинейно, каждое поколение, которое держит землю заложником на случай ядерного уничтожения, приставило пистолет к виску собственных детей».

«Нравственный аспект ядерного вооружения заключается в том, что оно превращает всех нас в соучастников убийства сотен миллионов людей и пресечения будущих поколений...»

Соучаствовать можно — участвуя. Как печально известный «шаман» ядерного оружия — американский физик Эдвард Теллер. (Да и вся «ливсрмордская» лаборатория физиков, которая не только охотно откликается на все запросы военно-промышленного комплекса, но и сама увлеченно подбрасывает ему новые идеи, как и на чем можно заработать миллиарды (например, идея «звездной войны» под видом «противоракетной защиты» научно обоснована Теллером и его коллегами по лаборатории).

Можно соучаствовать в числе тех самых равнодушных, при молчаливом попустительстве которых совершались все злодейства.

Или делая не все, что мог бы, должен бы. Действуя против атомной угрозы, но далеко несоразмерно ситуации.

Но ведь миллионы и милионы открыто, решительно отказываются участвовать в готовящемся самоубийстве. В том безумии, которое для многих политиков и военных Запада становится «нормой». Миллионы!

И книга самого Шелла — отказ соучаствовать, сопротивление как злой воле атомных идиотов, так и инерции несведущих. В книге этой как раз и обнаруживаются самосознание и

самоощущение той части западной общественности, тех людей, которые поняли, исповедуют главное: поскольку атомная угроза — это угроза самому существованию человека, жизни на земле, любые попытки преуменьшить ее, а тем более свои эгоистические интересы поставить выше самого права всех будущих поколений появиться и продолжить человеческую историю «проб» и «ошибок» — все это проявление губительного, непростительного безумия.

Нелепая, опасная и все еще распространенная иллюзия, что в глобальной атомной войне какая-то страна, народ, часть человечества могут все-таки выжить, держится на переоценке факторов, действительно имевших значение в предыдущих войнах (количество населения, масштабы территории, количество и качество вооружений, солдат «под ружьем»).

Но сейчас под ударом — сама экологическая система, которой поддерживается жизнь, существование человека на планете. Погибнет — в качестве места, пригодного для обитания,— наш общий космический корабль, а в этом случае какое значение имеет, сколько вас на нем и какие вы «отсеки» занимаете?

Чтобы по достоинству оценить, например, позицию автора книги Джонатана Шелла, где все это учитывается полностью, достаточно заглянуть в другие, наводняющие мировой книжный рынок — в том числе сочинения авторов, которые вроде бы тоже видят и рисуют катастрофические последствия атомной войны. Одна из таких книг — Магнуса Кларка — так и называется: «Уничтожение Британии в ядерной войне».

Вчитываешься и начинаешь замечать характерные нюансы: с одной стороны, прямое стремление посеять в соотечественниках тревогу, повлиять на общественное мнение картинами катастрофы, грозящей Великобритании, а через него и на действия правительства, с другой — посеять иллюзию, что выживание в атомной войне возможно, если... Вот в этом «если» вся суть позиции и цель книги: если правительство расширит и укрепит свои военные программы, службу противоатомной защиты и т. д. (Вся направленность книги — провокационно-аптисоветская: русские вот-вот нападут!)

Живописует, не жалея мрачных красок, ожидаемую катастрофу, но с такими недоговорками, оговорками, соображениями и рассуждениями, что у читающего должно оставаться чувство: атомная война — это, конечно, страшно, но не смертельно! Главное, что выжить можно. Процентик, в который каждый может спрятаться сам, прихватив с собой семью,— оставляется. Вот только если правительство не будет медлить с переоснащением армии, рытьем, оборудованием убежищ-выживалок и подготовкой населения...

«Большое значение для выживания нации имеет реакция людей, которые сумеют после бомбардировки сохранить себе жизнь надолго».

«В период между первым и вторым месяцами после нападения одной из важнейших забот будет...»

«Задачу обеспечения людей продовольствием после нападения должны решать местные власти».

«Первейшей задачей будет захоронение трупов».

«Жилищ, по крайней мере, будет достаточно, проблема бездомности вряд ли возникнет».

«Несмотря на то, что целями ядерных ударов будут большинство основных электростанций, снабжение электроэнергией, чему теоретически будет придаваться первостепенное значение, может оказаться вполне достаточным».

«Тем не менее «моральное состояние» страны через шесть месяцев после нападения будет еще весьма низким».

«Важнее всего то, что сразу после нападения катастрофически упадет рождаемость».

И даже: «Все войны сопровождались усилением случайных половых отношений, и, учитывая чрезвычайные условия обстановки после нападения, мимолетные половые связи и даже они свое сожительство могут приобрести характер новой общественной нормы».

То есть происходит нечто прямо противоположное тому, чего добиваются такие авторы, как Дж. Шелл: в сознание людей внедряется мысль о все-таки допустимости такой войны (во имя того-то и того-то), именно ради этого поддерживается мыслишка о возможности в такой войне все-таки выжить. Вот эта мыслишка и является и средством и целью в таких книгах — оправдать ту самую политику «времен Ньютона в эпоху Эйнштейна».

Нет, необходима вся правда — может быть, больше, чем в чем-либо другом. Вся!

Историей будет отмечено, что на государственном уровне от имени нашей страны была выдвинута, заявлена идея о создании комитета авторитетных ученых Земли, которые бы донесли до сотен миллионов людей планеты правду о катастрофических последствиях атомной войны. В осуществление этой идеи был создан в мае 1983 г. Комитет советских ученых в защиту мира, против атомной угрозы (КСУ), который возглавил вице-президент АН СССР Е. П. Велихов.

Устанавливаются широкие контакты с авторитетными учеными и организациями ученых других стран, и хотя власти европейских стран НАТО (и особенно США) всячески препятствуют созданию Всемирного Комитета по атомной угрозе, тем не менее

вполне определилась позиция в этом вопросе огромного большинства ученых земли. За исключением небольшой они ки, возглавляемой Теллером, самые авторитетные ученые всех стран — об этом говорил на таллинском заседании комитета советских ученых Е. П. Велихов — по существу одинаково расценивают последствия конфликта с применением атомного оружия как реальную угрозу самому существованию жизни на Земле.

Члены Комитета советских ученых сами и привлекая других ученых осуществляют необходимые исследования в избранном направлении. Вот некоторые из них:

1. Изучение климатических, экономических и других последствий ядерной войны (академик Е. П. Велихов, чл.корр. АН СССР Г. С. Голицин, проф. С. П. Капица)[1]

2. Исследование проблем, связанных с перспективой вывода в космос ударного оружия США и его воздействие на стратегическую стабильность (академик Р. З. Сагдеев, доктор историч. наук А. А. Кокошин)[2].

3. Глобальные последствия ядерной войны для развивающихся стран (чл.-корр. АН СССР А. А. Громыко, доктор историч. наук А. А. Кокошин, чл.-корр. АН СССР Г. С. Голицин).

4. Проблема замораживания ядерного оружия (академик Е. П. Велихов, доктор историч. наук А. А. Кокошин).

5. Проблема предотвращения случайного возникновения ядерного конфликта (чл.-корр. АН СССР К. К. Ребане).

Три последние темы исследования обсуждались на мартовской 1984 года таллинской встрече учопых и были рекомендованы для дальнейшей популяризации на других форумах, распространения среди ученых, политиков, в изданиях, рассчитанных на мировую общественность.

Уже одна идея и великолепное осуществление по инициативе Комитета советских ученых телемоста «Москва — Космос — Калифорния» (который должен бы стать постоянным!) говорит о том, как напряженно, творчески ищут наши ученые выход к самым смелым начинаниям, только бы пробиться к сознанию, к душам как можно большего числа людей.

Разве это не пример для деятелей литературы, искусства? Ученые, как видим, умело используют все возможные средства, каналы. И язык ученых воздействует на умы, сознание миллионов

---

[1] Результаты исследования докладывались на международном семинаре в Италии (г. Эрачо), в Папской академии наук, на международной конфереции «Мир после ядерной войны» (Вашингтон). Основные выводы советских ученых были также представлены на симпозиуме, организованном в конгрессе США сенаторами Э. Кеннеди и М. Хэтвильдом.

[2] С результатами этого исследования были ознакомлены руководители Федерации американских ученых на встрече в Тбилиси, а также Национальный центр космических исследований Франции, результаты его докладывались на Международном семинаре в Италии, а ряд положений опубликован в научных журналах США и Швеции.

людей сильнее нашего, литературно-художественного, художественно-публицистического. Это приходится признать.

Выступая на всесоюзной конференции ученых в Москве, член-корреспондент АН СССР Василий Емельянов привел вот такие примеры и наблюдения. Простые. И неотразимые.

«Мне пришлось побывать в местах, где за несколько дней до этого был произведен атомный взрыв. Ехал я туда в специально оборудованной машине. За 75 километров от эпицентра взрыва я вышел из нее и ужаснулся. Земля вокруг была неузнаваема: сплошь она была покрыта шлаком, мелкими черными камушками. Ни о какой растительной жизни нельзя было и думать, ибо покров земли был расплавлен до глубины полуметра. Это было в то время, когда мощь атомной бомбы мы исчисляли лишь в килотоннах, а сейчас, как известно, речь идет о мегатонных бомбах. Так что о какой-нибудь разумной жизни на Земле после ядерной войны не может быть и речи.

Позже мне пришлось участвовать во многих международных конференциях. Год совместно с учеными разных стран мы готовили специальный документ для ООН. В частности, там прогнозировались варианты будущей Европы после взрыва атомных бомб. Наши исследования показали, что, к примеру, если взорвать над Лондоном 15-мегатонную атомную бомбу, то люди и окружающие города погибнут от взрывной волны, пространство от Лондона до Парижа будет зоной смерти для всего живого.

Если взорвать двадцатимегатонную бомбу над Гамбургом, зона смерти распространится по всей территории ФРГ и дойдет до Австрии. Смерть будет преследовать людей, все живое на этой огромной территории Европы»[1].

Остро восприняли наши телезрители диалоги с американскими коллегами председателя советского комитета «Врачи за предотвращение ядерной войны» Е. Чазова.

«Мы понимаем, что говорим о страшных вещах,— отмечал Евгений Чазов в одном из интервью,— некоторые даже обвиняют нас, что мы кого-то запугиваем, по правду, имеющую отношение ко всем, лучше сказать вслух и прямо.

Альберт Эйнштейн говорил, что, если мы хотим быть живыми в современном мире, нам придется выработать строгие критерии мышления. Этими критериями могут быть только правда, мужество и честность»[2].

Особенно много в этом направлении могут, способны сделать ученые-общественники. Отрадный пример — статья Г. Шахназарова «Логика ядерной эры», опубликованная журналом

[1] Век XX и мир, 1983, № 7, с. 25.
[2] Чазов Е. Гиннократ против бомбы.— Век XX и мир, 1983, № 3, с. 20.

«Век XX и мир» (1984, № 4), а затем в «Вопросах философии» (1984, № 5).

«В истории пауки,— пишет автор,— переоценка понятийного аппарата проделывалась не раз. Всякий раз переход к новому образу мышления, растягиваясь на десятилетия, если не на века, сопровождался беспощадной борьбой: истина, по выражению Гегеля, рождается, как ересь, а умирает, как предрассудок.

На сей раз человечество не располагает запасом времени. Логика ядерной эры должна быть понятна и освоена в кратчайшие сроки, поскольку от этого в большой мере зависит преодоление самой ядерной эры и связанных с нею опасностей».

Вот некоторые — из числа важнейших выводов о логике ядерной эры:

— не существует политических целей, которые оправдали бы применение такого средства, как ядерное оружие;

— уровень безопасности в условиях ядерной конфронтации прямо противоположен количеству и качеству накопленных в мире средств массового уничтожения;

— национальная безопасность становится фикцией, если она не вписана в рамки коллективной безопасности.

«А поэтому,— говорит автор,— логика ядерной эры властно требует:

— отказа от национального эгоизма;

— безусловного предпочтения интернационального интереса национальному, что в действительности равпозпачно предпочтению подлинного, долговременного национального интереса — преходящему, сиюминутному»[1].

* * *

> Пытаться победить друг друга в гонке вооружений, рассчитывать на победу в ядерной войне — это опасное безумие.
>
> *Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI съезду КПСС*

Вице-президент АН СССР Е. П. Велихов видит в атомном оружии аналог зла, против которого в 40-е годы объединялась — сумела-таки объединиться! — большая часть человечества и которое поэтому было побеждено,— аналог фашизма. (Об этом он говорил, обращаясь к американцам в телепередаче «Мост: Москва — Космос — Калифорния»).

Даниил Гранин в уже цитированном письме-статье говорит:

[1] Век XX и мир, 1984, № 4, с. 10-12.

«Мы подошли к непредвиденному и никогда не существовавшему еще рубежу. Нам казалось, мы подходим к атомной эре невиданного могущества, к взлету, к расцвету. А познание сил атома обернулось ловушкой. Когда-то, изучая материалы для киноповести «Выбор цели», я видел историческую необходимость в создании атомной бомбы. Физики США и паши советские физики начинали эти работы, чтобы создать оружие против гитлеровской Германии. Том более что и там, у Гитлера, над этой проблемой работали фашистские ученые. Но ныне, спустя годы, мне начинает казаться, что мы попали в западню, созданную прошлой войною, что на атомном оружии лежит проклятие, фашизм как бы пытается мстить за свою гибель. Может, потому я воспринимаю борьбу за мир сегодня как продолжение борьбы с фашизмом, борьбу за право на жизнь. Ибо фашизм считал, что целые народы должны быть уничтожены, не имели права на жизнь. Борьба с фашизмом нам знакома, ее мы познали достаточно хорошо, познали и то, что фашизм может быть разгромлен физически и идейно.

Оптимизм питается не только верой в разум человека, это было бы скорее похоже на заклинание, на надежду. У оптимизма есть и реальные опоры, в том числе на общую нашу совместную борьбу народов с фашизмом. Она многому научила!»

Общее у бомбы и фашизма — замах на миллионы, на сотни миллионов жизней. Геноцид, немыслимый, невообразимый, но и вполне реальный,— вот синоним того и другого.

У Дж. Шелла нет прямых ассоциаций с фашизмом, но и он пишет: «О связи между геноцидом и всеобщим уничтожением может, кроме того, свидетельствовать тот факт, что в случае возникновения ядерной войны... сверхдержавы намерены пойти на геноцид друг против друга — стереть с лица земли другую сторону в качестве культуры и народа...»

На пресс-конференции в Москве в связи с выдачей французским властям Клауса Барбье и судом над нацистским последышем, которого после войны пригрели и спасали от расплаты американские спецслужбы, выступил корреспондент «Дейли уорлд» Майкл Давидов и высказался в том смысле, что Суд народов над новыми барбье, планирующими атомный геноцид, следует организовать сейчас: после ракетно-ядерной войны некого и некому будет судить!.. В перерыве я подошел к американскому корреспонденту, которого помнил и не раз цитировал в связи с его статьей о белорусских Хатынях, и спросил, как он понимает свое предложение. Да очень просто: создать Суд из известнейших юристов мира, авторитетных деятелей культуры и т. д. Главный и первый пункт обвинения: заведомый преступник против

человечества—всякий, наделенный властью, кто отказывается принять на себя обязательство не применять атомного оружия первым. Ведь и 38-я Сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла специальную Декларацию, объявляющую термоядерную войну, планирование ее — величайшим преступлением против человечества.

О дикой абсурдности атомного оружия и атомной «стратегии» Дж. Шелл пишет: «Страна превращается в радиоактивную пустыню, но средства нанесения ответного ядерного удара сохранились в шахтах, на бомбардировщиках и подводных лодках. Эти руководители, которым уже некем руководить, которые сидят в подземных бомбоубежищах или в самолетах «судного дня» и не могут приземлиться, будут располагать средствами национальной обороны, но нации, которую нужно оборонять, уже не будет. В чем же для них будет заключаться цель нанесения ответного удара? Поскольку нации уже нет, то этой целью не может быть обеспечение «национальной безопасности». Не может быть этой целью и защита других народов, потому что ответный удар может окончательно погубить экосферу и положить конец существованию человечества».

Е. П. Велихов, выступая перед американцами в телепередаче «Москва — Космос — Калифорния», говорил о самообмане, заблуждении считать ядерное вооружение — «наращиванием мускулов» (что всегда так прельщало военных). Нет, не мускулы это, а раковая опухоль, смертельно опасная, где бы она ни внедрилась.

Запомнилось, какое согласие в глазах, на лицах простых американцев вызвало это утверждение,— вот она, адекватная реакция, взаимная.

Как это важно сегодня — именно взаимная!

Казалось в тот момент: вот оно, преступник № 1 нашего времени назван, все его видят, объединены в чувстве, в порыве, в понимании — как тогда, в 40-е! Когда люди по обе стороны океана согласно и самоотверженно выступили против раковой опухоли фашизма. Выступили и победили, несмотря на все идеологические, политические отличия и даже разногласия.

В американском журнале «Прогрессив» за 1983 г. И. Ф. Стоун так писал об идеологических сложностях нашего времени:

«Подлинные гонки, подлинная идеологическая борьба ведется между теми, кто способен мыслить категориями человеческого благополучия, и теми, кто охвачен древними человеческими психозами».

Нет, не за скобками разрядки была и находится идеологическая борьба существующих в мире систем,— в таком

случае она должна таранить разрядку, и к этому как раз стремились, стремятся ее враги. Важнейшее направление идеологической борьбы нашего времени — сама разрядка: спасти человека и человечество от гибели, обеспечить им будущее. Разве не это сегодня — главная цель и задача коммунистической идеологии?

И разве по пример такой борьбы за разрядку — тот самый телемост через океан? Вопреки стараниям реакционной, уже совершенно расистской пропаганды, стремящейся «русских», «советских» превратить в глазах американцев в каких-то «нелюдей-инопланетян», только и мечтающих сожрать Америку, телемост снова позволил двум народам посмотреть в глаза друг другу. Посмотреть и вспомнить — союзническое прошлое. Посмотреть и подумать — о будущем, которое теперь у всех — одно. Как одна на всех планета.

Все больше людей это осознают и действуют в одном направлении — по обе стороны океана. Потому что планета становится все меньшей, а люди ближе друг к другу — и должны остановиться! — перед лицом все возрастающей опасности.

* * *

> Доказывать, что мир вообще предпочтительнее войны — это значит ничего ие сказать тому, кто уверен, будто у пего есть основания войну предпочитать миру…
>
> *Де Сен-Пьер. Избранные места из проекта вечного мира, 1713—1717 (в изложении Ж.-Ж. Руссо. 1760)*

Люди пересекли опаснейшую черту во время второй мировой войны. Да, это был особый момент, трудно, вроде бы невозможно было не устремиться к этой самой черте, поскольку к ней мог первым добежать Гитлер, его ученые-физики. Вот-вот сверхоружие окажется в руках самых злодейских в истории сил…

И создали! Преследуя коричневого убийцу-монстра, не сразу заметили, что сделали опаснейший в человеческой истории шаг, а когда это произошло, сгоряча даже не поняли, что тот самый коричневый монстр, извернувшись, юркнул в нее — в бомбу Хиросимы, в бомбу Нагасаки. Стал ею. И она стала им. Злорадно, издевательски выглядывает из бомбы старый знакомый…

Если фашизм — это геноцид, тогда что сегодня может с большим правом называться этим словом, если не термоядерный сверхгеноцид?!

Убийца Хиросимы, первая бомба, по нынешним меркам, была всего лишь «бомбочка», именно «бэбби», как и назвали заполучившие ее в свои руки американские военные. Сегодня ее

отнесли бы к оружию «тактического назначения», которым буквально нашпигована (тысячи!) Европа. Но и этот «ребеночек» мгновенно проглотил город — многие десятки тысяч жизней. Был город, утро, дома, улицы, а через мгновение — как бы другая планета перед глазами уцелевших.

В вышедшей в Японии книге воспоминаний жителей Хиросимы и Нагасаки «Незабываемый огонь» последствия атомной бомбардировки переданы не только словами, но и рисунками самих жертв. С книгой этой я познакомился в белорусском Обществе дружбы, когда сторонники мира Японии приезжали в Минск. О ней подробно говорится и у Дж. Шелла.

...Рассказы, рассказы — так напомнившие о многом, что довелось слышать в белорусских Хатынях. Прежде всего — состояние шока от собственных мук, гибели близких и моря страданий вокруг, когда людям уже казалось, что всему конец, что «на всей Земле так...». (Нестерпимо яркий свет атомной вспышки у многих жителей Хиросимы вызвал ощущение, страшную мысль, что это солнце, вследствие какой-то космической катастрофы, внезапно «оседлало» Землю.)

Японская женщина Харуко Огасоваро, которая в то августовское утро была молоденькой девушкой, вспоминает, что сначала она потеряла сознание.

«Я не знаю, сколько прошло минут или секунд, но, когда сознание вернулось ко мне, я увидела, что лежу на земле, покрытая деревянными обломками. Когда я с величайшим трудом поднялась, чтобы оглядеться, кругом было темно. Ужасно напуганная, я думала, что осталась одна в мире смерти, и жаждала увидеть хоть какой-то свет. Страх мой был столь велик, что я сомневалась, чтобы кто-то понял мое состояние. Когда я пришла в себя, я обнаружила, что вся моя одежда превратилась в лохмотья, а на ногах не было деревянных сандалий».

В скором времени крики людей, раненых, обожженных, призывающих на помощь, наполнили всю округу. Уцелевшие слышали голоса своих близких и своих друзей, взывающих из темноты.

Госпожа Огасоваро продолжает:

«И тут я стала думать: что случилось с моей матерью и сестрой? Матери тогда было сорок пять лет, а сестре пять. Когда темнота начала рассеиваться, я обнаружила, что вокруг меня ничего нет. Мой дом, дом соседей и другие дома — все исчезло. Я стояла среди развалин моего дома. Никого вокруг не было. Было тихо, очень тихо — какая-то жуткая обстановка. Я нашла мать в нашем маленьком бассейне. Она была без сознания. Я кричала: «Мама, мама!» — и трясла ее, чтобы привести в чувство.

Очнувшись, мать стала, как сумасшедшая, звать мою сестру: «Эйко! Эйко!»

Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я услышала крики людей. Дети звали своих родителей, родители — детей. Мы в отчаянье звали сестру и прислушивались, не откликнется ли она и не появится ли где-нибудь. Вдруг мать крикнула: «Э, Эйко». В четырех или пяти метрах от нас из развалин высовывалась голова моей сестры, и она звала мать... Мы с матерью стали отчаянно разгребать штукатурку и оттаскивать балки и с большим трудом вытащили ее из-под развалин. Тело ее было красное от ссадин, а на руке зияла такая большая рана, что в нее можно было просунуть два пальца».

И еще сцена ада. «Мать, дошедшая чуть ли не до помешательства, искала своего ребенка и звала его. Наконец она нашла его. Голова его была похожа на сваренного осминога. Глаза полузакрыты, рот белый, губы сморщились и распухли».

Кикуно Сегава вспоминает девочку с мертвой матерью:

«Женщина, похожая на беременную, была мертва. Рядом с ней находилась маленькая девочка, примерно трех лет, которая принесла воды в где-то найденной консервной банке. Она старалась напоить мать».

Кинзо Ниши да:

«Я вел сильно раненую женщину к берегу реки возле холма Накахиро-Мачи, и тут меня поразил ужас я увидел совершенно голого человека, стоящего под дождем, а в руке оп держал свой собственный глаз. Было видно, что он неимоверно страдает от боли, но я ничем не мог ему помочь».

Человек вообще ведет себя непредсказуемо в условиях «запредельных». Чувства, состояние у него, мысли — самые неожиданные. Мы это хорошо ощутили, делая магнитофонные записи в белорусских деревнях, переживших хатынский ужас.

И когда с Даниилом Граниным записывали рассказы о блокадном голоде.

Но тут нечто и сверх того, совершенно отличное. Атомная атака повергает людей в состояние, которое ближе всего, видимо, к тому, какое охватывает живое существо во время сильнейшего землетрясения. Включаются инстинкты, состояния, восходящие к временам доисторическим.

Писатель Йоко Ота:

«Я просто не мог понять, каким образом вся окружающая нас обстановка столь сильно изменилась в одно мгновение... Я подумал о том, что причина, возможно, не имеет ничего общего с войной — может быть, Земле пришел конец, что, как говорили, должно

случиться, когда наступит конец света, и о чем я читал, будучи ребенком.

Один преподаватель истории, видевший город издали после взрыва, сказал: «Я увидел, что Хиросима исчезла».

Дж. Шелл замечает:

«Получилось так, что повсюду в Хиросиме все связи любви и уважения, соединяющие людей, оказались порваны бушующим огненным штормом. В скором времени процессии раненых, такие, каких никто никогда за всю историю не видел, начали двигаться от центра города к окраинам. Большинство людей страдали от ожогов, от которых кожа у многих почернела и свисала клочьями. Один бакалейщик, присоединившийся к такой процессии, следующим образом описывал ее участников в беседе с Робертом Лифтоном, опубликованной в книге «Смерть и жизнь»:

«Руки их были согнуты локтями вперед… а кожа не только на руках, но и на лице и на теле висела клочьями… Если бы я увидел только одного или двух таких людей… может быть, они не произвели бы на меня столь сильного впечатления, но, куда бы я ни шел, я повсюду натыкался на них… Многие умирали на дороге. Я до сих пор вижу их, этих ходячих призраков. Они не были похожи на людей из нашего мира».

Бакалейщик вспоминает, что люди были настолько изранены, что «невозможно было понять, смотрите ли вы на них спереди или сзади».

«Физический удар вызвал эмоциональный и духовный удар. Уцелевшие в большинстве своем впали в апатию и оцепенение. После того как кто-то спасся, а кто-то не смог спастись от огненного шторма, над городом и его уцелевшими жителями воцарилась тишина. Люди страдали и умирали, не произнося ни слова, не издавая ни звука. Процессии раненых также были безмолвны».

Д-р Мичихико Хачия пишет в своей книге «Дневник Хиросимы»: «Те, кто мог передвигаться, молча ушли в направлении окраин, лежащих на холмах в отдалении. Их дух сломлен, они были лишены инициативы. Когда их спрашивали, откуда они пришли, они указывали на город и говорили «оттуда», а когда их спрашивали, куда они идут, то они показывали в сторону города и говорили «туда». Они были настолько сломлены и пребывали в состоянии такого замешательства, что двигались и действовали, как автоматы.

Их реакции удивляли людей со стороны, которые сообщали о поразительном зрелище: длинные цепочки людей флегматично шли по узкой неудобной тропе, в то время, как рядом пролегала гладкая и удобная дорога, идущая в том же направлении. Люди со стороны

не могли понять, что они были свидетелями исхода людей, шедших как бы в мире снов».

Начался огненный шторм.

Макио Иноу:

«Переходя мост Миюки, я увидел профессора Такенака, стоявшего у моста. Он был почти голый, на нем были только шорты, и в правой руке оп держал чашку для риса. За трамвайной линией северная часть города была в огне, отражавшемся на фоне неба. Далеко за линией Оте-Мачи также представлял собой море огня».

В тот день профессор Такенака не отправился в университет Хиросимы, и атомная бомба взорвалась в то время, когда он находился дома. Он пытался спасти жену, которую придавила потолочная балка, но все усилия его были тщетны. Огонь угрожал ему самому. Жена умоляла его: «Беги, дорогой!» Он был вынужден покинуть жену и спасаться от огня. Теперь оп стоял у входа на мост Миюки.

Я подумал, каким образом у него в руке оказалась чашка для риса. Голая фигура этого человека, стоящего на фоне огня с чашкой для риса в руке, показалась мне символом мизерных надежд рода людского».

Джон Херси рассказывает, как, спасаясь, пробивались сквозь руины Хиросимы немецкие священники:

«Улица была загромождена обломками домов, поваленными телефонными столбами и всякой проволокой. Из каждого второго или третьего дома раздавались голоса людей, заживо похороненных и покинутых, которые с неизменной формальной вежливостью взывали: «Тасукете Куре! Помогите, будьте столь добры!» Священники видели, что некоторые руины, откуда доносились эти голоса, были домами их друзей, по из-за пожара уже было слишком поздно пытаться помочь им».

Но и это не был еще предел страданий.

Жажда неестественная — один из первых признаков острой лучевой болезни.

И это при том, что огненный шар от взрыва не вошел в соприкосновение с землей, не поднял тысячи тонн земли, а потому пыли и продуктов распада было намного меньше, чем при ударе о землю.

Так что весь этот ужас не дает сколько-нибудь полного представления о самом отвратительном и постыдном из всего, что когда-либо создавал или хранил человек — об атомном оружии. У водородных бомб мощность ничем не лимитируется. Десять — так десять, двадцать — так двадцать мегатонн! Возможно и сто, двести!!!

«Если наземный взрыв мощностью в 20 мегатонн в Нью-Йорке,— сообщает Дж. Шелл,— породит, что представляется вероятным, радиоактивные выпадения в таком же объеме (как после испытания 15-могатонного устройства на атолле Бикини.— А. А.) и если ветер понесет осадки на заселенные районы, получится, что одна такая бомба, вероятно, обречет на гибель до 20 млн. человек, или почти 10 % всего населения Соединенных Штатов...»

«То, что случилось в Хиросиме,— пишет Дж. Шелл,— представляет собой меньше чем миллионную долю ядерной катастрофы, которая может произойти при нынешнем уровне ядерных вооружений в мире. Более чем миллионная степень различия означает, что различными будут не только масштабы, но и характер последствий ядерной катастрофы».

Перед такой катастрофой все бессильны, медицина — в первую очередь. Как отмечал в докладе на майской всесоюзной конференции ученых в 1983 г. Е. П. Велихов, для лечения только ожогов от одного взрыва не хватит всех лечебных возможностей такого государства, как СІПА, даже если бы эти возможности и остались бы незатронутыми войной, что невероятно.

Да, атомная война была бы, как неоднократно объявляли крупнейшие авторитеты медицинской пауки, последней и смертельной для человечества «эпидемией».

Даже если бы мыслима была та самая «ограниченная» атомная война, которой так соблазняют американцев и западногерманцев современные высокопоставленные каратели, даже после «ограниченной» привычный мир человека рухнул бы и катился бы в пропасть неостановимо.

«Бесчисленные вещи, которые мы сейчас считаем само собой разумеющимися, внезапно исчезнут... Голод, болезни, а возможно, и холод обрушатся на ошеломленные, ничего не понимающие, дезорганизованные и страдающие от ран остатки населения — в тот же день, когда произойдет нападение. Им придется сразу я«е начать непрестанные поиски пищи. Сидя на развалинах космического века, они обнаружат, что разбросанные вокруг них предметы современной экономики — здесь автомобиль, там стиральная машина — не отвечают их элементарным нуждам... Сталкиваясь с этими неотложными потребностями, они не будут думать о восстановлении автомобильной или электронной промышленности, они будут думать о том, как бы найти не зараженные радиацией ягоды в лесу и как определить деревья, кора которых съедобна.

Наконец, по прошествии десятилетий люди, перенесшие ограниченное ядерное нападение, будут сталкиваться не только с

зараженной и деградировавшей природной средой. Они сами, мясо и кости, генетический аппарат будут заражены…

Поэтому мы можем ожидать также резкого отклонения от нормы. Сможет ли человеческое общество выжить, неся это бремя болезней и мутации,— в лучшем случае остается вопросом» (Дж. Шелл).

Много неожиданостей обнаруживалось при испытаниях атомного оружия. Одна из них была связана с открытием опасности для озонового слоя, щита земли, без которого жизнь на земле невозможна: солнце превращается в неотвратимо действующую, излучающую смертоносные лучи «машину истребления» всего живого.

«Ядерное побоище, если оценивать его всесторонне, угрожает жизни людей на трех уровнях: на уровне отдельного человека, на уровне человеческого общества и на уровне среды, включая среду Земли в целом… На каждом уровне жизнь обладает значительными возможностями к восстановлению, которые могут возродить ее, даже если ей нанесен колоссальный урон. Вместе с тем на всех уровнях существуют особые уязвимые стороны, в силу чего жизнь может потерпеть внезапный, всеобъемлющий и на вечные времена крах… Особенность ядерного оружия заключается в том, что оно наносит удары по системам, обеспечивающим жизнь на всех уровнях. А системы эти, конечно, не изолированы друг от друга, а составляют единое целое. Экологический крах, если он зайдет достаточно далеко, вызовет крах социальный, который в свою очередь приведет к смерти на уровне индивидуумов… В обычных условиях район, разрушенный в результате катастрофы, будь то стихийное бедствие или явление, вызванное самим человеком, рано или поздно получит помощь извне, из районов, не испытавших бедствия, как это произошло с Хиросимой и Нагасаки после того, как эти города подверглись атомной бомбардировке. Но в ядерном побоище будут уничтожены также и «внешние» районы, а жертвы атомного нападения будут предоставлены самим себе в условиях разбитого общества и природной среды. То, что случится с каждым городом, случится со всей Землей, а разрушенная Земля вряд ли может рассчитывать на помощь «извне». Земля — это величайшая из систем жизнеобеспечения, и нанесение ущерба Земле представляет собой самую большую опасность, порождаемую ядерным оружием» (Дж. Шелл).

Убийственная радиация от взрыва тысяч атомных бомб и особенно от разрушения атомных электростанций означает гарантированное уничтожение всего не только животного, но и растительного мира. Она и леса съест, которые уцелеют, не сгорят от «тысяч солнц». От мощного пласта биосферы сохранятся (и то

еще вопрос, сохранятся ли), лишь какие-то травяные растения и насекомые[1].

Вот что такое — крушение экологическое. По дело не только в радиации от бомб. По всему живому ударит еще один молот — солнечная радиация. Эта гадина-бомба даже солнце, паше, со всех детских рисунков улыбающееся солнышко, превратит в старательного своего соучастника, дублера, карателя-убийцу всего, что могло бы еще выжить.

Установлено, что огненный шар атомного взрыва сжигает атмосферный азот и появляется много окиси азота. Под воздействием высокой температуры взрыва окись азота поднимается в стратосферу, где в результате ряда химических реакций с ее участием происходит разрушение озонового слоя. Такие последствия могут сохраняться в течение многих лет.

Земля, лишенная озонового фильтра, щита,— это мертвая планета. По крайней мере, суша. Пока щит этот не возник, жизнь не выползла из океана, пряталась поглубже, куда не проникала солнечная радиация.

Но и это далеко не вся картина преступлений и надругательств над жизнью, именуемых «атомной войной».

* * *

Наша нежная, жизненесущая, плодоносящая планета окажется закованной в панцирь: северное полушарие, там, где рвались бомбы, прожигая землю на полметра, на метр,— в стекловидный панцирь, тропики — в ледяной, полярный...

Это трудно вообразить, но это вычисленная в работах ученых-климатологов, физиков, математиков реальность, будущее нашей планеты — через несколько недель после ядерного побоища. Если оно разразится.

Удивительно, как мало знали (думали) о глобальных последствиях ядерной войны еще совсем недавно: даже первичные последствия преуменьшались, не говоря уже о вторичных, которые почти не учитывались, хотя они-то и явятся (к этому все больше склоняются ученые) самым ужасным и непоправимым ударом. Ударом по самой экологической системе. Рухнет «крыша» (экологическая) на головы всем живущим, всему живущему в общем доме, на планете,— вот в чем главная угроза. Угроза всем — от человека до насекомых! (На пожаре мы знаем: после того как обрушилась крыша, спасать уже некого.)

---

[1] «Конечно, невозможно судить, каким путем будет совершаться эволюция после истребления человечества, но прошлая история дает веские основания полагать, что человек больше не возродится. Эволюция дала поразительное разнообразие создапий, но нет никаких доказательств, что какой-либо из видов, исчезнувших с лица Земли, когда-либо появится снова» (Дж. Шелл).

Один из последних учтенных эффектов швыряния атомными бомбами ученые назвали «атомной зимой».

На таллинском заседании Комитета советских ученых в защиту мира против ядерной угрозы участникам была предложена еще одна разработка («модель», «сценарий») на тему «ядерной, атомной зимы»: «Климатические последствия возможного ядерного конфликта и некоторые природные аналоги»[1]. «Природные аналоги» тому, что произойдет с земной атмосферой,— космические по природе, масштабам.

«В настоящее время,— утверждают авторы исследования,— достаточно хорошо изучено явление, по многим чертам напоминающее то, что может произойти с атмосферой в результате атомной войны,— пыльные бури на Марсе...

Другим аналогом ядерного конфликта может служить гипотетическое падение на Землю около 65 млн. лет назад небольшого астероида диаметром 10 км. Пыль, поднятая при его взрыве, увеличила оптическую толщу атмосферы до значений порядка 100 и более, что привело к длительному похолоданию. В настоящее время гипотеза о падении такого астероида считается наиболее правдоподобной причиной исчезновения динозавров и всех других видов фауны с массой больше 25 кг».

На какое-то время «марсианские» пыльные бури на Земле отодвинут расплату за разрушение озонового щита, но в этом мало утешительного: вместо одного смертельного удара на все живое обрушится несколько, нарастая в силе и катастрофических последствиях. Сначала смертельный ожог, всепожирающее космическое пламя, затем ударные волны, сносящие города с лица планеты, всепроникающая рукотворная радиация, и после этого — многомесячная ночь от дыма и пыли над всей планетой. И как результат — ползущие во тьме кромешной ледники, заковывающие в мертвый панцирь континенты. Но потом снова объявится, засияет солнце — над всемирным кладбищем. Но это не будет лишь свидетель преступления, нет, соучастник. Солнце-оборотень. Стараниями человека и оно будет обращено в убийцу.

А если и этого мало, чтобы совесть человеческая криком кричала, так вот и это еще: все живое, не истребленное в первые минуты и часы ядерного безумия, ослепнет. Какой еще нужен символ копящемуся безумию?

Живая природа даже не увидит последнего акта трагедии своего прекрасного жилища — планеты Земля.

---

[1] Авторы исследования — член Комитета советских ученых член-кор. АН СССР Г. С. Голицин (зав. отделом теории климата Института физики атмосферы АН СССР) и эксперт Комитета кандидат математ. наук А. С. Гинзбург.

«В недавней лекции д-р Тсипис сказал,— пишет Дж. Шелл,— что истощение озонового слоя может ослепить весь животный мир Земли и это последствие само по себе будет равнозначно глобальной экологической катастрофе... Зрение и обоняние позволяют животным ориентироваться в окружающей среде и выполнять те роли, которые им отведены природой. С утратой зрения в природе воцарится хаос — миллиарды слепых животных, насекомых и птиц будут бродить по всему миру...»

* * *

Но если все так, тогда как же? Как должны бы, обязаны вести себя мыслящие, разумные существа — люди?

Кое-кто затевает бессмысленные и опасные споры: а может быть, меньше 70 процентов озонового щита будет уничтожено? Или другие последствия — не преувеличены ли? Не перебирают ли кое в чем, не преувеличивают ли угрозу?

Даже если сегодня еще и остаются сомнения в способности вооружившегося чудовищными мегатоннами человека насмерть добить жизнь на своей планете, несомненно то, что способность эта возрастает с каждым днем и наверняка перекроет (если уже не перекрыла многократно) все шансы живой материи спрятаться, увернуться от жесточайшего из карателей, от космического фашиста — атомной бомбы.

И опасно не преувеличить опасность, а именно преуменьшить: человеческая история «проб» и «ошибок» закончится на пущенном в дело атомном оружии. Здесь после «ошибки» никаких «проб», возможно, уже не последует. Так что не имеет права рисковать никто — какие бы резоны и мотивы у него ни были.

Историческим примером всему миру по чувству ответственности и в смысле адекватности поведения «реакции» служит обязательство нашей страны не применять первыми ядерное оружие — ни при каких обстоятельствах! Но что мы услышали в ответ?! Какая реакция на эту реакцию?

Словоблудие атомных маньяков на тему, у кого больше «обычного» оружия и пр. и пр.

Дж. Шелл рисует модель поведения, что характерна для политиков, которых мир без атомного оружия (в их арсенале) пугает больше самой бомбы и всех последствий атомной войны.

«Эту систему можно обрисовать в упрощенном виде, если вообразить, что «машина судного дня» находится в совместном ведении всех ядерных держав. Представим себе они у людей, где каждый обладает некоторыми ценностями, на которые претендует и, более того, считают, что имеют право претендовать другие. Эта

они а людей собралась в одной комнате вокруг бомбы, достаточно мощной, чтобы уничтожить всех. Каждый держит шнур в руке, при помощи которого может взорвать бомбу. Время от времени в комнату входят люди, и опять-таки у каждого оказывается по шнуру…»

Все друг друга заверяют, что дернуть во имя чего бы то ни было — безумие. Но вдруг кто-то горячо заявляет, что, если его «ценности» тронут, он ни на что не посмотрит и потянет за шнур!

К этому следует добавить, что некоторые из находящихся в комнате не совсем уверены, что система работает так, как им говорят, и полагают, что если они взорвут бомбу, то все другие будут убиты, а они, возможно, уцелеют.

Такие политики и идеологи, говорит Дж. Шелл, страдают болезнью «двойного зрения»: «как будто понимают, что мы живем в ядерном мире, где на карту поставлено само существование человека как вида, но порой забывают об этом и считают, что все еще можно вести войны без риска самоуничтожения».

В этих условиях «даже страны, обладающие обычным оружием, потенциально имеют возможность взорвать мир, так как могут вовлечь сверхдержавы в одну из войн».

В мире уже нет недостатка в людях, трезво и авторитетно излагающих пути решения глобальных проблем и главную из них — проблему термоядерного оружия. Е. П. Велихов в своем докладе на конференции ученых в 1983 г. так суммировал мнение, рекомендации мировой науки:

«На пути гонки вооружений человечеству грозит только меньшая безопасность и, в конце концов, катастрофа…

Отсюда следуют важнейшие выводы, сделанные представителями 36 академий наук на их встрече в Риме, о том, что ядерное оружие не может являться ни инструментом политики, ни инструментом войны:

— любое применение ядерного оружия является тягчайшим преступлением против человечества;

— государства должны отказаться от применения ядерного оружия первыми;

— единственный путь — полное уничтожение ядерного оружия, какой бы сложной эта задача ни была, т. е. путь ядерного разоружения».

* * *

Вы видите, что до сих пор ничто не улучшилось, не подвинулось вперед благодаря сговорам, хитростям, жестокости или мести. Докажите теперь, что могут сделать снисходительность и доброжелательность! Война порождает войну, и месть влечет за собой месть. Теперь

милосердие должно породить милосердие, добрые дела вызывать на добрые дела...

Эразм Роттердамский. Жалоба мира, 1517

Прошло всего лишь три года после жутких воплей и корчей Хиросимы, Нагасаки, а уже готовились втайне новые жертвоприношения ненасытной гадине — перевоплощенному фашизму — 20 советских городов (американский, «труменовский», план атомной войны против СССР: директива № 432 Д). Черчилль — один из первых, кто был поражен атомным безумием,— даже развеселился: «Сбросим бомбу, и ищите этих русских! Где, где эти русские?»

Но еще несколько лет минуло, и тот же Черчилль растерянно приставил к карте островной Великобритании пятерню: вот, достаточно пяти бомб, и нас нет! Его слова: «Мы не должны забывать, что превратим себя в мишень, возможно, в самую середину мишени, если создадим в Англии американскую ядерную базу».

Дошло! Но выпущенный джин уже понесся над миром.

Я знаю, что могло бы нам помочь:
Какая-нибудь общая опасность
Со стороны, допустим, марсиан.
Пришлось бы помириться скрепя сердце!
Пришлось бы подружиться, стиснув зубы!
Пришлось бы свой проклятый арсенал
Весь в космос разрядить![1]

В невеселых этих стихах Юлия Кима — мысль, чувство, посещающие многих. В том числе и серьезных ученых. П. Л. Капица: «...у человечества есть только один общий враг: это наступающий глобальный кризис, с которым, позабыв все распри, надо начинать дружно бороться»[2].

И самый опасный общий враг — те самые ракеты-бомбы, множащиеся, плодящиеся, как чумные бактерии.

Но пока что эта опасность не объединяет — разъединила еще больше. Хотя одновременно она не может не пробуждать чувство единства рода человеческого, грозя всем без исключения. Как фашизм 30-40-х годов грозил, с которым все-таки совладали. Когда действительно позабыли распри — во имя главного, жизненно первостепенного.

Так что есть куда и на ком разрядить и гнев, и ненависть, и копящееся чувство общей опасности: «марсиане» уже объявились!

Но все же недостает в людях, в народах, в человечестве по отношению к бомбе той абсолютно отрицательной реакции, какая есть, например, возникла к фашистским фабрикам смерти,

[1] Век XX и мир, 1984, № 2, с. 41.
[2] Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика, с. 429.

концлагерям. А ведь к пей тоже не сразу пришли — к той реакции. Но обнародованная правда, борьба с фашистским геноцидом, в которой немалая заслуга и литературы, сделали свое дело.

Иметь ее, бомбу, вчера еще считалось как бы престижно. Великие обзавелись, потому и другим лестно. Сегодня — уже вроде бы и неловко объявлять: я, мы — тоже! Делают стыдливо, под видом «мирного использования» атомной энергии. До стыда настоящего — как стыдно сегодня иметь лагеря смерти! — далеко. И успеют ли обрести его люди?

По оценкам американских специалистов, к концу столетия возможно превращение в ядерные державы еще 10 стран: Пакистана, Ирака, Тайваня, Ливии, Южной Кореи, Японии, Израиля, ЮАР, Бразилии и Аргентины (Иностранная литература, 1983, № 7).

Снова и снова удивляемся сами себе. Да, вроде бы объяснимо: срабатывает не новое чувство эгоизма — классового, да и личного, когда опасность кажется далекой и совсем не неизбежной, а потерять какие-то преимущества, блага (реальные или мнимые) так не хочется! Но ведь ситуация более чем однозначна: весь дом пропитан горючим веществом, каждая половица, «бензина» всем по щиколотки, знают, все знают, что достаточно одной спички... Кажется, закричат все, одним криком: «Бросайте, бросаем, все бросаем!» В собственных руках спичка не менее опасна, для тебя же самого, чем та, которая в чужих. Но никто не бросает, не бросил. Наоборот, и другие, их не имевшие, стараются ими обзавестись.

Когда в Нюрнберге судили всех этих Герингов, Гессов, Кальтенбруннеров и показали на киноэкране фашистские лагеря смерти, а потом зажегся свет, публика, все, кто был в зале Суда Народов, поднялись, чтобы лучше видеть существа, такое замыслившие, такое совершившие. И пять, и десять, и пятнадцать минут люди смотрели молча... А перед ними, в каких-то десяти, двадцати метрах, сидели: убийца 100 тысяч человек, убийца полмиллиона, двух, пяти миллионов людей! Так и напрашивается: убийца мощностью в столько-то килотонн или мегатонн. И килотонные и мегатонные бомбы так и хочется поименовать: эта — Геринг, эта — Гиммлер, а эта — и вовсе Гитлер!..

А ведь придет время, когда не только умом, но и чувством, совестью, стыдом люди объединят, в один ряд поставят, отождествят арсеналы ядерных убийц и фашистские лагеря смерти.

А для литературы работа в этом направлении, вероятно, самая первоочередная. Впрочем, первоочередных много.

В дискуссии о латиноамериканском романе Юрий Карякин говорил о том, как это страшно в таких делах опоздать, и трудно не проникнуться жаром его слов:

«Перед литературой стоит сейчас небывало ответственная задача: выработка нового мироощущения, миропредставления, мировоззрения единства человеческого рода, именно родового мироощущения, миропредставления, мировоззрения. И это — самая социальная задача из всех социальных задач. Оказывается, без реальной встречи с реальной смертью (опасность самоубийства) эти важнейшие истины непостижимы как насущные, единственно спасительные. И встречи такие — ничем не заменимый способ познания. Когда человечеству угрожал гибелью фашизм, две социальные силы (подчеркну — антагонистические по своей социальной сущности) — буржуазная западная демократия и социализм — смогли объединиться, не перестав быть самими собой. Более обнадеживающего, реального, проверенного факта в истории, факта, показывающего возможность союза даже антогонистических сил в борьбе за самое жизнь, пока нет. Второй такой факт (свершится он или нет) связан с искоренением войны из общества. И мне кажется, историки и писатели должны вспомнить, откопать, оживить, «преувеличить», если угодно, все до единого (действительно редчайшие) моменты в истории людей, в истории народов, моменты действительного миролюбия, спасительных компромиссов — не за счет унижения принципов или отказа от них. И даже чем меньше таких моментов, тем они ценнее, тем более необходимо разжигать, раздувать эти спасительные искры, потому что это — искры жизни. Тем более необходимо гасить искры ненависти, озлобления, недоверия, потому что это — искры огня смерти»[1]

* * *

«Мы с женой прильнули к окошечку иллюминатора. Сердце у меня стучало сильнее, чем обычно.

— Попробуй... зажмурься и вообрази,— сказал я.

— Представь себе,— сказала жена,— я тоже сейчас об этом подумала...

— О чем?

— О том, как два молодых человека в военной форме вот так же, как сейчас, подлетают к этому городу.

— Да. И у них с собой такая маленькая штучка — весом, кажется, всего в пятьсот граммов.

— А ты знаешь, что один из них потом сошел с ума?

---

[1] Латинская Америка, 1983, № 3, с. 94-95.

— Нет, он не с ума сошел. Просто в нем проснулась и стала мучать совесть.

— Но я читала, что его посадили все-таки в сумасшедший дом.

— Да. Посадили все-таки. Посмотри — уже город! Вот река... Те, кто купался там тогда, спаслись.

— А это что за башня? Посмотри, вон там, левее. На площади.

— Наверное, это обелиск в память погибших. Ведь тогда за одну секунду сгорело больше семидесяти тысяч человек»[1].

Это — из «Хиросимы» Л. Пантелеева. В рассказе полет в послевоенную, туристскую Хиросиму не состоялся, самолет вернулся туда, откуда вылетел. «Хиросима нас не приняла: там в этот день началась забастовка транспортников»[2]. Так что это рассказ о всего лишь несостоявшейся поездке. А уж т а Хиросима — вообще лишь в представлении туристов: «попробуй зажмурься... и вообрази!»

Но они там побывали, эти двое, заглянув в самих себя — в свой ужас, в свою совесть...

Литература наша нет-нет да и пытается «вообразить». Зажмуриться и вообразить. Но это еще сложнее, труднее, нежели проникнуть в самые запредельные состояния «второй мировой», о которой написано много и пишется много. Та, вторая, поглотила 50 миллионов жизней. Эта угрожает 5 миллиардам. То есть 100 (сто!) мировых войн, равных той, второй, спресованных в одну. Какой же немыслимой плотности, концентрации муки, жертвы, страдания грозят людям, человечеству, к какой воистину «черной дыре» они приблизились.

Какие же слова, какие средства необходимы литературе, когда перед ней такой «материал», такие задачи?!

Уже хатынский, блокадный материал в пар превращал привычные мысли, «приемы», которыми мы стремились уловить и сообщить, передать читателю всю правду происходящего.

А тут «температура материала» вообще несравнима ни с чем! Пойти «путем документа» — уже есть Хиросима, уже были Нагасаки? Да, да, но и это лишь намек на «атомное побоище», которое грозит планете, людям.

О том, как непросто об этом написать, рассказать, даже тем, кто уже писал, рассказывал (в кино, например), прозвучала мысль в недавнем диалоге Альберто Моравиа и Александра Караганова[3]

«Есть темы,— сказал Альберто Моравиа,— где кино пока с трудом нащупывает что-то свое, к примеру, оно не умеет

---

[1] Пантелеев Л. Хиросима.— В кн.: Приоткрытая дверь. М., 1980, с. 69.
[2] Там же, с. 70.
[3] Встревоженная душа художника.— Литературная газета, 1983, 24 авг.

достаточно выразительно и убедительно говорить об опасности атомной катастрофы.

Мне кажется, что было бы гораздо лучше, если бы вместо риторических суперфраз авторы рассказали о том, что они чувствуют сами, что они видят и слышат. Я хотел бы закончить ответ на этот вопрос словами, последними словами, сказанными у Вольтера простодушным Кандидом: «Надо возделывать наш сад».

Наверное, это так, Моравиа в чем-то прав. Но когда читал, подумал снова: ни у кого в мире нет сейчас столь мощной «военной» литературы и с таким антивоенным зарядом, как у нас. Ни у кого! Так что те трудности, о которых справедливо говорит Альберто Моравиа, возможно, преодолимы на каких-то неиспытанных путях, не всем доступных. Не всем, но если кому и доступны, то, наверное же, талантам, которые обожжены пламенем второй мировой. У которых есть, живот то, что башкир Анатолий Генатулин очень точно назвал «чувством войны».

«Забывается многое: имена, лица, голоса, чувства, ощущения, пережитые там, на войне, но никогда не забывается одно чувство — чувство войны. Тот, кто не испытал войну, кому посчастливилось родиться и вырасти в эти десятилетия тихого неба, тот узнает о войне по книгам и фильмам. Книги расскажут ему более или менее правдиво о боях, страданиях, расскажут о событиях; фильмы покажут громыхающие «тигры», пламя, дым, лица в копоти, струйки пота на худых скулах солдат и кровь на снегу, на бинтах, на вылинявших солдатских гимнастерках. Но чувство войны непередаваемо — ни словами, ни красками, ни звуками»[1].

«Чувство войны», может быть, и не передаваемо до конца. Но эти люди — пережившие — знают то, что другие не знают, о чем не подозревают: что такое чувство войны есть, существует...

Мировой войны, с которой литература писала бы войну,— больше такой войны не будет. Вторая мировая в этом смысле — последняя. (Потому что если и будет — третья,— не будет уже никакой литературы.)

«Пытаясь нарисовать картину того, как все будет после ядерной катастрофы, мы склонны забывать, что для большинства людей, а моясет быть, для всех, никакой картины вовсе не будет, поскольку они будут мертвы. В этом смысле, описывая картину, как она представится живым, мы занимаемся фальсификацией, и, чем больше будет число убитых, тем большей будет степень фальсификации. Самой правильной позицией, с которой следует рассматривать ядерную катастрофу, является позиция трупа, по

---

[1] Генатулин А. Сто шагов на войне.— Наш современник, 1983, № 3, с. 96.

ведя наблюдение с этой позиции, конечно, сообщить нечего» (Дж. Шелл).

И даже не трупа, а тени чьей-то. Да, «позиция тени» от моментально испарившегося человека — не это ли самая точная «позиция», с которой можно представить всю немыслимость того, к чему атомные идиоты всячески пытаются нас, людей, приучить? О людях, «призраках Хиросимы», еще раз напомнил на софийской встрече писателей француз Эммануэль Роблес, который в 1945-м писал репортажи из Хиросимы:

«Страшные следы катастрофы. «Призраки Хиросимы» можно было увидеть своими глазами на бетоне моста... Одиннадцать человек, застигнутых взрывом на мосту, обратились в пыль, но ничтожную долю секунды их тела представляли собой защитный экран; там, куда упала их тень, изрешеченный бетон моста остался гладким. И это было все, что осталось от одиннадцати человек. Такие же тени сохранились на ступеньках ратуши, на стене одного из городских газгольдеров: рабочий, поднимающий по перекладинам его лестницы, запечатлелся на стене серым призраком беды, не имевшей названия»[1].

А ведь это была «карликовая» по нынешним измерениям бомба и всего лишь одна. Еще было кому потом приехать, прийти и рассматривать тени, оставшиеся от людей...

Заговорил об этом в Коктебеле с Анатолием Генатулиным, с Юрием Черниченко и вдруг понял (сам никогда как-то не задумывался), что и в этом смысле наши поколения — единственные в истории. В нашем личном опыте — мировая война, последняя. Никому уже не дано будет описать свою мировую войну. Или с опытом своей написать о следующей мировой. О той, которой быть не должно. Мы еще в состоянии написать с «чувством войны» (не какой-нибудь, а мировой), которого уже ни у кого не будет.

Мы — последние в этом смысле. И спрос с нас особенный. Сознаем ли мы это в достаточной мере?

Кому как не Астафьеву! Быкову! Бакланову! Бондареву! Гранину! Кондратьеву! Богомолову! Ананьеву! Окуджаве! Гусарову! Брылю! Субботину! Гончару! Ржевской! Науменко! Анфиногенову! Генатулину! Хомчепко! Тарасу! Осипенко! Мартиновичу! Дракохрусту!..

Радостно, что список все еще такой длинный (и это лишь прозаики), его можно и продолжить — в сторону поколений, чье детство было «обожжено войной». Это и Козько, и Распутин, и

[1] Иностранная литература, 1983, № 5, с. 198.

Айтматов, и Стрельцов, и Еременко, и Скобелев, и Чигринов, и Адамчик, и другие.

Особо следует сказать о выступлениях, «диалогах», интервью по актуальнейшим вопросам войны и мира Чингиза Айтматова,— не подступы ли к теме, за чем воспоследует работа художника? (Впрочем, уже заявленная в «Буранном полустанке».)

Да, непросто подступиться, нелегко найти, отыскать слова, формы, чтобы по-настоящему написать об этом.

«Фашизм,— рассуждает Чингиз Айтматов в беседе с пакистанским писателем Фаиз Ахмад Фаизом, опубликованной в «Вопросах литературы» (1983, № 9),— при всей его устрашающей отвратительности, все еще оставался в пределах человеческих представлений о зле. И он был конкретен, его можно было разглядеть, возненавидеть, сказать себе: с этим я никогда не примирюсь. Но сейчас человечество переступило новый порог познания и явно оказалось не подготовленным к этому ни в социальном, ни в нравственном отношении».

И литература — тоже.

«Я читал, что в случае, если катастрофа произойдет, то все живое превратится в дым — просто в дым. И небо перестанет быть голубым... над выжженной землей будет бурое небо. Невозможно ведь отрешенно обдумывать такого рода вероятность — сухая информация вызывает взрыв эмоций. Может быть, характер эмоций таков, что он трудно поддается переводу в образный ряд искусства».

Об этом же — Фаиз Ахмад Фаиз:

«Вы только что сказали, что злодеяния фашизма всетаки умещаются в человеческие представления о зле. Восток способен представить себе даже страшное злодеяние, если за ним стоит воля свирепого врага, но мне кажется, что ядерная война для Востока — это нечто нечеловеческое, безликое и технологическое. Этому невозможно подыскать аналогию ни в одной из привычных метафорических систем».

И далее:

«Иными словами, художник должен искать выразительные средства из доступного ему арсенала и переводить в эмоциональный план политическую и социальноэкономическую реальность нашей ситуации. Например, Азии и Африки, где отсутствует технологический фон для осмысления последствий термоядерного всесожжения, нужно объяснять, что это — конец света. Только он — реальный».

Все это так, и верно, и глубоко, но тут же подумалось: а надо ли заклинивать мысли, как та сороконожка, на соображении: с какой ноги начинать бег.

Телефильм «На завтрашний день», потрясший сознание и совесть Америки, не лишен, как отмечают многие, серьезных недостатков, просчетов. Но он свое дело сделал, да еще какое важное, в определенном смысле — историческое[1]. А начиналось, по признанию создателей фильма, с чувства, сознания, что молчать, не сделать нельзя, не имеешь права!

Конечно, и без нас, если мир, если жизнь продлятся, литература скажет свое веское слово о (против) третьей мировой. Может быть, великое, на весь мир слово. Но верится, что именно писатели, пережившие мировую войну,— свое слово скажут. Больше писателей, переживших войну мировую, не будет никогда!..

* * *

«В один прекрасный день — и трудно поверить, что он по наступит скоро,— мы сделаем наш выбор. Либо мы окончательно впадем в коматозное состояние, и это будет конец всего, либо, как я верю и надеюсь, мы восстанем ото сна и осознаем реальность угрожающей нам опасности — реальность столь же великую, как сама жизнь, и подобно человеку, принявшему смертельный яд, но в последний момент сбросившему с себя оцепенение и изрыгнувшему его, мы покончим с нашими сомнениями, отбросим малодушные оправдания и восстанем во имя того, чтобы очистить Землю от ядерного оружия» (Дж. Шелл).

Воистину вольтеровский нужен пафос современной литературе: раздавим гадину! бомбу! войну!

В ней, в них зло и насилие веков и тысячелетий, вся глупость и тупость взаимной ненависти. В атомной бомбе нашел последнее прибежище фашизм,— так раздавите гадину!

Люди давно поняли, что война — зло наипреступнейшее — и что необходимо его побороть. Недоставало одного — решимости. Но, может быть, потому недоставало, что всегда было в избытке времени.

У нас его до жути мало и становится все меньше.

Поэтому не будем ни от чьих советов отмахиваться, не вслушавшись, ничьим опытом не пренебрегать. Они все понимали, жившие до нас, но не действовали достаточно решительно. Мы не действовать не имеем права. И поэтому отнюдь не простодушным «идеализмом» кажутся нам, звучат для нас и вот эти, такие слова:

---

[1] Америке такой фильм вон как был нужен! Американцам он был просто необходим — людям, самым информированным (но их собственному мнению), но и самым, быть может, наивным в смысле представления о других странах, народах, да и о собственном положении в мире. Это отметил и Артур Миллер — как раз в связи с фильмом «На завтрашний день»: «Обнадеживает, что его все-таки показали. Американцы поняли, что ядерная война — не обычная война. Правда, меня удивил весь этот наш ажиотаж. Какой, они полагали, такая война может быть? Значит, не очень-то много об этом думали»,— Литературная газета, 1984, 14 март.

«Мы должны неустанно искать пути к тому, чтобы заменить бесчеловечность человечностью; мы предлагаем три таких пути: пусть люди перестанут чересчур доверять своим чувствам и, памятуя об определенной нашей телесной беззащитности, пусть признают недостойным человека взаимное бичевание, каков бы ни был повод; во имя этого пусть простят друг другу былые ссоры, жалобы и обиды; назовем это забвением прошлого. Во-вторых, пусть впредь никто не навязывает другим свои принципы (философские, теологические, политические), но каждому предоставят свободно высказывать свои взгляды и спокойно заниматься своим делом; назовет это взаимной терпимостью. В-третьих, пусть все усердно ищут общего согласия в том, что хорошо для всех, а на этом пути объединят свои чувства, свои желания и свои усилия...»[1]

Это голос, слова великого европейского гуманиста Яна Коменского.

Уместным будет, думается, напомнить слова, мысли и нашего современника — Альберто Моравиа:

«Я считаю, что необходимо исходить из реалистического соображения: продолжать добиваться ядерного разоружения очень трудно. Гораздо легче добиваться радикального решения, такого, как запрещение войны. Запретить войну, объявить вне закона все типы вооружений и не только ядерные...»[2]

На вопрос корреспондента: «Если я правильно понял, следовало бы объявить вне закона и смещенным любое правительство, которое спровоцирует войну» — Альберто Моравиа ответил:

«Все возможно... От нас зависит, вести или не вести войну. В этом последнем случае у человека есть возможность выбора. Следовательно, человек может запретить войну. Чтобы пояснить мою мысль, я приведу один исторический пример, который, по-моему, очень к месту. На заре человечества человек прибегал к кровосмешению, но, приобретая разум, наши далекие предки поняли, что кровосмешение препятствует созданию цивилизованного общества, передаче частной собственности, продолжению рода и т. д. Поэтому человек объявил кровосмешение «противоестественным» и подверг запрету, то есть, на языке первобытных людей, наложил табу. Сейчас мы должны сделать то же самое с войной — объявить ее «противоестественной». И поверьте мне, это возможно.

Вы сами будете встречать все больше людей, которые заранее испытывают почти инстинктивное отвращение к самой идее

---

[1] Трактаты о вечном мире, с. 69.

[2] Моравиа А. Объявить вне закона.— Литературная газета, 1983, 14 дек.

войны. Если вы спросите их почему, они не смогут объяснить. И тем не менее это так. Это бессознательное противодействие приобретает все более широкие масштабы.

Да, и это утешительно. Среди молодежи все чаще встречаете отвращение к войне, которое смыкается с инстинктом сохранения рода. Ведь в настоящее время война — я никогда не устану это повторять — означала бы гибель всего мира. Земля превратилась бы всего-навсего в камень, подобно Луне».

Как всему это созвучно и адекватно — предложение нашей страны объявить об отказе применять военную силу в отношениях между блоками, государствами, системами.

Как много надежды в таком смыкании высочайших гуманистических традиций культуры с политической практикой.

* * *

> Наконец, колос, врученный индейской деве мира — мощное оружие против меча. Чем больше будут люди пожинать плоды полезной деятельности и проникаться сознанием того, что боевой секирой нельзя ничего создать, но многое можно разрушить; чем скорее станут жалкими и смешными позорные предрассудки о божественном призвании рожденной для войны касты, в которой якобы течет героическая кровь Каина, Немврода и Ога, царя Васанского, тем большим уважением будет пользоваться венок из колосьев, яблоневая и пальмовая ветвь...
>
> *Иоганн Готфрид Гердер. Письма для поощрения гуманности*

Вспомним, как драчливый когда-то народ делаваров стал, по Гердеру, «согласился стать девой мира».

«Европа знала времена, когда духовенство претендовало на роль девы мира. На нем также были длинные одеяния, а в руках — целебные средства. Духовенство, однако, обвиняют в том, что вместо поддержания мира оно подстрекало к войнам.

Во всяком случае, его целебные средства не открыли глаза народам, не помогли больным.

Должны ли мы вместо него обрядить в женские одежды какой-либо целый народ в центре Европы и возложить на него роль судьи мира? Какой народ?»[1]

Эту роль («в центре Европы») берут сегодня, взяли на себя не те ли домохозяйки из Скандинавии, сторонники мира из других стран, которые увлекающим сотни тысяч европейцев шквалом снова и снова проходят по Старому континенту, а сейчас уже и по

---

[1] Трактаты о вечном мире, с. 204-205.

Америке, вступая в контакт, все более открытый, тесный, с движением против термоядерной угрозы в социалистических странах.

Ну, а литература, искусство? Не их ли это миссия, а сегодня как никогда — миссия «девы мира»? Им-то, литературам всего мира, чтобы договориться, чтобы заодно действовать, нет необходимости сокращать свой «арсенал», боясь, опасаясь друг друга, держа другого, других под прицелом. Всем ее великим гуманистическим прошлым литературе завещано, дано на сохранение великое ожерелье мира, доверена цепь дружбы («Эта цепь, по представлению индейцев, лежит на их (делаваров) плечах, один конец находится в руках других индейских народов, другой — в руках европейцев»)[1].

Литературе давно это чувство знакомо, со всей мощью выраженное в толстовском: «Весь мир погибнет, если я остановлюсь». Если даже это, говоря словами самого Толстого, «энергия самозаблуждения» (завышение своей роли, значения своей деятельности), энергия эта способна сдвигать горы. Горы лжи, косных, опасных предрассудков. Пример — творчество того же Толстого, Достоевского.

Сделать это: «мир погибнет, если я остановлюсь» своим главным чувством и передать его как можно большему числу людей, заразить им каждого (в идеале) — не в этом ли сегодня главная цель, миссия литературы! А тем более если речь идет о «военной» (давно ставшей антивоенной) нашей литературе.

Такую роль литература в полную силу выполнить не способна, не раскрывшись собственным сердцем навстречу всей угрозе, нависшей над человеком.

Но для этого та проклятая бомба должна взорваться, наконец, взорваться в сознании нашей литературы.

Закончу главу эту ответом на главный вопрос анкеты, которая была предложена участникам Минской конференции, посвященной современным проблемам «военной» прозы: «Что сказал бы ты, зная, что до начала ракетно-ядерной войны остались считанные часы, минуты, а у тебя была бы возможность обратиться ко всем людям?»

Нет, сначала заглянуть бы не в свой, сразу холодеющий от такой мысли комок мозга, а под черепную коробку тех, кто располагает возможностью не только сказать, но и сделать что-то решающее.

Роберт Кеннеди вспоминает в мемуарах про такой момент в жизни своего брата-президента — про Карибский кризис 1962

---

[1] Трактаты о вечном мире, с. 205.

года: «Я думаю, эти несколько минут были самыми тяжелыми для президента. Окажется ли мир на грани ядерной катастрофы? Допустили мы ошибку? Была ли это ошибка? Можно ли было сделать что-нибудь еще? Или наоборот, чего-то не делать? Он поднимал руку и теребил подбородок. Он сжимал и разжимал кулак. Лицо его вытянулось, в глазах видна боль, они стали чуть ли не серыми. Мы смотрели друг на друга через стол. Несколько мгновений казалось, что здесь никого нет и что он больше не президент.

Невозможно ответить, почему мне тогда приходили в голову мысли о том времени, когда он был болен и чуть не умер; когда умер его ребенок; когда оп узнал, что убит наш старший брат; о тех временах, когда оп испытывал напряжение и обиду...

Для нас наступил момент принятия окончательного решения... Я чувствовал, что мы стоим на краю пропасти и никакого выхода нет. Надо было решать сейчас. Не на следующей неделе, не завтра... За тысячу миль, в колоссальных просторах Атлантического океана окончательные решения будут приняты в последующие несколько минут. Президент Кеннеди был инициатором курса событий, но оп более не контролировал эти события».

Атеистическое сознание даже бога лишило права решать: быть или не быть Судному дню. И вдруг это право, эта возможность переселяется в комочек живой материи имярек (тогда это был Джои Кеннеди). И ведь свершилось бы, сработай что-то не так, а этак в одном лишь комочке!

Какая дичь и неблагодарность: Природа уступила одному из видов живой материи — нам, людям,— инструмент перевоссоздания всего живого и мертвого. А люди только еще быстрее устремились все по той же дорожке — снова и снова — война с себе подобными. В руке у homo sapiens уже не зажигательная бутылка времен второй мировой войны, от которой сам сгоришь, если разобьется «не по правилам», а бомба, способная мертвым саваном накрыть все континенты.

Да, люди пересекли опаснейшую черту могущества во времена второй мировой войны...

Прав, глубоко прав Е. П. Велихов, решительно утверждающий историческую параллель: атомное оружие — такой же враг человечества, каким в 30-е и 40-е годы был фашизм. Геноцид — вот главная, объединяющая их характеристика.

Так и видишь победно издевательскую гримасу знакомого по минувшей войне врага, из этой самой бомбы выглядывающего: «Ну, а такое «окончательное решение» — все человечество под нож пустить — такое вам больше по душе?»

Нет, рано еще торжествовать и этому монстру! У человечества есть великий опыт и именно в борьбе с фашизмом обретенный. Спасение и на этот раз, видимо, в том, чтобы ясно и до конца осознать, что врозь и бомбу, начиненную вселенским геноцидом, не победить. Признав главное главным, думать прежде всего о главном, без чего и остальное не имеет никакого будущего и просто смысла!

...Что сказал бы, если бы знал, что вот-вот начнется, и была бы возможность обратиться ко всем?..

А вспомним, что говорим, что кричим, поняв, что в доме начинается пожар: «Дети! Дети там остались, есть?»

Есть — более двух миллиардов! На пашей планете.

— Что же вы делаете, самоубийцы проклятые! Дети те, дети, три миллиарда детей!

Не знаю, что еще кричать...

1984

НУ ТАК ДЕЛАЙТЕ СВЕРХЛИТЕРАТУРУ!

Слова о «сверхлитературе» — из спора с другом-писателем. Не может, мол, литература, реалистическая литература, писать о том, чего не было. А этого — третьей мировой войны — действительно и, слава богу, не было.

— Да, но ведь уже были Хиросима, Нагасаки... И что значит: литература не может? Ну так делайте сверхлитературу! Но делайте, делайте!

Ведь они, кто готовит всем погибель — с азартом и даже гордостью профессионалов,— они времени не теряют.

«США должны быть готовы к ведению ядерной войны, которая длилась бы два месяца и дольше. При этом предусматривается сохранение в неприкосновенности значительной части ядерных вооружений и средств связи с таким расчетом, чтобы оружия хватило еще на одну ядерную войну, которая станет четвертой мировой»[1]

Это — из нового секретного плана «медных касок» Пентагона, денно-нощно пекущихся о «безопасности» своего и других народов.

Видите, «медные лбы» уже на четвертую работают, а нам, литературе, все кажется, что и о третьей писать рано.

Конечно, легко сказать: делайте сверхлитературу! А что это такое и как ее делать?

Из Москвы звонок — в продолжение другого разговора:

— Читай «Белку» Анатолия Кима! Помнишь наш разговор о роли фотоаппарата в обновлении живописи?..

В этом разговоре мы обсуждали такую вот параллель: когда-то фотоискусство принудило живопись искать новые пути и формы, где фотоаппарат ей не соперник, а сегодня документ всю остальную литературу сгоняет, сдвигает в сторону именно вымысла, смелого сочинительства. Туда, где царят Гоголь, Булгаков, Маркес. То есть какая-то часть литературы тяготеет к документу, а другая, наоборот, отталкивается к противоположному полюсу.

Два полюса, два крыла — новая документалистика и все более смелое сочинительство — не это ли сегодня держит, удерживает литературу на высоте?

Анатолий Ким с его романом-сказкой «Белка» — на самом отлете того крыла, где царит безоглядная фантасмагория. Непривычное для нас, даже очень непривычное произведение! Но

[1] Новое время, 1984, № 27.

если верно то, о чем говорим — разбегание литературы по полюсам, тогда... то ли еще будет.

Лично меня это не смущает, наоборот, кажется нормальным состоянием именно развития, подъема. Если якорь, канат (документализм) прочный, надежный, так почему бы и не летать тому, кто наслаждается полетом.

Чем дальше друг от друга полюса, чем шире размах крыльев и выше взлет (при устойчивой связи с землей через документальность), тем лучше для литературы.

В связи с этим замечу, что вряд ли прав Василь Быков и ведущий с ним беседу Павел Ульяшов (Литературная Россия, 1984, 22 июн.), у которых современная документалистика оказалась за пределами художественной литературы. «Журналистика», «ремесло»... Нет, ей воздается хвала за то, что берется за темы, «неподъемные для художественной литературы», ею даже устыжается художественная за робость и неправдивость. Тем не менее — «ремесло», «не искусство».

Видимо, нет нужды долго доказывать, что писательская документалистика (а речь о ней) немыслима без участия интуиции, без чувства эстетической оценки документальных материалов, эстетического отбора, без психологического, эмоционального заострения произведения через монтаж, выстраивание сцен, рассказов, документов и т. п. Исследователи давно уже пишут о том, что у современной документальной литературы есть, выработалась своя образность, специфическая, но именно художественная.

Можно, конечно, вывести ее за рамки литературы художественной, нашу современную документалистику, но не останется ли тогда художественная с обломанным, укороченным крылом?..

И еще. Проблема никак не сводится к читательским пристрастиям... Почему многие читатели сегодня предпочтение отдают правде документальной — это понять не сложно. Вопрос поставим по-другому: отчего сами писатели (многие) теряют вкус к повествовательно-сюжетным формам, жанрам и переходят на письмо документальное, эссеистское, публицистическое? Только ли отклик это на читательский интерес или же нечто большее?

Нет, это скорее вопрос этического порядка. Каким он был и для Льва Толстого, когда вдруг терял вкус к «художественному» и обращался к более прямым, открытым формам общения с читающей публикой, стремясь дойти со своим словом и до людей из народа. Нет, не чуждо такое и нашему времени, хотя изменилось многое.

Кинорежиссер мучительно размышляет вслух: не могу смотреть фильмы, ни свои, ни чужие, ни наши, ни ихние: чувствую, что нужно совсем другое кино, но — какое, какое?

И я его понимаю. Не могу читать «литературу». Да что о своих или друзей произведениях. Смотрел эфросовский спектакль по «Живому трупу» (!) и ловил себя на ощущении, что «литературная форма» (не спектакль даже, а сама пьеса) — для меня помеха прямому общению с мыслью и личностью великого Толстого. Вот бы «Исповедь» или «Дневники», да чтобы сам Толстой говорил о главном, когда уже не нужна никакая опосредованность.

Понимаю, что дело не в пьесе и даже не в достоинствах или недостатках спектакля, а в нас самих и нашем времени: кажется, и впрямь не до «литературы» стало!

Франсуа Мориак, когда спросили, отчего он уже 15 лет не пишет романы, объяснил это так:

«Тому, кто хоть сколько-нибудь внимательно следил за трагической историей нашего века, роман кажется пресным; похождения буржуа, владельцев ланд, их прогрешения, похоть и скупость не заслуживают того, чтобы о них говорили,— «всплески политики» более интересны»[1].

Ленинградский критик Владимир Лавров в письме-отклике на одну из моих публикаций привел место из «Надежд и воспоминаний» А. Моруа — о встрече и разговоре с Уинстоном Черчиллем. Английский политик внушал французскому литератору: бросьте, хотя бы на время, услащать себя и читателя описанием «женской любви» да «мужского честолюбия». Вместо этого каждый день пишите по статье и в каждой — об одном: германская авиация с каждым часом становится сильнее французской!..

Писатель не внял советам, о чем (сам признается) после очень сожалел. Когда гром грянул!

Он грома не ожидал. Мы ждем постоянно. Как бы нам ни казалось, что живем как жили. Не оттого ли нам не до литературы? Или если уж литература, если «сочинять», то не замыкаясь в привычных формах. Отлет от бытовой реальности, так уж отлет! Если читать (писать), то неотразимо бьющий в цель «документ», а если не его, то «Маркеса»! Не это ли в нас, читающих, пишущих,— если заглянуть в себя поглубже?

Но мысль наша вовсе не та и забота не о том, что следует вместо художественной литературы заниматься публицистикой, эссеистикой и т. п. (Хотя заниматься этим сегодня важно чрезвычайно.)

---

[1] Наркирьер Ф. Франсуа Мориак. М., 1983, с. 214.

Проблема как раз в том, как вернуться к художественной литературе, а точнее — к какой литературе? Какой ей быть, становиться, чтобы не было этого: не могу читать!.. И что еще важнее: чтобы по оставаться в стороне от самого главного.

Нет, давайте представим, что мы читаем литературу 1941-1942 годов и не обнаруживаем мыслей, чувств, связанных с величайшей угрозой самому существованию народа, нет в ней ни боли, ни гнева — ничего такого, а все о «женской любви» да «мужском честолюбии» или пусть даже о гражданской войне, коллективизации и т. п. И лишь в отдельных произведениях отдельных авторов — нечто о нависшей угрозе, о немыслимом напряжении, в каком живет народ.

Такое невозможно?

Ну, а если нас будут читать через 40, через 50 лет, что и о чем вычитают? Вычитают, что смертельная угроза висела (уже в буквальном смысле) — над каждым городом, селением, домом? А «от» и «до» — минуты, секунды. И, тем не менее, почти ничего об этом! Ни в фактах, картинах, ни в чувстве — почти ничего. В большинстве произведений.

Что это, завидное хладнокровие? А может быть, совсем иначе это называется, назовут?

Юрий Карякин с его нормальным чувством грозящей катастрофы (ненормально сегодня — отсутствие такого чувства) как-то подумал вслух: а что, если бы компьютеры зафиксировали мысли, чувства, заботы всех людей за несколько минут-секунд до того, как случится? Сколько людей и чем были озабочены? Многие ли — самым главным? Озабоченно думали, нечто предпринимали, чтобы миг такой не наступил. Видимо, таких процент был бы невелик. Вот потому и случилось, свершилось...

Виноватых было бы много, в одном из немногих произведений «об этом», в романе «Катастрофа» белорусского писателя Эдуарда Скобелева сказано: «кроме детей — все». «Теперь все виноваты, и безвинные больше виноватых, потому что не остановили их... Теперь-то мы были бы счастливы начать со вчерашней отметки, решиться на борьбу за спасение человечества, но — часы уже пробили двенадцать, ничего не изменишь».

Эдуард Скобелев пытается угадать будущие чувства людей, если они такое допустят, тем более острые, что они запоздалые и ничего вернуть невозможно. «Уж коли все мужчины оказались ничтожными, женщина должна была в ту роковую ночь перед нажатием кнопки удушить своего сонного партнера!.. Она доляша была не пощадить ни мужа, ни сына, ни отца — ради людей Земли...»

Ну, а себя тем более неразумно щадить — сегодня. Чтобы завтра не оказаться один на один с собственной виной. В наших писательских спорах вокруг все того же проклятого вопроса: ну, а что мы можем, что литература может? — прозвучал как-то невеселый, но все же ответ: «Не могу помешать? Но не способствовать — это-то в моих возможностях! Хотя бы это. Чтобы в последний миг не проклясть себя».

Для отдельного человека это, возможно, тоже позиция. Но для всей литературы, нет, от нее большее требуется. Задача, которую Г. Шахназаров в статье «Логика ядерной эры» формулирует так: «поскорее «провести» человечество через опасную зону»[1].

...за мирную переправу
русских, американцев, венгров,—
из двадцатого в двадцать первый[2].

* * *

Проблема, однако, не только «в хотении» или «не хотении» писать, говорить о том-то и том-то. Но и в способности литературы быть литературой, оставаться литературой, уходя туда, в такое, о чем и помыслить страшно.

Вот и Ч. Айтматова мучит: «Но как, как, как? Как преобразовать в язык творчества все то, о чем мы сейчас говорим, о чем непрерывно думаем? Как найти убедительные слова для того, что и в мысли-то не укладывается»[3].

Да, это проблема. И серьезная. Тем не менее вряд ли полезно преувеличивать сложность ее. Литература всегда могла почти все, но при одном условии: когда ее вело истинное чувство. Если не получается, значит, не хватает как раз его, чувства: не взорвалась еще в нашем сознании та проклятая бомба! Не с той стороны идем, не по краю, все боимся заглянуть. А кому же идти по краю и кому смотреть, если не литературе? Не дело это — «отвертываться», употребляя слово Достоевского, сторониться то ли пугливо, то ли цинично.

Как говорит Владимир Лавров в том письме: «сегодня очень легко впасть в удобный, безответственный пессимизм со всеми многочисленными его оттенками («после меня хоть потоп», «моя хата с краю» и т. д. и т. п.). И самое опасное, что создается своего рода магнитное поле: один так думает, другой это чувствует и тоже к таким думам склоняется, третий попадает под влияние этих двух, четвертый... Здесь-то и есть возможность погулять «медным каскам».

---

[1] Век XX и мир, 1984, № 6, с. 11.
[2] Шкляревский И. Слово о мире.— Литературная газета, 1984, 20 июня.
[3] Вопросы литературы, 1983, № 9, с. 18.

Поучителен урок телефильма «На следующий день». Видевшие его, утверждают, что «не самое лучшее кино» и далеко не все в нем показано, сказано, но при всем при том — сработал. Обрушился на целый народ, на американцев, как смерч, и повлек, потащил, принудил 100 миллионов человек заглянуть в пропасть, которая давно рядышком с их офисами, автострадами, коттеджами, ночлежками, но о которой не думали...

Артур Миллер писал по этому случаю, что американцы не очень задумывались, какая она будет, ядерная война. А тем временем политиканы и генералы у самого-самого края приплясывают, фиглярничают, демонстрируя, как это все не опасно, и даже здорово, и азартно: подумаешь, еще одна война, притом «ограниченная», мало ли было их, а вот живем, процветаем!

Нечто вроде излечивающего шока я сам испытал, по не от фильма, а прочитав книгу — «Судьба земли» Дж. Шелла. И наблюдал, как эта книжка, всего лишь одна, переворачивала сознание: должности, профессия, возраст, пол, жизненный опыт — все отступало, а на первый план выходила острая, тоскливая мысль: так что же можно сделать и что нужно делать? что могу я, что, что?..

Этим у нас серьезно озабочены и многое делают, чтобы люди знали, чем грозит «последняя эпидемия»,— медики и другие ученые, специалисты. Создан, действует Комитет советских ученых в защиту мира против ядерной угрозы (КСУ), возглавляемый вице-президентом АН СССР, известным физиком Е. П. Велиховым, с задачей — донести до как можно большего числа людей во всем мире правду о масштабах и характере ядерной угрозы.

Задачу эту, кстати, поставило перед учеными Советское правительство.

Подобного писательского Комитета нет. И нет, по-видимому, оснований утверждать, что это чисто формальный момент, что и без того мы выполняем свою часть работы.

Насколько далеки от этого многие из нас, чуждаются подобной работы, продемонстрировала конференция по современным проблемам «военной» прозы, которая в апреле 1983 г. проходила в Минске. Участвовали в ней видные «военные» писатели, критики белорусские, русские, из многих городов, говорили не столько о сделанном, созданном, сколько о том, куда идти дальше, то ли мы делаем, тем ли заняты.

Очень самокритичные были выступления представителей прекрасной нашей «военной» литературы,всем высилось понимание, что, если бы мы и в десять раз больше сделали, все было бы недостаточно — такое время подступает.

И вместе с тем поражало, как трудно и неохотно на подобный разговор настраивалась значительная часть писательской аудитории. И так обидно и стыдно было слушать в присутствии гостей, когда и тут заговорило, нет, заверещало самолюбие «обойденных» (им так показалось). Не думаю, что мы, белорусы, грешим этим больше других. Но гости, приехавшие к нам писатели, оставили дома мусор окололитературных, внутрописательских страстишек, а наш всплыл на глазах у всех.

Выступает человек, глаза ясные, голос честный донельзя, а нас, кто постарше, мучит память. Точно та-кой же был его голос, такими глаза, когда 20 лет назад вот также пафосно обвинял Василя Быкова в отсутствии героизма и патриотизма. Теперь этот попрек — всей конференции. О чем вы, мол, какая там бомба? Читайте мои партизанские романы, которые, конечно же, забыли в своих выступлениях, учитесь, как надо не бояться врагов.

Больше всех поразили некоторые «молодые». Пришли, посидели отстраненно: знаем, мол, даже в перечне нас не назовут! И после жаловались, нет, обличали: о чем говорили? слушать было невозможно! пацифизм! и как после этого воспитывать молодея«ь? (Они уже воспитывают литературную молодежь.)

А один полемист уже и в повесть вставил своих оппонентов по конференции — в образе... зарубежного туриста, который, подумать только, рассуждает о необходимости осознавать нашу общую принадлежность к роду человеческому. «Снова сверхчеловек, ницшеанский?» — недоумевает возмущенный герой повести за себя и за автора. Прочтешь такое и невольно подумаешь, что иным из нас и эрудиция во вред.

Но всему этому удивляться будешь меньше, если ближе познакомишься с подобной литературой, ее называют «текущей». Такое порой блеснет!..

Известный писатель одаривает мир повестью об умершем друге, и пером его водит неизъяснимая жажда «разобраться» во всех семейных и даже денежных делах покойного. Прочтешь, и захочется убея<ать от всех друзей — заранее!

А другой, помоложе, неожиданное открытие сделал, что художественная литература — удобный подручный предмет в борьбе с критиками: ах, ты меня в статье, в выступлении, ну так я тебя — романом, романом!

Пишут не только рассказы, повести, но уже действительно и романы, посвященные целиком личности того или иного критика, оннонента-писателя.

Но самое сенсационное жанровое изобретение в этом роде — лирико-романтические... филинники, посредством которых можете выяснить отношения, свести счеты с кем угодно, например, если

не стыдно,— с бывшей женой, а заодно и с тещей. Мечтателем представляется «лирический герой», в котором все до последней жилки дрожит, дышит радостной местью: ну, теперь поняла, кем пренебрегла 30 лет назад? Пусть, пусть прочтут и соседи, вспомнят, как все было и кто есть ты, твоя мамаша, нарочно все белыми нитками прострочил, чтобы не было сомнения, что это о тебе, о вас, о нас...

Ядерная эра, неядерная эра...— нам бы ваши заботы!

Обнажив, обнаружив невероятную отключенность части литераторов от самого главного, конференция вместе с тем — и в выступлениях многих писателей, белорусских, русских, и в последующих спорах, публикациях — еще раз подтвердила, что в любом деле всерьез задуматься — это уже полдела. Оглянуться на себя самого, как когда-то советовал Лев Толстой, на все интересы и заботы прежние: а не глупость ли все это? нет ли проблем более важных и неотложных, помимо тех, коими озабочен сверх меры?

Да, уже говорим, уже спорим, но наше дело, как заметил Чингиз Айтматов в диалоге с пакистанским поэтом — «наше дело писать». И это, конечно, серьезная и ненадуманная проблема: «как, как, как?» Писать как?

Безжалостный бульдозер — век XX — срезает в сознании людей целые пласты, древние, слежалые, обнажая тайны, богатства психологии, прежде достигаемые лишь «глубинным бурением». Многое, очень многое становится доступным всей литературе, а не только гениям. Надо учиться пользоваться этими новыми возможностями.

Когда мы записывали память людей, переживших хатынские трагедии, ленинградскую блокаду, без конца поражались: да это же — Достоевский! Под самой бесхитростной историей — вдруг новое знание о человеке. И проводниками в тех глубинах, порой адовых, были не Данте, не Достоевский, а Тэкля Круглова, Мария Ивановна Дмитриева...

Ну, а какие бездны обнажает ситуация, в которой сейчас существует все человечество — это еще открывать и открывать.

Кому, как не литературе (наряду с наукой) здесь быть «проводником»!

Мне довелось в марте 1984 г. присутствовать на Таллинской сессии Комитета советских ученых — борцов против ядерной угрозы. Представителей гуманитарных знаний нас было двое — Роллан Быков и я. Поэтому к нам и были обращены справедливые претензии известных физиков, медиков, химиков: вы, ваша специальность особенно многое могли бы значить в этом деле — внедрять в сознание как можно большего числа людей всю правду о последствиях ядерного конфликта! (Тем более это важно, что

милитаристы на Западе яростно противятся созданию Всемирного Комитета ученых и деятелей культуры такой направленности. До сих пор его нет).

Роллан Быков присутствовал на собрании ученых с целью вполне определенной, практической: он готовится снимать фильм, который должен послужить именно этому делу. Будет в фильме том, наверное, и «ядерная зима», и «ядерная ночь»,— я видел, как вслушивался режиссер в выступления ученых, вчитывался в их «сценарии», в которых моделируются те или иные последствия ядерного побоища.

«Температурный режим атмосферы и поверхности Марса в обычных условиях и во время пыльных бурь может быть описан на основе простых теоретических соображений... Бури рождаются обычно в начале лета в Южном полушарии и за несколько недель охватывают практически всю планету. При этом поверхность Марса охлаждается на 10-12 градусов, а атмосфера примерно на столько же нагревается. Поднятая пыль субмикронных размеров держится в разряженной атмосфере Марса несколько месяцев.

Аналогичная модель для Земли правильно оценивает средние температуры поверхности и атмосферы. Применяя эту модель для запыленной и задымленной атмосферы в результате ядерных взрывов, можно ожидать похолодания поверхности континентов до 30-40 градусов».

Игорь Шкляревский в своей повой поэме «Слово о мире» делает попытку сблизить взгляд и чувства поэзии с тем, что видят (и предугадывают) ученые.

...Африка!
И над тобой встанут полярные ночи,
померзнут твои бананы,
околеют от холода львы,
и деревья кофейные обледенеют.
Как тифозные волосы, вылезет зелень.

...Будет в пепле народов и стран
ковыряться ослепший кабан...
Будут волки безглазые,
лбы расшибая о сосны,
гнать слепого последнего лося.

Если точно по «сценарию» ученых, то разрушение «озонного щита», предохраняющего все живое (и глаза!) от убийственной солнечной радиации, скажется лишь потом, после многомесячной «ядерной ночи» и полярного мороза даже на экваторе. А до этого — вселенские пожары, всепроникающая радиация от бомб и разбомбленных реакторов.

Какие после этого кабаны да волки?

Но у поэзии свои права, Игорь Шкляревский в них больше понимает.

Кроме того, сама наука все еще только по частям постигает пемыслимое: ядерную смерть. Тут мы, люди, даже специалисты-ученые, напоминаем слепцов из индийской притчи, которые угадывают, как выглядит слон — в зависимости от того, что нащупали: хобот ли, ногу ли, бивень ли…

Смерть самой смерти — кажется, в этом конечное измерение ядерной угрозы. То есть ничто и никто больше не будет на Земле умирать, поскольку ничто и никто рождаться но будет.

В № 8 за 1984 г. журнала «Век XX и мир» опубликовано интервью с известным экспертом в изучении последствий глобального ракетно-ядерного столкновения.

Вот мнение наших и крупнейших зарубежных ученых, основной вывод: «Если ядерная война разразится, то у человека не будет никаких шансов выжить».

Вспоминается разговор с одним из литераторов, вполне образованным человеком, в редакции солидного журнала: зачем, мол, сгущать, уж столицу-то (сам он в столице живет) от удара уберегут!

А это мнение ученых, постоянно занимающихся такими вопросами, проблемами: «Даже локальный конфликт, скажем, в Европе, нанесет невосполнимый ущерб странам всех континентов. Индия, Бразилия, Нигерия и Индонезия могут погибнуть, даже если ни одна бомба не упадет на их территорию. Об этом прямо говорится в итоговом документе, принятом участниками научного симпозиума по климатическим последствиям ядерной войны, который проходил в этом году в Папской Академии наук в Ватикане».

Так что даже «столичной вышки» уже недостаточно в таких серьезных вопросах, делах, нужна вон какая — планетарная!

«Ядерное оружие,— говорится в этой статье — до сих пор рассматривалось некоторыми как взрывчатка повышенной мощности. Но это — роковая ошибка. Взрыв современных арсеналов не идет ни в какое сравнение с прошлыми войнами и всемирными катастрофами. Здесь не может быть никаких иллюзий. Хотя они упорно поддерживаются. Например, все существующие сценарии ядерного конфликта разыгрываются в Северном полушарии, тем самым порождается надежда, что вторая половина Земли станет прибежищем для выживших. Это — утопия, говорим и мы, и американские специалисты Национального центра атмосферных исследований во главе со Стивом Шнайдером и профессором Карлом Саганом».

А вот картина, «сценарий» ученых, рисующие ту самую «ядерную зиму».

«Установлено, что в результате ядерных взрывов возникнут и охватят огромные территории массовые пожары. Это приведет к образованию колоссального количества частичек сажи, имеющих субмикронный размер... На земле воцарится тьма. В результате нарушится радиационный баланс планеты и произойдут глобальные перемены в климате, которые будут во много раз страшнее для жизни, чем прямые эффекты ядерной атаки.

Произойдет быстрое падение температуры над континентами на десятки градусов. В отдельных местахтерриторией США, СССР и Европой это падение достигнет — 50 °С. Это состояние продлится не менее года. Наступит «ядерная зима». По расчетам, это произойдет примерно через несколько дней после последнего ядерного взрыва. И небо, если можно так сказать, просто вывернется наизнанку. Станет горячим вверху (потепление на высоте 10-15 километров до 100° по Цельсию) и холодным внизу. Это будет началом тотальной экологической катастрофы»[1].

Когда такое грозит, такое возможно, все остальное обретает иную цену, вся система мышления должна меняться. И в поэзии, литературе. Самые сильные строки и у Игоря Шкляревского, в его поэме — именно те, где это изменение происходит.

— Кто самый великий маршал?— спрашивал ночью брат.

— Кто самый великий воин?

Батый?

Бонапарт?

Кутузов?

...Самый великий маршал — тот, кто не даст начать и не начнет войну!

Самый великий воин — тот, кто великой крови родной и чужой не пролил...

Характерна публицистичность всех художественных вещей об этом — и романа Э. Скобелева, и поэм Е. Евтушенко, И. Шкляревского. Это особенная публицистичность, в основе которой — эмоциональный взрыв. Взрывается сама логика — аллогичностью происходящего и творимого людьми и от имени людей.

Однако не все сводится к публицистичности. Есть ведь и другие возможности, пути, средства — их искать надо, и их, конечно же, обретет литература, когда действительно впустит в себя эту обжигающую «тему».

[1] Об этом же см.: Моисеев Н. Система «Гея» и проблема «запретной черты».— Наука и жизнь, 1986, № 1, 2.

Известен такой эксперимент — на него первыми вышли зарубежные рекламоделатели. В обычную, любую киноленту они вклеивали, через определенные интервалы, нужный им кадрик. Зритель даже не замечает его, кадрик проскальзывает мимо сознания, но в подсознании — в этой мелкоячеистой сети — застревает. И человек, испытывая непонятную тоску по некоему предмету, товару, бежит в магазин...

Наше время не накладывает вето на все прежнее — «женскую любовь», «мужское честолюбие» и пр. и пр. в литературе. Отнюдь нет. Но оно требует своего «кадрика» (хотя бы его) — о чем бы мы ни хотели писать, повествовать.

Тем более что ядерная эра вклеивает его в само наше сознание — рано или поздно, хотим того или не хотим.

Многие, кто прошел войну, ее школу, долго несли, а кое-кто и сейчас несет в себе ее «кадрики» — странную пугающую нас самих особенность, привычку памяти: идешь по лесной дороге, едешь по асфальтке, взобрался на крымское взгорье, и вдруг — та-та-та, тр-тр! Кто-то по тебе или ты по кому-то, невидимому. Из пулемета, из автомата, десятизарядки — в зависимости от того, чем пользовался когда-то. Или чем мечтал завладеть, чтобы вот так, огненным веером — по врагам! (А партизаны все мечтали об автоматическом оружии.)

Десятилетия минули, а все никак не установятся с окружающим пейзажем доверительно мирные отношения. Дерево для тебя все еще — ориентир, овраг — убежище, камень — укрытие от чужой пули, огня.

Когда-то очень злился на себя за это, обзывал эти тата-та — «синдромом Тупиги». Ну, сколько можно таскать на плече или поперек груди эти воображаемые проклятые «косилки»?

И вдруг избавился. Исчезло, вытесненное. Чем-то более тягостным, но вытесненное. Начитавшись, не раз мысленно пережив то, что испытали люди 6 и 9 августа 1945 года — пока только японцы,— их глазами и памятью стал видеть и минскую улицу, и крымское небо, и байкальскую гладь. Все есть, и вдруг: ослепительная, в тысячи солнц, вспышка, первые 30 секунд невыносимого свечения и сковородного шипящего звука, исходящего от плавящихся стекла, металла, песка, пузырящейся, испаряющейся неживой и живой материи!..

Идешь по улице, пахнущей дождем, свежестью, и такое это счастье, что все, все еще есть, мальчик тискает в ладонях красный шар, шуршит прозрачной резиной, смеется,— и вдруг обжигает мысль, видишь: шарик исчезнет первым за миллионную долю секунды, а затем — те 30 бесконечных секунд!.. И крик из хатынского прошлого: «Сынок мой, сынок, зачем же ты ботики

резиновые надел, зачем обулся в эту резину, твои же ножки гореть долго будут в резине!»

Как бы мы ни отодвигали, ни задвигали подальше, заталкивали поглубже это — в памяти и в сознании нашем — «кадрики» уже вклеены, проносятся...

Синдром прошлой войны, глубочайший след ее в психике нашей долго питал и питает нашу «военную» литературу.

Новому чувству, знанию питать нашу новую «военную» литературу (еще более антивоенную по пафосу) — и какого накала это доляша быть литература!

Но угрозу, всю угрозу мы еще должны ощутить, впустить в себя. И мы, писавшие, пишущие о войне, обязаны делать это в числе первых. Взорвется та проклятая бомба в нас самих — вот тогда и живое слово будет найдено, не будем недоумевать, жаловаться: как? как об этом писать? Теоретизировать нужды не будет.

А пока — приходится.

...Сверхлитература? Нет, пожалуй, это чересчур сказано, ничего сверх минимума не предполагается: писать о том, о чем постоянно думаем, даже когда гоним это от себя, но делать это так же всерьез, как научились (тоже не сразу) писать о минувшей войне. Впрочем, если говорим, что необходимы сверхусилия, чтобы победить сверхоружие, смертельную угрозу, исходящую от него, то разве не самое время заговорить и о сверхлитературе? О сверхискусстве.

Беспощадный показ не только минувшей, но и грозящей войны — это прямой выход на тему. Но такой путь не единственный. Да, если в тебя вошло, если впустил — о чем бы ты ни писал, напишешь и об этом. Прав, прав был Юрий Карякин, когда говорил на встрече за «круглым столом» журнала «Латинская Америка» (1983, № 3), что именно реальная встреча с реальной смертью (опасность самоубийства) — «ничем не заменимый способ познания», который-то и требует, и толкает к «выработке нового мироощущения, миропредставления, мировоззрения единства человеческого рода, именно родового мироощущения».

Ощутив всю опасность, угрозу самому роду человеческому — вот тогда-то начинает литература смотреть на все, что есть, что у нас перед глазами, совсем по-новому, по-иному.

И пока не ощутили до конца, не сработало новое знание, приходится все еще уговаривать себя, смотреть так, а не этак, видеть не отсюда, а оттуда — например, с Луны, с Марса...

Не трудно вообразить, с какой жадностью человеческие глаза рассматривали бы, с каким восторгом — обыкновенного червяка, дождевого, например, или даже вредного клеща (да что клеща —

палочку Коха!), если бы их доставили с Луны, с Марса, с Венеры. Умиление, счастье! Ведь это — жизнь, жизнь!

А что делаем с нею здесь, на Земле? Чего наготовили против нее?!

Не пришло ли время все, что есть жизнь — и здесь, на нашей собственной планете,— видеть именно такими глазами. Счастье жизни, просто жизни, щемящее от всех тревог и опасностей, утверждение самоценности ее, а через это — чувства самосохранения родового — без всего без этого немыслима литература, вообще всякая литература — ни «военная», ни «деревенская», ни какая другая.

«Перед нами лежит путь непрерывного прогресса, счастья, знания и мудрости. Изобрели мы вместо этого смерть только потому, что не можем забыть наших ссор. Мы обращаемся как люди к людям: помните о том, что вы принадлежите к роду человеческому и забудьте обо всем остальном. Если вы сможете сделать это, перед вами открыт путь в рай; если вы этого не сделаете, перед вами — опасность всеобщей гибели».

Это из Манифеста Рассела — Эйнштейна, одно из первых предупреждений. Сколько же их нужно, необходимо, чтобы люди вняли разуму?

Человеческую память до сих пор лихорадит пережитым, испытанным в 40-е годы. Но ведь грозит что-то несоизмеримое даже с самой жестокой и кровопролитной из войн. Там погибло пятьдесят миллионов. Это грозит гарантированной погибелью пяти миллиардам,— то есть 100 (сто!) войн, равных самой большой, спресованной в часы, минуты!..

Как же писать об этом, о таком! С позиции чего — если все моментально истлеет, испарится. С позиции, «от имени» тени на стене, на тротуаре, на мосту, которые где-то останутся, как остались в Хиросиме?..

Немыслимое, так как же о немыслимом?! Что ж, именно так — как о немыслимом. Очень неожиданно это противоречие выразил, сумел передать Юлий Ким в поэтикодраматическом произведении, которое сейчас готовится к постановке в театре им. Станиславского, кажется, станет первой пробой «темы» на театральной сцене.

«Инопланетяне» решили показать землянам, что их ждет... В три телекабипы вошли трое братьев: самоуверенный генерал, увлеченный своим делом изобретательтехнарь и молодой террорист — бунтарь против дел, в которых с «профессиональным» бессердечием участвуют братья старшие.

Вошли с гримасой недоверия, даже интереса, любопытствования: ну, ну, как это будет?

И по одному по очереди вываливаются из кабин: замертво! со слюнявым бормотанием идиота! с последней мольбой: «Что-нибудь делайте!..»

Одному из друзей-писателей пришла, привиделась мысль: а ведь может и так случиться, что кто-то (и не один) свою и общую погибель сможет, сумеет еще увидеть на экране телевизора: прямой репортаж (случайный) с места события, с чего все и начнется, и... обрыв, телевизор погаснет вместе со всем остальным.

Нет, нет, не дожидаться!

«Мы должны научиться мыслить по-новому,— призывали авторы цитировавшегося выше Манифеста, ставшего программным документом международного Пагуошского движения ученых за мир,— мы должны научиться спрашивать себя не о том, какие шаги надо предпринимать для достижения военной победы над тем лагерем, к которому мы не принадлежим, ибо таких шагов не существует, мы должны задавать себе следующий вопрос: какие шаги можно предпринять для предупреждения вооруженной борьбы, исход которой должен быть катастрофическим для всех ее участников».

А литература, а мы, пишущие,— наше место в этом во всем? Нам ведь тоже еще учиться и учиться мыслить поновому, нам тоже учиться спрашивать и отвечать — на вопросы, которые и ставить-то страшно, и на вопросы чисто профессиональные: как, как, как об этом, о таком?!

1984

ЖИВЕТ В КОСТРОМЕ КРИТИК

...И делает всесоюзную погоду. Как не многие из критиков. ни одна его статья не проходит незамеченной — ни в Москве, ни в республиках.

Хотя, казалось бы — вот и с этого хотелось начать разговор об Игоре Дедкове — критик он какой-то очень не современный, что ли. На языке вертится даже — «консервативный». Бывает у этого слова, хотя бы в порядке исключения, смысл положительный? Если бывает, тогда и оно уместно.

Ну, ничего-то в нем, в Игоре Дедкове, от критики, которая во всем, во всем преуспела, особенно в «раскованности», и так озабочена мыслью, интересна ли она, что все остальное вроде уже и не главное. О чем бы ни шел разговор, не может не косить глазом, хотя бы одним глазком в зеркало-зеркальце: я ль на свете всех умнее, всех прекрасней, всех?.. Вот в этой фразе как гляжусь? А с этой мыслью на голове? (Мысли порой как шляпки.) Что вы мне все: литература! литература! А я сама что — не литература? Поищите себе служанку в другом месте!..

А у Дедкова? И как ему не надоест? И как сам не боится надоесть со своей этой «определенностью» (в добре, видите ли, и зле), да социальностью, да нравственным максимализмом, да настороженностью к любому отходу, отступлению от традиционного русского широкогуманистического взгляда на «свое» и «чужое»?

Читаем в новой его статье (Север, № 6), даже в заглавие вынес: «Момент правды остается определяющим...» Это — быковское и о Быкове, но, конечно же, еще одно заявление и о собственных принципах.

Или совсем уж новая статья — о Валентине Распутине (Новый мир, № 7) — о той литературе, где все, до последней запятой, сосредоточено на делах, интересах, нуждах реально живущих: «Что-то из того, что издавна называют «действительными потребностями» жизни, ее действительными настроениями, ее живыми самостоятельными голосами».

Точно и не минуло, сколько там? — 20, да нет же, все 30 лет с тех времен, когда эти принципы с новой горячностью стала исповедовать литература? Литература, уставшая от необходимости висеть, парить над грешной землей вместо того, чтобы ходить по ней, как люди каждый день ходят. Все семь дней недели ходят.

Игорь Дедков сегодня, здесь — посланец и страж литературы и этическо-эстетических принципов, утверждавших и утвердившихся через отказ от привилегии не быть всерьез озабоченной делами, интересами, судьбами других.

Вот в каком смысле он — «консерватор». Его ничем не купишь, никакими новациями и открытиями (даже когда «в этом что-то есть»), если только он ощутит, что в авторе «сосредоточенность на себе больше, чем на других» (...«до того порой велика, что происходящее с другими как бы не вполне в счет»),

«То есть, конечно, в счет, но в общей и приблизительной форме, при которой за «главное», «насущное» может быть выдано что угодно, а шукшинское или, скажем, абрамовскоо — не говорю гоголевское, толстовское — проникновение в человека и российскую жизнь становится невозможным»[1]

Игорь Дедков всегда и непримиримо стоит на этом, закрепляя, укрепляя принципы, обретенные очень даже нелегко, хотя кое-кому из пишущих они, может быть, в тягость, а кое-кто не ценит потому, что не знает, не помнит иных времен.

Обретение, утверждение этих принципов ни в наше время, ни в прошлом никак не может сводиться к деятельности или авторитету одного-двух имен. Это был общий и, помнится, довольно резкий поворот во всей пашей жизни и в умственном, психологическом, нравственном состоянии каждого.

Но если речь о литературе, критике — нельзя не помнить, какое значение имело имя и деятельность как раз одного человека — Александра Трифоновича Твардовского.

Александр Твардовский — это литература (а также критика), где все, действительно до последней запятой, обусловлено, определено реальной судьбой реальных людей, народной судьбой. Но именно поэтому такая литература по своему назначению равна самой жизни — как ее часть и главнейшее, может быть, подтверждение. В этом смысле — он наш исток, заново забивший, наш Пушкин. Именно с Пушкина началось такое отношение к литературному делу, занятию.

И никто последовательнее и осознаннее, чем Твардовский, не возвращал литературе (воспитывая это во многих и многих сегодня известнейших, значительнейших писателях, критиках) чувство строгого и требовательного самоуважения (самоуважения литературы), без которого литература никому не нужна.

Что и говорить, время порой делает странные кульбиты с нашей памятью, с нами. Что ж, жизнь есть жизнь. Это я и услышал от одной редакционной дамы, когда по-провинциальному удивился, как мало было в зале им. Чайковского писательских лиц в день, когда великому поэту исполнилось бы 70 лет. «Новые времена — новые авторитеты,— поведали мне,— Сходите на

---

[1] Дедков И. Продленный свет.— Новый мир, 1984, № 7, с. 244.

Новодевичье и посмотрите, чьи могилы ломятся от цветов. А на ваших (о, как это было сказано!) — засохшая веточка. Да, да, на днях видела».

«Все минет,— написал как-то Александр Трифонович Твардовский Василю Быкову, когда тому было трудненько с критикой, да и с читателями некоторыми,— а правда останется!»

«На том стоим!» — любил и с особенным нажимом употреблял это выражение Александр Твардовский. На том продолжает стоять основной массив нашей литературы, от ее имени звучит голос Игоря Дедкова в критике. И нет, не единственная это «веточка» и не засохшая. Основные мысль и забота этой критики очень просты, не новы: правда есть правда, а неправда есть неправда, добро есть добро, и зло тоже — зло, и если то и другое начинает слишком сближаться, берегись, жизнь, берегись, литература — это как верхнее и нижнее давление крови. Не дай бог, чтобы сошлись на одной черте, совпали!..

Одна из статей Игоря Дедкова наделала особенного шума — это когда он эту простейшую истину приложил в качестве эталона «мер и весов» к целой генерации писательской. Не буду здесь разбирать, насколько прав или не прав был критик по отношению к каждому конкретному имени или произведению. Но он заставил на самих себя оглянуться не один десяток писателей, среди которых есть по-настоящему талантливые, и именно эти, талантливые, должны быть ему благодарны: он первый воспринял их всерьез и заговорил о них серьезно, по высшему счету, спросу. Но здесь не о них разговор, о нем — о критике, который способен вступить в конфликт с целым поколением писателей. Притом — с собственным поколением. А ведь Дедкову с ними жить дальше.

Но для него это норма — мыслить и говорить на таком уровне правдивости, открытости, решимости.

В одном разговоре кто-то из критиков вслух подумал, что идеальное положение для критика — это когда он живет в полной обособленности, нет у него личных отношений в литературной среде и даже не знает, кто есть кто согласно табелю о рангах. «Держать в глухой яме и спускать еду на веревке!» — свирепый самоприговор достаточно известного критика, которому, конечно же, всю жизнь не удавалось в своих суждениях и оценках избежать «помех со стороны». Идеальные меры веса, длины и т. п. эталоны — их-то вон где держат, хранят в скальных, недоступных внешнему воздействию пещерах. Вот так и критика содержать, идеального.

Кострома — вон она где, да нет, не очень далеко, но что же выходит, помогает? А может быть, дело в самом «эталоне», в

материале, из которого сделан, а проще — в жизненной, творческой, идейной биографии критика?..

Есть в позиции, на которой стоит, которую утверждает Игорь Дедков, свои скользкие места. Что ж, и о них поговорим.

Первая опасность (и ее не избежали некоторые, хотя именно Дедков избежал) — это «грех апостольства», назовем так. Ни на шаг от буквы времени ушедшего, но и вперед ни шагу, потому что вся правда — там, все кардинальные открытия литературные — там и только там, а после, а сейчас — лишь эксплуатация старых выработок, повторение, усталость, потеря высоты и т. д. и т. п.! Все началось и все кончилось — при нас!

Чего и в зародыше нет в Игоре Дедкове — так этой глухоты, ревнивой слепоты к новому. К новым тенденциям, достижениям, именам, произведениям. К новому и у «стариков» — Быкова, Абрамова, Залыгина, Астафьева, Белова, Бакланова, Айтматова…

Так что же, даже под занавес ничего критического в адрес критика? Нет, приготовил. И знаете что приготовил — повесть колумбийца Кортасара «Выигрыш». Столько в ней сказано в поучение всем. Всем без исключения.

И критику Дедкову тоже.

Я имею в виду какую-то маету Игоря Дедкова, например, в той части новомирской статьи о Распутине, когда речь заходит о его последних рассказах, даже слово «мистическое» возникает, хотя и забранное в кавычки. Маета, маета появляется тут в голосе критика, неуверенность, не проявит ли излишнее пристрастие к этому автору, если из его рук примет то, что обычно не принимает, если смирится с неожиданным переходом этого сугубо земного реалиста куда-то на «корму». Слово «корма» — это уже из повести Кортасара. За несколько песо герои его повести выиграли право на путешествие в заморские края. Дар с неба! На борту парохода все, чего пассажирская душа пожелает: роскошные рестораны, бары, игры, развлечения, неожиданные знакомства, сближения и пр. и пр. И маленький (вначале никто и внимания не обратил!) запрет: не ходить на корму — никому из пассажиров! Это-то и разрушило все удовольствие, всю радость путешествия, и туда, на корму, вскоре устремились помыслы, желания, догадки помрачневших счастливчиков. Возникли подозрительность, напряженные отношения с командой, кончилось все трагически. А не объяви капитан, что на корму нельзя, все, возможно, преотлично обходились бы без нее и даже не замечали этого. Но тут на ней все и сосредоточилось, сошлось. Что там прячут? И нет ли опасности? Говорят, умер от холеры матрос, от нас скрывают…

Литература живет и чувствует себя нормально или дискомфортно порой по тем же психологическим законам, что и

отдельный человек. Да, ей, возможно, «корма» и ни к чему, не ходила и не пойдет в ту сторону. Но что ей определенно «к чему», без чего не по себе ей и она не она — это чувствовать, видеть во всех направлениях открытое пространство.

Всегда важно замечать момент, когда мы, критики, увлеченные своим законным правом судить-рядить, начинаем теснить-стеснять литературу в ее собственных нравах. Лишать их литературу — и мы уже имеем горький опыт — означает лишать самих себя литературы. Именно той, настоящей, большой, о которой, казалось бы, хлопочем.

Ну да не Игорю Дедкову это долго объяснять!

На вечере по случаю семидесятилетия со дня рождения Твардовского рядом сидящий Сергей Залыгин припоминал: Александр Трифонович как-то спросил его, а что, мол, без нас (имея в виду свою журнальную деятельность) вы, Сергей Павлович, станете хуже писать? По-видимому, нет, ответил прозаик. Вот именно, четче обозначил свою мысль Твардовский. И другие писатели хорошие будут писать хорошо, а плохие — плохо. Вот только кого им будет побаиваться — плохим?

Да, нужен, очень он нужен — тот строгий, яростно укоряющий взгляд! И чтобы все на себе его ощущали, чувствовали. А то ведь такое порой блеснет в стремнине нашей общей литературной реки...

О казусах нашей текущей беллетристики (белорусской) мне уже приходилось писать в статье «Ну так делайте сверхлитературу!» — повторяться не буду.

Нужна, нужна нам твардовская традиция — и в критике тоже!

Нет, все-таки хорошо, что есть Кострома критическая, и не только Кострома. Не суть важно, что притом есть, продолжается и литература, о которой говорил Твардовский. Опа всегда была и пребудет. Важно, как себя чувствует, как к ней относятся. Важно, чтобы не умолкал голос эстетически и этически зрелой, принципиальной, неподкупно гражданственной, живущей всеми проблемами века критики.

1984

ДОДУМЫВАТЬ ДО КОНЦА. АВТОБИОГРАФИЯ 85[1]

Анкетные данные согласно документам: год рождения — 1927, место рождения — деревня Конюхи Копыльского района Минской области; семья — с годами все более «медицинская»: врачом был отец, а потом и мать окончила фармацевтические курсы, позже и брат мой Евгений стал хирургом (я и сам поступал вначале в мединститут); огромная (если считать и дядьев, теток, шуринов) семья наша почти вся воевала, по никто не погиб, видимо, редчайший случай семейной удачливости.

С 1928 года жили в рабочем поселке Глуша на Бобруйщине, там застала война, прошли через подполье, которое в Белоруссии было в каждом, даже поменьше пашей Глуши, поселке, селении, если там не стояли партизаны, а с 3 марта 1943-го и по начало 1944-го я провоевал рядовым партизанского отряда имени Кирова; потом оказался за линией фронта (для нас это означало — но ту сторону, где нет немцев), уехал на Алтай, там жила еще одна наша тетка, год учился в Лениногорском горно-металлургическом техникуме, поступил потому, что была стипендия и общежитие и еще потому, что оказался вдруг совсем один: мать и брат — остались в партизанском отряде, крае, отец — с первых дней войны где-то на фронте; а нашлись все, отыскали мы друг друга, я вернулся в Белоруссию, в свою Глушу, поступил в Минский университет, закончил аспирантуру, защитил одну, а затем вторую (докторскую) диссертации (тем временем тайком писал свою партизанскую дилогию), стал (с 1954 г.) работать в Институте литературы имени Я. Купалы АН БССР, но неожиданно для самого себя уехал учиться на Высшие сценарные курсы, задержался в Москве (1962—1966 гг.), потому что одновременно с учебой на сценарных курсах взялся читать белорусскую литературу в Московском университете. Вернулся в Минск, в институт.

Но, кроме стажа научно-академической работы, литературоведческой, немалый уже, как сам с удивлением обнаруживаешь, набирается стаж работы в самой литературе — романы, потом повести, документальные книги, а напоследок так уже и рассказы (какой-то нетрадиционный, «обратный» путь жанрового движения, развития).

В моем четырехтомнике (в который, разумеется, не вошли работы соавторские — «Я из огненной деревни…», «Блокадная книга») не меньше двух томов — это критика, публицистика. Половина! Рискованная трата, распределение писательской

---

[1] Написана для сборника «Советские писатели. Автобиографии».

энергии, сил. С точки зрения выживаемости во времени. Тем не менее включил в Собрание сочинений и статьи, выступления, критические эссе. Очевидно, в надежде, что это не так или не совсем так. А вдруг не все или не вполне умерло, еще поживет! Ведь писал их с тем же напряжением и бесконечным переписыванием, как и прозу. Нет, никогда, кажется, не пускал статью, выступление, как нечто «буферное», впереди прозы, чтобы ей затем пройти, прожить безопаснее. В войну немцы (да и мы тоже, когда перешли границу) впереди паровоза ставили, пускали платформы с песком — на опасных участках пути. И в нашем деле бывает соблазн: статью, выступление нагрузить мертвым балластом. Зато, мол, в романе, в поэме скажу, что думаю, как думаю, со всей наличной совестью!

Помню, на одном из бурных московских собраний 60-х годов, когда писательская общественность прорабатывала самых громких в ту пору поэтов, сидели мы, несколько человек, особняком, переговаривались, наблюдали, как наш брат, выйдя на трибуну, старается выманить туда же прорабатываемого. Прямо-таки по Тютчеву:

...С какой отвагой благородной Громите речью вы свободной Всех тех, кому зажали рот.

Кто и в чем прав или не прав, вроде уже и значения не имеет: главное, наклонить, наклонить голову упрямцу! Что-то обидное и оскорбительное, неприличное в нежелании кого-то произносить слова, которые я, видишь же, ритуально произношу.

Вдруг поднялся и пошел к трибуне и наш сосед, с которым только что говорили обо всем этом в таком вот духе (оказывается, значился в списке ораторов). Я даже вздрогнул: сейчас выдаст сполна, нет, до чего же отчаянная башка!

Заговорил... будто и не сходил с трибуны предыдущий оратор. Вернулся, сел снова рядом, я, молодой еще, начинающий, не сразу осмелился взглянуть на него, боясь, что человеку неловко. Наконец глянул: ничего подобного! Он ведь знает, что и мы все понимаем: не за выступления же, речи мы его ценим, а за романы, повести, в которых, действительно, и ум, и смелость гражданская, и честность.

Но придет время, и свои выступления, статьи соберет и напечатает (или другие соберут и напечатают), а потомки гадай: где же он настоящий — в этом или в романах? Гляди, еще и проблема авторства возникнет: он ли писал свои романы, если вот такой был, как в этих выступлениях, статьях? Да и не преувеличиваем ли романные достоинства, не звучат ли в романах интонации (и умолчания) его ораторские?.. Кто-то жестоко, но верно сказал: в запятых, даже в точках-запятых скажется!

Но нам и повезло: не только такие вот собрания выпали на наше время, а и совсем другие: шквал освежающих идей, устремлений, мыслей, слов, поступков. Все то, что стоит для нас за любым упоминанием о времени после XX съезда партии.

В своей автобиографии 1962 года я такое вот сделал наблюдение, которое готов подтвердить: «Каждый, кто пишет, знает тот главный толчок в жизни, который сделал его литератором. Для одних это была революция, гражданская война... Для меня и многих моих одногодков — Отечественная война и XX съезд. Два толчка — два «эпицентра». Без второго и о войне рассказывали бы по-другому. Или вообще не рассказывали бы».

Прозу свою я начал писать, сочинять («записывать» — так будет точнее) где-то в 1948-1949. Но пока неторопливо записывал собственную военную память (из этого образовались, возникли романы «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой»), весь, со всеми эмоциями, молодым нетерпением ринулся в критику, которую само время заостряло публицистически. Чем она была, в те 50-е, в начале 60-х, литературная критика, с каким чувством писалась? А с тем же, с каким в детстве мы ступали на приглашающе потрескивающий, стреляющий под ногами лед, скользили, прогуливались по нему: вот, держит, смотрите, стою, не проваливаюсь!..

Оглянулся — два толстых тома набралось! А собственно прозы не очень много. Оттого ли, что в критику-публицистику энергия уходила? Выговоришься в статье — незачем повесть сочинять, а если уж повлекло, сел за повесть, так спешить нечего, мысли, чувства «чешущиеся» ты уже изрек, поищи что-нибудь поглубже!..

Сложился, установился какой-то свой (как у каждого) характер писания повестей. Дело не в том лишь, что переписываются многократно, а что процесс созревания, дозревания на бумаге происходит как бы сам по себе, по собственным законам, ускорить его — вроде уже не в моей власти. Как невозможно ускорить образование, рост сталагмита или сталактита, потому что именно в медленно-постоянном просачивании воды сквозь земные недра, толщи, в каплях все дело. В каплях, в медленном капанье и наращивании солевой массы.

«Хатынская повесть» писалась более пяти лет (1965, 1968-1971), «Каратели» — около десяти (1971-1979), сейчас вот пишу, с 1982-го, еще одну повесть — о том, о чем и мои статьи, выступления последних лет. Хотел бы побыстрее написать, делать ту самую «сверхлитературу», с которой в статьях пристаю к другим. Но оказывается, даже в этом случае не могу быстрее, а только но капле...

Более десяти лет, начиная с 1970-го, занимался главным, очевидно, делом своей жизни, по крайней мере, уже истраченной,— книгами народной памяти: «Я из огненной деревни...» и «Блокадной». Но эти работы далеко выходят за рамки, за пределы моей личной биографии, не они — часть меня, скорее я — их частица (как и сотни соавторов этих книг).

Когда-то я называл два «эпицентра» своей, нашей писательской судьбы. В 80-е обнаружил себя, заявил о себе, завертел, повлек, потащил за собой (по неизведанным законам общественно-духовной гравитации) новый мощный источник энергии, еще один «эпицентр» — не одного меня, конечно, повлек. Там: Отечественная война, XX съезд. Здесь — заново, с неиспытываемой преяоде ясностью и жестокостью обнаруживающаяся правда ядерной эры — зримо открывшийся край бездны!..

* * *

Но вернусь и к чисто житейской реальности, без чего, видимо, не обойтись в жанре «Автобиографии». Хотя это и не самое интересное. А порой и странно ее вспоминать, жизнь прожитую, смотреть отсюда — туда. Это как если взять и, растопырив пальцы, смотреть на собственную руку: неужто мое? вот это? странное и жутковатое, похожее на невиданного зверька или нечто внезапно вынырнувшее из-под толщи океана!..

Неужто я это, сидящий у окна в темной хате, все куда-то ушли, никого возле меня, а по шоссе идут, едут на лошадях солдаты, солдаты — с белыми пиками. Мне три или четыре года, и мне страшно... Хотя я уже понимаю, что есть солдаты чужие, а есть наши и эти с пиками — наши.

Довоенная самая праздничная радость — кинофильмы, которые затягивались до 2 часов ночи (без конца портилась аппаратура), а когда гас экран, я радостно вскакивал с пола (наше, пацанов, место в кинозале) и смотрел, смотрел в ту точку темного пространства, где, знал, сидела Она, моя Первая Любовь. Мои первые стихи.

Сколько тогда было первого, впервые — в тебе самом, в лесе, в людях, в птицах, зверьках, даже в деревьях возле хаты, привычно знакомых, которые воспринимались почти как домашние животные.

А потом был первый день войны. И уже через шесть дней — первые немцы, враги!

Рассматриваешь себя из временной дали, удивленно узнавая: и это тоже я, вот тот, живущий в доме возле «варшавки» пацан! Ненавистному немцу-карателю из Берлина, самому главному,

чтобы меня убить, стереть с лица земли, не падо даже знать, подозревать о моем существовании. Но ему, всё могущему, на Земле существовать оставалось не больше пяти лет, знал бы он это и что пацан тот из Глуши будет иметь удовольствие, пережив его, выворачивать наизнанку его надуто величественную самость, как хозяйка грязную требуху. Нет, что ни говори, хорошо пережить фюрера!

А тогда я существовал под ним, закрывающим солнце своей надутой злобой, и сам наливался ненавистью ко всем, кто пришел с его именем. Мать живет в невероятном напряжении, ожидании чего-то самого ужасного, отчего кажется еще более спокойной и как бы чуть-чуть отдалившейся от нас, собственных детей: это чтобы не скулили, не напрашивались в ее дела.

С сентября 41-го она работает на партизан: привозит из Бобруйска медикаменты (за партизанские деньги, продукты), сама носит их в лес. А мы, а мы?...

— Не дурите головы! Для вас все это игрушки! Я и так с ума скоро сойду!..

Но без старшего ей уже не обойтись в этих делах, а младшего можно и проигнорировать. Но у пего давно уже своя война с немцами и с их фюрером: что-нибудь сказануть офицеру-постояльцу, напомнить о судьбе Наполеона, перепрятать кем-то зарытые в яме возле шоссе гранаты (и сейчас есть то место, где их зарывал, всякий раз, бывая в Глуше, проходя мимо, смотришь, смотришь удивленно: неужто все было? вот же оно, то место, здесь!).

А, врезали! — вслушиваемся в своей хате в радостно грозную пальбу на шоссе, где-то в стороне Старых Дорог. Но мне мало слушать партизанскую пальбу, хватаю ведро (воду — в бадью!) и с пустым выскакиваю на улицу. Скоро появятся, если проскочили... Вот они, одна, другая машины — с разбитыми смотровыми стеклами, пощепанными бортами! Выбежали немцы из комендатуры (опа совсем рядом с нашим домом), сносят убитых, раненых. Проходя мимо, я, кажется, самый осторожный взгляд бросил в притягивающую тьму кузова, залитого кровью, но что-то выдало — лицо, глаза — клокочущее во мне жестокое злорадство, один из немцев резко ко мне повернулся и, как бы узнав, бросился, закричал, схватил меня за плечо, я испуганно рванулся, сбежал в канаву и, показывая ведро (вот, вот, я по воду!), направился к колодцу.

Испугался сильно: не знал, конечно, что фюрер с самого начала распорядился, как со мной поступать: «стреляй, если косо глянул!» — но что поступают именно так, мы уже знали, убедились. Но как было совладать с тем, что в нас клокотало?..

Да, это был я, были мы. Потом был лес, отряд, и это тоже я — целящийся из винтовки в немца. Нет, почему этот, в этого? Перевел мушку (пришлось провести стволом винтовки через смеющееся лицо женщины, сидящей на козлах между стариком жандармом и молодым), целюсь в молодого, он опаснее, а лошади, пара битюгов, вот-вот наедут на нас, лежащих в засаде возле деревни Устерхи, из которой нас позавчера немцы и власовцы вышибли. Проехали влево — первая подвода с темп, кого я собирался, прицеливался убить, вторая наезжает на меня, снова примерился: в этого раньше? а почему в этого, а не в того?.. Сигнальный выстрел, и я тоже выстрелил — в одного, потом во второго — и еще по разу повторил, они так и остались сидеть, отвалившись...

И тут — удар, как бы сверху, по голове! Палкой, кто ударил меня палкой? (Даже по касательной, если в голову, удар пули бывает страшный.)

Наши уже бегут испуганно-весело, засада все-таки удалась, хотя и по нас врезали! И только я уношу, ощущаю в себе поразительное безразличие ко всему, включая и собственную жизнь. Оттого ли, что меня чуть не убило. Или же, что я убил, вот только что. Нас могут еще перехватить на поперечной дороге, по которой курсируют броневики, но меня это не интересует, не беспокоит нисколько. Будто и нет уже меня...

В случае смертельной опасности, говорят психологи, включается одна из форм поведения, свойственных вообще живым существам: инстинкт: «вступаю в драку!», «спасаюсь бегством!» или же: «я уя«е мертвый, вам не интересный!». В последнем случае притворяется мертвым, а то и в самом деле погружается в сон.

Но это зверюшки, а у человека за этим и еще что-то, что назвать можно срывом правственно-исихологическим. Нет, прав Виталий Семин в своей «Плотине»: между «убить» и «быть убитым» отношение не только разнополюстности, но и притяжения.

Накануне нового, 1985 года мне прислали стенограмму обсуждения повести «Каратели» в библиотеках ГДР. В одном из выступлений, для меня очень любопытных, я встретил упоминание о моей статье «Великая сила любви», напечатанной в многоязычном «Новом времени» (1984, № 32). В статье этой я уже выходил к вопросу, к которому обратиться хочу и здесь, сейчас. Да, ненависть была великая. И понятно, почему и отчего. Но что было сильнее, какое чувство, и чем мы сильны были прежде всего?

Сам я был, учитывая, может быть, возраст, как раз выражением прежде всего чувства ненависти. Но вот мать свою я не запомнил с этим чувством в глазах, на лице, в поведении — ни в одном случае, ни разу! Хотя казалось бы: мало того что пришли,

чтобы лишить всякого будущего ее детей или убить, но и ее самое принудили (в конечном счете они же) заниматься делом, навлекающим на дом, на детей смертельную опасность и, может быть, жесточайшую муку.

Нет, никакая ненависть не заставила бы ее поступать, вести себя так. Когда дошел слух (к счастью, ложный), что старшего ее сына (брата моего Женю) немцы схватили при облаве в Бобруйске, как она страшно выла, безумно металась по шоссе, не стесняясь никого,— и это она, всегда такая сдержанная, спокойная. Так что сыну младшему даже стыдно было за нее. А когда, уже в отряде, сына ранило, а она решила — убит, как моментально вся она переменилась!..

Да, материнский инстинкт в ней был до крайности сильный. И вот сама стала делать то, за что и ее и детей могли схватить, пытать, казнить. Нет, никакая ненависть ее не принудила бы.

Значит, любовь. Сила куда большая. Через мысль и боль о чужих детях, которых уже убили или убивают, через многое, в чем проявляется веление самой жизни и зов будущего, мать может, мать способна делать то, что и делали, совершали тысячи и тысячи их — рисковать собственными детьми. Неодолимее ненависти в наших людях было это — любовь.

Любовью мир спасется. Красотою мир спасется...

Сколько раз читал, слышал слова эти, воспринимая достаточно отстраненно, хотя жизнь столько примеров и уроков преподносит, даже домашних.

В 1984 г. пришло письмо от женщины, тоже бывшей жительницы Глуши, и вот в нем такое воспоминание: на больших переменах они, школьницы-старшеклассницы, бегали в аптеку «поглядеть на Анну Митрофановну, вашу маму». А чтобы объяснить свое постоянное появление в аптеке, покупали «сен-сеп», довоенное средство заглушать запах спиртного и табака. Учителя даже настораживались, отчего так пахнет класс подозрительным зельем...

Если нас не обыскали, когда пришли по доносу, не нашли того, за что и пытали бы, и постреляли бы или повесили, так только чудом. И чудо это — паша мама. Немец стоял в двери, а по комнате радостно прохаживался, просто летал от сознания своей власти над жизнью и смертью нашей, от нашего оцепенения полицай Гузиков, «господин Гузиков», чуть не задевая сапогом большую бельевую корзину под кроватью, где спрятаны были гранаты (листовки с веселыми белорусскими рифмами по поводу «кривой оси» Гитлера — Муссолини перед этим торопливо сунули под матрац в соседней комнате). Спасения не было, и я, недавно такой отчаянный вояка, смотрел только на мать — с внезапно

вернувшейся, совершенно детской, мольбой-уверенностью: опа спасет, мама, самая умная, самая надежная, самая красивая!.. Вдруг она, молча и строго глядевшая на упоенного своей властью хама, упала на стол руками, головой, лицом и зарыдала. Пусть будет, что будет, но почему так, почему так!.. О, сколько святой искренности и женского ужаса перед происходившим, перед грядущим было в том рыдании. И еще — безошибочный инстинкт матери, которая спасает гнездо!..

Уже через день полицай опомнился и, видимо, озлился на наваждение, которое его тогда принудило сказать: «От меня все зависит, не стану я наносить оскорбление семье доктора, вам, мадам Адамович». И оп действительно ушел, уводя истукана-иемца. Назавтра к вечеру появился снова, пьяный, наглый,— сообщить, какая у глушанского доктора красавица-жена. Мама слушала, попыталась пробудить в нем его пьяную совесть, стыд, но полицай все грозил, все требовал «уважения» к себе, к своей винтовке-десятизарядке, гранате-лимонке («Вот так — и дома вашего нет!»).

— Хватит! Завтра же иду в комендатуру! — не выдержала хозяйка, пригрозила.

— Пойдешь! — налился гневом на неблагодарную полицай.— Не сама пойдешь, тебя поведут. Как миленькую!

И вывалился во тьму.

А она действительно пошла в комендатуру, понимая, что остановиться уже невозможно. («Погубит он нас, погубит!..») Рано утречком, предусмотрительно отправив нас к знакомым в деревню. И мы ушли, трое мужиков или почти мужиков (с нами и шурин, живший с семьей в нашем доме), и там дожидались, а все звучало ее умоляющее: «Только не возвращайтесь ради меня, детки, только не возвращайтесь!» Как поступили бы, если бы ее забрали заложницей и потребовали к ответу сыновей, до спх пор боязно додумать все до конца!..

А она вошла к коменданту и прямо заявила: «Или арестуйте нас, или дайте нам жить, а иначе мы вынуждены будем уйти в лес. Вот так у вас и делаются партизаны. Этот полицай, этот Гузиков, приходит пьяный, грозит, требует бог знает чего...»

Кто он был, тот немецкий комендант, что ему увиделось, подумалось, можно только гадать. По его поступкам. Он не приказал женщину арестовать, схватить всех, кто у нее там дома,— именно так он должен был поступить, согласно железному их правилу. Вместо этого он вдруг сказал, а переводчик-фольксдойч Барталь радостно перевел: «Господин комендант верит вам, идите и спокойно живите, полицейский будет наказан». Правда, уже вечером, когда и мы вернулись из своего укрытия,

Барталь забежал поздно вечером и предупредил, что комендант выпустил Гузикова из «холодной», позвал к себе и велел не спускать глаз «с дома этой женщины». Наверное, был момент при этом, когда два мужика, немец и наш, взглянули друг на друга удивленно-вопросительно: что это она с нами, ведьма, проделала?!

Но миг был выигран, спасительный, решивший нашу судьбу. И, может быть, не только нашу. Решено было немедленно уходить в лес, в отряд, семей десять подпольщиков покинули поселок в одну ночь под прикрытием партизан.

К двадцатилетию Победы прислали моей матери медаль «За отвагу» (уже раз полученную). Она не обрадовалась — испугалась: «Что это? Или опять война? Опять мы нужны?»

Она тоже, особенно под конец жизни, вдруг начинала все пережитое в войну вспоминать, рассказывать. Но никогда не платила войне дани, как иногда платим мы, пишущие о ней. Приукрашивание войны через любование собой — там, на войне,— этого ни разу в ней не почувствовал. Как не чувствовал в женщинах белорусских Хатыней (да и в мужчинах).

Сначала война забрала у нее все и ее самое всю забрала. Что ж, такое было время. Но вот война закончилась, женщина, всех потерявшая (в одном бою — обоих сыновей, ей так сообщили), нашла вдруг нас всех (мой старший брат не писал ей из армии до самого Дня Победы, «чтобы не хоронила дважды»). И муж отыскался, наш отец, за войну ставший подполковником медицинской службы.

Вот тут она и рассчиталась с войной. По-своему, поженски. Сама об этом любила вспоминать. О своей поездке в Ровно. Настал момент решать, ей ли становиться женой подполковника, ему ли — снова сельским врачом. За три войны (освобождение Западной Белоруссии, финская, Отечественная) отец наш из человека сугубо штатского превратился в то, что называют «военной косточкой». Весело и по-женски свысока чуть-чуть звучал мамин рассказ про то, как майоры, подполковники и даже один генерал (Пухов, с которым отец дружил до самой смерти) изготовились перебороть ее — не отдать ей Михаила Иосифовича, а, наоборот, ее сделать офицерской женой. Женщина выслушала все их вдохновенные тосты, перепробовала закуски (запомнились — гигантские бифштексы), а потом: «Я встала и сказала: спасибо вам за все, но нет, Миша, собирайся, уезжаем, бифштексы не знаю, но бульбочка будет, я обещаю...»

Когда надо было всем жертвовать, опа — любовь — первая бросилась навстречу опасности. Ненависть подоспела потом, я это хорошо помню. У нас в Глуше все началось — и сопротивление, и

подполье — с того, что женщины бросились спасать наших военнопленных. Как собственных детей.

Ну что ж, раз уж я упомянул статью из «Нового времени», на которую ссылаются немецкие читатели «Карателей», повторю некоторые факты, мысли оттуда.

...После заявлений Советского правительства о бесчеловечном обращении с военнопленными, их, советских военнопленных, начали раз в неделю приводить в глушэйшую больницу и аптеку «на лечение». Кормить по-нрежнему не кормили, но вовсю принялись делать вид, что лечат. Каждый вторник сотню или две голодных до безумия людей пригоняли к аптеке (за стенкой сидел местный врач) «получать лекарство».

Прознали об этом немногие, по случилось удивительное. К третьему вторнику бабы из самых дальних деревень (не говоря уже о поселковских) понесли в аптеку в корзинках, кульках еду — «лекарства» для пленных. Даже картошку в чугунках. Было опасение, что узнают полицаи, дознаются немцы: и одна, и вторая, и третья недели прошли благополучно. Думаю, что, если даже и знал кто-либо из полицаев, не решался донести на всю округу.

Провал случился по неосторожности голодного человека. Помню я этого пленного: выпирающий покойницкий рот и запавшие, с безумным блеском глаза. Он одной рукой держал у рта кусочек хлеба с сыром и глотал, глотал, а другой тянулся к женщинам, чтобы взять еще. Мама дала ему второй кусок. Втянув хлеб в рукав, оп вытолкался на улицу, но не выдержал и откусил, а немец заметил, набежал, ударил, выхватил хлеб и, высоко держа его, как улику, влетел в аптеку. Стал пробиваться, крича, через толпу пленных. Мама успела нам (мы с братом носили еду из подпола) шепнуть: «Прячьтесь!» Разъяренный охранник добрался до ходуном ходившей стеклянной стойки, где мама взвешивала порошки. К ней и устремился немец с уличающим куском хлеба, поднял, занес над ее головой березовую дубину. Аптечные работницы потом говорили: она побледнела, но смотрела прямо в глаза, и немец ударил не ее, а по вертушке с лекарствами.

И стали выгонять пленных. Их увели, а маму — заведующую аптекой — тут же вызвали в комендатуру. Там ей сказали: «Еще повторится, и не будет ни аптеки, ни заведующей!»

Да, начиналось с нормальной реакции людей на «жизнь павы порот», которая установилась с приходом оккупантов. Человек будет отбрасывать руку, мешающую ему дышать, чем бы ему это ни грозило. Не делать этого он просто не может.

* * *

Теперь о третьем «эпицентре».

Недавно взялся просматривать записные книжки 40-х, 50-х годов и поразился: а ведь и тогда думалось почти теми же словами — «ядерная катастрофа», «гибель цивилизации, рода человеческого»... Хотя казалось почему-то, что в тебе мысли эти начались намного позже. Но поразило и другое: как не держались прежде мысли об этом в сознании, в душе. Появлялись время от времени и уходили без глубокого следа, потому и казалось, что началось только в 70-е, в 80-е.

Когда обожгло. Как прежде обожгла война. А затем — XX съезд.

Нет, сегодня не так: вошло и вышло. Оно вошло и осталось. Тесня, вытесняя все остальное.

...Небо предвечернее (или утреннее, или днем) за городом, когда его, небо, начинаешь замечать, но как: вот оно всегда было какое, а станет сплошь, до космических высот, сплошь сажа, ядерная ночь. А год спустя — грязно-бурое, без единого голубого окошечка! И некому будет думать, какое оно. Ни тех вон домов не будет, ни леса по горизонт у...

Заяц у дороги, перескакивает с места на место, подкидывая такие неловкие, когда не мчится, а вот так гуляет, длиннющие задние ноги, будто мешающие ему... Поле тихое и безлюдное во все стороны, по-майски вкусно-свежее. Так хорошо, что не замечает меня и могу за ним наблюдать. Вот и любуйся, радуйся, так нет: сколько таких вот живых комочков враз вспыхнет на всей земной поверхности или обуглится, испекшись, на глубине до метра и больше!

Прочел недавно: какой-то хорватский фюрер-фашист, тоскующий в эмиграции по утерянным возможностям на родине, возит с собой коробку, двадцатикилограммовую, в которой... глаза! Вырванные у пленных или убитых партизан.

Бомба-фашист тоже прежде всего к живым глазам потянется, если вспыхнет тысячами солнц. Еще и настоящее солнце превратит в подручного-полицая, выжигающего, вырывающего глаза у всего живого.

Когда писал «Хатынскую повесть» и привел партизана Флеру Гайшуна на пепелище его хаты, деревни, где фашисты всех сожгли, заставил его ощутить пронзившую до локтя, до плеча боль от случайного ожога — неосторожно раздавил горячую картофелину. Когда-то я сам, балуясь на поле, упал и рукой раздавил прямо из костра, из жара картофелину, а потом, как и мой Флера, хватался за все, что могло остудить боль. Но что могло остудить Флерину боль, если перед глазами у него пожарище, где живьем сгорели мать, сестрички, все жители деревни?

Более восьмидесяти трех тысяч человек убито, сгорело в белорусских Хатынях.

Наша белорусская Хиросима!

Какой же это был выброс в небо боли человеческой, до каких сфер космических он доплеснул!

Тончайшая, эластичная, дышущая мембрана жизни — человеческая кожа. Сколько ее на человеке? А на ста тысячах?

Сотни, тысячи квадратных метров, километры невыносимой боли!

Живая, эластичная... А если о всей подумать, которая на человечестве — белой, желтой, черной? Не обожжет, не прожжет до нутра сама мысль о таком?!

Но куда от нее деваться, от такой мысли?..

И все-таки самая главная мысль, главное знание даже не о вселенской этой боли. А о том, что бомба убьет всех. В буквальном, в арифметическом значении слова всех. А значит — навсегда!

Чувство рода, оно, оказывается, говорит в нас, заявляет о себе даже сильнее, чем мы предполагаем. Когда подступает, подступило такое — реальнейшая угроза полного нашего исчезновения.

И все-таки каждый сам должен пройти какой-то участок пути — навстречу всей правде. Идти навстречу ей — идти к спасению.

«Что я могу, я, именно я?..» — сколько людей задают этот вопрос себе и другим.

По ведь это м о ж е т каждый — узнать правду. Или хотя бы стремиться к тому, чтобы узнать ее. Но только всю правду, какая бы ни была она пугающая. Вот тогда и откроется, что ты, каждый, можешь. Л точнее, что ты должен. Поскольку узнав, вынужден будешь (безжалостной правдой вынуждаем) искать пути к действию, поступку.

Читаю сборник статей, выступлений на международных конгрессах П. Л. Капицы — одного из крупнейших физиков XX века, и здесь обнаруживается подтверждение сказанному выше. Умер он борцом против смертельной угрозы, исходящей от ядерного оружия. А ведь в 40, 50-е гг. он еще склонен был себя и других успокаивать: мол, по данным, имеющимся сейчас в научной литературе, «можно заключить, что отравление атмосферы даже после самой крупной атомной войны не приведет к прекращению жизни на Земле. К тому же нельзя забывать, что, как показывает история человечества, даже при эпидемиях самых ужасных болезней всегда находились лица, имевшие природный

иммунитет, которые не гибли и не теряли жизнеспособности»[1]. И т. д. и т. п.

И он же — в 1972 году: «Общепризнанно, что такая война, где бы она ни возникла, в несколько часов могла бы отравить весь земной шар и прекратить жизнь человека»[2].

Да, и к общепризнанному каждый должен прийти и приходит сам. Если, конечно, говорить не просто о «поглощении» информации, а о соответствующей «поведенческой реакции»: я это принял, вобрал в себя, а потому уже не могу думать, чувствовать, действовать, жить — как прежде, вчера!

Не с этого ли: осознания, понимания, что исчезнет все и навсегда и никаких шансов выжить нет ни у кого — все началось, произошло и у Бернара Бансопа? Он нажил миллиард на талантливых кибернетических идеях, которые жадно подхватывали и фабриканты оружия, но когда понял, куда все идет-катится, чему сам служит — резко изменил образ жизни, деятельности, а миллиард отдал на дело мира, защиты, спасения всех детей Земли.

Легко ли генералу пожертвовать карьерой, уважением своей касты, а ведь многие уже идут на это, подобно западногерманскому генералу Герту Бастиану, норвежскому — Юхаиу Кристи, итальянскому — Нино Насти, французскому — Антуану Сангинетти и др. Свой воинский долг они видят в том, чтобы противодействовать своим государственным мужам, которые безответственно игнорируют или просто не осознают, что означали бы ядерные удары по военным и оперативным объектам, ограниченная и всякая другая «прелюдия» к войне, которая не может не превратиться в термоядерное побоище — убиение всего живого на Земле. Если ядерная война означает немедленную гибель всех воюющих и даже невоюющих народов, так в чем высший патриотический, воинский долг даже военного человека, если не в одном-единственном: решительном противодействии подготовке и развязыванию такой войны. Вот он, главный принцип поведения, деятельности геиералов-пацифистов. (Да разве мыслимо было когда-либо в доядерные времена это: генералы-пацифисты?)

Так что у психологии ядерной эры есть и своя специфика.

Мы сами наблюдаем, что происходит с нашим братомписателем: вчера жил, как всегда, в одном мире и вдруг — точно на другой планете оказался!

---

[1] Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика, с. 292.
[2] Там же, с. 421.

Что «я умру» — это знает каждый, но каким-то донышком души каждый в это все равно не верит, да и срока своего не знаем, и это хорошо.

Хорошо, радостно было не верить и в смертность рода человеческого.

Человек, считали наши деды-прадеды, смертен стал, съев плод с древа познания. Внуки-правнуки уточняют: человек потому и человек, что знает, в отличие от животных, что он, как и все в мире, смертен. Так что смерть (в этом смысле) действительно восходит к знанию, познанию. Потому-то и говорили: умножая знания.— умножают скорбь...

Но прародитель наш, первый человек, съел не самый крупный и опасный плод, и потому род его в целом, так сказать, оставался бессмертным. До 6 августа 1945 года, когда смертным вдруг стало все человечество. Сорван был совсем другой плод, дающий знание, как убить неограниченное количество себе подобных.

И сразу на все упала густая тень: за спиной у людей вдруг закрылись, воровски захлопнулись ворота, как ловушка!..

На месте многих наших Хатыней высятся тяжелые плиты, стелы, а на них столбцы фамилий, десятки о д ии а к о в ы х фамилий (только инициалы разные): Каминский, Каминская, Каминский... Грицевич, Грицевич, Грицевич, Грицевич.... В избах, сараях, амбарах, церквях заживо сгорели не просто семьи, а целые роды деревенские. Древа родовые со всеми корнями и веточками — и деды, и внуки-правнуки.

Ну, а сегодняшние многомиллионные города, на которые нацелены, вот-вот готовые вырваться из шахт, из-под воды, сорваться с крыла самолета, ракеты с ядерными боеголовками, что они такое, города Земли,— не те же «амбары», «избы», где уже собраны люди, а стены облиты бензином, обложены соломой и кто-то зажигалку держит в послушно напряженной руке? Люди даже могут увидеть такую вот руку — на вездесущем телеэкране — руку, несущую за улыбчивым человеком чемоданчик с кодом, шифром Судного дня. (И там, тогда они, приговоренные без суда, выглядывали в окна, в щели, вслушивались в звяканье бензинных канистр.)

Города-Хатыни!.. Страны-Хатыни!.. Континенты-Хатыни!.. И, наконец, вся планета, подготовленная, чтобы вспыхнуть и обуглиться за какие-то минуты, часы!..

Да кто посмел? Кто это мог и как позволили люди?

А вот посмели и даже не прячут своего «чемоданчика», даже бравируют, гордятся, еще бы — космическая мощь в руке жалкого смертного!..

Произошло это, происходит, опасно длится и конца этому пока не видать оттого, что не один лишь солдафон Хейг, с его знаменитым «есть вещи поважнее мира», а слишком многие на этой планете все еще если не говорят: «мир, но не любой ценой», то думают, если не думают сами, то соглашаются, чтобы так думали их руководители, и все потому, что до конца додумать или не удосужились, или боятся, не решаются, или просто не способны.

Когда говорят тебе или сам ты: да что я, я лично, что я могу? — ответ один: додумай до конца, именно до конца, не давая себе отклониться в сторону, увильнуть от всей правды — за себя додумай, а если надо, то и «за того парня», у которого «чемоданчик». Уж если, согласно наблюдениям ученых (японских), процесс познания (подражания) и прозрения может лавинообразным быть, стать даже у стада обезьян — эффект «сотой обезьянки»: после нее вдруг все тысячи обезьян, на всех островах, стали тоже мыть сладкий батат, вместо того чтобы есть с песком,— тогда почему и тебе не надеяться, что с тебя-то и начнется цепная реакция прозрения, того самого додумывания до конца! А есть ли что-либо на Земле или в головах людей что-то такое, ради чего можно, допустимо надо рисковать такой простой и великой вещью, как самоделящаяся живая клетка? В которой все и без которой ничего — ни капитализма, Ни социализма, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего.

Все ниши в сознании своем прощупать жесткой логикой «ядерной эры», все лагуны мозга, дивертикулы затаенные, где прячутся уловки, хитрости вчерашнего ума, древние предрассудки, давно или внезапно устаревшие истины, и не пугаться, если вдруг прозвучит то ли в тебе, то ли на чьих-то страницах, в чьих-то устах: не только плохой мир лучше хорошей войны, но и любой — лучше! Несравнимо, несопоставимо лучше.

Да ведь это только по привычке, по аналогии с прошлым называется «войной» — то, что сегодня противоположно «миру». На самом же деле оно нечто совсем иное, вне всяких аналогий и сопоставлений. Людям во всем мире по-прежнему внушают, привычным сочетанием слов, понятий: надо быть готовыми к войне! Страшновато, но вроде бы знакомо. Но если по правде, так следовало бы говорить: надо готовиться, быть готовыми (сделать приготовления) к самоубийству. Да, не война уже это, а самоубийство и ничто иное, именно о м н е ц и д, как некто определил — всеобщий геноцид, самогеноцид человечества!

Додумывать, додумывать до конца! Не в этом ли спасение?

«Миру погибнуть или мне чаю не пить?..» — выбор вполне из области высокой политики, слова «подпольного человека»

Достоевского вот так зазвучали: быть мертвым, или быть красным, или быть не красным?

Спускаясь к чисто бытовому сознанию, тоже кое-что обнаруживаем, открываем. Оно предпочитает себя не декларировать, не формулировать — на то оно и бытовое,— но тоже содержит в себе нечто. Друг-философ однажды испугался очень простой мысли: а ведь мир погибнуть может просто потому, что кто-то пожалеет червонца. Или пожелает червонца. В любой валюте. Пожалеет пожертвовать им или пожелает «дополучить» его. В виде именно червонца. Или награды. Или повышения по службе. И т. п.

Притом кто-то вполне конкретный — с именем-фамилией, местом жительства, должностью, с паспортными особыми приметами или без оных.

Он не спрашивает: что я могу, я, именно я? — прежде чем действовать, то есть существовать по законам извечного эгоизма, а потому давит на мировую ситуацию неотступно и постоянно, как атмосферный столб. Он массовидный, но состоящий из индивидуумов. И вот последняя, решающая крупица чьего-то эгоизма на чаше мировых весов и...

«Мир рухнул оттого, что человеку было легче умереть, чем перемениться». Это — из романа «Катастрофа» Эдуарда Скобелева, в котором автор задумывается, от каких пороков, качеств человеческих наступить может ядерный Армагеддон.

Да, горько такое писать, сознавать, но встряска нужна, и еще какая. Жить, как жили, думать, как думали, чувствовать, как чувствовали,— опасно, смертельно опасно для всех людей.

Нет, все-таки они меняются — и в массе, и индивидуально. А иначе откуда бы взяться: маршам домохозяек через целые континенты, лагерю в Гринэм-Коммон?..

Когда Марш мира-82 проходил по хатынскому лесу последние 5 километров до мемориала, взгляд нет-нет да и возвращался к некрасиво полной, с одышкой женщине в легком цветастом платье, для которой каждый шаг означал острую боль — ноги отекшие, в синих виноградинах вспухших вен. Лицо большое, потное, красное, где-либо на вокзале могла бы сойти за привычно раздражающий образ толпы, от которой некуда деваться. Здесь, за две тысячи километров от своего дома, от детей и, наверное, внуков, она была прекрасна. Стоит в глазах и поныне. Почему голубь — символ мира? — спрашивает в одной из миниатюр своих Янка Брыль. И предлагает взамен: только что из сна, лукавый, «рассмеянный» ребенок. А у меня в глазах — домохозяйка с больными ногами на далекой для нее лесной дороге к Хатыни...

Нет, не ждет приговоренно, безголосо своего конца планета людей. Не молчит Земля. Люди уже видят, что против них приготовлено, уже слышат звяканье канистр...

Тишина — в бункерах. В супербункерах, «выживалках». Там — да.

В «выживалке», в которую заглядывает читатель романа Э. Скобелева, предусмотрено все: от сексшоповского инвентаря до морга. Но главное, что предусмотрено: чтобы не проникли в него те, что не в особом списке. На всех не хватит. Остальные — в совсем другом «списке», мысленном. Весь фокус в том, чтобы в нужный момент самому остаться здесь, остальных покинуть там.

«Я боялась, что те, снаружи, не дадут закрыться люку. Я с ума сходила от страха, зная, что они, если проникнут в убежище, разорвут меня в клочья... Но удача — люк закрылся... На полу валялись отрезанные кисти рук. Две черные и одна белая...»[1].

В бункер-«вынішвалку» попали не те, кто его конструировал, мысленно обживал, любуясь и радуясь, как все здорово предусмотрено. Сработала случайность. Впрочем, более чем закономерная, когда речь о войне. На войне случай слишком часто — хозяин положения, ходит в генеральском мундире. А тем более когда речь о термоядерной. Тут уж точно: скомкает, развеет любые подсчеты-расчеты самых больших хитрецов-умников. Так что детское это занятие — их бункеры«выживалки». Но и зловещее. И просто подлое. «Проскрипционные» фактически списки собственного населения — всего. За исключением немногих избранных, званых. Вся подлость в том, что себя выделили, спасаясь не ради самих будто бы себя, а ради того самого населения. Чтобы оно, до тла исчезнув с лица земли в огне, в муках-корчах, все-таки оказалось «победителем». В «ограниченной», в «затяжной», «звездной» или еще какой-нибудь (по их планам) войне.

Бункеры-«выживалки» — это нечто большее, нежели железобетон и электроника. Это — психология. Которая воздействует и на высокую политику, тем самым — на судьбы миллионов, миллиардов людей. Бункерная психология — явление совершенно новое, порожденное ядерной цивилизацией. Ею многое объясняется в поведении некоторых личностей, казалось бы, нелогичном, непонятном, необъяснимом.

Многими отмечено: президент великой державы на должности и после, отставленный от дел,— два разных человека. По взглядам на ядерную угрозу, возможность победы в ядерной

[1] Скобелев Э. Катастрофа. Минск, 1984, с. 230-231.

войне и т. и. И даже военный министр совсем другим человеком и политиком делается, когда он, как Макнамара, покидает пост.

Что это, психология водителя, превратившегося в пешехода? Человек, пока сам не посидел за рулем, за тормозами, еще может верить, что все они, водители, народ надежный и всё могут (свернуть, затормозить), но когда уже сам побыл водителем, начинает бояться, даже больше, чем рядовые пешеходы. Он-то уж знает, как оно из кабины видится и можется. То есть информирован больше остальных.

Но, возможно, не это или, точнее, не только это, а и еще что-то — в поведении отставных президентов, министров. Если иметь в виду психологию.

Да, Макнамара, отдадим ему должное, сегодня один из авторитетных критиков безудержной гонки вооружений, в которой и сам был в свое время повинен.

Вполне реальная картина: Каспар Уайнбергер здраво, трезво судит о катастрофических последствиях ядерной супергонки. Где-нибудь в начале 90-х годов, удалившись от министерского кресла. И вместе с этим — от министерских «выживалок». Вот-вот, не в них ли часть отгадки, правды?

Что-то не слышно, чтобы Збнгнев Бжезинский сегодня высказывался, как прежде, в этом вот духе, смело и «широко», что гибель в ядерной войне всех американцев и всех русских еще не означает конца человечества, а потому, мол, не так уж страшно... Ах, да, он уже не советник по национальной безопасности! А значит, не в «списках»).. Которые, хотя и глупость,— никому и нигде не пересидеть, не избежать непредсказуемых последствий ядерного побоища,— но все-таки, все-таки невиданный железобетон, электроника, а рядом первые в государстве люди предусмотрели, как им выжить, не может быть, чтобы не предусмотрели. И главное — семья, дети, дети! — ради них на все пойдешь.

Да, и «бункерная психология» отцовских чувств не лишена. А может, даже на них и держится. Что еще ужаснее.

Часто мы себе и друг другу задаем вопросы (и сами на них отвечаем): нет, не могут и они всерьез хотеть войны! Как бы ни звякали оружием, боеголовками. Что бы и кто бы ни говорил на публику, каждый про себя понимает, что произойдет и чем кончится, если кому-то начать.

«Ведь не могут же они не понимать, что третья мировая война принесла бы столь немыслимые бедствия, что это означало

бы конец для человечества... Мне кажется, ни один нормальный человек не может желать этого»[1].

Ни один нормальный человек?.. Это, конечно, верно.

Но ведь не исключено, что к рулям и кнопкам прорвутся существа с психологией, «идеей» знакомо-нацистской: этим жить, а этим нет, эти чистые, а те нечистые!.. Или же со знакомо-полпотовской арифметикой: для того-то нам достаточно столько-то миллионов человек вместо наличествующих 5 миллиардов!..

Вот и в романе «Катастрофа» Э. Скобелева некто Сэлмон провоцирующе, зловеще упоминает о «клубе трехсот», где решают, сговариваются, до десяти или меньше миллионов сократить население Земли, чтобы «устранить колоссальные биомассы», становящиеся опасно неуправляемыми для власть имущих.

Что ж, если мог быть Гитлер, Пол Пот, миллионерский «клуб друзей рейхсфюрера», почему не объявиться зашифрованному «клубу трехсот»?..

Но даже если не их иметь в виду, все равно наша убежденность, что нормальные люди «не могут», «пе должны» и т. п.— тоже опасна. Ну, а как смогут, одержимые бесом политических и прочих страстей? Назад уже не открутишь: ах, извините, ошиблись, переоценили людскую нормальность!

Подальше, подальше ее, бомбу, и от нормальных тоже, а их — от бомбы! А то ведь слишком многие привыкают к мысли, что она всегда под руками, снова и снова появляется соблазн, если не с этой, так с другой стороны, подступиться к историческому противнику и избавиться от него одним ударом. Из космоса, например.

Тем более что самим американцам кое-что виднее, вот и Эдвард Кеннеди предупреждает, что многие деятели в администрации Рейгана и после того, как военный промышленный комплекс получил вожделенные новые миллиарды и как бы поуспокоился малость, подобно удаву, переваривающему заглоченное, тем не менее многие принимающие ответственные решения деятели «по-прежнему считают возможность обмена ядерными ударами приемлемым вариантом. Сотрудник Совета национальной безопасности предсказывает, что вероятность такого конфликта составляет 40 из 100»[2]

Этот сотрудник, он-то уж в другом, не «проскрипционном», списке. Или прорывается — в нужный, зарабатывает право. Возможно, вполне нормален с точки зрения медицины человек. Но в том-то и дело, что наличие супербомбы и порождаемая ею «бункерная психология», все упования на то, что «войны никто не

---

[1] Из интервью космонавта В. В. Аксенова.— Век XX и мир, 1984, № 12, с. 23.
[2] За рубежом, 1985, № 3, с. 4.

хочет», делаются слишком зыбкими. Гитлеры, пол поты, они снова здесь, на планете — в этой самой бомбе. Не уходить, и здесь не уходить от реальности, от правды, всей правды![1]

Дать, дать ей взорваться, не бомбе — правде! В нас взорваться — в литературе, кино, в искусстве. Чтобы как можно больше людей восприняли всю правду, не уклоняясь от нее,— вот первое и, видимо, главное сегодня, к чему обязывает писателя сама ситуация в мире.

Воистину, еще раз прав Достоевский, у которого вдруг вырвалось: правда выше Пушкина, выше народа, превыше всего! Потому, по-видимому, что она — само условие существования и «Пушкина» (искусства) и нашего рода (на-рода).

Какой, какой еще аргумент послать в сторону «бункерных душ»? После всех предостережений ученых. О вездесущей, всепроникающей (на двести, на триста лет вперед) смертельной радиации от разбомбленных реакторов? — и писали, и говорили. О бесконечной ядерной ночи и ядерной зиме? — тоже известно. Ученые предсказывали, а теперь уже обнаруживают, что разрушением азонного слоя, который отсекает от нас ультрафиолетовую радиацию на высотах от 17 до 25 километров, создаются условия для образования в атмосфере фосгена (БОВ — боевого отравляющего вещества!) и еще более опасных отравляющих газов.

Любое применение ядерного оружия буквально сорвет азонный щит, который живому позволяет жить. И повиснут над всей планетой новые БОВ. Тоже на целые десятилетия.

Альберт Эйнштейн разгадал и определил материю как «застывшую» энергию ($E=mc^2$), и тотчас ученые забеспокоились: а как человек распорядится своей судьбой, если доступной ему сделается та энергия, которая буквально «под ногами» у него?

Немецкий физик, лауреат Нобелевской премии Вальтер Нернст предупреждал в 1921 году: «Можно сказать, что мы живем на острове, сделанном из пироксилина... Но, благодарение богу, мы пока еще не нашли спички, которая подожгла бы его»[2]

Роберт Юнг в книге о самой, по-видимому, трагической в истории человеческой мысли странице — о создании самоубийственного ядерного оружия, пишет и о таких вот сомнениях, возникающих при разработке уже водородной бомбы:

«Среди подлежащих рассмотрению вопросов один был особенно зловещим. В Беркли (где в Калифорнийском университете

---

[1] Сегодня, когда уже прозвучало так ободрившее весь мир гуманнейшее предложение — поэтапно очистить планету от оружия геноцида, несколько неуютно почувствовали себя «бомбопоклонники». Но делают вид, что ничего не переменилось: попрежнему «гарантом мира» называют... бомбу. Бомбу — «кальтенбруннера», бомбу — «Гиммлера», бомбу — «гитлера». Да, эти уберегут!..

[2] Юнг Р. Ярче тысячи солнц: Повествование об ученых-атомниках. М., 1961, с. 17.

американские ученые-физики совещались по вопросу «о создании наилучшего типа атомной бомбы»— А. А.) упоминалось о том, что термоядерные процессы, раз начавшись в результате взрыва бомбы (водородной), могли распространиться на атмосферу и воды земного шара. Неудержимая цепная реакция, порожденная супербомбой, могла в короткое время превратить весь земной шар в пылающую звезду»[1].

Размышляли, прикидывали, теоретизировали — не должно бы! Рискнули на практике проверить свои расчеты. Ну, а если бы не сошлась задача с ответом?.. Люди, человечество даже не подозревали, какие эксперименты за спиной у них проделывались — с их планетой.

Ну, а если количество перейдет в качество — при одновременном взрыве сотен, тысяч таких бомб? Не должно бы?.. Да кто имеет право гадать, прикидывать и рисковать при этом всем, никому в отдельности не принадлежащим?!

За послевоенные сорок лет взорвано 1500 ядерных устройств. (Одна треть — в открытом пространстве, две трети — под землей.) Ни один ученый не может поручиться, что одновременный залп такого количества ядерных зарядов не вовлек бы в единую цепную реакцию инертные элементы, вещества планеты. А тем более — десятки тысяч зарядов, могущих взорваться в любой момент. Какие уж тут «выживалки»? За определенным «болевым порогом» Земля сама может обратиться в сверхбомбу, за взрывом которой тоже неизвестно, что последует, произойдет — уже со Вселенной. Так это или не так — кто имеет право экспериментировать?

Но в том-то и дело, что «смелых», а точнее — не додумывающих до конца гораздо больше, чем хотелось бы. И среди ученых, и среди политиков, военных. И на бытовом уровне тоже.

В ответ на мои или Юрия Карякина статьи: «Ничего важнее», «Не опоздать!», «Ее породила война, фашизм», «Представим себе», «Признать главное — главным», «Живое время», «Делайте сверхлитературу!..», «Overkill» и др.[2] мы получаем спорящие письма.

Впустить в себя всю жестокую правду, додумать до конца? И что из этого, что последует? Действие, действие в чем выразится?

Толстой когда-то высказал очень простую, но такую, оказывается, важную и нужную мысль: сложность вопроса не в том, что делать, а в том, чтобы попять, что надо делать раньше, а что после.

Откладывать «всю правду» на потом, на после, и снова начинать, как нам пишут, говорят, с давнишней рутинной работы

---

[1] Там же, с. 224.

[2] Век XX и мир, 1982, № И; 1983, № 3; 1984, № 2; 1984, № 6; Литературная газета, 1984, 9 мая; Вопросы литературы, 1984, № 6; Октябрь, 1984, № 11; Дружба народов, 1985, № 1 и др.

по перевоспитанию человека, по демократизации основ жизни (чтобы массы могли действительно участвовать в принятии решений) и т. д. и т. п.,— да кто нам на это время отпустил? Кроме того, и эти задачи куда более энергично способна литература выполнять, если по-настоящему донесет до человека жестокую правду: или немедленный и решительный отказ от всего, что гибельно — в человеке, в общественных устройствах,— или принимай ее, гибель, как неизбежность!

Возвращаюсь к старым записным книжкам: оказывается, не так это просто и легко — сломать в себе самом перегородки, открыть себя всей правде, додумывать и обдумывать до конца то, что на нас навалилось. Хочется уйти из-под тяжести, вызволяться. Как можно с этим жить, постоянно? — не раз и не два спросят вас.

Но ведь мы с этим реально живем, под этим живем действительно. Не приводить, не привести в согласие, в соответствие сознание свое с действительностью — какие же мы после этого разумные существа? И что нас в этом случае ждет?

Знать, чтобы суметь! Именно литература, искусство способны донести правду до каждого, доставить ее в каждую клетку единого и сегодня, увы, смертного организма — человечества.

Если что больше всего, сильнее и глубже всего способно в ближайшее время повлиять на весь характер планетарной культуры, на сам тип мировой литературы, так это как раз процессы в сознании нашем, человеческом, определяемые всей совокупностью событий XX века.

Ведь это истина, что человек, что homo sapiens таков, каков он есть, оттого в значительной мере, что он — единственное на Земле существо, сознающее свою смертность, конечность. Исчезни вдруг это знание, и как резко изменился бы он сам,— весь — в повадках, поведении, в культуре, литературе, искусстве.

Ну, а коль еще одно такое, равное этому знание появилось, что должно произойти с теми же вещами? Очевидно, тоже все должно перемениться столь же резко, крупно.

На нашем веку это произошло: человек обнаружил, что и весь род его сделался смертным. Вчера еще будущее его было изначально обеспечено, уходило в даль грядущих тысячелетий, и вдруг — реальная вероятность, исчезновения всего и навсегда в течение минут, часов!..

И что переменилось: в поведении, в типе искусства, литературы и пр.? Кое-что переменилось, но не так уж резко, крупно. О чем это говорит? Лишь о том, что еще не произошло сегодня то, чему обязательно случиться, произойти завтра. Сознание неизбежно последует за реальностью. Реальным станет и

изменение, внутреннее, каждого из нас, когда повое сознание станет фактом.

Да, но автобиография ли это, так ли обозначен жанр?

Все зависит от того, что считать фактами. Считать ли фактами пашей жизни также и мысли, чувства, убеждения, состояния, из которых как раз и рождаются замыслы произведений? Если это тоже факты (наряду с тем, где ты родился, жил, учился и чем занимался), тогда данное изложение — тоже автобиография. С уклоном, конечно, в сторону «внутренних» фактов за счет «внешних». Что ж, так получилось, написалось.

Когда уже все это высказал, написал, попались на глаза слова скульптора Генри Мура (Новый мир, 1982, № 1, с. 67):

«Скульптор или художник делает ошибку, когда он слишком часто говорит или пишет о своей работе. Это ослабляет необходимое ему напряжение».

Впредь будем умнее!

1984

КАК БЫТЬ ГЕНИАЛЬНЫМ

ПРОБЛЕМЫ ЖАНРА

«Молодая гвардия» издает книгу «последних свидетелей» — воспоминания о минувшей войне тех, что тогда были детьми. За ними живая память о войне уже обрывается. Память эту собирала Светлана Алексиевич.

Издательство попросило написать к ее новой книге послесловие. Читал рассказы «детей войны», и снова появилось чувство, удивление, какое возникало, когда мы слушали ленинградских блокадников или хатынских женщин: словно сама жизнь начиталась великих книг, небывалых трагедий неведомых нам Шекспиров и Достоевских, они были, а мы не знаем, звучат для нас лишь цитатно, фрагментами. Ну совсем как многие авторы древнего мира, дошедшие до нас, сохраняющиеся лишь в чужих текстах.

«Так мы (дети! — А. А.) жили несколько дней. Одни в деревне, люди лежали или висели мертвые. Мы не боялись, это все были знакомые люди. Потом встретили чужую женщину, начали плакать: «Будем с вами жить. Одним страшно».

«Собирайтесь хоронить своих бандитов». Мы пришли на то место, они в яме плавают, там колодец уже, а не могила. Лопаты мы свои взяли, прикапываем и плачем. А они говорят: «Кто будет плакать, того будем стрелять. Улыбайтесь...» Я нагнусь, он подходит и в лицо заглядывает: улыбаюсь я или плачу?..»

«Мама не сразу умерла. Она долго лежала на траве, открывала глаза:

— Ира, мне надо много чего тебе рассказать.

— Мама, я не хочу...

Мне казалось, что, если она мне скажет то, что хочет, она умрет».

«— Дети, победа!

Стали всех нас целовать, включили репродуктор. Все слушали. А мы, маленькие, слов не понимали, что радость идет оттуда, сверху, из черной тарелочки репродуктора. Кого поднимали на руки взрослые... Кто сам лез... Залазили друг на дружку маленькие, только третий или четвертый доставал до черной тарелочки и целовал ее. Потом менялись... Всем хотелось поцеловать слово «победа»...»

Конечно, нечто подобное мы встретим, отыщем и в «чисто художественной» литературе. Но у кого? Пожалуй, только у самых больших писателей, в великих произведениях.

Так что же получается? Молодой литератор, никому дотоле не известный, берет магнитофон, идет по адресам, что-то спрашивает, магнитная лента записывает, рассказы эти человек переносит на бумагу, и пожалуйста: сравнялся сам и его книга вон с кем и с чем!

Все, как мы увидим, не так просто, но результат действительно поразительный, даже если иметь в виду внешнюю сторону: вчера девчонка, в литературе неизвестная, сегодня она, имя ее, произведение — в ряду созданного Симоновым, Быковым, Брылем, Бондаревым, Баклановым, Богомоловым, Граниным, Ананьевым, Кондратьевым и т. п. Называют ее первую книгу «У войны — не женское лицо...», упоминают, характеризуют как равную часть такой вот литературы.

Ну, да мы знаем, внешнее недорого стоит: сегодня объявилось, нашумело, завтра ушло, забылось!

В том-то и дело, что не внешний это успех — такой вещи, таких вещей.

В чем же все-таки дело, отчего то, что давалось лишь великим когда-то, а нашим известным прозаикам, поэтам тоже досталось нелегко, всей их жизненной биографией — надо было войну пройти, себя не жалеть и выжить при этом — все это вроде бы «запросто», приходит к молодому литератору? Сам подбадривал когда-то Светлану, когда опа начинала работу с фронтовичками, писала, мучилась сомнениями и трудностями: «Ваша работа обречена на успех!..»

Не просто подбадривал, а был действительно убежден. И именно потому, что, имея кое-какой опыт, видел: в наличии главные компоненты, предпосылки успешного результата.

Какие же это предпосылки?

Первая: обратиться не просто к бывалым людям, их памяти, пережитому, а к тем, чья судьба и память — одна из болевых точек нашего времени. Наболевшая, изболевшаяся память о событиях, затронувших сам нерв народной жизни.

Вторая предпосылка: человек, берущийся за подобный труд, должен обладать особенным даром сопереживания, который входит, как обязательная часть, в талант писателя, художника. Без этого, если что и получится, то в ином качестве, жанр не сформируется, не сработает.

Ну, и третье условие — по-настоящему сильное, развитое чувство эстетической оценки, столь необходимое для отбора и монтажа сырого материала в произведение литературное.

Нам, авторам родственных по жанру книг, немало приходилось задумываться, в чем же его, такого жанра, природа, какие характеристики. Приведу здесь суждение Д. Гранина — из

предисловия к фрагментам книги французского писателя В. Познера «Нисхождение в ад»:

«Документальная проза типа книги «Нисхождение в ад» — это искусство и отбора и монтажа материала. Я не случайно говорю «проза». Это не репортаж, не сборник свидетельств. Это именно проза. Писатель соединяет голоса в хор, создает ораторию. В пей звучат и арии, и речитативы, и хоры, все соединено оркестром, авторской речью, интонацией, его, писателя, замыслом...»[1].

При работе С. Алексиевич над книгой «У войны — не женское лицо...» обнаружилось (для нее самой), что собственные ее комментарии, даже минимальные, даются трудно, тогда как отбор (эстетически-художественный, это именно так!) материала вроде бы даже легко, с хорошим результатом (конечно, годы понадобились, чтобы добиться этого). И вот в новой работе — «Последние свидетели» именно на это сделана ставка: на отбор и монтаж. Чтобы автору вообще не присутствовать собственным словом. Читатель один на один с теми, кто «родом из войны», когда детство и война трагически наложились одно на другое.

В том же предисловии к публикации «Нисхождение в ад» Даниил Гранин так развивает свою мысль: «В этой книге участие автора минимально. Он почти незаметен, он дает выговориться своим героям, время от времени звучит его вопрос, скупые пояснения о рассказчике, и опять он умолкает, но он здесь. Молчание его ощущается, оно слышимо. Его молчание — это застрявшие в горле слова...»

Экспериментирование над жанром, который вообще только формируется, складывается,— что может быть правомернее?

Читатель не всегда и догадывается, на какие потери соглашается автор такой работы — во имя его же, читателя, интересов. Три, пять часов выслушивает то, что и рассказывать и слушать мучительно, а потом должен еще и резать «по живому», оставляя страничку-две в тексте будущей книги, но зато какие странички!

«Вася Саульченко — 8 лет. Сейчас — социолог. Живет в Минске.

...После войны меня долго мучил один и тот же сон. Сон о первом убитом немце... Которого я сам убил, а не увидел убитого... То я лечу, а он меня не пускает. Вот поднимаешься... Летишь... Летишь... Он догоняет, и падаешь вместе с ним... Проваливаешься в какую-то яму. То я хочу подняться, встать... а он не дает... Он не дает улететь...

---

[1] Иностранная литература, 1985, № 2, с. 200.

Один и тот же сон... Оп преследовал меня десятки лет... И только недавно исчез...

Когда я убил этого немца, я уже видел, как застрелили моего деда у порога, а бабушку у печки... Видел, как маму били прикладом по голове... Как она умирала, и волосы у нее были красные, а не черные... Но когда я стрелял в этого немца... Он был раненый... Я хотел забрать у него автомат, мне сказали забрать у него автомат... Подбегаю к нему и вижу, как у меня перед глазами пляшет пистолет, он в него вцепился двумя руками и водит перед моим лицом... Он не успевает первым выстрелить, успеваю я... Видимо, попал, потому что пистолет у пего упал.

Тогда я не успел испугаться, что убил... Человека убил... И в войну его не вспоминал. Слишком много было убитых вокруг. Они уже не пугали. Один только раз мне стало страшно... Мы зашли в деревню, ее недавно сожгли... Часа четыре-пять прошло... Я увидел обгоревшую женщину... Она лежала вся черная, а руки белые, живые женские руки... И вот тогда мне впервые стало страшно...

Нет, ребенком я не был. Не помню себя ребенком. Хотя... Были какие-то странности... Убитых я не боялся, а идти ночью или вечером через кладбище боялся... Мертвые, которые на земле, не пугали, а те, которые в земле, пугали. Из детства тот страх... Так и остался...

У меня сын, уже взрослый мужчина. Когда он был маленький, меня пугала сама мысль рассказать ему о войне. Он расспрашивал, а я уходил от разговора. Я любил читать ему сказки. Он вырос, а мне все равно не хочется говорить с ним о войне. Может быть, когда-нибудь.

Я расскажу ему о своем сне...»

Вот и все. Но разве нужно хоть слово больше? Как бы и от этого не задохнуться. Тем более когда вся книга из таких ослепительных, обжигающих лучей правды и все — прямо в нашу читательскую душу!

Всем нам, работавшим в новом жанре — и Брылю, и Гранину, и Колеснику, и теперь Светлане Алексиевич,— знакомо ощущение, когда уже не ты ищешь, а как бы сама она, правда, ищет тебя, вас — через читательские письма блокадников или фронтовиков, телефонные звонки и т. п. Как по цепочке шли, с невидимым проводником: от хатынской к хатынской судьбе, от блокадной к блокадной, от женской фронтовой, партизанской судьбы к женской военной судьбе, от детской к детской...

По обнаружились и другого рода последовательность и преемственность. Хатынь — судьба деревни в тотальной войне — привела за собой в этот жанр литературный ленинградскую

блокаду (судьба города), вместе они открывали дорогу, прокладывали путь книге о женщине на войне, а эта, в свою очередь, воззвала к детской военной памяти. Что дальше, что впереди — если иметь в виду Отечественную войну? Действительно — последние свидетели? Если возраст имеется в виду или, как говорят в кино, «уходящая натура», тогда, конечно, это так. Но у нового жанра, как у каждого, столько скрытых возможностей, прорастаний в самом неожиданном направлении.

Тем более что молодой жанр этот имеет прописку уже в самых разных литературах. Мы не обо всем осведомлены, также как и в других странах о том, что делается и происходит в нашей литературе, тоже знают весьма приблизительно.

В 1984 г. в Минск приезжала канадская журналистка Шелли Сэйвипп, интересовалась нашими работами, книгами. Так сказать, по обмену опытом. Она сама год назад тоже приступила к подобной работе: делает книгу, в которой — память, судьбы женщин, участниц второй мировой войны из самых разных европейских стран и из Канады. Я тут же поинтересовался, что у них наработано в этом жанре (или в схожем, родственном), получился такой тематический список: коллективная память, «устные истории» канадских солдат об участии в войне против фашизма; об участии американцев в грязной вьетнамской войне и еще несколько книг, одна или две. Одним словом, немного, но направление (жанровое), сходное с нашим[1]

Советская журналистка Елена Карасева сообщает в еженедельнике «За рубежом»: «Неизвестные из движения Сопротивления» — сначала так называлась рубрика, которую «Юмапите» решила открыть прошлым летом. Газета обратилась тогда к читателям с призывом рассказать о случаях проявления, как принято говорить, «обыкновенного героизма», свидетелями которых оказались в годы оккупации они сами...

— Получилось уникальное литературно-докумеитальное произведение, о котором без натяжки можно сказать, что его автор — народ,— говорил мне Шарль, листая еще пахнущий краской широкоформатный том» (1985, № 13,. с. 13).

Характерная и нам тоже знакомая реакция (первая, эмоциональная) — уникальное произведение! Именно так писали в 70-е гг. и о книге «Я из огненной деревни...». А ведь оно не такое уж уникальное, оно видовое — это уже жанр!

---

[1] Во время поездки в ФРГ осенью 1985 г. разговорился с молодым безработным-историком Майером Гертом, который нас с Быковым сопровождал по городам и городишкам Западной Германии, оказалось, Герт тоже пытается делать нечто подобное, ноне как журналист и не как писатель, а именно как историк: собирает книгу памяти рядовых немцев о их городишке, о их местной истории. Определял он жанр этот: «Grabę wo du stehst» («Копай под ногами») — название уже распространившееся на Западе. Завидно образное, емкое название. (У англичан — то же самое: «Dig wliere you stand», т. е. рой, где стоишь!)

Недавно «Иностранная литература» (1985, № 2) напечатала репортаж Владимира Познера (Франция) из освенцимского ада, так что уже и прочесть можно, увидеть, как работают они, что получается у них.

Исходя из нашего коллективного опыта, я, например, имел возможность дать кое-какие советы и журналистке из Торонто: например, значительно, во много раз расширить список, количество опрашиваемых, записываемых. Шелли Сэйвинн рассчитывала, как она заявила, записать по 3-4 человека в нескольких странах. Но мы-то убедились на практике, что жанр прозаический, полнокровный (а не чисто журналистский репортаж) возникает, когда есть из чего отбирать. Из шести тысяч страниц блокадного материала в нашу с Граниным книгу вошла хорошо если десятая часть. Человек, в восьмилетием возрасте убивший фашиста, пять часов все уходил в своем повествовании от этого факта, пока терпеливая, умудренная опытом многолетней работы с сотнями людей Светлана не нашла в его памяти то, что искала.

Да, такая литература не для легкого, праздного чтения. И не авторское это наше своеволие — зачем-то мучить бедного читателя. Сама жизнь современная подсказала, можно сказать, навязывает и такой материал, и этот путь, и этот жанр. Если кто и «повинен», то она: к ней и претензии, с нее и спрос!

Уже говорилось о взаимоподталкивании одной книги другой: эта подтолкнула появление еще одной, а та — третьей, четвертой... Но цепочка замыкается не на чемнибудь, не на фантазии («больной», слышим мы порой), а на самой реальности.

Первая мысль сделать документальный фильм о трагедии белорусских деревень (затем замысел «Хатынской повести»), мысль о книге «Я из огненной деревни...» возникли из встречи, из разговора в 1966 году с женщиной из полесской деревни Ковчицы, ее рассказа, как немцы, выбив из Ковчиц нас, партизан, согнали к канаве жителей, всех убили и, навалив соломы, подожгли и как она с сынком (вначале уснул от ужаса!) выползала, ползла из-под горящей соломы...

А нить, ток, толчок, родившие мысль о книге женской фронтовой и партизанской памяти, уходят еще глубже в прошлое. Где-то в середине 50-х годов Тамара Степановна Умнягина, тогда совсем молодая женщина, рассказала мне... Впрочем, рассказ ее, историю молоденькой медсестры Сталинградской, а затем Курской битвы можно прочесть в книге Светланы Алексиевич «У войны — не женское лицо...». Вон сколько времени минуло, а семя фронтовой памяти, зароненное в душу одного человека, столько

лет сохранялось вживе, пока не переселилось в еще одну душу, а затем — трудами Светланы — в тысячи и тысячи душ.

Сейчас мне говорят иногда: зачем отдал, зачем уступил идею этой книги? Не идею — работу, труднейшую и мучительную, перевалил на чужие плечи. Притом, по нашему мужскому обыкновению,— на женские. Да где там — девичьи! Но очень уж живо, непосредственно, беззащитно откликнулась: «А я смогу, справлюсь?»

Только и спросила — было это в 1978 году, сразу же после минской конференции, посвященной «военной» документалистике, — и бросилась в работу безоглядно.

Сейчас совершенно очевидно, насколько Светлана готова была к такой работе — и жизненной биографией (не своей лишь, но и близких, родных ей людей), и душой, и мыслями о жизни, о людях.

Действительно, нужен был лишь внешний толчок. Она делала свою работу, создает свои книги, а они делают ее.

Последние свидетели... А ведь действительно так, но последние не только они, записанные Светланой «бывшие дети войны», но и все люди, помнящие, рассказывающие о Великой Отечественной, о второй мировой. И в ядерный век война, мировая, к сожалению (нет, к ужасу!), возможна. Но выявившие и свидетельствующие — это уже было бы невозможно.

Так что не просто — последние свидетели минувшей мировой трагедии. А вообще последние свидетельствующие об этом, о таком — в человеческой истории!

Тем более вслушивайтесь в слова, в память о том, чего не должно быть. Не должно, если люди хотят (а они хотят!) быть, жить в своих детях, все новых и новых детях.

Но вернемся к вопросу о возможностях нового жанра. Да, оп требует писательского таланта, как и всякий иной литературный жанр. Но результативность действия, приложения таланта, как можно убедиться на примере уже не одном, непропорционально велика. Результативность непривычная и неожиданная. И тут объяснение надо искать уже не в самом таланте, а в материале, в характере и природе материала, с которым жанр имеет дело.

Великие романисты давно подобный материал добывали из жизни, но им приходилось довольствоваться, обходиться глубинным, так сказать, бурением. Силой таланта пробиваться к такому, подобному материалу.

У нового жанра то преимущество, что ему дано добывать глубинные пласты, залежи психологии, правды народной жизни открытым способом. Сама жизнь современная, геологически сдвинувшаяся, взорванная небывалыми катаклизмами, когда

верхние пласты сорваны и обнажились недра, подготовила и родила этот способ, этот жанр в литературе. И «ковш» имеется для подобной работы, тот же XX век нам его дал — магнитофон. А имея под руками не всего лишь глубинные пробы и образцы, но целые горы глубинного материала народной жизни, человеческой психологии — тут уже и обыкновенный литературный талант сумеет многое, способен потрясти сознание читательское так, как прежде удавалось лишь великим.

Федор Михайлович Достоевский на всю оставшуюся жизнь потрясен был теми десятью минутами мучительно острого глядения в самого себя и на окружающий мир, последнего глядения, знания, когда стоял под расстрелом на Семеновском плацу.

Потом из романа в роман переходили варианты такого переживания — мучительное самовсматривание обреченного человека или взгляд со стороны на приговоренного к смерти.

Гениальные страницы.

Осмелюсь сказать, что многие, если не полностью рассказы, то фрагменты рассказов женщин, детей войны — не менее потрясающи, да нет, все же решусь сказать — гениальны.

Разница вот в чем: в романах Достоевского этот «рассказ» в ряду других, столь же гениальных, а у наших женщин — всего лишь один рассказ. Одии-единствеиный на всю жизнь гениальный фрагмент рассказа (страничка, две, абзац) совсем простого, а возможно, и ординарного в общем человека.

«Сынок мой, сынок, зачем же ты ботики резиновые надел, зачем обулся в эту резину? Твои же ножки долго гореть будут. В резине...»,— хатынский голос.

Трагическая гениальность самой жизни, загнанной в тупик, лицом к лицу с мукой хатынской, блокадной, концлагерной, фронтовой и иной смерти, как бы случайно прорвавшейся через память, через слова человека вполне обыкновенного.

Каждому профессионалу — писателю (или стремящемуся к писательству) не сложно вообразить себя в такой вот роли: собиратели гениальных рассказов, устных историй, фрагментов. Да, не ваше это все, не ваше! Но из ваших рук читатель получает, и без вас кануло бы в Лету!

Из писем-откликов на публикацию «У войны — не женское лицо...» (Октябрь, 1985, № 2):

«Начинала читать несколько раз. Начну и через несколько строчек уже не могу: сердце замирает в груди, воздуха не хватает...»

«Полтора часа назад кончила читать книгу. Потрясение — иначе не назовешь то, что пережила. Не раз перехватывало дыхание, в горле стоял ком...»

Ну разве не стоит в этом, в таком столь благодарном, результативном жанре пробовать, испытывать себя именно молодым литераторам?

Кому не хочется, если не стать, так хотя бы временно побыть гениальным? За чем же остановка, почему бы не испытать себя? Будь я «директором», ввел бы в Литинституте литпрактику: хождение в народ с магнитофоном.

Не вижу, не знаю другого жанра, который был бы столь плодотворным и благотворным, столь обогащающим и укрепляющим молодой литературный талант, как этот — годами жить памятью, судьбами сотен и сотен людей, писать, творить в соавторстве с самим народом.

Да, но ведь на всех и войны минувшей не хватит. А кто сказал, что болевые точки народной памяти, нерв народной жизни обнажен лишь на этом участке, пробеге Истории: 1941-1945?

Та же Светлана Алексиевич собрала сто рассказов совсем молодых людей в городе и в деревне — ответы на вопрос: «Почему я уехал (уехала) из деревни? Почему я остался (осталась) в деревне?»

Жанр родился, встал на ноги ребенок, начинает приставать с вопросами. Не только к «родителям», но и к любому встрсчному-поперечному. На руки просится. К тем же «деревенщикам». И прежде всего — к Юрию Черниченко, к Анатолию Стреляному. Кому как не им дать слово деревне, озвучить историю деревни, колхозного крестьянства?

Жизнь, память народа неисчерпаемо гениальны. Воспользуемся же этим.

1985

ЛОГИКА ЯДЕРНОЙ ЭРЫ И ЛИТЕРАТУРА

В Ленинград приезжали женщины из Соединенных Штатов, в Доме дружбы и мира с народами зарубежных стран они сидели за чайным столом, печенья-варенья к которому готовят и приносят бывшие летчицы, партизанки, блокадницы. Чайный стол в ленинградском Доме дружбы и мира превкусный (сам сидел за ним), разговоры, смех и слезы воспоминаний удивительно красивых женщин (многие уже бабушки) — все на редкость искренне, от души. И вот при расставании американки вытащили из своих сумок что-то белое, розовое, в цветочки, оказалось — наволочки... Обыкновенные, которые для подушек. И попросили: распишитесь фломастером, мы дома вышьем ваши имена, чтобы нам спокойнее было спать!

Другие, чтобы спать спокойнее, зарываются в землю, покупают стальные и бетонные «выживалки»; в одной Западной Германии их, говорят, более миллиона...

В чем больше логики, что надежнее в ядерный век? Ничего надежного нет и быть не может, если ракеты взлетят, а бомбы начнут рваться.

А потому те трогательные наволочки все-таки разумнее, какими бы наивными ни казались. В них хотя бы нет тщетной надежды спастись врозь.

Ничего наивно-прекраснодушного я в том не увидел, а, наоборот, очень даже разумно-практичным показалось мне и предложение Чингиза Айтматова, прозвучавшее со страницы газеты «Правда»: уже сегодня начать подготовку во всемирном масштабе к празднованию 2000 года. Не от кого другого, от самих людей зависит, будет приближаться к ним этот год как праздник надежды жить в новых и новых поколениях и тысячелетиях или как ядерно-апокалипсическая дата.

Яснее ясного: в будущее или все вместе, всем, так сказать, миром выходить или никому туда не прорваться.

...Хоронили молодую женщину, умершую за день-два до родов, ребеночек остался в ней, унесла его с собой в землю. Могила приняла, поглотила не только жизнь матери, но и ее продолжение. Подумалось: вот он, образ, лик Мадонны «термоядерного варианта» истории. От которого бежит человеческое сознание, но куда стаскивает человечество тяжкий груз сверхвооружения.

Об этом думать, этим мучиться, себя не жалея,— кому, как не писателю, не литературе! Ну, хотя бы наравне с учеными, которые уже много сделали, чтобы донести до человечества правду о возможном исходе гонки вооружений, а сейчас со всеми

противниками войны отстаивают вполне конкретные предложения, главные из которых выдвинуты Советским Союзом и социалистическими странами. А именно: объявить преступными любые доктрины «первого ядерного удара», полностью отказаться от применения силы и угрозы силой в отношениях между странами. И все делать и сделать, чтобы полностью устранить планетарную ядерно-раковую опухоль, спровоцированную Хиросимой.

Наша публицистика все чаще, все увереннее обращается к этим проблемам, и особенно важным кажется мне, ее стремление удовлетворить насущную потребность в новом мышлении и новой логике, предписываемых ядерной эрой. Симптоматично появление статей, книг, где в самых названиях подчеркнуты, выделены формулировки: «Логика ядерной эры», «Новое мышление в ядерный век». «Необходим новый способ человеческого мышления, чтобы человечество выжило и развивалось дальше,— писал. А. Эйнштейн.— Сегодня атомная бомба до основания изменила мир; мы знаем это, и люди находятся в новой, ситуации, которой должно соответствовать их мышление».

Как-то стали мы вспоминать разные партизанские истории. Физик — академик Николай Александрович Борисевич, президент АН БССР — припомнил, как ходили на «железку», как он, тогда молодой партизан-подрывник, яростно-испуганно тянул шнур на себя, а немец — на себя: под ногами у немца, упершегося в рельсу,— мина; он ее увидел, обнаружил и перехватил шнур. Если партизан перетянет, она «ахнет», разнесет на куски, и человек, конечно же, тянул изо всех сил и выл в животном ужасе. А партизан понимал: не подорвет немца — тоже живому не уйти!

Так было вчера, на той, на минувшей войне: или ты его, или он тебя! Сегодня же, если иметь в виду ядерную конфронтацию, мыслить приходится по-иному: не тяни, не перетягивай «шнур», потому что на конце его — ядерный заряд и он под ногами у обоих, у всех под ногами!

Как пишут сегодня публицисты-международники, ни одна социальная система в век ядерного «сверхубийства» не может позволить себе игнорировать жизненно важные интересы другой стороны и рассматривать ее только как соперника. Ибо исторические соперники в борьбе идей являются одновременно партнерами в борьбе за жизнь. В этом единственно возможная формула выживания в наш век.

Новое мышление, новое видение... Все это, конечно же, не может не распространяться на литературу. За нее никто не выполнит ее работу, потому что художественная литература, искусство способны проникнуть туда, куда ничто другое не

проникает — в тайное тайных человеческого сознания. Пока впереди поэты: «Слово о мире» И. Шкляревского, «Мама и нейтронная бомба» Е. Евтушенко, стихи А. Вознесенского, П. Панченко, А. Русецкого, И. Драча, О. Сулейменова и других... Но не обойтись и без усилий прозаиков, кинематографистов, драматургов. Советские и прогрессивные западные писатели-фантасты внесли немалый вклад в развитие этой найважнейшей сейчас темы. Большой интерес вызвал и роман «Катастрофа» белорусского автора Э. Скобелева, роман-антиутопия о том, как ядерный взрыв смел жизнь с острова, лишь несколько человек укрылись в «суперубежище». «Теперь-то мы были бы счастливы начать со вчерашней отметки, решиться на борьбу за спасение человечества, но — часы уже пробили двенадцать, ничего не изменишь,— кричит себе и опустевшему «острову» писатель Фромм — один из героев романа,— горы оружия, в которое мы вкладывали свои надежды, никого не спасли...»

Писать о таком будущем — задача не только сложная, но и чрезвычайно ответственная. Ибо то будущее, которое существует в человеческом сознании, представлении (а значит, и в литературе), способно воздействовать и на саму реальность. (Впрочем, так же, как и прошлое, история.) Философы уверенно утверждают, что потенциальное будущее начинает все более ощутимо влиять на современность (так называемый «эффект Эдипа»), Так как же с ним, с этим прогнозируемым, ожидаемым будущим обходиться писателям? Чтобы и не «отвертываться» от него (употребляя слово Ф. Достоевского), но и не брести завороженно, обреченно навстречу беде, подобно герою Эсхила? Как избежать спекуляции на теме, но и спекулянтам от литературы тему не уступать? Ответ — в нас самих. Если главное для мира, для человечества стало главным для тебя лично и нет у тебя другой цели, как только всего себя отдать, чтобы жила Земля, чтобы жил Человек,— найдешь и верный тон, и точную меру, и нужные слова.

Кстати, немало схожих проблем встает, когда мы обращаем взгляд и в прошлое. Например, надо ли писать столь подробно о хатынских жестокостях, а если это уже сделано в литературе, то как с этим обжигающим «материалом» обходиться, скажем, в кино?

Нам, соавторам «Блокадной книги» и «Я из огненной деревни...», вопросы задавали, да и мы сами себя спрашивали вот о чем: «закрепляя» жестокую правду о таких вещах в сознании новых поколений, чего мы достигаем? Λ вдруг обратного желаемому? Вдруг приучаем смотреть как на нечто обычное на то, что не должно и «в сознании вмещаться»?..

Ответы на многое — в читательских письмах.

«Прерывался лишь дважды: поужинать (часов в шесть) и — на час с лишним,— чтобы посмотреть программу «Время». Вскоре все улеглись спать. Мое потрясение между тем нарастало. Я подумал тогда (и наутро сказал жене): «Я прочел эту книгу и оказался за чертой, которая теперь отдалила меня от тебя. Только когда и ты прочтешь, мы снова соединимся, станем вместе». В. Дмитриев из Москвы.

А это — из письма москвички Любы (фамилию не указала):

«Я не могла носить в себе все. Это одна. Мне было очень тяжело. И я попросила мужа прочесть, чтобы мне было с кем поделиться и разделить Это, чтобы мне стало легче... Он тоже прочел, тоже стал смотреть кое на что другими глазами. Я думаю, что он тоже стал другим».

Таково ощущение людей, которые вовсе и не блокадники даже, сами не пережили всего, а лишь сопережили, прочитав чужие дневники и записи устных рассказов. Но, смотрите, как правда сразу изменяет что-то в людях, в их самосознании, порой отдаляя и даже обособляя их (и это — мучительно) от тех, кто не знает. Будто перенесло тебя на ту сторону улицы, которая «при обстрелах особенно опасна». (На Невском в Ленинграде сохраняется такая надпись-предупреждение.)

Ну, а сами блокадники или горевшие в Хатынях, пережившие, перенесшие немыслимое и столько лет несшие в себе свое особое знание жизни и человека, не разделенное ни с кем,— как их оно должно было мучить! Да разве имеет кто-либо право сказать: не хочу вашего знания, оно слишком жестоко! Говорим: разделить чужое горе. Но есть и чужое знание, которое не принять — бесчеловечно. Не говоря уже, что это неразумно с точки зрения интересов и новых поколений, и просто рода человеческого.

К известной истине — забывающий прошлое рискует встретиться с ним завтра — хочется такую мысль добавить: зло есть зло, но знание о зле есть добро. Зная, легче и бороться, и побеждать. Чем большее зло, тем больше надо разузнать о нем, по возможности — все.

В одном из разговоров, споров наших на эту тему возникли и такие мысли: ну что еще нужно, какое еще «новое мышление»? Спорящий показал на полки, где стояли тома классиков литературы. Мол, просто надо продолжать, что мы и стараемся, обычную работу по гуманизации жизни человека. Вот «Белый Бим Черное ухо»... Разве мало значит и в ядерный век произведение, столь пронзительно утверждающее, закрепляющее в людях, в мире добро, человечность?..

Верно, немало! Ради такой вещи и те классические тома на полке охотно потеснятся. Но если прикинуть: сойди они с полки, те

тома, а их создатели — в мир, в котором жить и действовать досталось нам, ну разве можно их вообразить только теми, только прежними?! Боль, гнев за повешенных крестьян-бунтарей и — на всю Россию — «Не могу молчать!». Мысль о милитаристском зуде, одинаково одолевающем всех этих кайзеров, президентов, царей, и — на весь мир — «Одумайтесь!..». Одна-единственная слезинка ребенка, и какой самосжигающий, на всю глубину прошлых и будущих веков крик совести: такой ценой счастья принять не желаю!..

Ну, а если не о счастье или несчастье отдельных людей и даже социальных они , классов речь шла бы, а о самом существовании всех нынешних и всех будущих людей, какими бы предстали, как заговорили бы эти писатели и их произведения? Просто делали бы литературу? Да нет же, они и тогда не литературу, а жизнь делали, потому и великая литература получалась. Если уж делать литературу в мире, где против жизни нацелено столько мегосмертей, где жизни угрожает сверхоружие, сверхубийство, тогда делать надо — сверхлитературу. То есть что-то адекватное, соответствующее всей мировой ситуации! Гадаем, спорим, думаем, какой станет литература будущего. Такой и станет — в смысле нравственного потенциала,— какова будет степень ее участия в спасении этого будущего.

Что сильнее и глубже всего способно в ближайшее время повлиять на весь характер планетарной культуры, на сам тип мировой литературы, так это как раз новые реальности и процессы в человеческом сознании, определяемые всей совокупностью событий XX века. Человек — единственное на Земле существо, сознающее свою смертность, конечность. Исчезни вдруг это знание, и как резко изменился бы и оп сам, весь — в повадках, поведении, в культуре, литературе, искусстве, в степени PI характере нравственности. А сегодня человек обнаружил, что и весь род его сделался смертным. Вчера еще будущее его уходило в даль грядущих тысячелетий, и вдруг — реальная вероятность исчезновения. Навсегда. В течение минут, часов!..

И что же переменилось? В поведении, в типе искусства, литературы? Кое-что переменилось, но пока не слишком резко, явно... О чем это говорит? О том лишь, что еще не произошло сегодня то, чему обязательно случиться завтра!

Ученых-обществоведов и философов все больше интересует проблема «переоценки понятийного аппарата». Всякий раз переход к новому образу мышления растягивался на десятилетия, а то и на века, сопровождался ожесточенной борьбой. Истина, по выражению Гегеля, рождается как ересь, а умирает как предрассудок. У человечества нет больше такой возможности —

растягивать на десятилетия и века выработку и практическую реализацию нового мышления в политике, в искусстве, в человеческих взаимоотношениях. Время больше не течет, как в прежние тысячелетия, этаким бесшумным, мягким песочком, оно, живое время, как кровь из разорванной артерии: вот-вот из живого может превратиться в мертвое. И литература обязана быть готовой к тому, чего прежде не бывало ни в ней, ни с нею. Она самим временем позвана к подвигу — по спасению жизни.

Но что может, на что способна литература в столь грозовом мире, на многое ли?

Не спрашивай, если ты писатель, что литература может, а спрашивай, что ты — ты! — должен! Ведь литература — не что иное, как результат нашей самоотдачи. А она, самоотдача, сегодня не будет достаточна, если в нас самих не взорвется та проклятая бомба, заранее, в душе, в мозгу нашем — во имя того, чтобы реально никогда не вспучивался над планетой отвратительный гриб. Всю угрозу, всю опасность впусти в себя, не бойся додумать самую жестокую мысль до конца, и тогда не будешь спрашивать, что литература может и может ли. Вспомним толстовское: весь мир погибнет, если я остановлюсь! И век ядерный не обязательная ли это мера личного писательского соучастия во всем и ответственности за все, что в мире и с людьми происходит?..

И в обстановке современного, опасно обострившегося противостояния социальных систем литература, искусство, как ничто другое, могут, способны возводить мосты, ведущие от народа к народу, от сердца к сердцу — в будущее без войн, без вражды, голода, нищеты, эксплуатации человека человеком. Мы помним поразительный эффект телемоста «Москва — Космос — Калифорния», когда люди различных социальных систем радостно глядели в глаза друг другу — поверх наледи, поверх торосов «холодной войны» — и на какой-то миг ожило, из прошлого вернулось время, когда народы по обе стороны океана чувствовали, ощущали союзническое плечо друг друга в непримиримой, самоотверженной борьбе с фашизмом.

Как это важно и нужно видеть — живые глаза близких и далеких соседей по планете, как во время той прямой телепередачи, не поддаваться, всячески сопротивляться злой, неразумной воле тех, кому хотелось бы подменить лицо народа-соседа маской «врага», «нелюдей». О, они ведают, что творят! А как иначе можно заставить «свой» народ мириться с планируемым риском «ограниченных», «затяжных», «звездных» и прочих одинаково самоубийственных войн? Способ тут один, испытанный: внедрять в сознание сограждан «образ врага», который ужаснее ядерного побоища.

Совсем близкая история, однако, свидетельствует, что подобные манипуляторы общественным сознанием неизбежно сами становятся жертвами лживой, зловещей игры — не знают, где остановятся и остановятся ли. Геббельс такой «образ врага» лепил, внедрял в сознание немецкого народа, что и сам в него как бы поверил: увлек, утащил в могилу и собственных детей!

В мире, и в частности в США, немало людей, которые активно, осознанно противодействуют зловещей работе ядерных расистов. К нам в Минск приезжала журналистка Марфа Стюарт, и мы имели возможность познакомиться с одной из форм деятельности американцев, восстанавливающих мосты, которые другие американцы, прежде всего облеченные властью, рушат, подрывают. Оказывается, честным людям приходится начинать с элементарного, например, печатать в иллюстрированном журнале фотографии американцев вперемежку с лицами наших соотечественников, чтобы житель Нового света собственными глазами мог убедиться, что и у нас тут обыкновенные люди живут, а вовсе не нечто пугающе неопределенное. Куда же, в какую темень оттеснено сознание тех, кого приходится подобным способом убеждать в элементарнейших вещах? Но ведь и силы, манипулирующие на Западе массовым Сознанием, действительно мощные. Вот что написал в редакцию журнала «Век XX и мир» один из его американских читателей:

«В США нам сейчас внушают, что «сокращенно» означает «наращивание» (поскольку «чтобы разоружиться, нам надо вначале вооружиться»). Нам внушают, что «мир» означает «войну» (поскольку «мир» — это не что иное, как «умиротворение»). А еще нас учат, что «война» — это и есть «мир» (поскольку только «наступательное сдерживание» и «обезоруживающий удар» способны принести мир). Нас учат, что в «невежестве сила» (поскольку «чем меньше мы о них знаем — тем лучше», ведь «знание может ослабить нашу решимость»)...»

Не пора ли усвоить им такую вот истину ядерной эры: лучше быть разными в жизни, чем одинаковыми в смерти?..

Кому, как не пашей литературе, изначально гуманистической по своей природе, стать планетарным голосом в защиту права на жизнь всех нынешних и всех будущих поколений, самого рода человеческого?! Во всей его многоликости и неоднородности. Человек сегодня как никогда, говоря словами К. Маркса, «должен проявить и утвердить себя как родовое существо». И это в нас, людях, не только заложено, но, что очень важно сегодня, все более осознанно проявляется в мыслях, чувствах, действиях.

Человечество в опасности! Глаза схватывают слова, и тотчас как эхо: «Родина в опасности!» Да, в нас живет, действует та же

патриотическая готовность всем пожертвовать «ради жизни на земле». Эти, такие современные строки родились ведь в те годы…

Чтобы советская литература оставалась тем, чем она была всегда — чувствилищем и выразителем самых передовых идей и устремлений человечества,— писателю надо стремиться всегда быть на уровне своего века и своего, хочется сказать, тысячелетия. Да, мы — поколения, живущие во втором тысячелетии, теперь в ответе за все последующие. Страшновато это осознавать, но именно от нас зависит, быть ли новым тысячелетиям в человеческой истории…

…Шла киносъемка. Артист, играющий эсэсовца, высоко поднял девочку, чтобы на глазах у матери и братика разбить, бросить ребенка, убить, а она, четырехлетняя Наташа из белорусской деревни Броды, звонко-радостно крикнула братику, который где-то там, внизу: «Андрей! Это я!» Сорвала режиссеру «дубль», но как же радостно рассмеялась вся киногруппа — в ответ на отчаянное неверие ребенка в жестокость, в зверство, в войну.

Как оправдать, чем окупить неиссякаемое доверие самой жизни к нам, людям, ее детскую веру в нашу доброту и мудрость?

Какими делами, какой политикой, какими книгами?!.

1985

ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК НА ЖИВОЙ ЗЕМЛЕ

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНТЕКСТ «ДЕРЕВЕНСКОЙ» И «ВОЕННОЙ» ПРОЗЫ

Давно не верю нашему брату писателю, когда он жалуется-завидует, что вот кто-то работает, пишет, а он, мол, бездельничает. Не поверил и Валентина Распутина письму: «Где-то еще пишут книги и говорят о них, где-то снимают фильмы и надеются с помощью слова и камеры переменить людей, я же ничего не делаю...»

И правильно, что не поверил: пока мы с Элемом Климовым снимали горящую деревню для фильма «Иди и смотри», Валентин писал и написал свой «Пожар»,— вот так они и сошлись во времени, два пожара. Страшный наш хатынский и тоже страшный распутинский, хотя там никто никого не жег, лишь склады сгорели над Ангарой. И тем не менее страшен пожар в повести Распутина: прежде чем склады, души человеческие незаметно выгорели, многие дотла, многих, пугающе многих людей души. Водка и бессмысленность существования их испепелили, хотя, казалось бы, почему, откуда это?..

Впрочем, ничем нас сибиряк не удивил. Есть, есть это и на нашем конце...

На тех же киносъемках насмотрелся, всякое в войну и после видел, по и к такому привыкнуть тяжело...

— И возле моей хаты стоит машина! А я уже думала, никогда не будет возле моей хаты стоять машина.

Снова и снова нам это сообщает женщина, все куда-то срывается бежать, мешает киноосветителям, но вот, слава богу, задержалась у забора на скамейке и громко радуется, что и «возле ее хаты...». Невыносимое одиночество женщины-пьяницы, большего не бывает. Большой несмелый, добродушный пес, не сводящий заботливых глаз с хозяйки, только подчеркивает это одиночество. Вдруг снова вскочила женщина и, хлопая порванными резиновыми сапогами, быстро-быстро засеменила к своей хате, собака следом. Уже несколько раз уходили и возвращались, и всем ясно зачем...

Хозяин двора и дома, где мы готовимся снимать военного времени сцену, тоже навеселе, румяненький, в празднично белой рубахе. Впрочем, у него есть повод (хоть вряд ли и оп в нем нуждается), у него «праздник» даже больший, чем у той женщины, и нам от дружелюбной улыбки его некуда деваться...

Видел я всякие хаты белорусские. До пожаров, а потом в войну, горящие. Послевоенные землянки. Все было, но не было этого ощущения, что своя хата крестьянину — неинтересна, недорога, как чужая. Вроде той заношенной одежды, которая уже не для носки, а так — дырку заткнуть, обтереть грязь. Не живут, а доживают. И не оттого, что выехать куда-то собрались, собираются переехать, а просто потому, что «и так сойдет», а детям это не понадобится. Сын у хозяина — в Минске, иногда приезжает, наверное, и ждут его здесь, и сам рад, когда собирается в родную деревню с городской своей семьей.

А вот и следы гостевания его: окна заклеены целлофаном, нам приходится вставлять стекла — необходимо для съемок. Приезжал сынок и по пьяному делу переколотил.

— Что, так и зимовали?

— Ага,— усмехается хозяйский мальчишка. Господи, и этот уже помечен: подергивается, глаза косят. Ну, этот в город не уедет, а для деревни, вот такой деревни, сгодится, так что задержится, будет работник...

В хате на стенах старые литографии с ненашими пейзажами (хозяин, судя по ним да по фотографиям,— бывший фронтовик), в углу огромный телевизор, но грязь и неустроенность, какой и в войну в деревнях не видел. На гуталинно черных простыне и подушках пьяно спит сама хозяйка прямо в сапогах (все тех же резиновых), ни визжащая в сарайчике голодная свинья, ни киносъемки в доме разбудить ее не в состоянии.

Незадолго до этого пришлось мне побывать в иной белорусской деревне (ну, прямо-таки по распутинскому «Пожару»!), которая «с иголочки» — вся в асфальте, в клумбах, новеньких коттеджах, таких же чудно-ненаших, как те настенные литографии. И новоселы все больше приезжие, не местные. Все в новой деревне подчеркнуто щедрое, даже расточительное, если не сказать демонстративно-выставочное, не деревня даже, а какое-то наше виноватое швыряние денег, извинение, поклон до земли и упрашивание: только живите, только работайте на земле! Не за те ли годы и десятилетия поклон и извинения, когда только брали от деревни, у земледельца и ничего почти не давали? Но как-то все это получается: задолжали одним, а поклон — совсем другим. Оценят ли? И удержат ли их коттеджи, асфальт, городские условия труда и отдыха? Тогда как тех удержали бы (да что удержали бы: они и не собирались никуда!) какие-то минимальные вещи. Ну, не очень щедрый трудодень был, так хоть бы не стесняли с огородом, скотиной, сенокосом, («...и квакать учились курицы, чтобы не попасть под налог» — Е. Евтушенко.) Хоть бы не мудрили все напропалую.

Все, включая и нашего брата писателя, литературу, которая незаметно, но все тверже в разговоре с деревней, с крестьянином, усваивала тон начальственный, поучающий, распекательный.

Ну да об этом чуть погодя.

Читаем в центральной прессе, как пришлые мелиораторы (уже белорусские) окультуривают запущенные угодья, земли в Калининской области, а их просят не спешить со сдачей: некому земли те принимать, работников еще не завезли... из Узбекистана.

Да, коттеджи и розарии-клумбы вдоль асфальтовых дорожек да целина со всем, что поглотила и что отдала нам,— все это тоже поиски путей, выхода, но пока искали такое и подобные «разовые» решения, чтобы все проблемы да одним ударом, выбирая обязательно какие-то наддеревенские, надкрестьянские решения, пути, упустили нечто важное, не нечто, а самое-самое — земледельца, крестьянина упустили. Теперь завозим — как заморских специалистов, людей редкой профессии!

Л ведь так оно и есть. И в промышленности, в техникетехнологии наверстывать упущенное нелегко, непросто. Но тут еще сложнее. На крестьянина «учатся», «обучаются» не год и не пять — нужны поколения. Восстановить крестьянство, да это как плодородие восстановить на площадях, снесенных под чистую ураганным суховеем. А площади вон какие — из конца в конец!

Глеб Успенский: «Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми оно волнует крестьянина,— добейтесь, чтобы он забыл «крестьянство»,— и нет этого народа, нет народного миросозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма.

Настает душевная пустота, «полная воля», то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь»[1] Оторвали. Добились. И вот имеем.

Наша классика всегда болела вопросами: кто виноват? что делать? и кто там идет, что грядет?..

Вот и мы, нет-нет да и вопрошаем, уже в глобальноэкологических масштабах: кому это надо было — отнять строго по науке у украинца чернозем вокруг Каховки, пообещав море, хоть залейся, воды, а вместо того подарив болото или солончаки, а белоруса лишить влажного дождеобразующего Полесья и придвинуть к нему пустыню?..

Спрашиваем с других. А не спросить ли и с самих себя? Какова во всем этом, например, роль литературы нашей?

---

[1] Успенский Г. И. Теперь и прежде. М., 1977, с. 207-208.

Стол заказов при СП — непонятное, ставшее привычным веселье клиентов с авоськами и портфелями, ирония, неизвестно в чей адрес,— и вдруг над всем «голос»:

— Вам не положено!

— Почему?

— Вы — писатель?

— Конечно!

— Вот поэтому. А если о деревне всю жизнь писали — тем более. Романы, поэмы о торфоперегнойных горшочках сочиняли? А о том, что для размаха, чтобы простор был технике, надо всех со всеми слить, объединить — писали? И снести «неперспективные» деревни — об этом тоже? Чтобы травы запахать, Трофима Лысенко, «народного академика» поддержали дружно? Что черные пары — расточительство — громко кричали? И что кукуруза и за Полярным кругом — королева. Что молоко для колхозника в магазине, а не в его сарае. Что приусадебный огород — пережиток, помеха общественно-полезному труду. Писали? Ратовали? Учили, учил? Ну так пойди, брат, попляши!..

Помню, как спросили коллегу нашего (год 1950 или 1952), почему он ни разу не заглянул в «отстающий» колхоз, а все — «Рассвет» да «Рассвет».

— А я к гультаям (лентяям, бездельникам) не поеду! — горячо так, начальственно-гневно.

Рассердился, на весь крестьянский народ разгневался писатель. Ведь в ту пору «пеотстающим» у нас в Белоруссии был едва ли ни один «Рассвет» Кирилла Орловского. Его одного и хватало на весь СП. Да на приезжих гостей.

Назвать все это литературой можно, но только если хорошенько забыть, что слово это, деятельность, профессия означает.

Но ведь не все вот так, было и другое, другие были. Те же Овечкин с Дорошем, а у нас в Белоруссии — Брыль («На Быстрянке»), Макаенок («Камни в печени»). Λ сегодня — тем более. «Русская пшеница», «Про картошку», «Комбайн косит и молотит», «Очерк про очерк» — литература и телевыступлепия Юрия Черниченко — решительное, практическое отрицание литературного верхоглядства, безответственности, скажем резче, литературного паразитизма на колхозных нивах, где и без этого сорняков хватало.

Но и эта, и такая «литература» жить хочет. У нее и защитники находятся: попрекают того же Ю. Черниченко, Л. Иванова, А. Стреляного как раз за дотошное, заинтересованное знание предмета, то есть проблем сельского хозяйства, экономики. Мол, не подменяйте экономистов, министерства, ученых мужей, не

роняйте звание художника: характеры, характеры нам дайте (как будто знание кому-то мешало рисовать характеры), пафос, пафос — вот ваше оружие!

Этой критике поначалу и вся «деревенская» проза не легла на душу. Но пришлось смириться, обновляющая волна слишком мощной оказалась, прямо-таки девятый вал. Признав ее законность, тут же взялись звать, кликать ее «вперед», а если точнее — к прежним стереотипам. Нет, не топчется «деревенская» проза на месте (в чем ее уже упрекали), «оглянувшись окрест», она двинулась снова и действительно вперед.

Об этом и будет здесь разговор.

Вообще это характерно: чуть-чуть углубится литература в реальность во всей ее суровой сложности (военную ли, деревенскую ли или еще какую), тотчас, всполошась, вострубит чей-то высокий вкус, утонченный запрос: художественности жажду! романтизма! объелись этой вашей голой документалистикой да публицистикой!

Как будто та самая художественность (самая из самых) добывается на каких-то иных путях-дорогах, а не на этой, где и ноги обобьешь о камни-рытвины, и в грязь того и гляди окунешься по самую макушку.

Критик жаждет какой-то, поверх проблем века, «художественности», а вот художник из художников вдруг признается: не могу я дожидаться, пока моя тонкая художественная материя исподволь, где-то там в будущем повлияет на людей. Немедленно, немедля надо спасать самое это будущее!

Так говорил, это говорил в августовской телебеседе с Сергеем Залыгиным всегда такой сдержанный Валентин Распутин. Об этом же немного ранее — в интервью «Советской культуре»: «У нас нет другого выхода, если мы собираемся быть и жить, как бороться одновременно и за завтрашний день, и за послезавтрашний, и за тот, когда станут жить наши внуки.

И вот попробуйте в этих обстоятельствах умыть руки и сослаться на то, что вам некогда, что вы заняты «вечным» словом, которое станут читать не только современники, но и потомки. Может ведь случиться, что некому будет читать» (Советская культура, 1985, 19 март.).

Если вспомнить его последние рассказы, тоже многих смутившие, можно понять (а точнее, лишь догадаться), какой душевной работой выстрадан призыв этого писателя, обращенный к «деревенщикам»,— выходить открыто, не боясь «публицистики», к самым болевым точкам нашего времени, сопрягая «деревню» с делами и заботами всей планеты, глобальными проблемами.

В том же интервью: «Из огромной проблематики, принесенной нам жизнью в последние десятилетия и годы, хотел бы назвать только три вопроса, три из тех, на которых сейчас стоит земля. И все три — охранные. Пришло время прежде приумножения говорить, как о главном факторе продолжения человеческой жизни, о сбережении. Это вопросы сохранения мира, сохранения природы и сохранения памяти. Их можно и нужно ставить в один ряд, потому что от каждого из них последовательно зависит все наше отнюдь не отдаленное будущее».

Нет, не исчерпала себя «деревенская» художественная проза. И не грозит ей самоповторение. Опа развивается, идет вперед, и, надо сказать, не в одиночестве. Если считать деловую, практическую прозу о заботах деревенских (Л. Иванов, Ю. Черниченко, И. Дубровский, А. Стреляный, И. Васильев и др.) достаточно самостоятельной ветвью современной советской литературы, тогда можно говорить, что деревенская художественная идет на прямое с ней сближение: слившись, и одна и другая станут еще мощнее.

Рядом и «военная» проза, хочется надеяться, что наработанное ею за последние годы и именно в том направлении, куда выходит и «деревенская», сгодится для общего дела. Как в свою очередь опыт «деревенщиков», белорусских и русских, необходим был Василю Быкову, когда он работал над повестью «Знак беды». (До этой вещи казалось, что Быкова, его творчество вполне можно объяснить самой войной. А ведь это не так: слишком многое в его военных повестях объяснимо лишь довоенной его и его героев деревенской судьбой.)

Две мощные ветви современной многонациональной литературы — деревенская и военная — действительно из одного ствола произрастают. И к одному свету тянутся, в одном направлении.

Сбережение самой жизни на Земле — их общая, сегодня главная тема, задача, идея.

Живой человек возможен лишь на ж и в о й Земле — об этом молят и кричат, коленопреклонно и гневно одновременно, и «Царь-рыба», и «Прощание с Матёрой», и «Колесом дорога» — Астафьева, Распутина, Козько, равно как и проза Абрамова, Залыгина, Мележа, Можаева, Друцэ, Белова, Брыля, Матевосяна, Е. Носова, Гранина, Гончара, Кудравца — многонациональная наша «деревенская» проза.

Действительно — всем миром навалиться. Пока не поздно!

И тут уж невозможно ограничиться разговором только о «военной» и «деревенской». Вся, какая есть,— только так литература сегодня и может оправдать свое право называться

литературой. Да, город, да, завод или стройка, институт — свои конфликты, характеры. Свои традиции у разных национальных литератур и своя специфика у различных жанров.

Но вот это — сбережение самих основ существования — касается всех без исключения, и тут уж не место действия, не национальные особенности, не жанр — ничто но может оправдать глухоту и слепоту литературы, писателя (и критики тоже):

«Если мы сегодня отстоим мир и добьемся права, на завтрашний день, послезавтра мы можем погибнуть от отравления воздуха, воды и земли. Если мы сумеем и природу отстоять, через два дня новая опасность, не менее трагическая,— свихнуться и погибнуть от беспамятства и безразличия, от потери чувства самосохранения».

Вот так сегодня «деревенская» проза (словами Валентина Распутина из того же интервью) ставит себя в зависимый контекст со всей литературой, которая живет проблемами рода людского.

Да, сбережение сущего — главная задача всех. Сберечь живого человека на живой земле, сохранить живое в живом — но как? Через безоглядное «давай, давай!» люди как раз и примчались к краю пропасти.

Не пора ли озаботиться тормозами. Чтобы отступить от края, пойти назад, обязательно нужно остановиться. Это верно в сфере разоружения. Но и в экологических делах тоже. Не в том смысле, что должна прекращаться производственная деятельность человека, но чтобы отлаживался, совершенствовался механизм торможения, остановки, когда это необходимо. Не когда уже наломали дров, что дальше некуда, а чуть-чуть пораньше. Чем мощнее мотор, тем надежнее должны быть тормоза.

Во время прямой телетрансляции из Тюмени, говоря о примерах бесхозяйственности в разных отраслях и производствах, М. С. Горбачев выделил положение с сибирским лесом, где, по его определению, «психология временщиков» связана «с самыми разрушительными последствиями».

Да и в каких делах такая психология не бедствие.

Лес порубили на тысячах гектаров, а вывезти заготовленное нет сил, нет техники и условий, но «план есть план», зарплату надо лесорубам платить исправно, да и премии не помешают: рубим дальше, давай, давай! Видел я сибирский лес по дороге к Байкалу, непроходимый от так вот бессмысленно загубленных вековых деревьев, мне показалось — убитых, и весь лес, как место безудержного разбоя. Такому «давай, давай» не стыдится поддакивать и наука, не вся, но именно та, которая уже и 40-летние сосны согласна считать «перестойным лесом» (см.: Лисеев А. Сколько дереву жить? — Наш современник, 1985, № 8), а

безоглядное «глубокое осушение» белорусских земель, приводящее к гибели также и леса, поспешно и послушно обосновывала «научными опытами», поставленными чуть ли не в ящиках, которые домохозяйки устанавливают на балконах (см.: Козлович А. Позиция.— Дружба народов, 1982, № 5).

Вот уж действительно: не наука, а «адвокатские конторы при ведомствах», которые «тратят чуть ли не весь свой арсенал для оправдания сложившейся обстановки». Нет печальнее зрелища, чем наука на посылках у министерств, заинтересованных лишь в «благополучии плана».

Не на эту ли, такую «науку» ссылаются те, у кого поверх головы излишек бюджетных денег, непривычно много людей, техники — единственная и одна забота — куда их закопать, миллиарды, чтобы звучали литавры-реляции, сыпались поощрения, сочинялись о «трудовых подвигах» романы-поэмы (говорят, приходили заключать «договор» с писателями) — и вот еще одно озеро спущено в море, «рассеванилось», еще сотня-другая малых рек послушно «выпрямилась», «выпросталась» (в белорусском языке синоним слову «умереть»), а на месте чернозема, вековой пашни возникло море без берегов, тут же обернувшееся болотом или еще хуже — солончаками? (См.: «круглый стол» ученых-почвоведов.— Наш современник, 1985, № 7). Вот они — разрушительные последствия «психологии временщиков»!

Никто не станет всерьез выступать против мелиорации как таковой — в огромной сложнопочвенной и сложноклиматической стране такие работы неизбежны.

Но хороша была бы медицина, признающая один лишь скальпель, потому что другие, более щадящие средства ей, видите ли, «мало дают для плана». Если ученые-почвоведы протестуют, так именно против этого — сведения всей мелиорации к осушению и поливу, нежелания использовать более тонкие и безопасные пути, методы и средства.

Не наяву, так хоть бы во сне явился к ним, к теоретикам и практикам таких «преобразований природы», хирург и предложил бы на собственном их теле (как они на живом теле земли!) «спрямить» или «вспять повернуть» вены, артерии, влить кровь венозную в артериальную и наоборот…

Что нам бесконечно вредит, так это то, что мы почемуто все еще уверены, что безмерно богаты. Лесами, землями, природными ресурсами. Как тут остановиться перед Байкалом, перед Онежским озером, перед черноземами (на которые наползают города и промышленные объекты, а теперь — и угроза «мелиоративного засоления»), перед регулирующими климат, дающими нам кислород лесами и болотами и пр. и пр.— если всего столько? Миллионы и

миллионы кубометров сибирского леса остались под водой, когда делались «плотины века»,— недосуг, и просто лень, и просто наплевать кому-то было, кто обязан был очистить «ложе», теперь лес-утопленник всплывает, таранит катера, забивает решетки плотин, но хорошо бы и совесть нашу протаранил! (См.: Правда, 1985, 11 сент.)

У тех, кто не научился или отвык считаться с ограниченными, конечно же, возможностями кормилицы-природы, нет достаточного стимула крутить-вертеть мозгами. Как японцы, почти лишенные природных богатств, вынуждены делать. В поучение всему миру. Почти анекдотическую изобретательность сингапурцы проявили: воды пресной не имеют — на этом и зарабатывают. Покупают неочищенную, перегоняют по трубам из Малайзии, у себя очищают и продают ее, уже пригодную для питья, малайзийцам — таким образом, и вода у них бесплатная и еще изрядный приработок.

Конечно, можно всем торговать, продавать, покупать. Но есть ресурсы восстановимые (хлеб, например) и теряемые безвозвратно (газ, нефть). Об этом уже пишут, и как не писать?! Что поделаешь — снова Ю. Черниченко (Свой хлеб.— Новый мир, 1985, № 8).

Ведь когда мы теряем из-за неистребимой ведомственной, министерской волокиты наши технические идеи, а потом их, одетые в металл и пластик, покупаем за границей (см.: Лынев Р. Потерявши — платим.— Известия, 1985, 6 авг.), мы платим не чем-нибудь, а невосстановимым, т. е. из кармана наших потомков.

Людям будущего в копеечку влетит наш сегодняшний бюрократ!

Вот мы все о других. Ну, а роль и миссия наша, литературы? Наше участие или соучастие каково?

Да, с гордостью можем вспомнить и напомнить, что это «мы» (а точнее — Сергей Залыгин) подставили ножку энтузиастам затопления Обской низины (а заодно и тюменской нефти). Вместо того чтобы привычно и, как писателям положено, саккомпанировать на поэтической лире захватывающим планам и деяниям. Может быть, с гордостью будем когда-либо вспоминать усилия и озабоченность писателей судьбой северных рек, может быть... И то, что им дело было и до русской «сильной» пшеницы, и до белорусских болот я дубрав, до сохранности украинского и русского чернозема или рукотворных льно-пожаров на Вологодчине...

Фу, какая прпземленность! Да, именно приземленность. А мне почему-то не очень верится, что без нее возможен сегодня стоящий писатель. Это качество действительно роднит сегодня разнонациональных писателей Залыгина и Айтматова, Распутина и

Козько, Астафьева и Друцэ, Гончара и Черниченко, Быкова и Матевосяна, Белова и Брыля, Адамчика и Чигринова, Г. Семенова и Сипакова, Стреляного, и Стрельцова, Е. Носова и Пташникова.

Писатели эти решительно отстраняются от соучастия в «войне с природой» (даже под видом «преобразований»), потому что, как и в любой другой глобальной войне, победы и здесь быть не может, а лишь самоубийство — для всех.

Думаю, что кое-кто из воителей на реках и в лесах, все еще чувствовавших себя неуязвимыми, посмотрев и послушав теледиалог Залыгина с Распутиным, их требование и обещание памятники ставить разорителям и погубителям природы (но только «головой вниз»), а еще больше — прочтя материалы «круглого стола», организованного «Нашим современником» (1985, № 7), вполне могут даже обидеться, жаловаться: им объявляют войну!

Ну что ж, кажется, что сегодня это единственно допустимая и разумная война.

Кстати, о памятниках. Их бы и некоторым писателям ставить, такие же. Если бываете в Крыму, на каждом шагу можете увидеть запаханные виноградники. И сюда пришла, прорвалась филлоксера, корневая зараза, когда-то разорившая виноградарей Европы. Но Крым оберегал себя — строжайшими санитарными кордонами. Более ста лет успешно удерживал оборону наш «зеленый крест».

Но разве устоять ему было перед пафосом, энтузиазмом кликнувших клич: «Превратим Крым в край садов и виноградников!» Дружно подхваченный и бряцающими на лирах. Идея хорошая, но если бы по-деловому, с оглядкой на «зеленый крест», на эту самую филлоксеру. Но не до того было, все (и литература) — наперегонки. То самое: давай, давай! И примчались. Как и во многих других делах и случаях.

Нет, тут возможна и экономия: писателям-бряцателям памятники, пожалуй, ставить не обязательно. Они сами себе ставят. Река загублена, но поэма-то осталась. Чем не памятник? Море сгнило — все помнят фильм. Залив умертвлен — живет роман.

Но прежде бывало (будем справедливы) — люди действительно не ведали, что творят. И как аукнется. Чем отзовется их «романтика» борьбы с «дикой природой». Сегодня же...

Каждую (каждую!) минуту 50 гектаров леса уничтожаются. Почти половина из них — тропического. Где-ни будь по Амазонке, а это значит, вместе с флорой гибнет и уникальная фауна.

Словно донесения, реляции с места затяжных, неутихающих боев (а война-то, оказывается, «мировая», планетарная!). Согласно «стратегическим данным», если и впредь столь же успешным будет

наступление на природу, через каких-то 20-30 лет исчезнет 50 % видов растительного и животного мира. Вот насколько сузится плацдарм живой жизни, без которого и человеку на планете не удержаться.

Как не вспомнить тут, кое-кому казавшиеся интеллигентски-наивными, швейцеровские призывы к благоговению перед всем живым. Сегодня это уже не «роскошь духа», такая бережливость, благоговение, а условие выживания самого человека. В связи с этим как не радоваться, что кто-то где-то (например, в школах подмосковного Пущина) детей учат быть людьми через добрые дела на природе, пробуждая в них «доброту сильного», сострадание, сопереживание любому деревцу-листочку, жучку-букашке.

Транснациональные корпорации, протягивающие ненасытные щупальцы к мировым запасам земных недр и безжалостно отравляющие все и вся, рвущие в клочья озонный щит над планетой продолжающиеся ядерные испытания, как и любые ракетные игрища в космосе (а что последует, если «стратегическая оборонная инициатива» Рейгана перейдет в стадию испытательных ядерных взрывов на космической высоте!),— так вот, побочный продукт всей этой «деятельности» — фосген и другие ядовитые газы, знакомо именуемые БВО (боевые отравляющие вещества)! Ученые с тревогой замеряют их и отмечают возникновение и наличие в атмосфере газов, доселе неизвестных. На земле комбинируют бинарные и тому подобные БВО — для «противника», «для империи зла». А там, на высоте, возникают, копятся — для всех. Человечество уснет, даже не заметив! — предупреждают ученые. И снова роковая цифра — 30 лет или чуть больше.

Хватает и без того традиционных причин, поводов для взаимных обвинений, конфликтов, чтобы еще и экологические претензии излишне заострять, вытаскивать наверх. И все же, и все же: если тебе отданы на сбережение амозонские «легкие планеты» — необозримые пространства лесов — ты, именно ты в ответе за дыхание планеты. Так же и с пресной водой, и с плодороднейшими черноземами — имей чувство ответственности перед всем родом людским.

Не этим ли, пусть обходным, путем выходить и к проблемам ядерного разоружения? Здесь чувство рода, общечеловеческий интерес, как говорится, за горло берет! Тут уж все очевидно: если дышать, то всем, а если задыхаться — тоже всем. В документальном фильме «Василь Быков», созданном В. Дашуком, на очевиднейшую эту дилемму последовала горькая догадка-реплика писателя: пу и что, мы задохнемся, зато и вы тоже!

Неужто на самом доле такова сила, необратимость взаимных претензий, споров — о словах, понятиях, «ценностях»?..

А все-таки «экологическая бомба», тоже грозная, больше допускает односторонних, далеко идущих действий, чем это наблюдается в сфере ядерных интересов. И этим надо бы немедля воспользоваться — для общих проектов совместных действий. Что, возможно, помогало бы находить общий язык и в других делах. Действительно, никто не станет губить свою реку, озеро только потому, что сосед свои уже загубил. В ответ, так сказать. Или выжигать свои леса, чтобы опередить другого, других. Здесь гонка бессмысленна еще более, чем бессмысленная гонка вооружений.

Вот они — важнейшие глобальные проблемы, все более смыкающиеся в человеческом сознании. Так что «военной» и «деревенской» литературам, все более открыто выходящим к этим проблемам, идти в тесном взаимодействии просто необходимо.

В фильме Элема Климова «Прощание» (по повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой») «пожегщики» расправляются с лиственем все более азартно, шумно, распаляя самих себя... так и хочется сказать: как каратели в его же последнем фильме. А ведь действительно: не выступает ли человек по отношению к природе все более в роли, да, страшно сказать,— карателя. Заметьте, та же психология: чтобы жить, прожить свой срок (или хотя бы «до вечера», как часто бывало у настоящих карателей), одним словом — жить как набежит, человек в часы, минуты истребляет то, что природой копилось миллионы лет, походя растаптывает живое, растущее. А если «временщикам» приходится оправдываться — те же «аргументы». Мне приказали, я птица маленькая! Или наоборот: сам я мухи не обидел (лишь приказывал, разрабатывал, одобрял-воспевал). И вроде бы нет виновных.

Когда-то Джон Мильтон, автор «Потерянного рая», «Возвращенного рая», говорил, что убить книгу — то же самое, что человека убить. То есть они живое — книга, литература. Но живое умеет и убивать. Только не дело это литературы. Уж кому-кому, а ей в таких делах никакого оправдания. Отныне лишь жизнь сохраняя, оберегая, она сохранит и себя, свое значение.

История распорядилась, чтобы мы по-хозяйски отвечали за $^{1}/_{6}$ часть планеты, в полном порядке передали бы из рук в руки потомкам. Сохранив не только богатство, но и красоту земли. Кому много дано, тот спрашивать с себя построже обязан.

1985

«КАКОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ ПРОЗА (ЛИТЕРАТУРА) БУДУЩЕГО?»[1]

Ей быть именно такой (и в такой степени живым словом своего времени), каким будет ее участие в спасении этого самого будущего. Качества, истинность, масштабность художественного слова всегда связаны (напрямую) с силой творческой самоотдачи. Потому что, не живя главным, истинно важным, не может литература к себе относиться всерьез. О, это очень важно — самоуважение литературы. По чтобы уважать свое дело, она должна сознавать, что не пустяками занята, озабочена. И иметь то, обладать тем, что в людях называют характером.

Самоуважению литературу обучал еще Пушкин. Собственным поведением художника. Он не один и не два раза выходил к барьеру — на «дуэль» с самим царем, лицом к лицу с теми, кто от «пиита» привычно ждал почесывания сановных пяток. Невольник чести? — да, именно чести, но не только семейной, сословной, а и писательской.

Литературу приучал к самоуважению Достоевский, учил за ближайшими целями и интересами различать самые дальние цели и устремления человечества, за происходящим — непреходящее. Действительно распятый на кресте современности художник (как Достоевский), всегда тем самым и приподнят, видит дальше, далеко!..

Учил Толстой: быть адвокатом, преданным, несгибаемым, интересов народного большинства, и не только своего Отечества, но и всего человечества. Сплачивать добро против сплоченного зла.

Это действительно было поразительно, как сплоченно реагировали на слова Толстого все эти непримиримые враги — кайзеры, цари, президенты, шахи-падишахи, все они заодно начинали действовать, стоило услышать, что кто-то отвергает их право утверждать свою «правоту» перед всеми остальными посредством убийств...

Учил Твардовский уважать право и обязанность литературы быть равной самой действительности, равной реальной истории. Лишь подтвержденная большой литературой, искусством историческая реальность прошлого устойчиво живет в будущем. Без такого «закрепителя» пленка исторической памяти засвечивается начерно или почти начерно. Исчезают из памяти человечества не только отдельные события, по целые народы, эпохи.

---

[1] Ответ на анкету журнала «Литературное обозрение», 1985.

Ну, а если говорить конкретнее, а именно о военной нашей литературе, которую уже называют великой (в статьях, выступлениях Д. Гранина, Л. Лазарева), куда ей расти, если иметь в виду положение именно великой литературы? Я за такой вот критерий, подсказываемый классикой: по-настоящему великое произведение, открыв тему, ее же и закрывает. Если не навсегда, то надолго. Как «Война и мир» — тему Отечественной войны 1812 года.

Критерий действенности литературы в наше время, уплотнившееся почти до «критической массы»,— важнейший критерий. Сказать: тему закрыл — означает: сделал все, что только мыслимо на данном «направлении».

Лишь сто лет спустя русский писатель напрямую обратился к теме, открытой (и закрытой) в русской прозе Львом Толстым,— Булат Окуджаева в романе «Свидание с Бонапартом». Но смотрите, как он это сделал: совершенно не скрывая, что образы и картины Толстого, атмосфера толстовской эпопеи были для него, являются основной «реальностью» (как и для каждого из нас: другой реальности 1812 года мы не знаем и восприняли бы ее с немалым, очевидно, сопротивлением).

Закрыть тему, ну, не по-толстовски, а хотя бы относительно закрыть — возможно это для нас и в паше время? Когда дело касается такого сложнейшего и масштабнейшего события, как наша Отечественная война 1941 — 1945 гг.

Все оправдываемся, слыша упреки, что читатель не получил, не имеет новой «Войны и мира»: будет, будет, дескать, потерпите! Не индивидуальная, так коллективная. Уже пишется. Многие «главы» написаны...

Если это истинно так, тогда тем более важен критерий, о котором говорилось выше. Никому в отдельности не «закрыть» тему Беликой Отечественной: не те мы и не та Отечественная! Но «закрыть» хотя бы «направление» своей новостью-«главой», романом-«главой» — об этом можно мечтать и размышлять. И имеем основание. Вот Вячеслав Кондратьев — он открыл ржевскую тему, ржевское «направление» в нашей прозе. А это особенная страница, глава минувшей войны — все, что в сознании военного поколения сопрягается со словом «Ржев». Не слово это для нас, а уже знак, примета войны особенно безрадостной, утопающей в болотах и позиционном истощении, голодной и безнадежно кровавой...

В. Кондратьев тему открыл, она его поволокла, тащит уже столько лет.

Конечно, количеством повестей и рассказов ничего исчерпать невозможно. Зато «Селижаровский тракт», «Сашка» и то, что на

этом уровне у Кондратьева,— движение в этом направлении. Кажется, чуть-чуть еще и…

О, это особенное чувство, состояние для писателя: тянуться-дотягиваться к исчерпывающему воплощению, выражению. Делая «Блокадную книгу», мы с Д. А. Граниным не единожды окидывали мысленным взором собранное и отработанное, вслушиваясь в материал, ощупывая и прощупывая: скоро ли самовозгорится? Как влажное зерно или сено. Только зерно, сено, если самовозгораются,— это плохо, беда, а здесь именно то, что надо, к чему стремились. Чтобы из количества, из отбора, монтажа родилось новое качество. Жанровое, художественное.

Когда Элем Климов начинал работу над фильмом «Иди и смотри», у него были свои представления о пределах, к которым устремлялся. А я, работая с ним, и думал и говорил вот о чем еще: дай-то бог, чтобы фильм получился такой, после которого не скоро решатся снова обращаться к этой теме. А то ведь в какие только ленты ни вставляли наскоро и всуе снятые «хатынские эпизоды». Кощунственно, а «запретить» можно одним только способом: художественно исчерпывающим воплощением. С помощью того же кино, но сказавшего свое слово не походя, не спекулятивно, а на крике живой боли, ожога.

Чтобы тему действительно «закрыть» (одним или суммой произведений), надо попытаться правде взглянуть в глаза безбоязненно, по-климовски упрямо не отводить взгляда от всей правды.

Это умел делать Константин Воробьев. Сколько написано о фашистском плене — до него и после. Но перед глазами — картины его Ада…

Открыта и уже близка была к исчерпанности тема солдатских окопов и лейтенантских блиндажей кровавых высоток и бесконечных фронтовых дорог, литература «исповедальная», литература личной памяти. Ее заново продлил В. Кондратьев, ее по-новому углубляют Быков и Астафьев, Бакланов и Богомолов — средствами все большей правды, все более народной правды-памяти. Новым исчерпанием.

Минувшая война, особенно ее болевые точки — кровоточащая рана нашей памяти, народной, исторической. Но и она, как и все остальное, эстетически исчерпаема. Ну, хотя бы в основном русле. Другое дело, что эту тему подпитывает (и все более напорно) не спадающая волна планетарных тревог нашего времени — неотступная мысль о войне следующей (совмещенная с мыслью об экологическом крушении «космического корабля Земля»).

* * *

Под стать времени, его масштабам и тревогам возник и развивается у нас на глазах новый канал коммуникаций — космические телемосты. Средство живого, прямого общения из любых точек земного шара больших человеческих масс.

Внутренне ахнули! — мое (и, видимо, не только мое) чувство, состояние, когда советский академик-термоядерщик Е. П. Велихов, глядя на себя самого, отраженного на огромном, с трехэтажный дом, видеоэкрана под ночным калифорнийским небом, произнес в московской телестудии слова, ставшие сразу же крылатыми: ядерная мощь — не мускулы, не будем обманывать себя, она — раковая опухоль... И — внезапное удивление, смешанное с восторгом, единый порыв согласия на тысячах лиц далеких американцев перед десятком суперэкранов, собравшихся на «фестиваль единства» под знаком музыки и электронных чудес, организованный на собственные средства Стивеном Вазняком, изобретателем портативного персонального компьютера.

Их было не мало не много — 300 тысяч (!), перед которыми на гигантских телеэкранах (расставленных изобретательными, расторопными японцами на всех континентах уже во многих странах) вдруг появился советский человек, много-много русских, которые согласно всем стереотипам официальной пропаганды, должны, обязаны гдето там, пока беспечные американцы веселятся, готовить им очередные каверзы, неприятности. Советские студенты, потом певица, дети! — и моментально стало очевидно, что понимание не только возможно, но и просится, рвется на лица, уставшие от искусственного отчуждения, страха землян.

Это был телемост «Москва — Космос — Калифорния» — первый, затем второй, вот уже более десяти за последние четыре года! В этих встречах через космос было что-то, напоминавшее о встрече на Эльбе: через огромные выстуженные пространства и против, казалось бы, непреодолимого потока времени — туда, к голосам, объятиям, улыбкам союзников!..

Та самая технология, которая поддерживает в боевой готовности ракеты, средства наведения и пр. и пр., может сослужить и другую службу — например, позволяет через космос, встретиться миллиону и даже миллиарду человек. Ты говоришь и видишь себя там, среди слушающих, космические мосты в один миг соединяют митинг с митингом, фестиваль с фестивалем, марш мира на одном континенте подключается к маршу на другом...

В мае 1985 года интересное обсуждение эстетических, художественных перспектив нового канала связи состоялось в московском Институте искусствознания с участием кино и тележиссеров, философов, инженеров-конструкторов, актеров,

драматургов, писателей и т. д. Техническое открытие уже состоялось, за ним последуют (как когда-то произошло с «движущейся фотографией») открытия эстетические. И думается, что как кино и бытовое телевидение делали свои первые шаги и сегодня развиваются, опираясь в первую очередь на литературу, театр, так и на этот раз литература выступит в роли важнейшей, продуктивнейшей. Наряду с театром, кино, живописью и т. д. Но и сами они, давно и недавно развившиеся формы искусства, должны будут искать в себе новые возможности, вливаясь в невиданный канал всемирной связи.

«Искусство» космических телемостов (искусства этого еще нет и в помине, но ему неизбежно быть) — не ему ли стать новым акушером при важнейших, спасительных родах: на свет появляется, должно наконец появиться человечество! Не только торгующее, «холодно» или «горячо» воюющее, но и обретшее наконец чувство всего живого — чувство самосохранения.

Как, как жить нам, людям, дальше, чтобы жить на этой планете? Человеку с человеком, народу с народом, системе с системой. Да неужто ничего не стоят уроки прошлой мировой войны?..

Представил, вообразил немецких туристов в Эрмитаже, в Ленинграде: вот что, вот какую красоту, какие богатства хотел у тебя, у немца, отнять солдат вермахта, когда обстреливал, душил блокадой этот город, стараясь выполнить приказ фюрера — все сжечь, удушить голодом, уничтожить!

Американцу, любующемуся сказочной архитектурой, памятниками древнейшей культуры японского города Киото: а ведь этого у тебя не было бы, ты, американец, лишился бы всего этого, если бы город разделил судьбу Хиросимы, как вначале и предполагалось, планировалось!..

А уж про самое жизнь на планете и говорить нечего: общее наше богатство, общее и неделимое!

Вот и такая на семинаре в Институте искусствознания прозвучала мысль — в выступлении философа Ю. Карякина: опасность всеобщего уничтожения в ядерной войне способна как объединять людей в борьбе за мир, так и разъединять — страхом, недоверием. Но есть и еще одна опасность, угроза, такая же планетарная, которая, тоже пугая, подталкивает к согласованным усилиям всех без исключения — экологическая угроза. Люди пока что этими проблемами-угрозами (ядерной и экологической) занимаются, обособляя их. А надо бы их соединить, объединяя усилия.

Действительно, как бы хорошо было посредством того же космического телемоста донести до сознания миллионов,

миллиардов: какие еще «звездные войны», когда сама планета из-под ног уходит, воздух, воду, все, чем живете, если так будет продолжаться, потеряете? Спасайте то, без чего ни дышать, ни существовать — не до споров о словах, когда такое подступило!

Академик Б. В. Раушенбах, чей талант математика и механика помог человечеству впервые взглянуть на обратную сторону Луны, имеет, заслужил право на такой вот укор роду человеческому: современный человек действует (не считая редчайших исключений), как и его древние предки — не считаясь с глобальными последствиями своей деятельности. Как и в каменном веке учитываются интересы только «своего племени».

И как вывод: «Космическая техника открыла и продолжает открывать для человечества дороги, ведущие к мирному объединению всех людей, и было бы трагической ошибкой но воспользоваться этим».

Участники упомянутого семинара в Институте искусствознания познакомились с первым рабочим вариантом сценария «Зеркало для человечества», и тут же стали возникать дополнения, изменения, новые ходы — у каждого согласно с его жизненным и профессиональным опытом.

Вопрос уже практически звучит, ставится: с чем выходить к миллиарду? О содержании и о жанрах, которые подходят или не подходят для такой невиданной аудитории.

И сразу же возникают проблемы: как повлияет этот совершенно новый вид коммуникаций на состояние, развитие художественного мышления, потому что, конечно же, его возникновение и функционирование повлечет за собой рождение каких-то незнакомых видов, жанров искусства?

Н. Н. Каретников: «Зеркало для человечества» — вызов сознанию граждан планеты, вызов сознанию людей искусства».

Г. П. Борисовский: «Должно последовать второе открытие — уже в области искусства. А иначе техника так и останется техникой».

Аркадий Райкин: «Теперь же творцы этого удивительного «зеркала» позволят людям, наделенным даром смешить, обрести новые возможности, чтобы сразиться с теми, что наделен властью запугивать».

Люди, участвовавшие в первых сеансах космических телемостов, говорили о совершенно непередаваемых, ни с чем не сравнимых ощущениях, рождаемых «прямым экраном»: когда ты как бы везде, переносишься с континента на континент, вступая в прямой контакт с людьми, о существовании которых и не подозревал миг назад, а они, далекие и разные, с той же легкостью появляются рядом с тобой — пространственные стены рушатся, а с

ними и многие иные, человечество делается менее абстрактным и более доступным каждому, становится осязаемой реальностью.

Сразу задумываешься: а как это повлияет на литературу? Другие говорили о театре, кино, музыке, архитектуре — как и с чем им предстать перед миллиардом и как подобное общение с человечеством повлияет на искусство — меня же интересовала прежде всего литература. Ну, а мы, мы — литераторы, готовы к такой встрече, к такому разговору?

Техническая возможность сотням, тысячам землян видеть друг друга, общаться непосредственно друг с другом, смотреть в глаза, небывалое состояние «дистанционной близости» (я тебя, вас вижу, слышу и знаю, что и вы тоже видите меня, можете, как при живом общении сразу реагировать на действие и слово собеседника, который на другом краю земли) — это для артиста, и для ученого, и для писателя, для каждого человека просто-таки ошеломляющая возможность: общаться с человечеством непосредственно, с глазу на глаз! Какие же должны быть слова, какая литература! Какая честность и правда! (Лгать в глаза миллиарду — каким же надо быть планетарным Хлестаковым.)

Литература будущего — какая она будет? Знать это конкретно не дано. Но кое-что и дано, если исходить из уже очевидных посылок.

Литература жива лица не общим выражением (индивидуальным, национальным), но по-разному бывает повернуто это лицо. В ы р а ж е и и е зависит еще и от того, к кому лицо обращено, повернуто. К человечеству! — если у людей есть завтрашний день, то именно такой быть ей, литературе.

Всеми силами способствовать, помогать человечеству возникнуть, стать, быть! Лишь возникнув по-настоящему, человечество спасет себя. Вот этому служить. И не только завтра, в будущем, но и сегодня.

«...в наше время стоит посвятить жизнь тому, чтобы спасти самое жизнь на земле. Нет цели важнее». (М. С. Горбачев).

1985

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Адамович А.

Выбери — жизнь: Лит. критика, публицистика.— Мн.: Маст, літ., 1986.— 415 с.

В книгу известного белорусского прозаика, литературоведа, критика и публициста, лауреата Государственной премии БССР Алеся Адамовича вошли статьи, опубликованные в последние годы в журналах «Новый мир», «Вопросы литературы». «Октябрь», «Дружба народов» и др. Посвящены они насущным проблемам времени: литература в борьбе за мир, нравственное содержание советской литературы. Статьям автора присущи новизна мысли, живость изложения, живой, образный язык.

Редактор Н. А. Давыденко.
Художник Л. П. Дубовицкая.
Художественный редактор А. И. Царев.
Технический редактор Г. П. Тарасевич.
Корректор А. Т. Глущенко.